



## Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России  
ООО "ИПО писателей"

Международный фонд  
славянской письменности  
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор  
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,  
А. В. ВОРОНЦОВ,  
В. Н. ГАНИЧЕВ,  
Г. Я. ГОРЬОВСКИЙ,  
Т. В. ДОРЕНИНА,  
С. Н. ЕСИН,  
Л. Г. ИВАШОВ,  
С. Г. КАРА-МУРЗА,  
В. Н. КРУПИН,  
А. Н. КРУТОВ,  
А. А. ЛИХАНОВ,  
М. П. ЛОБАНОВ,  
Ю. М. ЛОЩИЦ,  
С. А. НЕБОЛЬСИН,  
Ю. М. ПАВЛОВ,  
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,  
В. Д. ПОПОВ,  
В. Г. РАСПУТИН,  
Е. С. САВЧЕНКО,  
А. Ю. СЕГЕНЬ,  
В. В. СОРОКИН,  
С. А. СЫРНЕВА,  
А. Ю. УВОГИЙ,  
Р. М. ХАРИС,  
М. А. ЧВАНОВ

### Проза

Дмитрий ЕРМАКОВ  
Тень филина. Роман ..... 6

Александр МАЛИНОВСКИЙ  
Голубенький платочек.  
Рассказ ..... 106

Амир АМИНЕВ  
Снежный человек. Рассказ ..... 115

### Поэзия

Владимир СКИФ  
И с неба рухнула весна ..... 3

Евгений АРТЮХОВ  
Бесчисленных заветов  
необратимый след ..... 97

Лев КОТЮКОВ  
Я спас свою душу... ..... 101

Владимир БАЛАЧАН  
Я пил из звёздного ковша... ..... 109

Борис СИРОТИН  
Огонь благодатный  
сошёл на меня... ..... 112

Александр ЩЕРБАКОВ  
И помогут святые берёзы ..... 128

### Память

Валерий НОВИКОВ  
"Варяг" — люди,  
судьбы, песня ..... 185

Юрий ПАХОМОВ  
Мочёные яблоки ..... 205

Валерий АУШЕВ  
"Ломоносов XX века" ..... 265

### Очерки и публицистика

Станислав КУНЯЕВ  
Народный губернатор ..... 132

Наталья ПЕТРОВА  
Повседневная жизнь  
русского учителя ..... 142

## Редакция

Приемная —  
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —  
зам. главного редактора —  
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —  
зав. отделом прозы —  
(495) 625-30-47

С. С. Куняев —  
зав. отделом критики,  
отдел поэзии —  
(495) 625-02-81

Отдел публицистики —  
(495) 625-30-47

Е. Н. Евдокимова —  
зав. редакцией —  
(495) 621-48-71,  
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —  
зав. техническим центром —  
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —  
гл. бухгалтер —  
(495) 625-89-95

Сергей БАБУРИН  
О деле Даниила  
Константинова ..... 159

Израэль ШАМИР  
У России есть друзья ..... 170

Александр БОБРОВ  
Венгерские зарисовки ..... 173

Анатолий ПАРПАРА  
Державные строители России ..... 191

Константин ШУЛЬГИН  
Жрецы в тумане ..... 218

## Критика

Вячеслав ЕЛАТОВ  
Родные филологи.  
ЛГУ, 1960-е ..... 251

## Книжный развал

Георгий МИРОНОВ  
Фиаско “Чёрного ангела” ..... 273

## В конце номера

Валерий САМАРИН  
Русская книга ..... 275

Владислав КОВАЛЁВ  
А свињи — кто? ..... 281

Валерий ИВАНОВ  
Монтаж врага ..... 284

## Памяти друга

Моряк, поэт, прозаик ..... 287

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов

Операторы: Е. Я. Закирова, Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Подписано в печать 03.02.14. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 269. Тираж 8400 экз.

Адрес редакции: Москва, 127994, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес электронной почты: [n-sovrem@yandex.ru](mailto:n-sovrem@yandex.ru)

Рукописи по электронной почте не принимаются)

Адрес сайта в интернете: [www.nash-sovremennik.ru](http://www.nash-sovremennik.ru)

Отпечатано в ОАО “Красная Звезда”, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62 [www.redstarph.ru](http://www.redstarph.ru) e-mail: [kr\\_zvezda@mail.ru](mailto:kr_zvezda@mail.ru)

ВЛАДИМИР СКИФ



## И С НЕБА РУХНУЛА ВЕСНА

### ХРИПЛОЕ ДЕРЕВО

Видел я хриплое дерево:  
В нём раздавался не скрип,  
Но и не шелест размеренный,  
А человеческий хрип.

Дерево тёмное, бурое,  
Будто в засохшей крови,  
Гнулось под ветром, понурое,  
Гнило вдали от любви.

В небо смотрело воронами,  
Смертную тайну храня.  
Тяжкими хрипами, стонами  
Часто пугало меня.

Что в нём таилось и кашляло,  
Билось, как сотня оков?  
Тайна ли спряталась страшная  
Или сомненье веков?

---

*СКИФ Владимир Петрович (Смирнов) родился в 1945 году на ст. Куйтун Иркутской области. Автор 19 книг. Член Союза писателей России, председатель Иркутского регионального отделения Союза писателей России, секретарь Правления Союза писателей России. Лауреат Международной литературной премии и.м. П. П. Ершова и премии «Имперская культура». Постоянный автор журнала "Наш современник". Живёт в Иркутске.*

Я к нему душу примеривал —  
Выспросить, что в нём и как?  
И прохрипело мне дерево:  
— Я твоя совесть, дурак!

\* \* \*

Двери не заперты. Выйду из дома.  
Брошусь, как в воду, в траву.  
Свет из земли полыхнёт незнакомый.  
— Кто там? — страшась, позову.

Кто там? Быть может, далёкие предки  
Светят величием своим.  
Райская птица воспрянет на ветке,  
В небо — и пламя, и дым.

Кто там? И выйдет из недр  
Радонежский,  
Явится Дмитрий Донской,  
Князь Александр появится — Невский, —  
Скажет с душевной тоской:

— Что же ты пал, богатырь, среди поля,  
Где твой норóвистый конь?  
Где твоя доля? И в поле доколе  
Меч не поднимет ладонь?

Сердится Сергей: — Отчизну забыли,  
Прóдали вечную Русь?  
Пели, речами трезвонили, пили:  
Вот вам и нерусь, и гнусь

Встала над вами и треплет Россию,  
Мера запретов пуста.  
Душу России, как плоть, износили,  
Нет ей Пути и Креста.

Дмитрий Донской, низко долу склонённый,  
Старцу в ответ произнёс:  
— Как же виниться земле полонённой,  
Коли ей путь — на погост!

Встанем за правое русское дело,  
Мы ли не бились за Русь?  
Отче, направь моё брeнное тело,  
Я до Москвы доберусь.

Невский воздел в небеса свои руки:  
— Благослови нас, Господь!  
Всё на своя возвращается крúги:  
Битвы и дух наш, и плоть.

И осенил их крестом Радонежский,  
Затрепетала земля,  
И оказались Донской вместе с Невским  
В красных воротах Кремля.

## ПАЛИЦА

Время зыбкое в небе провалится,  
И оттуда, из тёмных высот  
Древнерусская вылетит палица  
И гулять по России пойдёт.

Уж она-то пойдёт, позабавится,  
Потревожит Великий Устюг,  
И в Москву воровскую направится,  
Приголубит воров и бандюг.

Пусть побитые Богу пожалятся,  
Если кто-то из них оживёт...  
Бог простит,

может быть,

ну, а палица

Самых подлых искать поплывёт.

Всех приветит и всем им отвалится  
По заслугам.

И дай-то Господь,

Чтоб железная русская палица  
Прилетала народ прополоть.

## СНЕГИРИ

Плеснула вьюга по соседству  
С моим окошком, и в окно  
Я вдруг своё увидел детство,  
Как в неожиданном кино.

Вот дом родной, тайга густая,  
Неосвещённая внутри,  
Но там на ветках расцветают,  
Как будто маки, снегири.

Они летят в морозном утре  
В заиндевелый белый двор,  
Где до земли развесил кудри  
Густого инея забор.

А солнце падает на крыши,  
И еле виден бокогрей.  
Я на крыльцо из дома вышел,  
Чтоб встретить алых снегирей.

А снегири в снегу искрились  
И, развесёлые с утра,  
Как будто пламя, завихрились  
Среди морозного двора.

Клубилась пламенная стая  
Костром, аж вспыхнула сосна.  
И снег от пламени растаял,  
И с неба рухнула весна.

ДМИТРИЙ ЕРМАКОВ



## ТЕНЬ ФИЛИНА

РОМАН\*

Когда началась эта река? Бог знает... Из болота лесного, гиблого — ручьём сочится. Вот уже и речушка. Вот и река — в берегах дремучих, где высоких, а где пологих. Небольшая, да и не маленькая. Название оканчивается на “га”, как и у сотен ближних рек и ручьёв.

Несёт река свою воду, отражает берега и небо, как положено, вливается в другую реку, а та — ещё в другую, а та уже — в студёное океан-море...

Когда осели на её берегах люди? Река не скажет, а люди не помнят. Люди живут. Люди пашут и строят. Люди ловят рыбу и бьют зверя. Люди любят и ненавидят. Люди оплакивают своих мертвецов и свои умершие деревни. И снова строят, и пашут, и любят, и умирают... Всему есть место на берегах реки. Вода её — время. Небо, отражённое водой, — вечность...

### Глава первая

#### 1

Сначала, с грохотом сшибаясь на излуках, уплыли громоздкие льдины, потом ещё долго проплывали серые ноздреватые льдины-оскрёбыши...

Тяжёлое серое небо придавило землю и воду.

---

\* Журнальный вариант

---

*ЕРМАКОВ Дмитрий Анатольевич родился в 1969 году в Вологде. После школы служил в армии, занимался спортом. Рассказы, повести публиковались в журналах “Наш современник”, “Алтай”, “Подъём”, “Москва”, “Воин России” и других. Лауреат конкурса им. В. Шукшина “Светлые души”. Член Союза писателей России. Живёт в Вологде.*

И по большой, плоской, придавленной небом воде увозили бабушку...

Снега в ту зиму выпало много, он таял, река разбухала, заливала берега. Теперь уж до следующего льда — из Ивановки, с Красного Берега, в большой мир — лишь в объезд, крюк десять вёрст до моста, либо на лодках и плотках.

А говорят, что и мост снесло...

Васятка стоял на берегу, смотрел, как удаляется плот, посреди которого — гроб. Плот качался, мужики с трудом выгребали поперёк течения... Казалось — гроб вот-вот соскользнёт в воду, и бабушка утонет. За мужиков он не боялся — они живые.

От берега отчалили ещё три лодки, в одной из которых и мама. Все едут прощаться с бабушкой. Там, на том берегу, у церкви, её зароят в землю. И в подтверждение этой неизбежности с того берега, от колокольни плывёт тягучий печальный звон.

Голые вички затопленных ив торчат из воды, как вешки. Лодки плывут между ними, направляемые гребцами, отяжелённые молчаливыми людьми в тёмной одежде.

— Пойдём-ка, Васятка, домой. Неровён час — продует, заболеешь, — по-взрослому говорит сестра Полина, ради него оставленная дома.

По грязной, размокшей, истолчённой десятками ног дороге возвращались они к родной избе...

Ивановка — три десятка домов. Пять из них — вдоль реки, остальные двумя рядами уходят вглубь берега. Серебристые, будто инеем подёрнутые стены бань и сараев; тёмные, высокие, в одной связи с обширными дворами избы с полукруглыми поверху окнами, со скупой резьбой наличников и застрех; драочные чёрные крыши... Всё сейчас хмурое и тяжёлое, как небо...

Снег ещё кое-где остался в тени кустов, под глухими стенами амбаров и бань, но всё в природе уже готово к новому кругу, ждёт сокровенного мига... А бабушка их, Аграфена Ивановна Игнатьева, ушла в другой мир, в ту неведомую жизнь, в которую и верила, и будто бы уже прозревала незрячими в этом мире глазами...

...Бабушка уже давно, сколько он помнил, ничего не видела. Она сидела в своём уголке за печкой, там и спала на лавке, рассказывала сказки да “про прошлую жизнь” сперва внучке Полине, а когда та подросла и всё чаще стала уходить из дома на взрослую уже работу либо вечерами с прялкой к кому из подружек, стала бабушка внуку Васе те же побасёнки бухтить... Ещё песни пела — очень хорошо, и на праздниках, бывало, просили её особо и слушали все сидевшие за длинным столом...

В тот день никого в избе не случилось — отец у них на войне, Полина — по своим девичьим делам где-то, мать со скотиной обряжалась. Бабушка сидела тихо и как-то особенно, что-то творилось в ней... Позвала: “Васятка, иди-ка сюда, милой...” Он подошёл, думая, что бабушка расскажет сказку, но она молчала, только гладила его по голове твёрдой сухой ладонью. “Бабушка, а спой песню”. — “Не до песен мне сегодня, милой”. — “А хочешь, я тебе стопочку налью?” — спросил Васятка. Он знал, где стоит у матери бражка, а стопка в доме одна — серебряная, с надписью по кругу: “Выпить пора — ура!” Отцовская, вернее, дедовская ещё, подаренная ему воздвиженским барином в старые годы за что-то... “А и то! Налей-ка мне, Васятка... Больше-то не пивать”. Он уже знал действие браги. На праздниках, когда просили бабушку спеть, всегда перед тем наливали.

И бабушка выпила.

— Про Мальвину, бабушка! — попросил Васятка.

— Балладу-то... ну, давай балладу...

Песня та странная, не крестьянская, и называли её почему-то “баллада”. А бабушка её ещё по молодости под окном барской дочки пела — любила та... А научила той песне повариха, из Петербурга привезённая... Всё это тоже рассказывала она внучке и внуку...

Бабушка уперлась обеими руками в край лавки, будто вглядываясь во что-то невидящими глазами, негромким ровным голосом запела, чуть покачиваясь...

*Бедный рыцарь всё стремился  
Ко Мальвине молодой,  
А Мальвину обряжали,  
Жертву бедную, к венцу.  
— Вы, подружки, подождите,  
Дайте сердцу погрузиться,  
Вы, любимые, скажите,  
Как мне рыцаря забыть?  
Что же делать?.. Дам я руку,  
С кем родитель повелел...  
В церкви всё было готово,  
Их священник ждал давно...*

Голос бабушки креп, набирал силу, и расправлялась её давно, казалось, навечно согнутая спина, и она будто не здесь уже была, а там — в песне...

*В замке что за освещенье?  
Рыцарь к замку прискакал.  
На нём шлем надет пернатый,  
Меч на ленте голубой.  
Поздно, поздно, гость незванный,  
Поздно, рыцарь молодой.  
— За измену — нет, не поздно!  
Рыцарь саблю обнажил...  
И блестящая — взвилась!  
С плеч скатилась голова...  
Вся толпа заговорила,  
Что Мальвина умерла.*

— Мать, да ты что? — Васяткина мать вернулась. — Что это бабушка-то у нас?..

— Верка, посылай за попом, пора мне... — тихо ответила бабушка, тяжело легла и больше уже не встала...

...Дома Полина дала Васятке кусок пирога с картошкой, налила в чашку кипятка. Села у окна за пяльцы. А Васятка уплёл пирог, влез на тёплую печку и там лепил из прихваченного с улицы кома глины фигурки — человека, собаку, кошку...

После полудня вернулись с того берега (уплывали-то совсем рано утром). Полина выставила кутью, приготовила посуду. Среди приехавших был и жандармский, кажется, офицер. Молоденький и какой-то, хоть и при форме, не воинственный, может, из-за очков, которые всё время сползали с переносицы, или из-за смешно подкрученных, не идущих ему усов...

Впрочем, жандармский ротмистр Иван Алексеевич Сажин приехал, конечно, не ради поминок древней незнакомой ему старухи. Но подвернувшейся оказией в Ивановку воспользовался. Он приезжал в село Воздвиженье в гости к подполковнику Зуеву и для разговора и пригляда за местным священником отцом Николаем, организовавшим в селе “крестьянскую чайную” и яростно боровшимся с пьянством среди своих прихожан. А в Ивановке хотел проведать ротмистр Сажин ссыльного поселенца Потапенко.

И тут, в Ивановке, выяснилось, что ссыльного никто не видел уже два дня...

В дом Игнатьевых заходили соседи — выпивали рюмку, заедали кутьёй. “Земля пухом и вечная память”, — говорили, либо что-то подобное, и уходили: не принято на поминках расслаивать... Мужиков мало, тех, кто в силе да возрасте, война призвала, уже третий год как. Остались недоростки, переростки да негодные к службе, как отцов брат дядя Михаил с покалеченной, перебитой ещё по молодости и неровно сросшейся, усохшей левой рукой.

— Васька, а ты чего там забился-то? — захотел, видно, приободрить дядя племянника, отдернув занавеску, глянул на печь. — Ну, ты чего, спишь?..

— Нет, божатко...



— Верка, глянь парня-то, не заболел ли? — что-то насторожило Михаила Игнатъева в Васяткином голосе.

Ротмистр Сажин тоже выпил рюмку за помин души новопреставленной и, разместившись в отведённой ему горенке, вызвал через хозяйкину дочь старика Кочерыгу.

Тот одиноко жил в кособокой избёнке на отшибе — рыбак и охотник, к которому относились все, с одной стороны, шутливо-презрительно, чему подтверждением и неблагозвучное прозвище, данное за то, что он не работал на земле; с другой стороны, уважительно, потому что в своём деле — охоте и рыбалке, в знании реки и леса — он был главный знаток во всей красноречной округе.

— Здравствуй-здравствуй, Егор Емельянович, — повеличал его Сажин, привычно подкручивая концы усов и поправляя очки в тонкой оправе. — Скажи-ка мне, куда и каким образом ушёл ссыльный Потапенко?

— Да, ваше благородие, — старик почесал бороду большой чёрной ладонью, вроде как задумался и неторопливо продолжил, — сам же знаешь, только по воде. А потому как лодки ничьи не пропали...

— На плоту... Рисковый человек.

— Отчаянная голова, — подтвердил охотник.

— А вот, я слышал, он с тобой любил поговорить, даже и на охоту хаживал?

— Говорить особо не говорили, он молчун, да и я болтовню не люблю. На охоту пару раз брал. Да разве ж то охота — баловство...

— Так, может, скажешь, и докуда поплыл?

— Опять же, ваше благородие, — сам знаешь. На чуточку ему надо, стало быть...

— Я-то знаю, а ты почему хотя бы старосте не донёс?

— Я за ссыльным не надсмотрщик. А что он пропал — только сегодня от вашего благородия узнал, — гордо вздёрнув пегую бородёнку, ответил Кочерыга.

— Ну, ладно-ладно... Слушай-ка, белки есть у тебя, ну, шкурки? Только чтоб хорошей выделки. Мне на шапку, жене.

— Есть, — на этот раз с явной заинтересованностью ответил старик.

— Ну, мне бы поглядеть. Принесёшь?

— Отчего ж не принести. Принесу. А выделка у меня, сами знаете, наипервейшая...

— Ну, давай, давай. Я хорошо заплачу.

И ротмистр в ожидании охотника со шкурками выпил ещё чаю и распорядился готовить постель. Торопиться с поимкой ссыльного не имело смысла — он наверняка уже подъезжал к Петрограду...

Утром Сажин опять выпил в избе стакан чаю. Кликнул Васятку:

— Покажи-ка мне, оголец, где ссыльный-то жил...

Мать, тронув лоб Васятки тыльной стороной ладони и ничего не сказав, ушла оправлять скотину. Полина ради гостя была ещё дома — грела самовар...

Мальчишка шмыгнул носом и, видимо, переборов опаску, взглянул прямо на офицера, спросил:

— А у тебя там наган есть? — кивнул на пристёгнутую к португее кобуру.

Полина, услышав от печи разговор, опасливо окликнула:

— Васятка...

Сажин, усмехнувшись, поправил очки, молча достал из кобуры револьвер:

— А ты как думал? — и убрал оружие. — Не бойся, барышня, — подмигнул он Полине.

— Я и не боюсь! — вспыхнув щеками, откликнулась девушка. — Только нелзя ему, с вечера, чуялось, заболает.

— Ничего я, Поля, и не заболает, — отвечал Васятка, уже натягивая сапожонки, запахивая вытертый короткий тулупчик и напяливая шапку. — Провожу дяденьку, да и всё, ничего я не болею...

И Васятка повёл офицера к старой куликовской бане, где и обитал за небольшую плату ссыльный Потапенко.

Впрочем, было в бане довольно чисто. В предбаннике пусто, лишь обтрёпанный голик в углу, дальше, в мочной, переделанной в жилую комнату, — банная печка с котлом, обложенным камнями; стол перед окошечком с мутным стеклом, широкая лавка с набитым сеном матрасом, на столе — пустая деревянная солонка и какая-то мятая книжка, вырванная из переплётки... И ещё чувствовался запах табака — ссыльный много курил.

— Слушай-ка, как тебя... Васятка? — окликнул мальчишку Сажин, убирая книжку, забытую ссыльным, в полевую офицерскую сумку.

— Угу, — опять шмыгнув носом, подтвердил мальчишка, опасливо заглядывавший через порог в бывшую баню.

— Васятка, а где-то тут у вас есть какой-то Марьин камень?

— Угу.

— Можешь показать?

— А стрелнуть дашь? — на этот раз не задумываясь, спросил Васятка.

— Да, — просто ответил ротмистр.

Сажин зачем-то ещё заглянул под лавку, выпрямился, оправил портупею, привычно надвинул указательным пальцем правой руки очки на переносицу и вышагнул в предбанник.

По раскишей дороге вышли за деревню. Слева были поля, и сразу бросались в глаза полосы озимых в зеленоватой дымке, по ним деловито расхаживали грачи, как заведённые опускали головы к пашне и сразу поднимали, и снова опускали... Густо пахло навозом... Справа от дороги — пологий спуск к реке, с клочками жухлой прошлогодней травы и пробивавшимися кое-где зелёными волосками травы нынешней. Дорога потянула вверх, началось мелколесье, кустарник. Тропка свернула с дороги влево, круто в гору. Васятка бежал впереди, бойко шлёпая растоптанной обуткой по лужам. Сажин тоже особо не выбирал дорогу, — бесполезно, — только старался не смотреть на свои хромовые сапоги.

Тропу обступили высокие деревья — берёзы, ели. Наконец выбрались на макушку угора — голую полянку с огромным камнем-валуном посередине.

С трёх сторон поляну охватывал негустой лес, а четвёртая была распахнута на реку и заречное село Воздвиженье, раскинувшееся вдоль реки и вглубь берега. Воздвиженский храм с колокольной белел стенами, тянулся крестами к небу прямо напротив угора.

— Вот он и есть, Марьин камень, — сказал Васятка, шмыгнув опять носом и с интересом уставился на Сажина, думая, наверное: “И чего это офицеру тут надо?”

Ротмистр оглядел камень — древний, кое-где покрытый бело-зелёным лишаем, с чётким чашеподобным углублением в верхней части. Камень явно был когда-то специально поднят на эту гору от реки, берега которой изобиловали подобными валунами, правда, меньшего размера. Сажин и размер прикинул, достав из сумки моток бечёвки, — диаметр и высоту узелками отметил. Васятка увлечённо помогал ему...

— Дяденька, — спросил, — а ты зачем камень меряешь?

— Это, брат, похоже, не простой камень. Не всегда ведь и мы, русские, христианами были, молились вот на таких горках у таких камней своим богам твои предки... Напишу в книжке про ваш камень.

Сажин действительно уже предвкушал, как возьмётся за статью об этом камне для губернского археологического сборника, готовящегося к изданию в этом году, и для губернской газеты. Иван Алексеевич Сажин был активным членом кружка любителей археологии и краеведения.

Васятка мало что понял из его объяснения, но не забыл про пистолет.

— Ну, давай, пробуй. — Сажин неторопливо протёр стёкла очков платком, достал оружие, взвёл курок, встал позади мальчишки, револьвер вложил в его руки, но и сам придерживал, помог навести на разлапистую сосну, кора которой была похожа на чешуйчатый, местами растрескавшийся панцирь. Грохнул выстрел. Пуля, смахнув попутно макушку молодой берёзки, плотно вцепилась в сосновый ствол. А из кроны вдруг сорвалась большая

круглоголовая птица и проплыла над мужчиной и мальчиком, опашнув их широкими крыльями...

...Впереди шёл высокий седой старик, облачённый в длинную, до колен, белую рубаху, перехваченную по поясу зелёным кушаком в какой-то сложной вышивке. На подоле, на рукавах, широких и длинных, и на горловине рубахи — тоже вышивка. Длинные седые пряди перехвачены кожаным ремешком, опирается старик на резной посох с навершием в виде круглоголовой птицы с полурасправленными широкими крыльями. За ним под руки ведут девушку в венке из луговых цветов, в длинной, до пят, рубахе. Идёт она будто бы в полусне, с прижмуренными глазами, и на губах её — смутная улыбка. Ведут её две старухи, горбленные, косматые... За ними — толпа мужиков, баб, детей... Но у рожицы перед угором все останавливаются. Тут девушка оборачивается, говорит что-то, кланяется до земли, и все люди кланяются ей... Все что-то говорят или поют, но ничего не слышно. Звуки не проходят сквозь уплотнённый воздух. Дальше, на угор, где лежит камень, идут лишь старик-волхв и девица, ведомая старухами... И застилает всё туман, а когда рассеивается — открываются огромные костры вокруг камня, девушки и парни прыгают через огонь, и убегают они в черноту ночи от костров под угор, к реке... И опять туман за клубился, и откуда-то издалека, из дымки туманной идут люди с неразличимыми лицами, в белых одеждах, женщины — в рубахах до земли, мужчины — в подпоясанных рубахах и портках. Идут, идут на него, Васятку (он как будто бы очнулся, осознавал, что это он всё видит и понимает), и вдруг, остановившись, кланяются ему низко, разворачиваются и уходят, уходят в дымку, в туман, не видны уже...

Мальчишка очнулся, попытался встать и не смог. Сажин подхватил его. — Что ты, брат, что ты... — и снова шлёпнул его по щекам.

Васятка потряс головой, стряхивая с себя морок, и, отстраняясь от офицера, встал на ноги.

— Пойдёмте домой, — твёрдо, по-взрослому сказал он.

— Ну, пойдём, пойдём. Напугал ты меня...

В доме Сажин расплатился за постой с Верой Егоровной и пошёл к Кочерыге, с которым ещё с вечера сговорился о перевозе в Воздвиженье...

...И уже лежит Васятка, внутренним жаром горя, что-то шепчут его губы, и он всё скидывает с себя отцовский тулуп. А мать тулуп поправляет, приподнимает голову, даёт питьё. Зовёт Полину:

— Послушай, чего он бормочет-то, ничего я, дак, не разберу.

Полина садится рядом с братом (он сейчас лежит на той самой лавке за печью, на которой доживала свои дни бабушка), тоже оправляет на нём тулуп, силится понять слова.

— Это я... из-за меня... Из-за меня...

Поняла сестра, вспомнив рассказ матери о последней бабкиной “стопочке”:

— Себя он винит. Жалеет бабушку.

— Ой, мило-ой... — вскидывается будто для плача мать, но сама себя отсекает.

Ночью уж, в темноте спускается Полина с печи к Васятке (мать спит на кровати), трогает горячий его лоб, касается вялой сухой ладонки и вдруг, перекрестившись торопливо, прикрыв глаза, положив снова ладонь на лоб ему, шепчет то, что слышала от бабушки, когда та выхаживала её, Полину, больную: “В океяне-море пуп морской, на том пупе — бел-горюч камень Олатырь, на бел-горюч камне Олатыре сидит белая птица, залетала тая белая птица к рабу Божиему Василию и садилась на буйну голову, на самое темя, золотым клювом выклёвывала, серебряными когтями выцарапывала, белыми крыльями отмахивала привороты, и наговоры, и всяку немочь за си-не океян-море, под бел-горюч камень, под морской пуп! Так тому и быти, аминь!” И губами к горячему лбу его приложились, и крестом осенила...

Восемь дней лежал Васятка в бреду и не знал о том.

...Очнувшись, он сперва не понял, где он и что с ним... Лежал он на той же лавке за печкой. В доме было тихо, и было даже слышно, как на дворе перестукивает копытцами телёнок... Где были сестра и мать, Васятка не

знал. Приподнялся, увидел рядом с лавкой, на табуретке, чашку, попил. Квас. Покачиваясь, встал и пошёл на крыльцо. Солнечный свет ослепил, опьянил воздух. Васятка едва снова не потерял сознание...

## 2

Иван Сергеевич Потапенко, потомственный питерский пролетарий с малороссийскими корнями, побывавший и членом гапоновской организации, и эсером, с 1912-го — член РСДРП.

В тот вечер он старался всё сделать так, как подсказал ему старик Кочерыга.

Плот на воду столкнул уже в темноте, сначала вёл его вдоль самого берега, а за первым поворотом стал править через реку: именно здесь, по словам старого рыбака, нужно было переплыть к другому берегу. Длинный шест почти весь уходил в воду, но всё же доставал до дна даже на середине — не соврал старик. Отчаянно толкаясь от дна, он пересекал реку, второй, запасной шест лежал у ног, и всё же соскользнул в воду при опасном наклоне плота. Весь небогатый скарб беглеца в заплечном мешке — даже если Потапенко свалится в воду, мешок при нём останется... Но не свалился, вытолкал плот на спокойную воду у противоположного берега, теперь вдоль него поплыл.

Мост был построен в узкой горловине, сейчас лишь сваи торчали из воды, сжатой высокими берегами бурлившей, бесившейся реки... Потапенко понял, что здесь не пройти на плоту. (Вспомнил слова Кочерыги: “Как к тому-то берегу переплывёшь — всё гляди вперёд, увидишь часовенку и приставай, дальше негде будет — расшибёт о сваи”. Вон часовня-то совсем рядом уже...) Пытался прибиться к берегу, но не смог, плот садануло о сваю, и необоримая сила скинула Ивана Потапенко в ледяную воду. Он сперва всё же ухватился за склизкую сваю, успел оценить своё положение — берег рядом, но крутой, обрывистый, ухватиться не за что, не выбраться, и, глянув вперёд, Иван Сергеевич оттолкнулся, отдался течению. Его чуть не пронесло мимо отмели на излучке реки, из последних сил выгреб он к плоскому берегу, на карачках выполз на глинистую землю, лёг. Но сразу поднялся, заставил себя сначала идти, а потом и бежать, чтобы не простудиться... Темно было, небо туго затянуто тучами — ни звезды... Он продрался сквозь прибрежные хлёткие кусты. Перед ним было поле, слева — чёрной стеной — лес, а справа, вниз по реке, почудились очертания домов, и он побежал в ту сторону. Вот уж и крайняя изба видна, и свет тусклый лучинный в окне чуется. Потапенко не стал искать калитку, под жердину огорода подлез. “Хорошо, собаки нет”, — подумал он, поднялся по скользким ступеням крыльца, на верхней оскользнулся, ударился коленом, встал. Стукнул несильно в дверь, потом ещё — посильнее, услышал шаги.

— Кто там? — спросил грубый женский голос.

— Откройте, пожалуйста. Мне бы обсохнуть. Я заплачу.

Послышался звук сдвигаемого засова...

...Месяц пролежал Иван Потапенко в доме Ульяны Шаравиной. Похоронку на мужа получила она ещё в конце четырнадцатого. Жила со старухой матерью и двухлетним сыном. У зятя и свекрови не осталась. Не любили они невестку за то, что Пётр их взял её самочинно, да и бесприданную. Как получила похоронку, отгоревала положенный срок и в материн дом вернулась.

Месяц выхаживала она Ивана, строго наказав матери никому не говорить. Да та по немощи и не выходила из избы, но за внучком как-никак приглядывала. Всё хозяйство, хоть и не ражее, на Ульяне было.

...Иван выплывал из жаркого марева... Радужные круги разбегались в глазах... Усилием воли он будто утвердился на твёрдой почве, остановил это покачивание... Он увидел глаза, любопытные, озорные и испуганные одновременно, уставившиеся на него. Мальчонка, кроха совсем, в рубашонке до пола. И Потапенко, усмехнувшись через силу, выдавил из себя:

— Здорово, пострел... Где мамка-то?..

Глазёнки округлились в удивлении. И вдруг мальчонка ткнул в него пальчиком:

— Тятя!..

Тут и Ульяна вошла. Потапенко сейчас будто впервые увидел её. Помнил из той ночи, когда явился сюда, только голос, сильные руки да ещё как коснулася его щеки выбившаяся из-под платка прядка...

— Здравствуй, хозяйка... Извини уж...

И вдруг откуда-то из невидимого угла — хриплый старушечий голос:

— Ульянка, ожил, чё ли?

— Ожил.

Иван Потапенко, переболевший, как сам понял, воспалением лёгких, благодаря Ульяниным заботам, травяным отварам да тёплой печке был здоров, но покидать дом не торопился. Да и она не гнала...

### 3

В июле Сажины собрались в губернский город — Иван Алексеевич получил очередной отпуск по службе. Поженились они только-только весной после Пасхи, и даже свадебного путешествия у них до сих пор не было — война, служба, не до того... И вот собрались. У Ирины в городе замужем сестра, хотелось встретиться, хотелось посетить театр... Поехали.

Тёмно-зелёные вагоны, чёрные металлические подножки, рукояти на входе в вагон с набалдашниками в виде двуглавых орлов, запах угля, звон станционного колокола, близость другу друга пьянили их... И поездка в давно, в общем-то, знакомый и вполне спокойный даже по военному времени город виделась и была для них счастьем, как счастьем были все четыре месяца их новой совместной жизни...

В купе Ирина села на мягкий, с бархатистой обивкой диван, в уголок, в полумрак и оттуда посверкивала счастливо смеющимися глазами на мужа, устраивающего на багажной полке баул и чемодан... Она не стала раздвигать задёрнутые шторы на окне, сразу как бы отделившись от законного мира. Иван сел не рядом с ней, а напротив, через столик, и внимательно посмотрел в её глаза, и она ответила таким же взглядом. Звякнул на перроне колокол для отправления их поезда, и он мягко тронулся... Они говорили и молчали, и снова говорили... Иван не стал курить в купе и вышел в тамбур. Там у окна с папиросой в руке стоял невысокий коренастый мужчина в приличном, хотя и явно недорогом костюме-тройке, с гладко зачёсанными назад волосами, с усами, висящими по-сомовьи.

Сначала они отвернулись друг от друга, оттолкнулись взглядами. Но одновременно и повернулись друг к другу снова.

— Здравствуйте, господин Потапенко.

— Здравствуйте, господин Сажин.

— Признаюсь, не ожидал. Был уверен, что вы уже в столице.

— Не получилось сразу. Извините, если не оправдал надежд, — усмехнулся Потапенко. При этом он лихорадочно соображал, что делать — выйти из поезда на ближайшем полустанке или пытаться уйти от полиции уже в губернском городе, или...

— В Москву всё же? — спросил спокойно Сажин, выпуская дым тонкой струйкой (он тоже решал для себя, что делать).

— Да.

— А мы с женой в губернию...

С гудением и стуком надвинулся и полетел параллельно встречный состав. Вагоны с оконцами, в которые видно стриженные головы, платформы с зачехлёнными орудиями — воинский эшелон.

— Два года длится небывалая в истории мировая бойня. И власть, которой вы служите, ротмистр, не в состоянии остановить её ни победой, ни какими-либо другими средствами... Сами гибнут и народ губят! — сказал, сминая в плоских пальцах мундштук папиросы, Потапенко.

— А вы, окажись власть в ваших руках, сумели бы это остановить?

— Это первоочередная задача нашей партии... Да, — вскинулся Потапенко, — чуть не забыл — я читал вашу статью в газете, о Марьином камне, о язычестве... Честное слово, господин Сажин, занимались бы вы историей, как вас в жандармы-то угораздило...

Сажин докурил папиросу, смял пустой мундштук и бросил в пепельницу, вынул из кармана платок, снял и протёр очки:

— В жандармы меня угораздило по воле отца и молодому романтизму, а история и археология... Не знаю... Любое дело требует полной самоотдачи. Я же, скажу вам честно, ленив и более всего хочу покоя душевного, который и нахожу отчасти в своих исторических занятиях — вот так, пожалуй... — Он усмехнулся невесело и, твёрдо прерывая затянувшийся разговор, сказал: — Что ж, удачи, господин Потапенко.

— И вам всего доброго, — ответил Иван Сергеевич и, раскрыв дверь, ведущую в соседний вагон, шагнул туда, в грохочущий и неустойчивый межвагонный переход...

Сажин вернулся в купе. Ирина глядела из своего уголка испуганно.

— Ваня, почему ты так долго? Мне страшно... Этот состав, солдаты... Их всех убьют... Я знаю — их убьют...

— Ну, что ты, не бойся, родная... — ротмистр Сажин впервые наблюдал неожиданную истерику жены.

...Ирина успокоилась. Мерный перестук колёс, плавное покачивание вагона и его равномерное вздрагивание на стыках рельс, привычные виды северной России за окном — поля, леса, деревеньки, речки и снова поля и леса, — близкий, но, оказывается, ещё не совсем, не до доньшка души знакомый человек, с которым жить и жить, — всё успокаивало и наведало думы о счастье. И не верилось, что где-то идёт война, и горе, как ветер, носится над этой землёй...

Они попили чаю. Ирина прилегла на диване, подложив под голову подушку, взяла какую-то книгу... Иван Сажин раскрыл кожаный портфель, достал недавний номер губернской газеты. Как всякий начинающий автор (а это была всего лишь вторая его публикация в прессе), он переживал и не до конца верил, что это его мысли, записанные его рукой, облечены в печатную форму и выставлены на всеобщее обозрение. Он, немножко стыдясь жены, но и будучи не в силах отказать себе в этом, развернул газету и перечитал свою статью...

“...То, что протославянский язык близко родствен санскриту, уже давно не вызывает сомнения у специалистов в этой области (одна из наиболее серьёзных работ на эту тему — “О сродстве языка славянского с санскритским” г. Гильфердинга опубликована ещё в 1853 году).

Вновь убедился я в правоте этих выводов, побывав недавно в одном из отдалённых уездов нашей губернии, в месте, носящем поэтическое и безусловно древнее название Красный Берег. Название протекающей там речки, как и сотен других речек, ручьёв и рек в наших краях, оканчивается на слог “га”. В санскрите же, как известно, “га” — это движение. (Не отсюда ли и “нога” или “го(га)-ра”? Предположу, что “гора” (“гара”) есть — движение к солнцу (“ра” — солнце)... Впрочем, подобные предположения далеко могут увлечь нас в наших мечтах... Но ещё языковое наблюдение: выражение “трава-мурава”, повсеместно употребляемое на русском севере, фактически повторяется в санскрите, где слово “мурава” и обозначает “трава”... Следственно, арии, пришедшие на полуостров Индостан несколько тысяч лет назад, говорили на языке, остатки которого ощутимы и в языке нынешних жителей русского севера и, в частности, Красного Берега. Говорю “остатки”, но нынешний русский язык и его северные диалекты не есть ли тот самый древний праязык, лишь видоизменившийся в силу естественной эволюции? Недавние же работы индийских и английских авторов, переводчиков и комментаторов “Вед” и вовсе поражают. Оказывается, в древнейших арийских текстах описываются приполярные и северорусские реалии: полярные ночи зимой и белые ночи летом, стоящая над головой Полярная звезда, северное сияние — всё это могло придти в древнейшие индоарийские тексты лишь при условии длительного проживания именно в наших и более северных широтах...

Так что же за люди жили на месте нынешней “краснобережной” деревни Ивановки (название явно “молодое”), следы древней культуры которых удалось мне обнаружить? Неподалёку от деревни, на возвышенном берегу реки, называемом в той местности угором, на самой верхней его точке есть полянка, окружённая лесом. Поляна эта, смею предположить, искусственно происхождения, то есть когда-то на самой макушке угора деревья были специально вырублены. Посреди поляны и сейчас лежит огромный камень, именуемый в народе “Марьин камень”.

Само по себе то, что камень имеет название, уже говорит о том, что это не простой камень. А слово “Марьин” хотя и относится сейчас более к христианской традиции (например, по информации г. Угрюмова, опубликованной в прошлогоднем выпуске “Губернского археологического вестника”, в одном из уездов подобный же камень называют “Богородициным”), на самом же деле имеет гораздо более древнюю этимологию: “мор”, “мора”, “морена” — древнейшие слова, обозначающие смерть, а может быть, и богиню смерти у древних ариев (а я убеждён, что на Красном Берегу жили именно арии — пранарод, носитель праязыка)... Но слог “ма” (возможно, корень, а не слог) может указывать и на древнюю богиню урожая Макошь (она же, по всей видимости, и “мать-сыра земля”), одну из самых почитаемых у древних славян. Тем более что камень всё же явно связан с женской, возможно, жертвенной обрядностью.

Исходя из географии места, очевидно, что камень на гору был поднят от реки, где, кстати, подобные камни-валуны, наследие ледника, находятся в изобилии...”

Далее шли размеры камня, ещё некоторые данные и размышления автора... Сейчас, перечитывая статью, он видел её недостатки — многословие, неточности... И всё же — напечатали ведь! Сажин зачем-то поднёс газету к самому лицу и... с наслаждением вдохнул запах типографской краски.

Ирина спала, по-детски подложив ладони под щеку, подогнув ноги, обтянутые серой шерстяной юбкой. Иван достал из чемодана плед, укрыл жену и сел рядом с нею...

Ольга, сестра Ирины, и Константин Сергеевич Маринов, её муж, пехотный офицер, встречали Сажиных на перроне вокзала. Сёстры обнялись. Мужчины пожали руки. Носильщик с бородой-лопатой и тусклой бляхой на тёмно-синем фартуке уложил на тележку вещи приезжих и деловито покати́л их к выходу с перрона.

Рядом разгружался санитарный поезд. Медбратья — молодые ребята в военной форме с крестами на фуражках — несли носилки, ходячие раненые — с подвязанными руками, забинтованными головами — шли сами. Пожилой солдат подпрыгивал на одной ноге, едва опираясь на вторую, его поддерживала сестра милосердия — тоже пожилая, с грубоватым лицом. “Ой, полегче, сестрица, ой, полегче...” — тихонько причитал солдат...

Сажины и Мариновы замолчали...

Привокзальная площадь наполовину была заставлена санитарными каретами.

Носильщик, едва протолкав тележку к их экипажу, пристроил вместе с кучером багаж, принял плату от Константина Сергеевича, буркнул: “Благодарствую”, — и пошёл обратно к перрону, откуда всё несли и несли, вели и вели раненых...

Иван Алексеевич тревожно поглядывал на жену, но Ирина, на удивление, держалась сейчас спокойно.

А город встречал образом тихой жизни: ухоженной зеленью, спокойными прохожими, вывесками магазинов и лавок...

Вскоре подъехали к простому, но при этом просторному двухэтажному деревянному дому, отделённому от улицы невысоким забором; за домом виднелся сад, во дворе — дровяник, каретник, конура, из которой лениво выглянул седой пёс и снова убрался...

— Как хорошо у вас, Оля! Как спокойно...

На крыльцо, громко хлопнув дверью, выскочили мальчик и девочка:

— Мама, папа! Тётя, дядя!..

— Серёжа, Катя, переобуться-то... — не поспевая за детьми, вперевалочку шла старая няня...

После обеда женщины с детьми гуляли в саду. Мужчины курили в кабинете.

— Между нами: несколько дней назад состоялась встреча командующих фронтами. Были все, кроме Корнилова. Но его-то и назвали будущим Верховным... — Константин Сергеевич рассказывал свежие петроградские новости. Он лишь третьего дня приехал из столицы, где лежал в госпитале, а теперь находился в отпуске.

— Как? — недоумённо взглянул на него Сажин.

— Да-да. Нужно быть готовым к смене формы правления...

Вечером ездили в театр. Местная труппа давала “Вишнёвый сад”.

— Не стук топора по стволам, за сценой, а стрельба и “Марсельеза” должны бы слышаться в конце пьесы по сегодняшнему-то дню, — сказал вдруг Сажин, когда вышли из театра (до дома решили прогуляться пешком).

Константин Сергеевич промолчал в ответ.

— Иван... — укоризненно вздохнула Ирина, беря мужа под руку.

— А я верю, что всё будет хорошо, — сказал Ольга, тоже беря мужа под руку. — Иначе, без веры в хорошее, — как и зачем жить?..

В недалёком городском саду играл военный духовой оркестр. Тревожная музыка вальса напыляла и волновала...

И в сумерках уже не заметил Иван Алексеевич, как прикусила губу жена, едва сдерживая слёзы, только почувствовал, как сжала она его запястье...

#### 4

В Питере Потапенко оказался лишь к осени (задержался в Москве, где ему изготовили новый “чистый” паспорт на фамилию Поздняков. Иваном Сергеевичем, правда, остался).

Ещё в августе в Петрограде были арестованы тридцать членов ЦК РСДРП. Всё руководство рабочим движением практически перешло в руки Выборгского комитета, членом бюро которого и стал в январе семнадцатого Иван Сергеевич Поздняков...

Утро было хмурое, всю ночь валил мокрый снег, и сейчас не переставший и переходящий временами в холодный дождик. Поздняков подошёл к проходной завода “Рено”. Полицейский с кобурой на боку, стоявший под фонарным столбом неподалёку, дёрнулся в его сторону, хотел окликнуть, но незнакомый ему коренастый мужчина в кожаной кепке и драповом пальто уже прошёл на территорию завода. Причём и время неурочное — все рабочие и служащие уже прошли. Полицейский всё же спросил у дежурного на проходной:

— Это кто? Чего-то я не помню...

— Свои, Алексеич, — с ленцой ответил дежуривший толстый мужик. И добавил: — Инженер новый.

Полицейский глянул на круглые часы над проходной — минут через десять должен подойти казачий разъезд. Хоть казаки не больно полицию любят, а всё же с ними надёжней в случае чего... А случиться может что угодно. О забастовке опять вон толки идут. И о чём начальство думает, по одному их тут выставляя...

Поздняков прошагал за встретившим его у проходной парнишкой лет семнадцати в ремонтно-механический цех.

В раздевалке его ждали пятеро руководителей заводского комитета, со всеми за руку поздоровался.

— Ну, как, товарищи, готовы?

— Готовы. Нам отступать некуда, — за всех ответил крупный сутуловатый рабочий лет сорока с густыми рыжеватыми усами.

В дверь всунулась лысая голова с шустрыми глазками и оттопыренными ушами:

— И чего это мы, господа хорошие? Шабашить решили?



— А вот мы уже и идём. — Все поднялись, а голова быстро убралась, и будто никого и не было за дверью...

— ...Товарищи, на сегодня назначена всеобщая забастовка и демонстрация питерских рабочих... Будем пробиваться в центр города, товарищи. Лозунги наши прежние: “Долой войну!”, “Долой самодержавие!” Сейчас группами расходимся по цехам, выводим народ на улицу и организованной колонной движемся к Лиговскому мосту. Хотя большинство воинских частей на нашей стороне, столкновения с войсками возможны. Есть данные, что сформированы специальные офицерские отряды. Власть в Питере должна перейти в руки Совета рабочих и солдатских депутатов до подхода армейских частей с фронта...

— Всё ясно, Иван Сергеевич, идём!

— По цехам!

— Бросай работу!

Минут через десять раздался неурочный резкий заводской гудок, возвестивший начало стачки, напугавший молодых лошадей подъехавшего к проходной завода казачьего разъезда. Рабочие затихли, увидев казачью силу. Но передние, как по команде, молча сцепились локоть в локоть, за ними поднялось и развернулось красное полотнище с чёрными буквами: “Свобода или смерть!” И казаки молчали. “Вперёд, товарищи!” — негромко сказал Поздняков, но его услышали все, и колонна демонстрантов двинулась с заводского двора. Звякнули удила, и так же слышно всем прозвучал негромкий голос есаула: “За мной!” Казаки тронулись, но не на рабочих, а вдоль по улице — прочь от колонны. Серый жеребец на скаку приподнял хвост, и на мостовую посыпались зелёно-жёлтые “яблоки”...

...В это же время в казарме третьей роты триста двадцатого пехотного полка прозвучала команда:

— Получаем оружие, выходим на улицу строиться!

Споро разбирали в оружейной комнате винтовки, подсумки с патронами.

— Ну, братцы, как договаривались, — негромко, но твёрдо сказал коренастый широкоскулый солдат с лицом, как дробью побитым. И другие солдаты брали оружие молча, сосредоточенно, будто разбирали инструменты перед ответственной работой.

— Становись! — скомандовал командир роты капитан Ковалёв.

Построились.

— Солдаты! Бунтовщики идут к центру города. В условиях войны любой бунт — прямое предательство. Наша задача остановить их...

Семён Игнатьев стоит на привычном месте в строю. Весело и страшно ему. Страшно — потому что сегодня нужно не просто решить, с кем он (это уже решено), но и совершить поступок. И весело от того, что знает, что и другие его товарищи решились на этот же поступок. Весело осознавать себя свободным человеком.

— Равняйся, смирно, напра-а-во!

— Не надорвитесь, вашблагродие, — спокойно сказал всё тот же широкоскулый солдат, незамеченным подойдя к офицеру сбоку.

— Что? Попов, встать в строй! Командир отделения, ко мне!

— Сдайте-ка оружие, господин капитан, от греха, — сказал Яков Попов и потянулся к кобуре офицера. Тот, однако, опередил его, выхватил оружие и до того, как схватили его за руки, успел нажать спусковой крючок. Попов отшатнулся, но, удивлённо обведя всех глазами, потрогав, будто не веря, грудь, рухнул на булыжники плаца паренёк, стоявший рядом с Семёном Игнатьевым.

— Ах, ты, гнида!..

— Бей его!..

— Сволочь!..

Через пару минут на плацу лежало истоптанное, будто и не человеческое тело...

Застрелен был и прапорщик, пытавшийся по телефону сообщить высшему начальству о случившемся... Вооружённая толпа в серых шинелях вырва-

лась на улицу, по которой уже надвигалась рабочая демонстрация. И молодые крепкие парни из демонстрантов сунули руки за пазухи — к наганам. Но над серой солдатской массой красною птицей взвилось знамя.

— Ура! Ура-а! Ура-а-а!..

...Семён не сразу выбежал с казарменного двора на улицу, оцепенело смотрел он на брошенное тело молодого солдата. Потом подошёл к растоптанному телу капитана. Глаза мертвеца, наполненные тёмно-серым небом, упирались в него. Семён, отвернувшись, быстро, обеими ладонями прикрыл веки мёртвому командиру, лишь тогда снова повернул лицо к нему. И увидел вывернутые карманы шинели — кто-то успел, воспользовавшись суматохой, пошуровать в них. А рядом, на мокром бульжнике плаца, придавленный тяжёлой от крови полой шинели, лежал конверт. Семён зачем-то поднял его, сунул торопливо в карман.

— Что, братишка?.. — спросил вдруг подошедший откуда-то мало знакомый Семёну солдат, не дожидаясь ответа, понимающе покивал. — Табачком-то не угостишь?

Семён полез за кисетом:

— Прибрать бы надо... — глухо сказал, кивнув на мёртвые тела.

— Да, ладно, потом! — махнул сослуживец. — Пошли, а то отстанем от своих. — И оба пошли торопливо к воротам, за которыми слышалось гудение толпы, шарканье и стук подошв о мостовую. И всё это сливалось в единый звук — будто ползла и шипела огромная рептилия...

...— На Лиговском мосту пулемёты, — доложил тот паренёк, что встречал Ивана Позднякова у проходной завода.

“Если пойдём по льду, посесть могут всех. Они сейчас на всё готовы”, — оценил Иван Сергеевич положение.

— Стойте, до моей команды не двигаться! — Потапенко-Поздняков вышел из-за прикрытия угла дома. Качнулся за ним солдат, придерживая на плече винтовку с примкнутым штыком.

— Подожди, товарищ, — остановил его Иван Сергеевич. Двинул к мосту, где за мешками с песком виднелись винтовочные штыки, а между мешками — тупое рыло пулемёта.

— Стой, кто идёт?

— Свои!

— Свои пароль знают. Ко мне! — скомандовал офицерик в светло-серой шинели и глубоко натянутой фуражке, вышагнувший из-за мешков. — Кто такой?

— Я представитель Выборгского комитета партии социал-демократов... Товарищи солдаты! Ваши братья рабочие хотят пройти на Невский и к Зимнему, чтобы заявить царскому правительству свои требования. Братья солдаты, не стреляйте!

— Молчать! — офицерик судорожно тянул, дёргал наган из кобуры.

Грохнул выстрел. Иван Сергеевич опередил офицера. Он ждал, что сейчас и в него ударит винтовочный залп или срежет пулемётная очередь.

...Офицер лежал с неестественно подогнутыми ногами, с ужасом на лице, тёмное пятно расплывалось на серой шинели, на груди...

И выстрел грянул. Поздняков вздрогнул.

— Не бойся, товарищ, иди сюда, это мы тут второго — сами...

Высокий солдат в папахе и с подкрученными усами вышел из-за мешков, махнул призывно рукой.

Поздняков подошёл. Ещё человек пять солдат стояли над телом ткнувшегося лицом в мостовую, лежащего у пулемёта офицера.

— Сюда, товарищи! Путь свободен! — Поздняков махнул рукой, и из переулка потекла на мост тёмная людская река...

Центр Петрограда заполнен солдатами, рабочими, мужчинами и женщинами.

Свершалась февральская, “бескровная” революция.

## Глава вторая

### 1

— Всё это, батюшка, сильно напоминает гапоновщину, тот с рабочими заигрывал, вы — с крестьянами... — говорил ротмистр Сажин, прихлёбывая с явным удовольствием чай из фарфоровой чашки, прикладываясь серебряной ложечкой с витым черенком к розетке с земляничным вареньем.

Тёплый июльский вечер. На веранде усадебного дома Зуевых сидят трое. Жандармский ротмистр Сажин — молодой, подчёркнуто аккуратный, с высоким открытым лбом (волосы приглажены назад), тонкой полоской усов, лихо закрученных кверху, и едва заметной ухмылкой, притаившейся в твёрдо поджатых губах. И в глазах, коричневато-зелёных за стёклами очков в тонкой оправе, тоже будто бы постоянная усмешка и вопрос. Настоятель Крестовоздвиженского храма отец Николай с окладистой, начинающей седеТЬ бородой, длинные волосы собраны в косицу, нос крупный, густые брови, глаза спокойные серые, и говорит он спокойно глуховатым своим голосом:

— Иван Алексеевич, не могу с вами согласиться. В чём же гапоновщина? Ежели крестьяне меньше пьют или же и вовсе отказываются от хмельного, меньше и драк по праздникам, больше и достаток в домах... Да если б не их, тех же крестьян пожертвования — не было бы ни чайной, ни библиотеки, ни школы. — Но тут же батюшка и оговорился:

— Отдаю должное, не было бы ничего этого и без пожертвований Алексея Павловича.

Алексей Павлович Зуев, подполковник в отставке, наследный владелец усадьбы, высокий, худой, с обширной плешью, с морщинистым, сильно состарившимся за последний год лицом, сдержанно кивнул на похвалу священника. Два года назад в Польше погиб его сын Иван, а в апреле из Петрограда пришла весть о гибели жениха дочери Елизаветы. Ей причину не говорили, но Алексей Павлович знал, что погиб капитан Ковалёв от рук вышедших из повиновения солдат собственной его роты... Со времени получения горького известия это были первые приглашённые гости в доме Зуевых. Правда, Елизавета Алексеевна, подойдя под благословение отца Николая и сдержанно поздоровавшись с Сажиным, сразу ушла в свои комнаты и больше весь вечер не показывалась... Хозяйка же дома — противоположность мужу своей округлостью и невысоким ростом — Софья Сергеевна будто перекатывалась из дома на веранду, а то в саду за домом или в цветнике, или где-то за деревьями парка слышался её голос. Постоянно живущих при усадьбе, нанятых для работ или же просто приживал было здесь довольно много, были даже старики из бывших крепостных. Всем Софья Сергеевна работу находила.

— Что ж, отец Николай, соглашусь: в чайных ваших и прочих аптечках да библиотечках ничего крамольного нет, хотя, уверен, и польза невелика... А вот то, что вы не ныне правящие власти, а отрёкшегося царя и семью его поминаете... Нарушая установления и высшей духовной власти... А? — допив чай и посмотрев зачем-то сквозь тонкий фарфор чашки в залитое солнцем небо, проговорил Сажин.

— А вы-то кому присягали, господин офицер? — напряжённым голосом вопросом на вопрос ответил священник и склонился к столу, при этом золотой его крест, недавний дар “от общества”, пристукнул о застеленную голубой скатертью столешницу.

— Временному правительству, разумеется. Присяга же императору, на которую вы указываете, потеряла силу после его отречения.

— Вот именно, что временному... России без царя не жить.

— Живём же... Временное, да. Но скоро будет не временное...

— И я, господа, убеждён, — вступил в разговор Алексей Павлович Зуев, — что будущее государственное устройство России должно определить Учредительное собрание граждан...

— Нет. Ничего оно не определит, — уверенно и даже заметно грубовато ответил Сажин. — Похоже, что другие люди, никого особенно и не спрашивая, власть заберут.

— Это какие же, позвольте узнать?

— Да вот, наподобие сбежавшего социал-демократа, — Сажин кивнул в сторону реки, с другой стороны которой, из Ивановки ушёл прошлой весной ссыльный. — Уверен, что он сейчас в Петрограде, среди этих... большевиков. Им терять действительно нечего, а получить могут власть...

— Народ и власти должны одуматься и коленопреклоненно просить о возвращении на престол царствующей династии, — гнул свою линию отец Николай.

— И, конечно, приход к власти людей, подобных этому Потапенке, будет тяжелейшим, возможно, смертельным потрясением для России, — будто сам с собой рассуждая, говорил Сажин. И решительно, как отрезал, подвёл итог своим мыслям:

— Только военная диктатура может остановить их...

## 2

Лиза раскрыла толстую, в бархатном, протёртом на углах переплёте тетрадь — семейную реликвию. Сегодня утром она взяла её из книжного шкафа в отцовском кабинете. “Николай Зуев. Заметы моей жизни” выведено на первой желтоватой странице витиеватым почерком и дата внизу — 1849. Николай Зуев — личность в их семействе легендарная, брат её прадеда. Умер он молодым, а знаменит вот этой тетрадью, которую и раньше листала Лиза с дозволения отца, а прочесть от начала и до конца впервые решилась сегодня.

“О, память сердца!

Ты сильнее рассудка памяти печальной...”

(Несчастный Батюшков, кажется, ещё живущий в Вологде).

Явился на свет я в день Усекновения главы Иоанна Крестителя, в 1822 году, седьмым и последним ребёнком своих родителей. О первых годах своей жизни сказать ничего не могу, потому как помнить их невозможно. Хотя явственно помню мягкие, пахнущие молоком руки нянюшки моей Власевны. Рос я баловнем у родителей — всё мне позволялось. Думаю, что это и стало причиной моего скверного и крутоватого характера. И когда для укрощения меня стали употреблять прут, было уже поздно. Было у меня три сестры и три брата, из коих одна сестра и один брат умерли, не достигнув возраста юности, остальные же Божьей милостью живы и ныне.

Пришло же и то роковое для меня время, когда объявили, что мне пора учиться...

А с каким удовольствием мы, дети, плавали в лодке по нашей реке, а порою и высаживались на противоположном, носящем название Красный, берегу. Поднимались на гору, с которой открывался прекрасный вид на наш Воздвиженский берег. А камень, который крестьяне зовут Марьиным, и ныне лежащий там, пугал легендами и обрядами, связанными с ним, но и манил к себе...”

Лиза оторвала глаза от книги. На стене перед ней висел портрет в овальной раме — бледный худощавый молодой человек, с зачёсанными вперёд висками по моде тридцатых годов прошлого века, внимательными и грустными глазами глядел на неё. Был ли это Николай Зуев, автор “Замет...”, или один из его братьев, теперь уже не мог достоверно сказать никто, подписи на портрете не было, имя художника тоже осталось неизвестным, но утвердилось мнение, что это и есть Николай Зуев — брат её, Елизаветы Зуевой, прадеда... “Господи! Жили в золотое незабываемое время, в богатом именье, в почёте царской службы мужской половины семьи, в заботах по хозяйству и волнениях о здоровье многочисленных детей половины женской, во всём этом не отягощающем богатстве, хлебосольстве, барстве... И ведь тоже от чего-то страдали!”

“Как это, как это — Мити нет?” — прошептала она или только подумала, вспомнив того, о ком старалась хотя бы на время забыть...

Как-то уж так случилось — храня почти год неотправленное письмо капитана Ковалёва, Семён Игнатьев прочитал его. Конверт не был запечатан, а на конверте был написан адрес и имя получателя... И не жалел, что прочитал, — нельзя было барышне Елизавете Алексеевне получать это письмо. А передать его всё-таки было нужно...

От станции до Воздвиженья — пятьдесят вёрст. Сперва подвёз его какой-то старик, ездивший на станцию за покупками, но недалеко, вёрст десять. Потом Семён долго шёл пешком. Переночевал, не просясь ни к кому, у костерка на берегу речушки... С утра снова пошёл — теперь уж вёрст двадцать оставалось...

Время было сенокосное. С утра стояло ведро. Тёплый ветерок прилетал с родной стороны, казалось, приносил запах родной реки, сена.

Почти недельная поездка от Питера в душном переполненном вагоне вымотала его, постоянно болела голова — давала знать о себе контузия. Но к дому ноги сами несли... Послышался хрип, шлепки копыт по мягкой дороге. Семён обернулся, уступил путь. Сидевшую на телеге бабу он узнал, видывал раньше в церкви в Воздвиженье, а жила она, кажется, в какой-то из деревень вниз по реке.

— Здорово, солдат, — первой грубовато окликнула она.

— Здорово, коли не шутишь, — в тон ей откликнулся Семён.

— Садись-ка, служивый, до Воздвиженья подброшу. Ты же, кажись, Игнатьев, Семён?

— Семён и есть, отслужил, девушка, своё, — ответил Семён, присаживаясь на задок телеги, в которой лежали какие-то мешки, и в них металлически позвякивало: похоже было, что скобы и гвозди...

— Вот, всей деревней на станцию снарядили. Кому чего купить... В Воздвиженьи-то лавки закрылись...

— Так ты со станции едешь? А я-то ноги топтал, да смотри-ка, ведь и обогнал...

— Нам торопиться некуда...

— Что уж, больше-то некого было послать?..

— А где вас, мужиков, наберётся-то, много ли вас вертается-то...

— Твой-то пишет? — спросил Игнатьев неосторожно.

— Похоронка.

— Прости, Ульяна. — Он вспомнил и мужа её — Петра Шаравина, вместе призывались, но сразу после карантина попали в разные части и больше не виделись. — Стой! — вдруг скомандовал. — Что ж за народ, отправляют, а колёса не смазать, и скрипит и скрипит, ведь так все нервы вымотать можно... — Семён бормотал себе под нос, ругал неведомо кого. Да сам себя ругал-то. — Дай-ка дёготь-то. — Баба подала берестяную колобашку с дёгтем, заткнутую тряпицей...

— Вот так, солдатка! — закончив смазывать колёса, сказал Семён. — Пойду-ка, сполосну руки. — Он свернул с дороги влево, там под берёзовой горюшкой шустрил ручей, впадающий потом в реку. Склонился над чистой водой. Дно песчаное. И Семён подхватывал белый песок, тёр им давно загрубевшие, почерневшие ладони... Услышал шаги сзади, обернулся. Ульяна шла, спустив платок с головы на плечи, придерживая его за кончики, — шальной огонь в глазах, а на губах — горькая улыбка...

И сейчас, расставшись на отворотке дороги с Ульяной Шаравиной, проходя Воздвиженьем мимо усадьбы Зуевых, Семён встал у ограды со стороны сада, слышал, как перекликались в кустах малины и смородины девки. Увидел одну, белобрысую, в сарафанишке, босую:

— Иди-ка сюда, толстопятая. Да иди, не бойся, — позвал Семён девушку.

— А я и не боюсь. Чего? — подошла, а всё ж на подруг оглядывается.

— Вот что, голубоглазая, вот тебе пакет, передай его старшей барыне. И только ей. Поняла?

— Чего не понять... А ты, дяденька, с войны?

— С войны.

— А нашего-то папку там не встречал?

— Как фамилия-то? — серьёзно спросил Семён.

— Ивановы мы. Пантелей Григорьевич зовут.

— Нет, голубоглазая, не встречал. А до войны знал твоего батьку. Да призывались-то мы в разное время. На-ка, — достал из вещмешка заветную круглую коробочку, скovyрнул крышку плоским широким ногтем, — возьми момпасейку-то.

Девка (да девчонка ещё совсем — лет тринадцати) опять оглянулась на подруг, взяла конфету робко, но в рот засунула моментально, как и не было сладкой ледышки. Взяла конверт, кивнула, отвернулась от Семёна, сунула за пазуху.

— Да ты не мни, неси сразу барыне!

Девка обернулась, хотела, поди-ка, поспасибовать, но рот раскрыть побоялась, только кивнула и побежала, придерживая левой рукой подол, держа в правой лукошко с ягодами, мелькая щиколотками в траве...

А Семён вскоре спустился к реке. Вон он, Красный Берег, вон и крыша родного дома, вон и банька с серебристыми стенами... Во рту пересохло, и сердце застучало где-то в горле... Стал, оглядывая берег, искать лодку...

“Милая Лиза, здравствуйте!

Уже вторая неделя, как полк наш стоит в Петрограде. В последние месяцы нас изрядно потрепали — отдых необходим. Но, к несчастью, нахождение наше в столице, в бездействии, явно деморализует солдат. Там, на передовой, враг очевиден. Здесь — враг ползучий, внутренний. Всяческие социалисты разлагают солдат. Дай Бог нам выстоять в эти тревожные дни и выполнить свою миссию в нужный час.

Вспоминаю то лето трёхлетней давности, наши прогулки в окрестностях милого, ставшего для меня родным Воздвиженья. Берег, заросший кашкой, словно мягкий бело-зелёный ковёр у нас под ногами, и лиловые султаны кипрея вдоль дороги. Вспоминаю разговоры с мужиками и отцом Николаем, весь тот довоенный мирный покой... И Вас, милая Лиза, в белом воздушном платье, то улыбчивую, а то задумчивую... Ничто в мире не повторяется! Но я верю в наше будущее счастье.

Этим летом надеюсь всё же получить отпуск и, навестив матушку, приехать к Вам, в Воздвижение.

Передайте, пожалуйста, поклон и самые лучшие пожелания Вашим родителям. В следующем письме более подробно напишу о питерском нашем житье-бытье. А Вы, пожалуйста, пишите подробнее о своём.

Остаюсь вечно Ваш — Дмитрий Ковалёв”.

Софья Сергеевна прочитала письмо.

— Чего стоишь? — шикнула на девку. — Или все ягоды обобрали?

Босоногая почтальонша подхватила рукой подол и убежала к подругам, которым вскорости и рассказывала:

— На Красный Берег солдат-то шёл. Игнатьев. Письмо... Барыня-то, как прочла, аж пошатнулася...

#### 4

“...Наконец же перевели меня из моей спальни в общую с братом комнату, а вместо няньки приставили ко мне дядьку Матвея, — писал в дневнике Николай Зуев. — Видя брата своего иногда читающим книги, я и сам вздумал читать их...”

Николай Зуев отложил перо, промокнул тяжёлым пресс-папье и присыпал золотистым песочком исписанный лист, поднялся из кресла, надел висевший на плечиках на стене старый китель, натянул стоявшие тут же сапоги, застегнул на поясе патронташ, надел полотняную фуражку, снял со стены ружьё и, не потревожив никого в доме (было ещё раннее утро), вышел во двор.

— Здравствуй, Макар, — окликнул он дремавшего на ступеньках флигеля старика-сторожа, зябко запахнувшегося в армяк.

— Доброе утречко, Николай Владимирович, — отозвался старик и поднялся.

— Ну, как погода нынче?

— Вёдро будет, барин.

Зуев прошёл аллеей парка, вышел за ворота и мимо церковного кладбища спустился к реке, отвязал лодку, вставил в уключины вёсла, поплыл в туман...

Он приткнул лодку к берегу, вышагнул из неё, остушился при этом в воду, досадливо поморщился, выдернул лодку на галечник и песок, поправил патронташ, поддёрнул ремень ружья на плечо. И застыл, будто в растерянности. Ну, действительно, не на охоту же он приплыл сюда, какая здесь охота... Пошёл вверх по тропе, к Марьину камню. Снял ружьё, поставил, упревил его о камень, обмял траву и сел... И понял, что никуда не уплыл, не ушёл от тех мыслей, что не давали покоя и дома... “Как же случилось, что я, обычный дворянский мальчик, воспитанный во всех обычаях и предрассудках уездного дворянства, но всё же в вере, в христианской любви, в тяге к добру, к тридцати годам потерял и веру, и любовь, да, пожалуй, и тягу к добру в том понимании, что внушалась мне воспитанием?”

“Я утратил ту наивную чистую веру, но не приобрёл веры иной. Потому что вера в прогресс и социализм не есть вера, а есть убеждение, причём уже поколебнувшееся во мне...”

Он достал из кармана трубочку с коротким чубуком — подарок петербургского дружка-гусара, — неторопливо набил табаком, перемешанным с вишнёвым листом (забота старого усадебного слуги Макара), чиркнул кресалом, подпалил от искры лёгкую бумажку, лежавшую в кисете, от неё раскурил трубку. Всё делал не торопясь, с явным наслаждением... Внизу, под угором, над рекой, над Воздвиженским берегом пластался туман. Он уже редел, ветерок разгонял его... И вот порозовел крест над храмом — вышло из-за леса, встало в речном створе солнышко. И сразу от Ивановки слышался мык коров, побрякивания их ботал, еле различимые голоса хозяек, выгонявших своих кормилиц на улицу, где поджидал их поряжённый на лето пастух... Николай нетерпеливо вытряхнул недокурный табак из трубки, поднялся, стряхнул росу с одежды и отошёл к краю поляны, встал под ширококромной сосной так, чтобы видеть тропу, ведущую сюда от деревни. И сначала услышал, потом увидел её — в тёмно-синем сарафане, белой с красным узором по краю рубахе под ним, с лентой синей (его подарком) на голове, тугая коса вперёд на грудь брошена, испуг и радость в глазах. И Николай, не в силах больше терпеть, с колотящимся сердцем, вышагнул навстречу...

## 5

— Николаша, правда ли то, что говорят... Все, даже дворня? — преодолев видимое смущение, спросил Николая Зуева его старший брат Пётр, нервно набивая трубку. Он лишь вчера приехал из Москвы, получив отпуск в своём пехотном полку.

— Да, — ответил Николай. И тут же торопливо добавил, стараясь пресечь дальнейшие расспросы: — Но это моё личное дело!

— Нет! Это не только твоё дело. Это касается чести семьи. Что ты делаешь с родителями!.. А об этой... крестьянке ты подумал? Что ждёт её...

— Прекрати, Петя... Это слишком серьёзно для меня...

Они курили в бывшей детской, переделанной нынче под кабинет Николая. Пётр сидел на старом, обитом давно вытертой кожей диване, нервно затягивался дымом, подкрученные усы его при этом приподнимались и опускались, придавая лицу то злое, то удивлённое выражение. Николай стоял у окна, смотрел в парк, где уже совершала перемены осень...

— Может, ты и женишься на ней? — с вызовом спросил Пётр.

— Может, и женюсь, — так же с вызовом ответил Николай.

— Подлец, — тихо, но твёрдо сказал старший брат.

— Замолчи... мерзавец...

Они уже стояли друг против друга, глаза в глаза.

— Я убью тебя.

— Я сам тебя убью.

...Оба были, как в бреду. Но действовали при этом осторожно и расчётливо. Так, что никто и не догадывался, к чему они готовились. Так в детстве, задумав, тайком готовили они и даже почти совершили “плавание в Америку”: лодку с мальчишками, где лежала и старая отцовская сабля, и запас продуктов, и даже карта мира, перехватили уже у города...

— Скажи, что ты одумался, — требовательно сказал Пётр, заряжая при этом пистолеты.

— Нет.

Они стояли на поляне у Марьиного камня.

Пётр больше не говорил ничего, сунул в руку брата оружие и отошёл к краю поляны. Николай отошёл к другому краю, развернулся. И одновременно грохнули выстрелы.

Филин сорвался с кроны сосны, широко расправив крылья, сделал круг над поляной и вновь стал невидим в широких густых ветвях.

Пётр бросился к лежавшему недвижимо брату. Он был уверен, что выстрелил мимо, и даже был уверен, что видел, как пуля вошла в сосновый ствол. Но брат мёртво лежал перед ним...

— Николаша... Коля!

Брат был жив, пуля не задела его. Но он был без сознания...

...Воздух, тронутый широким крылом птицы, опахнул его... Девки вели хоровод вокруг камня. Пели что-то невнятное и заунывное. А были все в белых исподних рубахах с венками из купальниц на головах, с распущенными волосами. И Дуня его здесь. Вдруг все они уставились на него и с неслышимым визгом, порвав хоровод, убежали за деревья. А Дуня, тоже отбежав к кустам, оглянулась, и несмелая улыбка озарила её лицо...

От реки в дом помогли донести его старый слуга Магар и франтоватый кучер Лёвка, уложили Николая на тот самый диван в бывшей детской.

— Да что же это с ним, что же... — твердила мать.

— Как это случилось? — стараясь скрыть волнение, резко спрашивал Петра отец.

В тот же день к Дуне посватался вдовец из соседней деревни, её родители незамедлительно дали согласие (мать Николая уладила это дело через бойку и верную семью Зуевых старую няньку).

В тот день, когда Николай пришёл в себя, Дуня венчалась в Воздвиженской церкви.

Пётр не находил себе места. И когда узнал, что Николай очнулся, бросился в его комнату, попросил выйти всех, встал на колени перед лежавшим на диване братом:

— Прости меня. Прости ради Бога...

— И ты... — слабым голосом откликнулся брат.

## 6

По выздоровлении (а болезнь Николая заключалась в “потрясении нервов”, как пояснил привезённый из города доктор) он не долго побыл в имении. Вскоре уехал в Москву, где поступил на медицинский факультет университета.

Там жил он у какой-то дальней родственницы, которую называл “тётушкой”. Жил тихо и почти бедно, кроме присылаемых из дома пятидесяти рублей в месяц, заработка не имел. Учился прилежно и успешно. По окончании курса Николай вернулся в родной губернский город, в родной зуевский дом. В Воздвиженье на лето он не поехал.



Военные действия в то время принимали особо горячий оборот, “союзный” десант высадился в Крыму. Формировалось губернское дворянское ополчение. Все в городе суетились — заказывали портным форму, покупали пистолеты и порох...

Николай Зуев в ополчение не поступал, форму не шил. Собрав дорожный сундук, он отправился на юг на перекладных.

Проезжал и Вологду.

На станциях и перегонах, если была ровная дорога, Зуев читал “Опыты в стихах и прозе” Батюшкова. Случайно или нет, но именно эта старая книга оказалась в сундуке верхней. Стихи Батюшкова казались наивными по сравнению, например, с Лермонтовым, проза изящна, но туманна. Но было в этой книге и какое-то очарование...

Город Николаю понравился: зелёный, чистый. Много двухэтажных домов с угловыми балконами, какие во множестве были и в родном городе Зуева, моду на них ввели, кажется, пленные французы. Впрочем, изящная резьба наличников и поддерживающих балконы столбов делали эти дома вполне русскими...

Деревянные мостовые, спокойные люди, ленивые собаки, вкусный обед в трактире...

Зуев решил задержаться на день.

Он миновал широкую и всё же тесную из-за трёх выстроившихся в ряд церковей площадь. По мостику, по краям которого расположились торговцы утварью и мелочным товаром, вышел на другую площадь, рыночную, шумную, но на которой тоже нашлось место для двух храмов... А далее уже виднелись обшарпанные крепостные стены. И как единое сердце города — вознесённый над городом, церквами, людьми, над всем земным центральный купол величавого Софийского собора...

Зуев постоял у древних стен, поражённый величием Софии, и пошёл к совсем близкой реке, на место, как узнал он, называемое вологжанами Соборной горкой.

Он вышел на высокий берег неширокой спокойной реки, давшей название городу. Тут была тенистая берёзовая аллея, центральная дорожка посыпана чистым белым песком, а по краям — опять деревянные, приятно пружинящие под ногами мостки. Прогуливаются по аллее нянюшки с детьми, дамы с кружевными зонтиками, степенные мужчины... По-видимому, это место для прогулок *высшего света* города...

Зуев глянул вверх и вниз по реке — на каждом повороте её (а поворотов много) купола и кресты церковей...

Невысокий плотный человек в чёрном сюртуке, не новом и не модном, но добротном и чистом, с высоким лбом, глубокими залысинами и твёрдо сведёнными, до глубокой морщины в переноси, бровями, с крючковатым носом... Николай Зуев узнал Константина Батюшкова, хотя видел лишь молодой его портрет, где он кудреватый, как барашек, с добродушной усмешкой...

Шёл Батюшков не быстро, но твёрдо, не глядя по сторонам, заложив руки за спину. По всему — совершал привычную до мелочей прогулку.

На него оглядывались. Кое-кто кивал, говорил что-то, поэт кивал в ответ.

Зуеву явился даже порыв подойти... Но увидел человека, следовавшего за Батюшковым неотступно, тоже кивавшего встречным. Врач или просто надсмотрщик, охранявший покой больного гения...

Вечером Николай писал в тетради: “Вот же судьба — три войны, ранения, стихи, первыми давшие вольное дыхание русской поэзии, подхваченное Пушкиным, — и безумие. Великий ум, чистая душа — во тьме...”

Говорят, что первоначально было буйное помешательство — попытки самоубийства и прочее. Теперь же поэт внешне здоров, но не воспринимает действительность, живёт в каком-то своём мире... А может, это счастье — жить в своём мире?..

Там, куда я еду, — война и кровь. Смогу ли исполнить долг свой?”

...Госпиталь, в котором работал Николай Зуев, располагался на Малаховом кургане, неподалеку от штаба Корнилова.

Вой бомб, ружейная стрельба, стоны раненых, запах гниющей плоти, операция за операцией — привыкнуть к этому было невозможно. Зуев, как и другие врачи, медбратья и сёстры милосердия, уже месяц спал не более трёх часов в сутки — не привычка, но тупое равнодушие охватывало, обволакивало мозг и душу... И порою чуть ли не в бреду он твердил, как молитву: “О, память сердца, ты сильнее...” И память сердца милосердно уносила его в Воздвиженье и на Красный Берег...

— Корнилов убит! — разнеслось в тот день после страшного артобстрела по Севастополю. — Командующий — Нахимов! — как надежда и вера в победу неслось вслед за горькой вестью.

Николай знал, где стоит полк Петра, но до сих пор не смог выбраться к нему. В этот вечер пошёл. Обстрел уже прекратился, и на осаждённый город опустилась вдруг благодатная тишина и прохлада. С моря тянул волглый солоноватый ветерок. По узкой, зажатой каменными стенами улочке Николай вышел на обрывистый берег. Внизу волны с шипением набегали на камни, а впереди — безбрежная гладь... И отступила куда-то война, душу захлестнуло тепло...

*Есть наслаждение и в дикости лесов,  
Есть радость на приморском берегу,  
И есть гармония в сём говоре валов,  
Дробящихся в пустынном беге...*

Сами собой, как волны, набегали батюшковские строки...

Встречный солдат подсказал месторасположение полка. Вскоре Николай нашёл выложенный каменными плитами блиндаж, где и обнялся с братом.

— Вот так, брат, воюем...

— Вот так, брат, лечим...

— Ну, садись-садись, рассказывай...

Но поговорить не успели. Послышалась недалёкая стрельба. В блиндаж ввалился офицер, лица которого Николай не разглядел в тусклом свете свечи.

— Это брат мой, — успел сказать Пётр.

— Честь имею, — коротко кивнул вошедший. — Быстрее к своим, Зуев, французы атакуют, — сказал Петру.

— Я с тобой, Петя, — вскрикнул Николай. Тот лишь отмахнулся, выбегая из блиндажа.

На редуте шла перестрелка. В сумраке какие-то фигуры бежали, падали, стреляли, снова бежали...

— Почему молчат артиллеристы? Шрапнель! — кричал кому-то Пётр.

— Нет снарядов! Не удержим...

Николай не заметил, откуда появилось знамя, увидел его уже в руках у Петра и всё смотрел, как брат его бежит, оглядываясь и что-то крича, держа перед собой двумя руками знамя. И странно — думалось о том, как тяжело Петру держать вот так знамя, да ещё и бежать...

— За мной, ребята, в штыки! — расслышал он голос брата.

Николай бежал позади солдат. И, наверное, если бы кто-то смотрел на него со стороны, казался бы нелепым здесь — в гражданской одежде, безоружный... Вспышки выстрелов, яростные крики, секунды тишины и стоны, стоны вокруг... И он увидел сквозь дым, как качнулось и пало знамя...

Всю ночь он сидел у постели, на которой умирал Пётр.

— А помнишь в Америку-то?.. А охоту?..

— Ты прости меня...

— И ты меня прости...

...Семейное предание Зуевых не сохранило памяти о дальнейшей судьбе Николая Зуева. Скорее всего, он, как и его брат Пётр, погиб при обороне Севастополя.

## Глава третья

### 1

Игорь Александрович Игнатьев давно обещал сыну Мишке съездить в Москву. И Андрея надо было повидать (отцы их были уже троюродными братьями, но всё же они считались, да и были близкой роднёй). Особенно хотелось показать письма, что нашёл на чердаке деревенского дома в Ивановке на Красном Береге.

...Отец уже не раз, вроде бы и случайно, проговаривался, что, мол, надо бы в Ивановке побывать, да боялся ехать туда — душу бередить. “Там уж, поди-ка, и нету ничего...” — вздыхая, говорил он и переводил разговор на другую тему. И Игорь решил съездить сначала сам, один. Съездил. За выходной стогнал, договорившись с приятелем, имевшим машину, соблазнив того рыбалкой. Мост в десятке километров от Ивановки, к счастью, был в исправности, и дорога по Красному Берегу вполне проходима для “Нивы”.

Тогда-то и нашёл Игорь тот старый чемодан с письмами...

Сначала отцу дал — его деда письма-то были, ещё с Первой мировой писанные. Отец письма держал у себя с неделю.

— Видывал я эти письма в детстве-то, родители хранили... Издать бы книгой их...

— Да, надо бы издать, — согласился Игорь Игнатьев с отцом. С этим и к Андрею ехал.

Ну, не чудо ли:

“В первых строках моего письма прошу от Господа Бога родительского благословения матери моей Аграфены Ивановны, которое может существовать по гроб моей жизни. Низко кланяюсь дорогому брату Михаилу и всей его семье и посылаю всем по низкому поклону. Тебе же, дорогая жена Вера Егоровна, поклон мой особый, так же и детям моим, Полине и Василию. Так же кланяюсь всем мужикам и бабам деревни Ивановки...” И дальше в таком же стиле.

А брату проще писал:

“Здравствуй, любимый брат Михаил. Вчера с 4-х полков собрались люди, хотя не все, но партия порядочная. Солдаты с красными флагами, плакатами, на которых были различные лозунги, касающиеся войны. С каждым полком оркестр духовой музыки. На груди у многих красные банты. На винтовках были красные ленточки. Шли по шоссе в ногу, подхватив друг друга под руку, и пели: “Отречёмся от старого мира”... Действительно, хотя не все, но большая часть отреклась. Как это всё приятно видеть! Сердце трепещется от радости, и по телу пробегает мороз. Но печально было тогда, когда стояли стройными рядами и, склонив к земле знамёна и флаги, под музыку запели: “Вы жертвою пали в борьбе роковой...” Сердце тогда волновалось, и пришлось силой воли сдерживать слёзы. Стали выходить ораторы, говорили громко, ясно и правильно. Говорили — не стеснялись, что есть наболевшее при старом правительстве. Уходили с трибуны под крики “Ура” и музыку. Многие говорили о необходимости воевать до полной победы и стремлении идти вперед рука об руку. Ибо в этом состоит победа. Быть может, скоро в бой, но я без сомненья готов помереть за победу, за счастье народа. До свидания. Ваш брат С. В. Игнатьев”.

Сотни таких писем, уложенных в аккуратные стопки, перевязанных тесёмками. Игорь Игнатьев вёз их в большой спортивной сумке и не стал сдавать в камеру хранения, весь день по Москве таскал.

А Мишка молодец: в пять утра встал, весь день по Москве — и не стоял. А сегодня, уже в поезде, на обратном пути, долго молчал, потом сказал:

— Папа, а почему у дяди Андрея такой большой дом, а у нас маленькая квартира?

Не нашёлся, что и ответить ему...

...Да, дом у Андрея большой. Настоящий дом. Ну, кто успел, тот и съел. Успел он, успел ещё в перестройку хватануть, а потом уж и в демократической России не растерялся... А настоящий ли дом-то? Купленный по дешёв-

ке (по московским, конечно, меркам) у разорившегося компаньона-бизнесмена, за каменными стенами, среди таких же спрятанных за такими же стенами домов... Это не дом, а то же самое жилище, что и его, Игоря, двухкомнатная квартира, образовавшаяся в результате размена родительской квартиры, череды разменов и доплат... Жилище, не дом. Потому что дом его истинный — в деревне Ивановка на Красном Береге. Дом, оставленный и, казалось, забытый ещё отцом, сбежавшим когда-то из родной деревни в городскую жизнь... Затосковал отец-то по родине...

Месяц назад Игорь побывал там, на Красном Береге... Но он помнил и деревню своего детства, бабушку и дедушку, к которым ездил на каникулы. Впервые оказался там тридцать с лишним лет назад... Но самый первый день в Ивановке он, тогда семилетний, запомнил чётко, вернее, одну картинку из того дня: мимо дедовского дома шёл в белой, распахнутой на груди рубашке парень, опустив голову, заложив руки за спину, а рядом шёл милиционер, и шли они к жёлтой с синей надписью “Милиция” машине.

“Отгулял Серёжка, отгулял — голова бедовая. Страсть-то какая, грех-то...” — вздыхала бабушка, выглядывая в окошко. “Да уж, погулял, теперь долго сидеть будет, отдохнёт... Да вряд ли поумнеет...” — грубовато отзывался дед Василий. А отец расспрашивал — что да как. Они и рассказали, и Игорь запомнил:

— Пришёл к старичкам Забориным. Денег стал просить. А Николай-то Николаич, хоть старичок, а не испугался. А Серёга-то схватил топор и обоих... Денег нашёл да паромом в Воздвиженье, белой купил и вот два дня и пил один в избе, пока милиция-то не приехала, боялись и зайти-то к нему...

Отец тогда вскоре уехал, а Игорь всё лето жил Ивановке. И сейчас помнил, как с опаской обходил дом, в котором случилась та страшная беда.

Лет, наверное, восемь каждое лето он ездил в Ивановку. Все те летние дни сливались в его памяти в одно: деревенская улица — тракторные колеи, зелёная мягкая мурава, просторные огороды, чёрные избы; река — рыбалка, купание; лес — грибы, зелёный листвяной ветерок; бабушка, дедушка — доброта их... Детей, кроме него, в деревне почти никогда не бывало. Но он не скучал, он любил лес и реку, бабушку и дедушку. И весь тот мир отвечал ему любовью. И был ещё Марьин камень... О нём говорила бабушка Катя: “Кто у Марьиного камня поспит — прошлое и будущее узрит. Это мне ещё моя бабушка говорила. Да не всегда и не каждому камень открывается. Только чистой душе”. Но сама же бабушка и говорила: “Сказки всё это, Игорёк. Да и камень-то с места скинули, под горку скатили...”

...В то лето повесился последний “молодой” сорокалетний мужик, тракторист Магуничев. В то лето умерла бабушка Катя, и он, семнадцатилетний Игорь Игнатьев, с дедом хоронил её на Воздвиженском кладбище. Парома уже не было: хотели, было, переправлять гроб на плоту, но дед договорился с машиной (плавал на лодке в Воздвиженье, там ещё жил колхозный шофёр Павлов, “пятьдесят третий” “газик” всегда стоял под его окнами). Везли бабушку окружным путём через мост... Отец Игоря — её сын — на похороны не успел...

Игорь брёл вдоль берега по тропке, то сбегавшей к самой воде, то карабкавшейся на кручу. Завтра он уедет в город и, наверное, уже долго не вернётся в Ивановку, где, кроме деда, и жителей-то осталось два человека, остальные, кто помоложе и покрепче, давно перебрались с Красного Берега в Воздвиженье, а то и в Жуково... Деду сказал, что пошёл рыбу удить... Нет. Не хочется. Даже леску не размотал. Бросал в воду камушки и бездумно наблюдал, как разбегаются круги от точки падения... По дороге со стороны моста шёл человек. Крепкий, коротко стриженный мужик в белой рубашке... Что-то неуловимо знакомое было в нём.

— Здорово, оголец. — Глаза прокальвающие, усмешка в углах жёсткого рта. — Ты чей?

— Игнатьев.

— Василия Семёновича внук, что ли?

— Да.

— Ну-ну. — И пошёл дальше к деревне, перекинув с плеча на плечо матерчатую сумку с какой-то надписью, что-то насвистывать стал.

И Игорь вспомнил, как вели его, тогда молодого парня, по деревне к милицейской машине...

Игорь поспешил домой, но не по дороге, а по той же тропе, затем огородом. Он почему-то ничего не сказал деду. Но с тревогой ждал, что Сергей Куликов зайвится в их дом. Не заявился, вообще будто и не заходил в деревню (из его семьи никто уж и не жил в Ивановке), и никогда больше Игорь не видел этого человека...

— Отцу скажи, чтобы приехал, — наставлял дед, — картошки пусть возьмёт, да рыжики подспеют к тому времени... Дом не продавайте... Ещё вернётеесь...

— Дед, ты о чём?..

Игорь и дед долго сидели в тот тихий августовский вечер на крыльце. То и дело по горизонту, там, где небо касалось леса, вспыхивали зарницы, слышно было, как задвигала засов бабка Спиридониха, вернувшаяся с вечернего чаёвничанья в доме Зинаиды Могуничейвой, схоронившей в июне сына... Игорь понимал, что дед прощается с ним. И от этого было страшно и тоскливо. Захотелось уйти, потянуло опять к реке.

— Да куда ночью-то? — удивился дед.

— Освежусь, дед, маленько, — будто какая-то сила гнала.

Игорь через огород и невыкошенную луговину выбежал к утору, ноги вынесли на берег к Марьину камню. Торопливо скинул одежду, вошёл в воду... Зарница ослепила его, и в тот же миг свело ногу, он выгребал к берегу из последних сил, на локтях вылез на береговой галечник, ткнулся в траву у камня...

...Позади остался сырой подвал, крепостная стена и дворы посада, прибрежные кусты приняли под свою защиту, а вскоре нашлась и лодка-долблёнка, наполовину вытащенная на берег и ещё привязанная к стволу ивы. "Прости, хозяин, — мне нужнее. Авось сочтёмся!" Игнашка отвязал лодку, столкнул на воду, взял в руки лежавшее под лодкой двулопастное весло, погрёб, поплыл, то и дело вталкиваясь в слои тумана и выныривая из них. Туман рассеивался. Видны стали лесистые пологие берега. Игнашка вёл лодку ближе к правому, противоположному от городка берегу. Лес на левом берегу стал вдруг раздвигаться, открылся луг с пасущимися коровами, а потом и избы. Игнатий видел баб, полоскавших бельё у того берега. И они его видели. От городка к селу и далее по берегу есть и дорога, конечно же, по ней уже скачет погоня. Это ведь не шутка — царёву опричнику перечить да изпод его стражи бежать...

И не замечая усталости и голода, не чувствуя боли в измученном пыткой теле, грёб он ещё скорей, подалее от деревни, от дорог, то и дело цепко вглядываясь в берега. Первую впадавшую справа речку он миновал, хоть и тянуло нырнуть туда, уйти с большой реки... Когда солнце уже выкатило в зенит, увидел вторую речку, родную, вливающую струи в большую реку, — повернул... Против течения тяжелее стало грести. Но он грёб, грёб, веря, что всё дальше уходит от погони. Жить ему хотелось, как всякому молодому, — в тот год минуло для Игнашки двадцатое лето...

Игнашка не решился приближаться к Ивановке днём. Ткнул лодку в прибрежный песок. Береговая песчаная полоса упиралась в глинистый обрыв, над которым высился сосновый бор. Игнашка на карачках выбрался наверх, поднялся. Ровные, как колонны, красноствольные сосны тянулись в небо, кивали там, наверху, зелёными мохнатыми головами. Подножие бора было устлано бледно-зелёным мхом и хвоей. И во мху — красные капли брусницы. Игнатий кидал ягоды в рот горстями, пока не обманул чувство голода. Потом сел на мох, прислонился спиной к шершавому стволу и сразу уснул. Его разбудили голоса... Он открыл глаза, повернув голову, увидел девушку, собирающую ягоды в лукошко, чуть дальше — ещё девка... Лёг, стараясь вжаться в мох... Когда первая позвала вторую купаться, та отказалась, но тоже к реке сбежала, на берегу сидела... Игнатий сперва думал лишь

о том, чтобы не увидели они лодку... А когда стала раздеваться... Не смог отвести глаз, так и пялился из кустов...

В сумерках подплывал он к родной деревне. Лодку вытащил на берег, спрятал в прибрежных кустах. Сторожко таясь, поднялся на угор, к Марьиному камню. Чужая дымка, слышалось мычание коров и брёх собак... Странно и обидно было тайком, будто вор, возвращаться домой. Лесом, минуя тропу, вышел к поскотине, добежал до родного огорода. Мать, выходявшая со двора, увидела его и заполошно всплеснула руками...

Потом уж узнали: в то утро взбунтовались пленные казанцы, горели крепостные стены и дома посада, в рукопашную схватывались татары и охранявшие их люди опричника царского, боярина Никиты Зуева... Не до Игнашки было, брошенного за день до того в подвал по доносу за крамольные речи. А и сказал-то лишь, что собак лучше кормят, чем их, собранных со всей округи на строительство нового града, призванного стать оплотом власти Москвы и грозного царя Ивана Васильевича в землях северных, воложских...

Вскоре Игнатий посватался за Арину — Давыдову дочь, ту, что звала подружку свою купаться...

...Игорь Александрович Игнатьев сидел в ночном тёмном вагоне. Рядом, подогнув ноги, бесшумно дыша, совсем как-то по-младенчески спал его десятилетний сын Мишка, и вокруг во всём вагоне, во всём этом городе, поставленном на колёса, спали люди... Игорь Александрович не мог уснуть, он уходил в тамбур, курил, снова сидел у тёмного окна, в котором проносилась ночь с редкими проблесками дальних огней... И вспоминалась дедова деревня, и даже тот обморочный сон у камня... И снова обращался ко вчерашнему дню, к разговору с Андреем...

## 2

Детство их прошло рядом, жили в городе в соседних домах, учились в одной школе, правда, в разных классах. Были, как говорится, *не разлей вода*. И те, кто не знали, принимали их за родных братьев, хотя на самом деле уже их отцы были троюродными.

И вот сидели Игорь и Андрей за столом в кабинете Андрея, пили коньяк, курили, читали разложенные на столе письма Семёна Игнатьева, говорили. И не понимали друг друга. И каждый понимал, что не может понять другого. За последние двенадцать лет виделись несколько раз урывками — у каждого своя жизнь. Но расхождение началось раньше.

То, что внешне жизнь по-разному уже в конце школьной учёбы складывалась, — это понятно, но и внутренне они всё более расходились. Игорь ещё учился в девятом, а Андрей уже “закошил” от армии при помощи врача — приятеля отца. О чём, не стесняясь, рассказывал Игорю. Зато в то же время он стал секретарём райкома комсомола — давно уже комсомольским активистом был...

Игорь, когда учился в седьмом классе, записался в секцию самбо, и с тех пор главным его увлечением был спорт. Школа была ему неинтересна, учился, потому что нельзя не учиться, тем более не участвовал в общественной и комсомольской работе...

В то лето Игорь закончил десятый и готовился к поступлению на физвос, Андрей заочно учился на втором курсе истфака и работал в райкоме ВЛКСМ) решили съездить в деревню, а потом по реке спуститься на резиновой лодке до города. Как-то совпало у них это желание, и кажется, у обоих было предчувствие разговора, выяснения отношений, и нужно было остаться вдвоём... Отец Андрея (для Игоря — дядя Олег) довёз их на своём “Москвиче” до Жукова, дальше шли пёхом. По очереди тащили тяжёлый мешок с лодкой. В рюкзаке — продукты и рыболовные снасти, резиновые сапоги... Игорь помнил чувство свободы, самостоятельности. А Андрей... Он тоже помнил тот их поход... Ему важно было понять Игоря, хотелось поговорить, проверить... Вот тогда-то, пока от Жукова до Воздвиженья топали, он и рассказал брату, как от армии закошил...

— Слушай, ты как будто гордишься этим... — удивился Игорь (до этого он искренне верил, что Андрей комиссован на самом деле).

— Не горжусь, конечно... Сделал то, что считаю нужным... Не хочу время терять. Это в лучшем случае. А если в Афган? А дедовщина? Слышал про дедовщину?

— Ну, слышал. Так ведь это как себя поставишь... — возражал Игорь.

— Да как бы ты себя ни ставил — это система. Си-сте-ма...

О дедовщине он понаслышался от служивших приятелей и знакомых и теперь щедро делился знаниями с Игорем.

— Надо заглядывать всё же подальше в будущее. Вот я знаю, что через год-два буду в горкоме, потом на партийную работу пойду, а это ведь, согласишься, совсем другая жизнь, чем у станка да в очереди за колбасой стоять...

Теперь, вспоминая тот трёп, Андрей усмехался над собой девятнадцатилетним комсомольцем: скоро, очень скоро жизнь резко поменялась, полома-ла все планы, но он-то оказался к этому готовым...

А тогда они шлёпали по мягкой грунтовой дороге, солнце палило в макушки, небо было безоблачно-голубое, трава и листва зелёные, впереди было пустеющее, с последними доживавшими там свой век жителями село Воздвиженье, река, Красный Берег с оставленной людьми деревней Ивановкой...

Игорь что-то пытался возражать, горячился, но Андрей, как ему казалось, своей железной логикой разбивал наивные представления брата о жизни...

За всё время от Жукова до Воздвиженья им не повстречался ни один человек, и чем дальше от Жукова и ближе к Красному Берегу, тем глуше были места. Заброшенные поля по сторонам дороги зарастали осиной и ольхой, и казалось, что они идут в какой-то неведомый край, не на Красный Берег, а на необитаемый остров...

В Воздвиженье накачали лодку. Переплыли реку. Красный Берег и был необитаем. За последний год поумирали да уехали поближе к людям “остатние”, как говаривал дед Василий, жители Ивановки.

Братья ходили по пустым домам. Большинство уже давно были нежилыми, холодными, в иных ещё чуялась недавняя жизнь.

Деда Василия схоронили весной в городе. Отец забрал его прошлой осенью: “Ну, как он там один перезимует!” — а уже в январе дед попал в больницу, из которой и не выбрался живым. Просил, чтобы упокоили на Воздвиженском кладбище, но похоронили на городском.

Игорь помнил странные слова деда, последние, сказанные ещё вроде бы в здравом уме (потом уже был совсем бред): “Когда камень с церковью встретятся — всё и свяжется. Так и будет...” Игорь догадывался, что речь, скорее всего, о Марьином камне и Воздвиженском храме. Но как они встретятся?... И что свяжется?..

Они бродили по пустым избам, забирались на чердаки, спускались в погреба, заглядывали в чуланы.

Заглянуть в чужую жизнь — всегда интересно... Где-то ещё висели на стенах фотографии в рамочках за стеклом, со вставленными тут же с краешку поздравительными открытками — с Новым годом, с “октябрьскими”, в каком-то чулане Андрей нашел пару икон и прибрал себе...

— Зачем? — спросил Игорь.

— Может, ценные, продам... — спокойно ответил Андрей. Игоря ответ этот покорибил, но с другой стороны — они же теперь, действительно, ничьи, иконы эти. Он и сам, натолкнувшись на одном из чердаков на сундук со старыми журналами и книгами, выбрал оттуда едва ли не половину, взял бы и всё, да не утащить...

Андрей до этого в Ивановке ни разу не бывал (деревню оставил ещё его прадед в начале тридцатых), но знал, что его корни здесь. Прадеды Андрея и Игоря были родными братьями...

Ночевали в игнатьевском доме... Здесь тоже всё напоминало о недавней стариковской жизни, а Игорю — и о его недавнем детстве.

На рыбалку собрались утром. Сперва червей накопили — просто поднимали полусгнившие доски, которыми была выложена дорожка от крыльца. “Иди ко мне, мой белый хлеб!” — почему-то всё время приговаривал

Андрей, вытаскивая из земли очередного червя и отправляя его в консервную банку.

Туман ещё клубился над рекой, над некошеными лугами, над подступавшим вплотную к деревне мелколесьем. И пока пробирались через эти травы и кусты, вымокли насквозь. К реке спустились у Марьиного камня, он лежал сейчас “по пояс” в воде (лето дождливое выдалось), и, взглянув от реки вверх, на угор, Игорь точно угадал то место рядом с разлапистой старой сосной и берёзой с раздвоенной макушкой, где лежал этот валун, может, века, может, и тысячелетия. И вспомнил, как чуть не утонул здесь прошлым летом и как то ли уснул, то ли потерял сознание у этого камня, и что привиделось ему тогда...

Андрей пошёл выше по течению, а Игорь остался у камня — тут тоже неплохое для рыбалки место... Всё равно мокрый был — по неглубокой воде перебрался к валуну, с трудом, но влез на него, удобно устроился в углублении, будто бы специально выдолбленном, рядом банку поставил, удочку размотал торопливо, нацепил червя, закинул. Поплавок лёг на воде, и Игорь сразу вытащил снасть, с поправкой на глубину сдвинул поплавок так, что при следующем забросе он, как и положено, торчал пером вверх... Сначала вроде “типнули” червя, поплавок дёрнулся, Игорь торопливо подсеёк. Червь был наполовину оборван. Игорь поменял наживку, снова закинул... Но больше почему-то не клевало...

...И хотя уже давно встало и пригревало солнце, снова туман вокруг камня за клубился, и сквозь туман Игорь увидел плывущие от Красного Берега к Воздвиженью лодки, много лодок. В них женщины и мужчины, у одного бородатого мужика, сидящего на корме, в руках гармонь, и даже видно, как он широко растягивает меха, разевает рот, но не слышно ничего... Лодки одна за другой пристают к тому берегу, люди выходят и поднимаются вверх по береговой тропке к кладбищу и храму... И тот же мужик с гармонью идёт, покачиваясь, и видно со спины, как под пиджаком сходятся и расходятся лопатки — в ритм гармонной игре... Всё затуманилось, расплылось, исчезло... Но вот сквозь туманную дымку вновь виднеется кромка Воздвиженского берега, и к воде подходит мужчина, кажется, в военной форме, сбрасывает с плеча вещмешок, склоняется над водой, умывает лицо...

— Игорь, Игоряха!.. — разгоняя морок, пробивается к нему голос брата.

Игорь обернулся, но увидел не Андрея, а какую-то странную подпрыгивающую и качающуюся фигуру...

— Нормально, да? Иди сюда, смотри, чего нашёл...

Это был большой кус берёсты, уже почерневшей, с вырезанными глазами и ртом, а во рту даже зубы вырезаны, и остатки мха, как борода, а по верху куска даже тесёмки, чтобы привязывать маску к голове... Привязывать, конечно, не стали — просто руками держали, по очереди примеряли...

— Ну, и страшнице!

— Где нашёл?..

— А там избушка, за ручьём, — махнул Андрей, — сарай какой-то, там и висела на стене...

Игорь понял, почему ни разу в своих многолетних брожениях по здешним лесам и лугам не наткнулся на ту избушку — ручей был границей, за которую ходить было нельзя, там болото, там дремучий непролазный лес, там даже старожилы “водят”... Он и не ходил — хватало воли и вокруг деревни. А про какую-то “мужицкую избушку” слыхивал, но что это за избушка — не понимал...

— Давай ещё сходим, может, ещё чего найдём, — попросил Андрея...

— Да ну... Ничего там нет, да и чапарыга такая, что еле выбрался...

Ты хоть поймал чего?

— Нет.

— И я. Видно, не вовремя мы.

Они вернулись в деревню. Прихватили с собой берестяную харю, в избе на стеной гвоздь повесили. Сварили в огороде на костре суп из пакетов, срубали его с остатками хлеба и стали собираться в обратный путь. И Андрей почему-то уже злился:



— Ну, и скучотища... И чего попёрся?.. — Они уже собирали рюкзак. Андрей подержал в руках найденные им две иконы, поглядел на них с обеих сторон и отбросил в угол комнаты.

— Ты чего? — Игорь встрепенулся.

— А чего?.. Не ценные они, точняком, нечего и таскать...

— Ты зачем бросаешь?

— А ты чего, верующий, что ли? — усмехнулся Андрей. Игорь молчал. — Верующий, да? — уже будто бы всерьёз злился Андрей.

Игорь ничего не ответил. Иконы поднял и положил в кухонный стол, где лежала и кое-какая посуда...

— Пошли давай! — скомандовал Андрей.

Они спустились к реке, накачали, толкнули лодку, поплыли вниз по течению. Под бетонными опорами моста лодку закрутило сжатым берегами течением, они едва не перевернулись, но выгребли на спокойную воду. А вскоре их река влилась в большую — неспешную, с пологими берегами... По очереди молча гребли... Вечером, почти уже ночью, были в городе... И потом почему-то никогда не вспоминали эту поездку...

Когда недавно Игорь Игнатьев добрался до Ивановки, берестяной морды в доме не было, иконы лежали нетронутыми в столе (он забрал их в город), а на чердаке нашёл прадедовы письма...

### 3

Андрей перебирал письма, вернее, их ксерокопии. Игорь не поленился, с каждого копию сделал, подлинники себе оставил. Ну, и правильно, и он, Андрей, так же поступил бы... Письма, действительно, интересные. Да что там интересные — чудо! Да, надо издавать. Андрей уже знал, видел, как он издаст эту книгу, в каком оформлении... Через продажу она, конечно, не окупится, а вот на премию выдвинуть можно. И он уже знал, на какую премию выдвинуть эту книгу, на каких книжных ярмарках выставить — опытный издатель. И издательство крепко на ногах стоит, и уже давно... Да. Ведь и в Москве он скоро уж пятнадцать лет...

...И ему вспомнилась та поездка с Игорем в Ивановку, ставшая рубежом в их отношениях и в судьбе. Наивные те разговоры, изба, рыбалка, костёр, найденная в заброшенной избышке личина... Вот ведь и сейчас в камине огонь, живой вроде бы, настоящий, дом, семья, работа, “положение в обществе”...

Он перевернул очередной лист (копии писем были сделаны на белой офисной бумаге, уложены и скреплены в двух толстых папках с пластиковыми обложками)...

“Это же чудо!.. “Ваш незабвенный сын и брат...” — Андрей Олегович (он давно уже и сам себя привык по отчеству называть) усмехнулся и бережно отложил листок...

— Андрей, — жена заглянула. И он поднялся из кресла, прошёл в столовую. Пили с женой чай. Сын уже спал в своей комнате на втором этаже дома.

— Слушай, а чего он приезжал-то? — спросила жена об Игоре, не называя по имени.

Андрей пожал плечами:

— В гости... — и уже с раздражением добавил: — А ты чем-то недовольна?

— Нет...

Вот и поговорили. Андрей ушёл в кабинет. Но письма больше не хотелось читать. Думалось опять всякое, вспоминалось...

Всё уже налаживалось, всё уже, казалось, утряслось: он, Андрей Игнатьев, отстоял свою территорию в местном бизнесе... Уже не “молодёжное кафе” конца восьмидесятых, а ресторан, сеть магазинов, доля в промышленных предприятиях. Ну, с бывшим первым секретарём и поначалу партнёром по бизнесу Смолкиным разошлись, с обидами, но мирно... И когда в одну ночь всыхнули сразу четыре магазина, а ещё на два были совершены неудавшиеся нападения, на Смолкина и не подумал. Да и не знал, на кого думать... Впрочем, вскоре всё выяснилось: “крышу” предложили “блатные” или

“тюрьма”, как называли их тогда в городе, — группировка профессиональных уголовников. Под “тюрьму” идти не хотелось. Почему в милицию не обратился? Молодой был, хотел доказать, что может сам проблемы решить. Сам-то сам, но пришлось всё же обращаться за помощью к “спортсменам”, да у него и большинство охранников из спортсменов были. “Забрили стрелку” с “тюрьмой”. Сейчас-то он понимает, как всё было неправильно, глупо с самого начала... Он принял их условия. А они назначили встречу в пригородном парке на пятачке конечной остановки автобуса, конечно, всё там подготовили заранее... “Спортсмены” ехали кавалькадой машин, с весёлой музыкой из окон, с бодрыми разговорчиками. Тормознули у хозяйственного магазина, скупчили у растерянных и испуганных продавщиц все черенки от лопат (бейсбольные биты тогда ещё не дошли до их города), укладывали эти черенки в багажники машин... Тут уже Андрей мало что решал, здесь были свои лидеры, они командовали, — в общем, отработывали его заказ. Он, в принципе, мог и не ехать. Но поехал...

Приехали в тот парк. Из машин вылезли. Те уже ждали. Трое стояли посреди асфальтовой площадки, с ухмылочками. Он пошёл. Рядом боксёр шёл, ему почему-то и подал первому руку один из тех, блатных. Вовка — так, кажется, локсёра-то звали — тоже руку подал, а тот левой сверкнувшим мгновенно безвием маханул, в горло целия. Чуть-чуть и не достал. И Вовка его сразу успокоил, тоже левой махнул...

— Ну, понеслась! — кто-то крикнул. И тут из кустов, окружавших площадку, стали выходить... Многие, запомнилось, голые по пояс, синие от наколок. Спортсмены — кто с лопатными черенками, кто с голыми руками на них. Игорь тоже был там зачем-то... И стрелять начали уголовнички. У них уже в кустах стрелки сидели. Боксёр Володя первый же заряд картечи и получил. На машинах с пробитыми колёсами и разбитыми стёклами вырвались оттуда... Володя умер на следующий день в больнице. Удивительно, что кроме него никого не задело. Не страх — ужас, животный ужас тогда охватил Андрея. По дешёвке сдал весь свой бизнес и уехал в Москву. Потом узнал, что через третьи уже руки владельцем всех его магазинов и ресторана стал Смолкин...

В Москве кое-какие связи были, но, в принципе, всё с нуля пришлось начинать. А денег для московского бизнеса у него было маловато... Но нашёл компаньона, такого же, как и сам, недавнего провинциала — “замутили бизнес”... Впрочем, самым удачным бизнесом стала женитьба...

А теперь — махонькое коммерческое издательство да сдаваемая в центре Москвы в элитном доме квартира покойного тестя, ещё лет двадцать назад скромно трудившегося на скромной должности в Кремле, — вот и весь его бизнес. Да этот трёхэтажный дом в ближнем Подмоскowie. Чего ещё надо-то?

И неожиданно для себя он набрал номер мобильного телефона Игоря.

— Да, — отозвался тот.

— Привет, Игорь. Слушай, я, наверное, приеду на днях к тебе. Хочу на Красный Берег съездить...

#### 4

В вагоне спёртый воздух, вагон кидает из стороны в сторону, вагон трясёт на стыках, в вагоне неумолчный гул голосов, нарушаемый лишь вдруг более громким чьим-то голосом.

Семён Игнатъев лежит на самой верхней подпотолочной полке, ему повезло. Шинель его свёрнута и положена под голову, и сам он лежит, закрыв глаза, пытаясь уснуть... И невольно вспоминается разное... Отвальная перед отправкой в армию в четырнадцатом. Молодаяжка по соседним деревням, да и в самой Ивановке гуляла с пьянками, драками и плясками. Мужикам же, таким, как Семён, не до гулянок — успеть бы хоть какие-то дела поделать до отъезда, последние наказы дать жёнам да детям. Партия их, как узнали накануне, собирается в Воздвиженье. Поутру на лодках перебрались в село, отстояли заутреню. Тут и настало последнее прощание с жёнами и матерями... Потом карантинный лагерь где-то под Питером, а оттуда че-

рез полтора месяца и на фронт... А уже через полгода никого из пятнадцати ушедших на войну из Ивановки мужиков и парней рядом не было — раскидала война, кого-то ещё из карантина в другие части направили, кто-то заболел и попал в лазарет, про двоих точно знал Семён, что убиты... Но с Яшкой Поповым, молодым мужиком из Воздвиженья, старались везде рядом держаться. Остатки их разгромленного в Прибалтике полка были отправлены в Петроград на переформирование. Там и увидел он Февральскую революцию, приход к власти Временного правительства. Потом снова фронт, ранение, и вот из госпиталя не в свой полк он поехал, а домой, в деревню родную, как делали тогда многие. Думал ли о том, что дезертирует с фронта? Думал, конечно... Но знал, что сейчас он должен быть дома. Нет у него больше сил на войну. Нет... Да, враг в России — и война, вроде бы, за Россию... Но Россия-то для него вся сжалась в одну родимую деревню. Да, поезд едет по русской земле, и в поезде вагоны забиты русскими, и там, за окнами, на станциях и в деревеньках — русские, но объединяющее начало — государство, власть — их нет. Вот пусть они там разберутся — все эти Советы, “временные” и всякие между собой, пусть объяснят мужику, за что ему воевать, тогда, может, и возьмёт мужик снова винтовку в руки... Так вот — с пятого на десятое — думалось Семёну. Лежал он под самым потолком — духота страшная, курить хочется, спуститься с полки невозможно — внизу всё густо забито сидящими и лежащими людьми, а если слезешь с полки, то уже не вернёшься на неё — займут... И он лежит, прикрыв глаза, закинув руки за голову, волосы уже не такие короткие, как в госпитале, где был острижен “под машинку”, но всё ещё топорщатся по-ежиному. И за правым ухом, где — хорошо хоть, вскользь — садануло осколком, опять будто бы затикали ходики. И это тиканье внутри головы перемешивается с колёсным перестуком, и он уже будто не на жёсткой полке лежит, а на провисающих под тяжестью тела, кольшущихся брезентовых носилках, и грохот, грохот кругом... Да будь она проклята, эта война! Это убийство! Тошнота подступает. Семён делает мелкий глоток из фляжки, и на минуту вроде легчает. Ехать ему, если поезд не встанет где-нибудь на неизвестно долгое время, как уже бывало, до утра следующего дня...

...Ночь была чёрная и тихая. Семён Игнатьев знал, что находится он где-то в Польше. Больше ничего не знал, не запомнил названия городка, на вокзал которого прибыл неделю назад эшелон. Потом ещё пеший марш на позиции на берегу неширокой речки, за которой — “австрияк”, или “фриц”, или “немец” — по-разному называли...

— С Богом! — поочередно отталкиваясь от берега, держась одной рукой за бревно, к которому сверху ещё приторочены сапоги и портянки, а в другой руке, вытянутой над водой, — винтовка, с почти неслышимым всплеском отплывали бойцы в черноту ночи...

На “австрийском” берегу, торопливо, не снимая одежды, отжимали воду с рукавов гимнастёрки, наматывали портянки, натягивали сапоги.

— Попов! — громким шёпотом выкрикивал капитан.

— Я!

— Савельев! Игнатьев!..

“Я”, “здесь”, “тут”, — отзывались так же шёпотом справа и слева...

— Клинько!.. Клинько!.. — хохол Клинько не отзывался.

— Попов — направо, Игнатьев — налево, — приказал капитан Лыкошин, ближним к нему бойцам. — Ищите его. Только тихо, ребята, тихо...

Семён поднялся, одёрнул гимнастёрку. Винтовку держал в правой руке, левой отвлёл ветки куста и пошёл по мокрому песку, по самой кромке воды и суши в сторону охраняемого немцами моста. Скорее всего, туда по течению и снесло Клинько, хотя мог он и выше выгрести, туда пошёл Попов.

— Клинько! — окликал Семён. Тишина была ответом ему.

Из-за тучи выкатилась полная луна, и сразу посреди реки легла серебристая дорожка, и осветился мост, и Семён увидел в пролёте его, между какими-то балками (мост был сложный, металлический, железнодорожный), фигуру часового — почему-то показавшаяся непропорционально большой голова, наверное, в каске, и сверкнувший в лунном свете ножеподобный штгек

винтовки. Семён невольно присел, стараясь слиться с тенью куста. И увидел слева такую же скрюченную фигуру под соседним кустом.

— Клинько!

— Та здесь я! Чего ты орёшь!

— А ты чего тут сидишь! Живо к нашим! — осмелев, прикрикнул Игнатьев.

Так же по кромке, в тени прибрежного ивняка вернулись к своим.

— Попов! — окликнул снова Лыкошин.

— Тут я, вернулся, — откликнулся невысокий, кряжистый, но при этом очень подвижный, рябой лицом Яшка.

— Клинько, рядом со мной иди, не отставай. С Богом ребята, за мной!

Друг за другом, пригибаясь, пошли вглубь вражьего берега. Вскоре вышли на тележную, белесую в лунном свете дорогу, что неспешно плелась вдоль реки. Понимая, что на дороге должен быть сторожевой пост немцев, Лыкошин приказал поочередно и быстро перебежать её. За дорогой снова кусты, и дальше уже негустой сосновый лес. Вдоль дороги, лесом, и двинулись к мосту...

В общем, всё шло пока, как по маслу. И Семён совсем успокоился. Он только старался идти в ногу за Поповым. Хотя знал, что идут “не к тёще на блины”, как сказал Лыкошин ещё вчера днём, обрисовывая предстоящую операцию, но сейчас будто забыл обо всём, и чудилось, что это просто какой-то переход с позиции на позицию, и скоро прозвучит команда “привал”, часовые встанут на посты, остальные разведут костерок, вскипятят чай...

От дороги и прилетел тот окрик, короткий, властный. Все замерли.

“Ложись!” — скомандовал Лыкошин.

— Клинько, говори, говори с ним, — приказал украинцу.

— Пан немец! Не стреляй! — говорил заготовленную фразу Клинько и медленно шёл между стволов на гавкающий голос немца, всё лопоча что-то в ответ.

Лыкошин молча кивнул немногословному и незаметному до тех пор унтеру Савельеву. Тот ответно кивнул, передал свою винтовку Попову и бесшумно двинулся в обход справа. Сам Лыкошин пошёл налево, предварительно скомандовав: “Лежать, ни в коем случае себя не обнаруживать”.

Клинько на удивление артистично исполнял свою роль. Что-то отвечал на непонятные команды немца и медленно шёл в его сторону.

Лыкошин, как договаривались с Савельевым, брал на себя второго (наверняка их было двое), которого ещё надо было обнаружить. Савельев же заходил “в спину” немца, говорившего с Клинько.

Вон он, второй, стоит с краю дороги в тени дерева с винтовкой наизготовку, смотрит на своего товарища, всё более раздражённо подзывающего к себе заплутавшего в поисках коровы мужика.

В секунды всё было кончено. Прикрывая ладонью рот, зажимая вражий предсмертный крик, капитан опускал на траву мёртвое тело, и уже видел, как то же самое делает Савельев. Оттащив мёртвого в кусты, Лыкошин подошёл к Савельеву, туда же вышел из-за деревьев и Клинько, вздрогнул, увидев мертвеца. Вернулись к остальным бойцам.

“За мной!” — скомандовал капитан. И все снова гуськом двинулись за ним. (Казалось, вечность минула с того мгновения, как оттолкнулся каждый из них, держась за бревно, от твёрдого дна у того, “своего” берега, хотя прошло не более часа). Метров через сто Лыкошин, полубернувшись, поднял ладонь — стоп. Все окружили его (всего вместе с самим капитаном их было девять — три тройки).

— Всё помните? — И, не дожидаясь ответа, Лыкошин ещё раз повторил то, о чём говорили и вчера днём, и уже ночью, перед началом операции...

Первая тройка — сам Лыкошин и ещё двое — продвигается к самой дальней пулемётной точке, с правой стороны моста, уже за полотном железной дороги. Главное для них сначала — выдвинуться к месту атаки незамеченными... Вторая тройка, командир которой унтер Савельев и в которую входит и Семён Игнатьев, берёт на себя пулемёт, установленный на мосту, а также караульное помещение в будке путевого обходчика. Третья захватывает ближайший сейчас к ним пулемёт по левую сторону моста...

— С Богом! — кажется, в третий раз за ночь сказал Лыкошин и, пригнувшись, скользнул в темноту соснового подлеска, за ним последовали двое.

— За мной! — хрипло шепнул Савельев, и Семён, крепко сжимая винтовку правой рукой, а левой нащупывая гранату-лимонку в кармане штанов, пошёл за ним.

Луна снова была в тучах, и сейчас это было очень кстати.

Если оборудованную пулемётную точку на мосту разглядывали в бинокль ещё со своего берега, то нахождение двух других, справа и слева от моста, знали лишь примерно. И надежда была на то, что когда начнётся шумиха у моста, пулемётные расчёты как-то проявят себя, обнаружат. Главное, чтобы все вовремя оказались на своих местах.

Семён всё время видел идущего впереди унтера Савельева. А вон уж и будка обходчика — жёлтый квадрат окна. Савельев скомандовал залечь. Семён Игнатьев видел, что Лыкошин и его бойцы (последним шёл Попов) благополучно, незамеченными, проскочили через “железку”. Савельев кивнул Семёну Игнатьеву. Семён кивнул в ответ, достал рубчатую гранату, удобно вложил в ладонь. И вдруг с ужасом ощутил, что граната прилипла к ладони, что, наверное, он не сможет бросить её... Сотни раз он делал это за последние три дня — бросал гранату в цель, и это была главная его задача в этой операции, и вот сейчас, когда до решающего мгновения остаются секунды, Семён Игнатьев совсем не был уверен в том, что сможет это сделать, но что-то объяснять было уже поздно... Савельев кивнул солдату Мартынову, и они бесшумно двинулись ещё ближе к мосту. Игнатьев смотрел на унтера, ждал. И вот тот остановился, оглянулся на Семёна, поднял левую руку и резко опустил её, будто и сам что-то с силой бросил себе под ноги. Семён, уже не скрываясь, поднялся во весь рост, выдернул чеку, коротко замахнулся и бросил. Звон стекла подсказал, что он не промахнулся... Одновременно со вспышкой и коротким громом он упал, потом сразу вскочил, пригнувшись, побежал, передёргивая затвор винтовки. Он не слышал выстрелов и криков впереди, сбоку и сзади себя, не думал — что на других участках атаки, — а лишь выполнял те действия, которые подробно и терпеливо объяснял ему Лыкошин. Подскочив к развороченному окну, Семён, сунув винтовку внутрь, выстрелил, и ещё, и ещё... Подбежал к двери, толкнул плечом, шагнул... Слева двумя руками немец ухватился за его винтовку, рванул вперёд и вбок, сделал ещё и подножку, винтовка вылетела из рук, но и немец не удержал её. Семён упал, ощутив под собой что-то мягкое, вскочил... Станным образом непоколебленно стоял посреди небольшой комнаты стол, и на нём — керосиновая лампа, не упавшая, не разбившаяся, дававшая ровный свет, три мёртвых тела, опрокинутые стулья, какие-то тряпки по всему полу, стекло... Всё это в единую секунду увидел Семён. Немец, видимо, офицер, невысокий, русоволосый, глядел на него льдистыми глазами и в руке его был кинжал. Именно кинжал, а не нож, так понял Семён, никогда раньше кинжалов не видевший... По всему берегу слышна трескотня выстрелов, значит, пулемёты ещё не захвачены, а уже торопится, наверняка, к немцам подмога от недалёкой, в полуверсте, деревни, и уже сейчас Семён должен занять оборону либо в этом здании, либо на улице рядом с ним и встречать огнём набегающих “фрицев”. И мешает ему это сделать вот этот офицер... Удивительно чётко всё это думалось. Взмах руки с кинжалом и бросок Семёна совпали. Обхватив обе ноги немца, он сбил его своим весом, будто пытаясь вдавить, вбить в стену. И, захватив левой рукой руку с кинжалом, правой, как молотом, сверху бил и бил в лицо, в голову, и уже через красную липкую муть ничего не видел перед собой...

Грохнул выстрел, и то, во что так яростно бил Семён Игнатьев, провалилось куда-то...

— Всё, всё, Семён! Ранен?

Попов это. Яша Попов... А за стенами уже стучали пулемёты, развёрнутые в сторону немцев, по мосту бежали с винтовками наперевес русские солдаты, и немец-часовой, зачем-то стоявший посреди моста, тот самый, которого видел Семён в лунном свете, бросил винтовку в реку и стоял на коленях с поднятыми руками. Мост и плацдарм на берегу были захвачены.

...Через полтора месяца русские войска, взорвав мост, отступили сначала на двадцать вёрст восточнее, потом ещё и ещё...

А в том бою был тяжело ранен рядовой Клинько и убит наповал шальной пулей-дурой капитан Лыкошин. Рана же Семёна Игнатьева оказалась неопасной: офицерский немецкий кинжал лишь рассёк кожу на лбу. Уже через неделю Семён был снова в своей роте. В полной мере испытал он и отступления, и долгие позиционные бои. Как опытный уже разведчик, несколько раз ходил “в операции”. Шрам остался на всю жизнь. Но чтобы он не так был заметен, Семён привык собирать кожу на лбу в морщины, и со временем шрам стал неотличим от морщин, избородивших лоб... И вся та первая операция, весь бой, и холодная вода реки, и лунный свет, и прилипшая к ладони лимонка — всё это вспомнилось, пережилось в странном сне на верхней полке душного, дёрганого, переполненного вагона в составе такого же поезда через Россию, потерявшую власть царскую, не признавшую власть “временную” и уже будто чью-то новую — железную, безжалостную...

## Глава четвёртая

### 1

Дед и внук вышли из автобуса — тряского “пазика”, бегавшего от города до Жукова, теперь довольно большого посёлка, а когда-то, дед помнил то время, скромной деревни. Дальше путь их до Воздвиженья — километров десять ещё.

Деда зовут Александр Васильевич. Это крепкий, высокий, с седыми волосами, выбивающимися из-под лёгкой матерчатой кепочки, мужчина. За спиной его — полупустой рюкзак. Внука, мальчишку лет десяти-одиннадцати, зовут Мишка. Волосёнки у него светло-русые, чуть ли не белые, выгоревшие на солнце. Фигурой и осанкой он очень похож на деда.

— Кепарик-то надень, голову напечёт, — говорит Мишке Александр Васильевич.

Мальчишка достал из сумки, висящей сбоку на ремне, бейсболку, натянул козырьком к уху. Пошли. Сперва по поселковой улице, мимо крепких домов с палисадами, в которых яблони, кусты смородины, цветы. Через неплотные заборы видны огороды, ботва картошки уже на полметра вымахала — урожайный год. Видно, что люди здесь живут крепко, надёжно...

Но попадаются и заброшенные кособокие домишки... На соседней улице видны панельные пятиэтажки, как в городе. И магазин, неожиданно оказавшийся на выходе из деревни, имел городской вид: одноэтажный кирпичный дом с широким крыльцом и стеклянными дверями. И даже два мужика вполне трудоспособного возраста пили, сидя на ступенях крыльца, пиво из банок — тоже по-городскому...

На краю посёлка кончился асфальт, началась бетонка — хорошая дорога! По правую руку тянулись кустарниковые заросли, по левую — глубоко-жёлтого цвета поле.

— А это что, дедушка? — спросил внук.

— Ячень, — коротко ответил дед.

Комбайн работал у самой дороги. Споро выстригал поле. Какой-то необычный комбайн — с английскими буквами на боку, никогда не видывал таких Александр Васильевич. Вдруг он стал, из кабины прыгнул человек и торопливо пошёл к дороге. И Александр Васильевич стал, поняв, что комбайнёр идёт к ним, остановился и Мишка.

— Здравствуйте! — обратился к ним комбайнёр, средних лет мужчина в кепке, клетчатой рубашке и затёртых джинсах, с красным от загара лицом и руками. — Извини, отец, закурить не будет? Обсох.

— И ты, брат, извини — бросил.

— А-а... — мужчина подошёл вплотную, протянул руку.

— Водички попей, — сказал дед, пожимая жёсткую ладонь.

— Да вода-то есть у меня... — ответил, принимая бутылку, всё же сделал глоток. — Далеко шагаете?

— До Воздвижения и на Красный Берег.

— Далеко. А чего там?

— Родина, — коротко ответил Александр Васильевич. — Хорошая техника? — в свою очередь спросил, кивнув на заграничный комбайн.

— Хорошая. За сутки тут уберу. А “Кубань” бы трое суток ползала...

— Значит, оживаем?

— Да мы и не умирали, — ответил комбайнёр. — Хорошая машина, да больно уж дорогая, — добавил ещё про комбайн. — В долги колхоз-то залез... Ну, это председателя забота, а наше дело — пахать-сеять-убирать... О, Пашка едет, ссыпаться надо. — По дороге в их сторону пылил “Камаз” с высокими бортами. — Ну, давайте, счастливо. Скоро на карьер пойдут, так подбросят вас. — И мужчина замахал водителю “Камаза”, а дед и внук двинулись дальше своей дорогой.

Всё чаще стали попадаться высоченные дылды с зелёным, в руку толстой ствол, зонтичными соцветиями и огромными мохнатыми листьями.

— Ишь ты, как разрослась-то зараза... — качал головой дед, глядя на эти растения.

— А это чего, дед? — спросил Мишка и потянулся к колючему листу.

— Не тронь! — одёрнул внука Александр Васильевич. — С ним идти рядом опасно, не то что трогать, — ожог будет. Борщевик это. Думали им коров наших кормить, да не по вкусу пришёлся...

А стены борщевика вдоль дороги становились всё плотнее и всё выше — метра в два уже. И становилось даже страшно, какой-то не родной пейзаж кругом — джунгли...

Они шли уже примерно полчаса. Солнце в зенит выкатило, на небе — ни облачка, воздух наполнился горячим настоем цветов борщевика и травы, плиты бетонки накалились. Тишина была — до звона. Птицы, насекомые — все где-то затаились, пережидали зной.

Мишка сначала шёл споро, сшибал ещё на ходу вичкой пыльные цветки придорожных одуванов, но вскоре заметно приустал, часто прикладывался к бутылке с водой.

Сзади, со стороны Жукова послышался нарастающий гул — их догонял самосвал. Александр Васильевич глянул на Мишку (тот уже совсем раскис) и махнул рукой, прося машину остановиться. И машина встала. Водитель, молодой рыжеватый парень, приоткрыл дверцу справа от себя.

— Здравствуйте, до Воздвиженья не подбросите? — спросил дед.

— Залазьте! — откликнулся шофер, и когда они уже устраивались в кабине, добавил: — До Воздвиженья не довезу, а до отворотки на карьер подброшу.

— А что за карьер-то? — спросил Александр Васильевич.

— На строительство дороги землю берём.

Поехали. Машина вздрагивала на каждом стыке плит...

— Борщевик-то вымахал, а?..

— Да уж...

— И чего, как-то борются с ним? — поинтересовался Александр Васильевич.

— А кому бороться-то... Не знаю... Я, дак, думаю — это вредительство какое-то, — высказал вдруг мысль, давно, видно, его волновавшую, водитель. — Здесь ладно, вдоль дороги, а ведь и целые поля зарастают, и живучая, говорят, зараза-то — не сразу и одолеешь.

— И не только у нас, весь север зарастает... Если и не сознательное вредительство, то преступное головоугодничество точно, — поддержал парня старик.

— Верно, отец, — согласился водитель.

Машина, хоть и подпрыгивала на стыках, ехала быстро, ветерок, влетающий в приоткрытые форточки, приятно охлаждал лица. Над лобовым стеклом дёргался, будто в дикой пляске, сплетённый из трубочек капельницы человечек, а над бардачком была прикреплена иконка — Иисус, поднявший

в благословении руку... Александр Васильевич подумал, как бы не продуло внука, попытался прикрыть форточку со своей стороны.

— Она не закрывается, — флегматично заметил водитель.

— Дед, так хорошо, не надо... — попросил внук.

Вскоре машина остановилась — резко, как споткнулась.

— Приехали, километра три вам осталось. А чего в Воздвижение-то, там же никого нет? — поинтересовался парень.

— Надо, — без лишних объяснений ответил дед. — Спасибо, счастливо тебе.

— И вам счастливо! — откликнулся парень, захлопывая дверь.

И машина резко уехала направо, вздымая за собой пыль, туда, где виднелись отвалы, напоминавшие горы, и слышен был звук работающего экскаватора.

А Александр Васильевич с Мишкой пошли налево по грунтовой, явно давно неезженной дороге. Борщевик здесь сошёл на нет, и лесные заросли — тёмные ели, солнечные осинки, трепетные берёзы, напоенные светом кусты и травы — вдоль дороги были приветливыми, зовущими за грибной удачей...

В старых тракторных колеях кое-где стояла вода, подёрнутая ряской, прямо на дороге росли подорожники и нежно-голубые цветы незабудок, на сухих местах то и дело виднелись кротовьи кучи. Трясогузка прыгала впереди них, будто прометая хвостом дорожку, когда они приближались, она перелетала вперёд и опять мела хвостиком...

Лес по сторонам дороги раздвигался, редел, и вскоре явно увиделось, что это поля, заросшие кустарником и мелколесьем. Помнил Александр Васильевич, как плыли по этим полям, выстроившись в ряд, комбайны...

Село стояло на пологом холме, и со стороны казалось, что оно не изменилось, что всё та же жизнь в нём: два длинных низких здания — фермы, крайний дом села — высокий, с окнами под крышей, где-то дальше — здания школы и сельсовета, избы. Как и в прежние годы, над всем возвышается колокольня в окружении зелёных шапок старых лип, осеняющих могилы...

— Воздвижение... — выдохнул Александр Васильевич.

— Пришли, да? Дед, пришли? — внук нетерпеливо дёрнул деда за рукав.

— Сегодня пришли. Тут ночевать будем, а завтра на Красный Берег.

— А почему Красный Берег?

— Красный, значит, красивый... И Красная площадь по тому же красная.

Дед почему-то не пошёл сразу туда, к деревне, присел в тени под кустами.

— Передохнём здесь, Мишка, — сказал.

И Мишка присел рядом с ним, подмяв траву. Достал из сумки бутылку с водой, отпил, протянул деду. Александр Васильевич сделал глоток, кадък его при этом сильно дёрнулся. Дед закашлялся, видно, поперхнулся. Справившись с кашлем, закрутил крышку на бутылке, вернул внуку.

— Ну, пойдём, Михаил, надо и о ночлеге подумать. На Красный Берег уж завтра.

— Пойдём.

Фермы зияли чёрными пустыми окнами, крыши в прорехах... Мёртвой пустотой от них веяло... И первый дом — мёртвый, и второй... И здание школы, а когда-то усадьба Зуевых... Мишку охватил страх. А Александр Васильевич будто окаменел, будто оглушила его эта мёртвая тишина. И ведь он знал, ожидал, что будет так... Он и внука-то, может, взял, чтобы не одному... И вдруг в этой пустой тишине обозначился звук, живой звук.

## 2

Звук — то ли удары камня о камень, то ли камня о металл — доносился от храма.

Туда и пошли через заросшую крапивой и лопухом улицу, мимо скелетов-оград полуразваленных домов... Он и теперь — с обшарпанными стена-



ми, пустыми окнами, с выбитыми воротами, без креста над куполом — величественно высился над округой. Близ него — кладбище. Кособоко стоящие или вовсе лежащие старые каменные памятники, погнутые металлические кресты — это всё ещё с дореволюционных времён, подальше от стен храма — кое-где сохранившиеся оградки, железные или деревянные пирамидки с крестиками или звёздочками — могилы времён более близких. И над могилами дерева — могучие старые липы, берёзы, разросшийся понизу кустарник — шиповник да малина. Крапива, лопухи... И верилось бы, что это и есть земное воплощение вечного покоя, если б не эти звуки.

Когда дед и внук, минуя могилы, едва заметной, сжатой крапивой да кустами тропкой подошли к пустому, без ворот, входу в храм, стук тот прекратился, послышался какой-то скрип, будто стонулась телега с немазаными колёсами. Навстречу им через дверной проём выкатилась тачка, затем появился и человек, толкавший её. Тачка была высоко гружена битым кирпичом и прочим мусором. Человек, почувствовав их присутствие, поднял глаза, увидел, опустил рукояти, утвердил тачку на земле, выпрямился. Был он невысокий, коренастый, с седьми, довольно длинными волосами, клочковатой бородкой, с глубокими, будто шрамы, морщинами от крыльев носа к жёстким углам рта, твёрдыми серыми глазами. Одет был в брезентовую куртку, джинсы, на ногах — потрёпанные кроссовки.

— Здравствуйте, — первым сказал Александр Васильевич.

— Здравствуйте, — не слишком приветливо отозвался незнакомец.

И стояли друг против друга, не зная, что говорить или делать.

— Сергей, — сказал первым незнакомец и протянул руку.

— Александр Васильевич, — представился дед, пожимая твёрдую ладонь.

— А тебя, как, оголец, кличут? — обратился Сергей к мальчику.

— Миша.

— А меня — дядя Серёжа... Какими судьбами?.. — осторожно спросил.

— Да так... На тот берег нам, — ответил дед, пристально вглядываясь в этого странноватого человека.

— Поздно уже, темнеет. Ночуйте у меня, если что, — предложил Сергей. — Пойдёмте...

Александр Васильевич был почти уверен, что узнал его, и всё же сомнение оставалось. Сомневался он, идти ли за ним, если это тот, о ком он подумал. Но видел он и то, как устал внук...

Сбоку от тропы, за кустами, увидел Александр Васильевич кучу мусора.

— Там всё равно болотина, могил нету, — пояснил Сергей, заметив его взгляд.

— Я знаю.

— Местный?

— Местный... С Красного Берега родом.

— И я оттуда.

И почему-то оба и сейчас не спросили фамилии, будто оставляя себе возможность для узнавания.

Привёл он их к недалёкому дому, ещё довольно крепко стоящему на земле. Из трёх окон, выходящих на улицу, два были заколочены досками, третье отражало мутным стеклом склонявшееся к заречному лесу солнце. Полуогнившие тёмно-серые ступени крыльца, а одна ступень — светлая, видно, недавно поставленная. Полумрак и запах пыли на мосту, соединяющем жилое помещение и двор... Мишка опасно держался за руку деда. Вошли в избу со следами наведения порядка — по углам распаханы какие-то тряпки, бумаги, перед окном — стол, ни занавески на окне, ни клеёнки или какой газеты на столе, пара табуретов, лавка вдоль стены, металлическая кровать, закинутая старым лоскутным одеялом, из-под которого виден матрас с вылезавшей через дыру ватой. А в углу — тёмная икона в простом деревянном окладе. И Сергей, входя, перекрестился на неё, быстро, будто стесняясь... Александр Васильевич потянул, было, руку ко лбу, но почему-то не перекрестился...

— Вот тут и обитаю, располагайтесь. Щас самовар вздуем. Тут и ночуйте, места хватит. Утром лодку дам, — говорил хозяин, ловко “вздувая” са-

мовар: засыпая угли, подпаливая лучинки, устанавливая железный трубак одним концом в самоварную трубу, другим — в отверстие большой, занимающей, наверное, половину комнаты печи с просторным устьем, заставленным заслонкой. Мишка с интересом наблюдал за манипуляциями с самоваром. Раньше он видел лишь электрический. А в этой пустой деревне, как он понял, и электричества-то не было...

Чай заварили со смородиновым листом. Мишка никогда такого не пил и осоловел от духмяного, сладкого напитка...

— Э-э, да ты, брат, усыпаешь... — Александр Васильевич прижал Мишку к себе. — Куда уложим-то? — спросил у Сергея.

— На печь можно, там одеяло есть...

Дед уложил внука на печь, где лежало старое одеяло. Какой-то пальтушкой ещё закинул.

Снова уселись за стол. Сергей запалил керосиновую лампу. За окном быстро стемнело, и какая-то крупная и лохматая жёлтая звезда всё время мигала в глаза, когда Александр Васильевич взглядывал в окно.

— Ты Куликов, да... — то ли спросил, то ли констатировал Игнатьев.

— Куликов, — кивнул Сергей. И продолжил без всяких вступлений. — Второй срок отмотал — в монастырь пошёл. Два года там был. А чувствую, что-то должен сделать... Вот...

— И думаешь, что получится?

— Должно получиться... Не веришь? Боишься меня?.. — И он остро (но, как определил для себя Игнатьев, неопасно) взглянул на собеседника. — Не бойся... Теперь уж могу рассказать, если хочешь...

Александр Васильевич неуверенно пожал плечами.

— Я тогда уже неделю пил, не просыхая. И ещё хотелось, а денег не было, и продать из дома нечего, да и кто купит-то... А выпить надо, и всё тут... Помню, вышел, сел на крыльцо и вдруг чувствую, будто бы и живой я, а шевельнуться не могу, и кто-то берёт меня за голову и начинает её откручивать, как гайку с болта... И открутил!.. И другую — мою, но другую — обратно прикрутил. И в той-то другой — уже всё было, что я должен был сделать, и я сделал... Не бойся, не бойся... Всё так и было, но больше не будет. Мне потом уж священник объяснил... Да ты мне не веришь всё равно, — Куликов улыбнулся, и улыбка сейчас у него была простая, открытая. — А в Бога-то веришь? Надо верить, надо... Невозможно без этого жить... — И замолчал, махнул рукой.

Александр Васильевич отвернулся к окну, и лохматая жёлтая звезда мигнула в глаза.

— Я сперва только умереть хотел. Казни себе желал, — опять сказал Куликов.

— Я, вообще-то, против смертной казни, — неохотно, да всё же вроде бы и поддержал разговор Александр Васильевич, — но есть ведь такие, не люди уже...

— Да-да, и я против казни сейчас. Потому что... Ну, ведь и казнь кто-то исполнять должен. Да? — зачем-то попросил вдруг подтверждения у Игнатьева. Тот кивнул. — А ведь казнь — это тоже убийство, только законное... Нет. Нельзя убивать, и не должно быть такого закона, — убеждённо говорил Сергей. Видно было, что всё это наболело в нём, что давно уже ждал случая высказать эти мысли.

— Но изоляция должна быть абсолютная! — продолжал яростно.

— Ты потише, парня мне разбудишь... — пришлось даже попридержать его Игнатьеву.

— Да-да... Вот... Изоляция, чтобы никаких телевизоров. Из книг — только Евангелие. И чтоб точно знал, что это уже навсегда, до конца...

— Ну, ты-то вот вышел, — не удержался, поддел его Игнатьев. Его уже всерьёз раздражал этот монолог. “Вон как ты теперь говоришь, — думал он. — А двоих-то за бутылку, за бутылку!..”

— Да я бы и не вышел, да ведь и там не оставляют, а там-то, может, да в одиночке-то и легче было бы... Ведь когда... веришь — это уже не одиночка, это келья... Ладно, ты извини...

А Игнатъев спросил:

— Ты, Сергей, был на том-то берегу, на нашем?

— Был. Но пока здесь, пока здесь...

— Ну, а мы завтра туда махнём, с утра только могилки обойдём.

Куликов кивнул понимающе.

— Ну, чего... Александр...

— Да-да... Александр я, Игнатъев...

— Редко видел тебя. Ты же намного старше. Уехал рано, приезжал редко.

— Да-да...

— Ну, давай, что ли, ложиться?

— Давай.

И Куликов лёг на свою скрипучую кровать, а Игнатъев влез на широкую печь и лёг рядом с внуком, который, сладко посапывая, видел какие-то сны.

...Ноги натружено болели (давно уж так много не ходил). Лёг сперва на правый бок, но сразу заболело плечо (и на мягком городском диване болели суставы, а тут — печь), улёгся на спину, вперился бессонными глазами в темноту.

Думалось о том, что завтра увидит родной дом (сегодня специально даже к берегу не пошёл, хотя их дом виден с этого берега), и вспоминалось всякое из той, прежней, жизни. И даже не верилось, что это он, Александр Игнатъев, был в той жизни.

...Помнились “праздники урожая”, по-старинному — дожинки, когда зерно наконец-то бывало убрано; когда отцы его друзей-мальчишек наконец-то появлялись дома не только ночами; когда и его отец — председатель, — отмаявшись наконец-то, позволял себе просто отоспаться, не торопясь попариться в бане... Вот тогда выставлялись прямо на улицу столы. Сначала козлы ставились, на них укладывались длинные столешницы (всё это хранилось в каком-то колхозном сарае), выносились скамейки из изб, тащилась сюда же посуда. Уже с утра пеклись в пекарне караваи, варилась в двух огромных котлах на берегу уха, а в двух других котлах — мясо. И все с утра уже были радостные и не злые. И ближе к обеду, наконец, усаживались: во главе стола — отец, рядом — парторг, тут же обязательно и агроном, и зоотехник, и бригадиры, а бывало, что и кто-то из районного начальства... И вот после третьей-четвёртой стопки начинались разговоры, кто-то затягивал песню, её подхватывали... Бывало, что и мать первой выводила: “Окрасился месяц багрянцем...” У них, мальчишек, вот в этот момент было развлечение: нырнуть под столы с одного конца и, стараясь никого не задеть, не проявив себя, пролезть под всем застольем и вынырнуть с другого конца. Всегда кого-нибудь всё же хватало за ворот рубахи, чаще всего обходилось тихо-мирно, ну, скажут что-нибудь вроде: “Ты чего тут шастаешь? А ну, кыш!...” И сейчас он полз на четвереньках, а столы длинные, и уж болят колени... И Александр Васильевич очнулся, действительно, от боли в коленях и услышал, как шуршит за окном дождь...

И вновь вроде бы задремал. То ли сон, то ли сердечная память в детство вернули: наверное, уроки в школе уже закончились, но мальчишки с Красного Берега к парому не спешили, вместе с воздвиженскими устроили игру в полуразваленной церкви (она пустовала, потихоньку рушилась без пригляда, от использования под клуб или склад спасало, наверное, кладбище вокруг неё, на котором и в ту пору ещё хоронили). Лучшего места для игры в “войнушку”, в “казаки-разбойники” или в прятки, казалось мальчишкам, и не придумать... Во что играли в тот день... Нет, не вспомнить... Но он, пятиклассник Сашка Игнатъев, оказался один в дальнем от входа конце храма с закруглённой стеной (алтарь это был — уже нынешним знанием понимал Александр Васильевич), отделённом от остальной просторной части храма колоннами, полуразваленной стеной, старыми досками. Было там почти совсем темно. Слышались голоса приятелей, еле проникал свет, пахло кирпичной пылью и прелью... Сашка сидел, затаив дыхание... И вдруг прямо перед ним появился золотисто-прозрачный столб... Нет, это не те ши-

рокие полосы света, что льются из-под купола в центре храма, нет, нет... Именно золотой столб — откуда-то сверху, будто бы и сквозь кирпичный свод опустился. И не страшно совсем. И видно, как золотые чешуйки внутри этого столба переливаются, сплывают... И уже будто где-то в другом мире он и слышит голос: “О чём печаль твоя?” А он ни о чём и не печалился, но будто бы ответил-подумал: “По русскому двойки”. “Всё пройдёт. Всё вернётся. Будешь учиться, будут многие знания, будет печаль. Будет крест и жизнь”... И ведь забыл он, в тот же день и забыл всё. И сейчас, снова открыв глаза в темноту, он силится вспомнить — было это на самом деле или только что и приснилось. Было, всё было, и что-то ещё будет... Будет, будет... И ведь по русскому-то с тех пор на пятёрки учился. Да, да... И по всем другим предметам. И всё больше, больше хотелось ему знать — и он прочитывал учебники ещё в начале года, брал из библиотеки и ночами засиживался над книгами.

Хотелось, очень хотелось ему учиться в городе. Просился в училище — не пустили, не выдали на руки “метрики”. После армии уже, не заезжая домой, подал документы в институт. И лишь когда увидел приказ о зачислении, в родную деревню подался, но вскоре покинул её уже надолго, вся жизнь его уже городской стала...

Дождь шуршал за окном, и мысли путались, и уже не поймёшь — где сон, где явь. Зачем он здесь? Да и где он?.. Мишка дрыгнул ногой и снова разбудил деда... И он ещё долго лежал с открытыми в темноту глазами...

### 3

Сергей Куликов тоже вспоминал — своё...

...Забрали Сергея Куликова за высокий забор из одной страны, а вышел он через десять лет в другую — перестройка, гласность и ускорение будоражили умы...

Поехал в родные края, конечно, а куда больше-то... А там какое ускорение — умирание... Родного дома и вовсе не нашёл. Сестра продала “на вывоз”, да и сама куда-то с мужем-офицером уехала. Отца Сергей не помнил, мать сгорела от горя в первый же год после того, как его посадили... Побродил он по Ивановке. Зашёл к соседке, старухе Якуничевой, с сыном её Борькой дружили. Да оказалось, что и Борьки-то уж нет в живых, нырнул по пьяни в ледяную весеннюю воду, у мостовых свай в десятке километров вниз по течению тело вытащили... Не стал и заходить к Якуничевой, хоть и звала в избу, страх стараясь не показывать, через калитку поговорили, да и пошёл Серёга своей дорогой. Встретил ещё мальчишку Игнатьева на берегу, сына вот этого Александра, тоже, кажется, напугал...

И куда было идти... Страна большая — два года ходил-ездил, нигде не зацепился. Второй срок за грабёж получил — вернулся туда, откуда вышел. Теперь уж “оором”, то есть особо опасным рецидивистом стал. “В авторитете” на зоне был...

Времена менялись, с запозданием, но и через лагерный забор новые веянья залетали. Появилась сначала молельная комната, потом церковку поставили. Священник — немолодой и неприветливый с виду бородатый мужик — приезжал по церковным праздникам. Ходили — всё развлечение. Захотелось и Куликову с новым человеком поговорить. Всё выложил священнику, ещё и посматривал на него — как, мол, впечатляет? Ничего было не понять по лицу священника... Не впечатлило, в общем.

— Ты к следующему воскресенью попустишь, молитвы почитай, тогда уж и исповедуйся... — сказал отец Илья.

— Рассказал вот тебе, отец, а на душе-то легче не стало, — желая и поддеть священника, отозвался Куликов.

— А ты как думал... То, что тяжело на душе, — это уже хорошо. Каяться надо, каяться... А как каяться, если не веришь?

— А как поверить-то? — уже серьёзно спросил Сергей.

— Не знаю...

— А ты как поверил?

— Поверил, и всё... Ты, главное, не думай, что такой уж пропащий, от-

петый. Ведь такой же разбойник первым за Господом в Царствие Его пошёл... Вот, возьми, почитай. В воскресенье ещё поговорим.

И уже уходя, направляясь к административному корпусу, где стояла его чёрная “Волга”, отец Илья остановился, обернулся, и Куликов к нему шагнул:

— Ты вспомни, что ты любил, детство вспомни, мать... Всё в нас, и вера в нас... — сказал ему священник.

На том и расстались в тот день.

Был потом Сергей Куликов старостой церковной общины в зоне. Так у него обернулось.

Двенадцать лет прошли-пролетели.

И опять — куда?

Поначалу у отца Илья в городском храме подвизался — и завхоз, и плотник, и слесарь, и ночной сторож. Ещё два года...

Отец Илья сгорел как-то быстро от непонятной внутренней болезни. Сергей сам и могилу для него копал. Прогнал пьяненьких кладбищенских копалей.

А потом снова на родину поехал, через полстраны...

И чем ближе — тем тревожней. И хочется поскорей в родные места, и боязно, и... стыдно.

От города до Жукова на автобусе доехал. Хотел через Воздвиженье сперва на Красный Берег добираться, да в Жукове подсказали, что в Воздвиженьи-то нет никого, может, и лодку не найти будет. Двинул в обход, через мост. Пешком пошёл и попутки не тормозил. Шёл и будто специально себя придерживал, отдаляя неизбежное, зовущее...

Вот и река, и мост — обновлённый в какие-то без него, Сергея Куликова, утёкшие в этой воде годы. На бетонных сваях. Теперь уж не снесёт ледоходом. А деревеньки, что стояли соединённые мостом на обоих берегах реки... Той, что на том, на Красном Берегу, нет вовсе, только трава да кусты с этого берега видны, а на этом, где стоит сейчас Сергей Куликов, — пара домов с провалившимися крышами и ещё заметные вытянутые бугры, густо поросшие травой, — бывшие огородные грядки. Кое-где, как болячки, торчат из зарослей крапивы и набирающего цвет кипрея обломки брёвен и досок... “Неужели и в Ивановке так же?” — невольно думается Куликову. И щемит, щемит сердце тягучая боль...

Розовая придорожная часовенка распахнута во все стороны выбитыми дверями и оконцами... Сколько раз в детстве проезжал и пробежал мимо, а будто часовенку эту и не замечал. Как и сохранилась-то, хоть и бескрестая...

Куликов не сразу на мост ступил, спустился сначала к реке, по крутому здесь берегу съехал почти к песчаной кромке. Присел, склонился, опустил зачем-то в воду руки с наколотыми на пальцах перстнями...

Вода здесь, стиснутая высокими берегами, быстрая, и отражения берегов, моста и человека колышутся, будто пытаются улпуть вместе с водой...

В такую же пору с Борькой Якуничевым и смастерили плотик в береговом леске за Ивановкой, на воду столкнули. Мечтали до города доплыть, а там и дальше, дальше, до океана. Когда к мосту их вынесло — страху уж натерпелись. Шест до дна не доставал, и несло их середкой реки на шатком плотике, боялись и пошевелиться, чтоб не опрокинуться... Плот шибануло о сваю, с треском выдрало скреплявшие бревна бруски, и в одно мгновение оба “мореплавателя” оказались в воде... Как их брёвнами не пришибло, как сумели удержаться на воде до излученной отмели ниже по течению?... Значит, так надо было... И вспомнил Куликов, что здесь Борьку-то, тело его, потом и вытащили... Но это уж без него, без Серёги, он тогда первый срок тянул... Каждому своя судьба. И вот его, Сергея Куликова, поседевшего, прихрамывающего из-за лагерной травмы, обросшего седой уже бородой, одетого в одежку из тех, что приносят в церковь прихожане для нищих и малоимущих, принимаемого, конечно, за бродягу (“бомжа” по-нынешнему), привела эта судьба к родной реке... А скоро ступит он и на родной берег...

...Ивановка же, на удивление, встретила его стрекотом трактора в поле, стуком топоров на строящейся... ферме, что ли?..

Он не пошёл сразу к людям. Обогнул стороной. Вошёл в пустую деревню. Многих домов уж нет, пустыри, крапивою заросшие, на их месте, да и те избы, что ещё держатся... Вот именно, только что держаться еле-еле за землю... А на месте их дома уже и не пустырь, что был в прошлый, давний его приход сюда, — заросли одичавшей малины, высокие, в три его роста, осины, сомкнувшиеся кронами, кочкастое осоковое болотце на месте пруда...

“Это хотел ты увидеть?.. Увидел, и что дальше?..”

...Познакомился, конечно, с Моториным, организовавшим в осиротевшей за последние годы Ивановке крестьянско-фермерское хозяйство, а с женой его Ольгой вместе ведь в школу ходили, только она на два класса помладше его была... Поговорили.

— Так чего, и не выпьешь? — спрашивал неунывающий фермер.

— Нет.

— Ну, пойдём, лодку поищем... Так пойдёшь ко мне работать-то?

— Подумаю ещё...

По берегу кое-где лежали оставшиеся от бывших жителей лодки. Отыскали приличную “дюральку”, и вёсла даже нашлись...

— Так хоть ночевать-то приплывай, места в доме хватит...

— Спасибо. Не беспокойся за меня... Куда мне деваться-то... Приду.

Солнце уже опускалось в створе берегов, казалось, что в то дальнейшее болото, из которого и брала свой исток река.

Лодка пересекла чешуйчатую солнечную дорожку и ткнулась в Воздвиженский берег. Купол церкви высился над кронами деревьев... И тоже ведь раньше будто не замечал, что нет креста-то над храмом...

Уже в сумерках, но всё же нашёл могилы отца и матери в единой ограде...

Откуда-то вдруг ветер налетел, умогильная берёза веткой хлестнула. И дождь заморосил. А когда встал Куликов под арку храмового входа — сверкнула, разрезая сразу на много кусков тёмное небо, многоветвистая молния...

Он вошел внутрь. В освещаемом через проломы и окна, через подкупольные оконца пространстве глядели на него со стен, испещрённых похабными надписями, через полуосыпавшуюся побелку строгие старцы, и жутко стало от их взглядов. Он посмотрел вверх, и взгляд, который невозможно было выдержать, пронзил его. Он оступился (доски пола были выворочены, валялись, полусгнившие, вкривь и вкось), упал, и обожгло левую щеку. Коснулся рукой — почувствовал, как стекает по бороде кровь.

#### 4

Путру снова пошли на кладбище. Вчера, на ночь глядя, Александр Васильевич не стал искать родные могилы... После ночного дождя дороги и тропки размокли, расплывались под ногами, кладбищенская трава сразу намочила брюки, с ветвей, листьев деревьев и беспорядочно разросшихся кустов то и дело окатывал их холодный душ... Кладбище вокруг церкви было давно заброшенное, будто и оно, само пристанище мёртвых, умерло вместе с селом. С трудом, но нашёл Александр Васильевич могилу матери (отец лежал на городском кладбище) в деревянной, хотя изрядно покосившейся, но не упавшей ограде. И крест, из арматуры сваренный в колхозной мастерской, ржавый, но стоял... А вот деда и бабушку уже не нашёл. Да и многие могилы угадывались лишь заросшими густой травой холмиками...

Мишка терпеливо бродил за дедом по печальному месту, молча стоял у могилы. Не бросал их и Куликов.

— На обратном пути задержимся у тебя, если можно? Надо могилу обиходить... — спросил Игнатьев у Куликова.

— Конечно, чего... Так поплывёте всё-таки на Красный?

— Да, надо. Дашь лодку-то?

— Берите, чего... Там Коля Моторин вас встретит.

— Это кто? Что-то не знаю...

— Да есть такой деятель. Фермер, — усмехнулся Куликов. — Ну, пойдёмте, лодку покажу...

Лодка — лёгкая дюралевая моторка, но без всякого мотора — лежала на берегу вверх дном на подложенных под неё мокрых досках. Куликов в одиночку перевернул её, тут же под лодкой были и вёсла, столкнул в воду:

— Залазьте! — скомандовал, не давая возможности Александру Васильевичу чем-то помочь ему. — Лезьте, лезьте, я оттолкну.

Мишка первым запрыгнул в качнувшуюся на воде “дюральку”, как называл её Куликов. За ним шагнул и дед. Сергей Куликов подал ему вёсла, дождался, пока старший Игнатьев вставит их в уключины, и безжалостно черпая короткими резиновыми сапогами воду, пошёл в реку, толкая лодку от берега на глубину.

— Спасибо, Сергей!

— Давайте! С Богом! Счастливо...

Середина реки вся ещё была затянута туманом, и, вплывая в него, дед и внук вновь услышали на оставляемом берегу звуки ударов кирпичей о дно тачки там, где совершал свой труд, непосильный, конечно же, для одного человека, бывший уголовник Сергей Куликов. А когда лодка вынырнула из тумана, дед и внук слышали уже с другого берега, Красного, новый и неожиданный для них сейчас звук — равномерное гудение мотора. Подплывая к берегу, они видели, как синий, казавшийся отсюда игрушечным трактор с подвешенной косилкой споро и ровно выстригает луг, что раскинулось от берега до леса, а справа, на взгорке, — дома деревни Ивановки и ещё какое-то сооружение — длинное, низкое, которого раньше здесь не было, напоминавшее те мёртвые фермы в Воздвиженье, и большая жердяная выгородка рядом с этим строением, в которой что-то шевелилось единой массой, и люди какие-то ходили там...

Лодка ткнулась в травянистый берег, Мишка выпрыгнул первым и, прихватив носовую цепь, держал лодку, пока дед вынимал из уключин вёсла и вылезал, едва не оступившись в воду, на берег. Вдвоём вытащили “дюральку” на половину корпуса, а цепь надёжно обмотали и даже затянули узлом на стволе растущей у воды берёзы.

— Ну, вот мы и дома, — неожиданно даже для себя сказал Александр Васильевич Игнатьев...

Оказалось, что загон — для овец, а здание — овцеферма. Рассказывал всё это им как-то торопливо, будто боясь не успеть, невысокий круглый и очень подвижный человек — Николай Иванович Моторин, как успел он уже представиться старшему Игнатьеву, а Мишке назвался “дядей Колей”, и уже чуть ли не тащил их внутрь фермы, чтобы показать ягнят. А навстречу им вышла такая же круглая женщина в туго повязанной синей косынке, длиннополым синем халате и в шлёпанцах на босу ногу, увидев гостей, приветливо заулыбалась. А из-за её спины выкатилась — не ошибёшься! — дочь своих родителей, копия отца и мамы, девчонка лет десяти с туго завязанными и торчащими в стороны косичками и пронзительно голубыми глазами.

— Мой главный зоотехник, а по совместительству — жена, Ольга Ивановна. А это Маринка — родная кровинка. Покажи-ка, Маринка, молодому человеку ягнят-то, поди-ка, и не видывал...

— Пойдём, — просто сказала девочка. И Мишка пошёл за ней... И вскоре забыл про деда, про дяденьку, Маринкиного отца, имя которого уже не помнил, и про её маму, про всё... Гладил эти пуховые, на тонких ножках комочки, опасливо касался тёплого меха овечьих мам, недоверчиво косивших на него выпуклыми коричневыми глазами...

— Это Миля, это Зорька, это Лиза, — говорила девочка.

— Романовская порода, в Ярославской области покупал. Красавицы, да? — рассказывал и немножко хвастал Николай Моторин, показывая свою ферму Александру Васильевичу. Урюмый мужик в клетчатой рубашке и кепке, не обращая внимания ни на своего начальника, ни на гостей, выгребал совковой лопатой из пустого загончика помёт и укладывал на тачку, такую же, на какой вывозил мусор из храма Сергей Куликов.

— Спасибо, надо нам к дому, — сумел, наконец, вставить слово Игнатьев. — Думаю, ещё встретимся, поговорим.

— Конечно, вечером в гости ждём.

— Мишка, пойдём, — позвал дед.

Мишка очнулся от этого оклика, взглянул на девочку и сказал ей:

— Меня Мишка зовут.

— А меня Марина. Приходи ещё. Я тебе котят покажу. И у нас ещё кролики есть.

— Ага. — Мишка кивнул и пошёл к деду.

## 5

Это был выстрел. И ещё один... В тишине вечера выстрелы были оглушительны. Хотя и не рядом, где-то у моторинской фермы, — так Александр Васильевич определил.

— Дед, это чего? — Мишка спросил.

— Не знаю, — стараясь не показывать волнения, чтобы не напугать внука, отвечал старший Игнатъев. Они сидели на крыльце родового дома.

Александр Васильевич поднялся, подошел к косо висящей на петлях калитке, глянул вдоль улицы. Увидел идущего к их дому Моторина. В руках у него было охотничье ружьё. Шёл он спокойно, держа ружьё стволами к земле.

— Напугал вас, поди-ка? — издали ещё сказал. — Всё нормально. Лиса, паразитка, повадилась кур таскать, спасу нет. И собака-то никак упредить её не может. Надо хорошую охотничью заводить... Ну, как устроились?

— Устроились... Родной всё же дом. Проходите.

— Давайте уж вы к нам, хозяйка наготовила.

Александр Васильевичу не хотелось сейчас никуда идти, он только-только вроде бы заново привыкал к родному дому — уж очень давно здесь не бывал-то... Мишка тоже ещё не весь дом облазил с его печью, повестью, чердаком, двором... Но и отказывать было неудобно. Пошли к Моториным.

Мишка, выпив кружку парного, только из-под коровы молока, ускользнул на пару с Маринкой за порог избы — много чего ещё интересного, кроме ягнят, оказалось в моторинском хозяйстве: котятка, корова, телёнок, куры, кролики, два трактора, комбайн... Всё посмотреть хотелось. Да к тому же и не запрещалось... Хозяйка то присаживалась к столу, вставляла слово в разговор, выпивая чашку чая, то снова уходила в кухню, гремела посудой, или на двор, к скотине... Мужчины, распечатав бутылочку, под хорошую закуску неспешно разговаривали. Александр Васильевичу так хорошо стало, как давно уже не бывало...

— Зерновые-то как нынче? — вопрос Моторину задал, видя, что тому нравится про своё хозяйство рассказывать.

— Остатки подбираем ещё. Скоро закончим. Пятьсот гектаров в этом году сеяли ячменя...

— У-у, много... — Игнатъев покивал. А Моторин от видимого интереса ещё больше оживился...

— Есть ещё пилорама, у нас ведь много строительства...

— А какое строительство-то?

— Ну, нынче, худо-бедно, два сарая справили. Не мало ведь на них надо. Так?

— Так, — только и оставалось Александру Васильевичу согласиться.

— Овцы у меня, романовские, — продолжал рассказывать Моторин.

— Много овец-то? — опять спросил Игнатъев, и опять понимал, что делает этим вопросом хозяину приятное, и ему именно и хотелось, чтобы хозяину было приятно, потому что и самому сейчас было хорошо...

— Сто восемьдесят голов.

— Да, работать вам приходится без выходных и отпусков, да и не по восемь часов, — посочувствовал Игнатъев.

— Зато сам себе хозяин.

— А насколько ты, хозяин, независим в своей деятельности? — решил всё же умерить его пыл Александр Васильевич.

— А в чём я могу быть зависим? — Он вроде как даже обиделся на такой вопрос Игнатъева. И Александр Васильевич чувствовал эту обиду. Но он



также чувствовал, что эта обида наиграна. — Крестьянин я, крестьянин! И хочу доказать всем, что могу своим крестьянским умом жить, и жить неплохо, и другим давать! Вот так...

— И много людей у тебя работает? — Игнатъев спросил не о том, о чём думал.

— Восемь человек, — с гордостью ответил Моторин. — Четыре механизатора, один на сушилке, на овцеферме работники...

— А откуда работники-то?

— Двое из Болотово...

— Там разве ещё живут? — удивился Игнатъев. Моторин назвал лесную деревеньку в глубине Красного Берега, которая захирела, кажется, уж совсем давно.

— Одна семья там оставалась, так и живут, да ещё мужик из города лет пять назад переехал... Ну, вот... Из Жукова даже есть мужики, из Лыкова, из Меленки... Я плачу нормально, как поработаем — так и заработаем, так что... — Николай Моторин опять наполнил стопки. Выпили.

— А сам-то ты откуда, Николай? Не местный ведь?

— Не местный, но тоже деревенский, — он назвал недалёкое от города село. — А жена-то отсюда у меня. Ивановская. Ольга-то моя, Ивановна. Так что места эти я знал, бывал тут... Когда колхоз-то обанкротили, в котором я председателем был, стыдно мне там было оставаться, хоть и не было моей вины, — сказал вдруг Моторин. А Игнатъев, поспешно кивнул, махнул рукой, будто откидывая что-то, и спросил про другое:

— Подожди-ка, так Ольга-то твоя, чья она есть-то?

— Васильева. Иван Андреич — тесть мой.

— Так я ж с Иваном-то вместе учился в школе! Зови Ольгу-то, чего она...

Моторин позвал жену.

— Посиди, Ольга Ивановна, с нами. С отцом-то твоим мы друзьями были.

— Помянем Ивана Андреича, — сказал Моторин поднявшись. Помянули. Лет уж пятнадцать, как лежал он на Воздвиженском погосте.

— И сколько вы уже здесь? — снова спросил Игнатъев.

— Да третий год идёт.

— Ну, и какие планы — развиваться, увеличивать производство или стабилизироваться на достигнутом уровне? — не отставал Игнатъев (он уже прилично опьянел).

Моторин вновь охотно пустился в рассуждения о своём хозяйстве... Ольга, воспользовавшись тем, что мужчины опять разговорились, выскользнула из-за стола. Быстренько унесла бутылку из шкафчика в сених на поветь. Муж если и вспомнит — так она знает, что ему ответить, чтобы успокоился...

— Ну, и давай, Александр Василич, за нас с тобой, за крестьян! — сказал Моторин.

— Да какой я крестьянин, что ты...

— Ну, тогда — за наши крестьянские корни.

И они выпили.

— А ты кто есть-то, Василич? Кем, то есть, работаешь? — опомнился вдруг Моторин.

— Теперь уж пенсионер. А работал преподавателем в институте, историк.

— Профессор, наверное? — уважительно спросил Николай.

— Профессор, — кивнул Игнатъев. — А дети-то у нас где, слушай? Куда это Мишка-то умотал?

— С моей Маринкой не пропадёт... Пошли, Василич, на крылечке покурим...

Марина показала Мишке ещё раз ягнят, показала котят и крольчат... Одно крольчонка Маринка достала из клетки, из-под маминого бока взяла, и крольчиха тревожно приподнялась, носом в сетку уткнулась, и оставшиеся крольчата, почувствовав её беспокойство, запищали. Мишка недолго боязливо подержал крольчонка на руках, погладил его мягкие прижатые

к спинке уши и вернул Маринке, а та вернула крольчонка маме... В большом сарае, где лежало скрученное в рулоны сено, посмотрели цыплят...

— Это сюда лиса-то бегаёт? — спросил Мишка, вспомнив, что говорил Маринкин отец.

— Ага, уже трёх утащила, жалко... А курицу только покусала, не смогла утащить...

— А я в Москве тапиров видел, — решил и Мишка похвастаться.

— Каких ещё тапиров? — не поняла девочка.

— Ну, они такие... на поросят похожи, только носы длинные. Они — предки слонов...

— Нет таких животных, — прервала его рассказ Марина.

— Есть! — обиделся Мишка. — Они такие... смешные... — он совсем сбился и сердито насупился.

— И чего это предки слонов в Москве делают? — хитро усмехнулась Маринка, будто и не заметив его обиду.

— Они же в зоопарке живут! Там, знаешь, какой зоопарк!..

— Маришка, сходили бы кролям травы нарвали, — окликнула девочку мать, задававшая корм овцам (ей помогала ещё какая-то женщина), и тем прервала разговор, уже чуть ли не переходивший в ссору.

— Пошли? — спросила Марина.

— Пошли!

Во дворе возились с трактором двое мужчин.

— Серёга, ключ на двенадцать дай!.. — слышалось с их стороны. — Да на двенадцать я сказал... — и дальше матюгами.

Мишке стало стыдно, а Марина будто и не слышала ничего.

Они взяли две большие плетённые из ивы корзины и пошли со двора.

— Вон туда пойдём, — указала Марина на полуразваленный дом. — Там одуванчики растут, кроли их любят... — И добавила тихо, как тайну: — Я тебе ещё что-то покажу...

Дошли до того дома, стали траву рвать, тут, и правда, на бывших грядках было много одуванчиков. Солнце уже склонялось над лесом. И одуванчики закрывались, прятали свои солнышки.

— Пошли, пока не стемнело... — Девчонка взяла Мишку за руку, нетерпеливо дёрнула... А его как обожгло её прикосновение. — Да оставь тут корзину-то, — тянула за руку Маринка... Они подошли к кривому, опасному крыльцу дома, но подниматься по нему не стали. Маринка нырнула в дыру под крыльцом, и Мишка за ней полез. Сначала было совсем темно, и Мишка двигался полусогнувшись (раз попробовал выпрямиться, да стукнулся головой), только на звук Маринкиных шагов и шорох её платья. Но быстро выбрались в какое-то обширное помещение с оконцем, и розовое солнце как раз в него вливалось, давало полумрак... Вдруг какая-то тёмная молния метнулась из угла к чёрной дыре под брёвнами стены.

— Не бойсь, — покровительственно сказала Маринка. — Сейчас увидишь, — добавила она. А из того угла, откуда только что вылетела “молния”, доносился какой-то писк и возня. Подошли. И Мишка разглядел четырёх, с торчащими треугольно ушками, с острыми мордочками лисят, копошащихся в каком-то подобии гнезда. Мишка потянул руку к одному из них, но лисёнок вмиг ощерился острыми зубками, зашипел.

— Не трогай, цапнет. Меня кусали... — сказала Маринка.

— Классно, здорово... — не слушая её, проговорил Мишка.

— Ну, пошли! — и девочка первая пошла к тому ходу, через который проникли в погреб дома, Мишка за ней. Когда выбрались, предупредила:

— Только не говори никому, а то отец лису убьёт.

Мишка молча кивнул.

Быстро наполнили корзины травой, подхватили и побежали к дому — уже совсем сумеречно стало. Кончились в их краю северные белые ночи, когда ещё и не отгорит заря вечерняя, а уже подрумянятся, зарозовеют облака на востоке... Лесные чёрные сумерки быстро надвигаются на деревню, накрывают дома, реку, и двое — мальчик и девочка — бегут в безмолвии и темноте на зовущий жёлтый свет окна...

Маринкин отец и Мишкин дед сидели на крыльце. Николай Моторин курил.

— Вон, бегут, — кивнул на детей.

— Слушай, Николай, а как же у тебя дочь учится-то? — спросил Александр Васильевич.

— Да в городе она, в городе, только на каникулы с матерью сюда и приезжает... А и чёрт бы с этой школой-то! Жили бы тут всё время — сами бы выучили...

— Ну, это ты брось... — Игнатьев сказал. — Ей в обществе жить.

— Да это я так, Василич... А согласишься, не велико и счастье в нынешнем обществе жить. И тебя самого же сюда потянуло.

— Родина, — сказал Игнатьев.

— Завтра приходи, — сказала Маринка, — купаться пойдём.

— Ага, — кивнул Мишка.

— Ну, пока, — и она улыбнулась. И улыбка обожгла, как прикосновение руки. Легко подхватила обе корзины и побежала к сарайке с кроличьими клетками.

И дед с внуком тоже пошли домой...

Александр Васильевич давно не выпивал так много (хотя, помоложе-то был, так что для него была пол-литра на двоих!). Но никакой тяжести в голове и ногах не было — и шлось, и думалось на удивление легко... Но уснуть опять долго не мог. Мишка уж давно посапывал в блаженном детском сне, растянувшись на широкой лавке за печкой, а дед снова на крыльцо вышел... Запала моторинская мысль о нынешнем обществе и не отпускала. “А и хорошо бы, правда, скатать вот эту, ещё живую Русь — с этими лесами, деревеньками, полями, — как скатерть-самобранку, унести куда подальше от нынешнего мира, раскатать да и жить, как нам хочется, без оглядки на их цивилизацию... Ан нет, не получится, и там ведь не сможем, как в сказке, жить, на то она и сказка... Да и куда уносить? Вот — всё тут, бери, живи... Может, правда, совсем сюда перебраться?..”

А сон приснился, когда всё же уснул на старом диване, на удивление, до малейших подробностей чёткий. Он видел массы людей и в этих массах различал всякое лицо, он знал и понимал все происходившие в его сне события... И понимал, что это ему снится, и во сне же сам себе говорил, что, когда проснётся, надо сон записать... И был уверен, что как видит всё и понимает, так же и записать сможет... А когда очнулся — что-то, в общем, помнил, но, конечно, не так подробно и внятно, да и записывать ничего уже не хотел...

## Сон

Будущее, не очень и далёкое... Все промышленные предприятия мира сосредоточены в какой-то единой зоне, на них — современной техника. Они обеспечивают весь мир промтоварами, одеждой... Вторая зона — сельскохозяйственное производство и производство продуктов питания, тоже по современным и постоянно совершенствующимся технологиям. Первая зона, кажется, где-то в Юго-Восточной Азии, вторая — в Африке... Работают в обеих зонах, в основном, роботы...

Остальное человечество освобождено от производства — широчайшая возможность “творческого” и “духовного” развития — и творят. (Во сне Александр Васильевич даже понимал, что слова “творческого” и “духовного” должны стоять в кавычках.) И все желающие “самовыражаются”, “духовно развиваются”, особенно в ходу всяческая эзотерика и оккультизм. Хотя большинство, конечно, выбирает “отдых” — потребление продуктов самовыражения “творческих личностей” и туризм по также строго отведённым для этого зонам.

Всякое производство, кроме как в тех специальных зонах, запрещено. Особенно — сельскохозяйственное (даже огородика никакого быть не должно).

“Национальные культуры” — в “национальных заповедниках”: русская деревня, папуасская, индейская...

В “русской” деревне девки в сарафанах да кокошниках хлебом-солью встречаются, можно и в церкву войти, свечку перед иконой поставить — желание загадать, а если под ту же икону подлезешь (она на специальном столике стоит) трижды — то уж обязательно желание исполнится. Всё это объясняет доброжелательная женщина-экскурсовод в скромном платочке. А после церкви можно и в резиденцию Деда Мороза зайти — тут он с накладной бородой и красным носом на троне своём сидит. А неподалёку — избушка Бабы Яги... Можно и в баньку с веником (для желающих — с теми же девками, что в сарафанах и с хлебом-солью встречали). А ещё и “праздник коровы” либо “праздник печки” в той же “русской” деревне устроят с частушками и дракой — веселись, народ, приобщайся к “русской культуре”...

Создана всемирная “единая церковь”, потому как различные религии — анахронизм, ведущий лишь к религиозной розни, которой не место в цивилизованном обществе.

Классическая литература вроде бы и не запрещена — просто её почти никто не читает. Вообще читают очень мало и в основном — детективы и любовные романы. И “классика” уходит из жизни “естественно” — книги не переиздают.

Живут все в высококомфортных городах, отдыхать ездят в “природные” либо “национальные” заповедники.

Постоянная забота “об экологии”. Очень сильна “зелёная партия”.

Культ “здорового образа жизни”. Все озабочены здоровым питанием, продлением жизни... Сторонники здорового образа жизни, а таких — большинство, объединяются в почти религиозные организации — со своими ритуалами, обычаями...

Преступность остаётся, в основном, бытовая или на почве “самовыражения”. Преступники изолированы, но места их изоляции — неподалёку от городов или даже в самих городах, и условия содержания — довольно лёгкие. Самым серьёзным преступлением считается нарушение “закона о производстве” — вот за него люди просто исчезают (официально — “подвергаются изменению”: с помощью химических препаратов их превращают в биороботов и увозят в одну из производственных зон, где используют на тяжёлых работах, там, где и машины не могут работать...)

Огромная часть людей работает в какой-либо охране. Охраняют всё, что возможно, — жилые дома, общественные здания, все следят за всеми... Столько охранников совсем и не нужно, но создаётся впечатление занятости серьёзным делом...

Конечно же, существует мировое правительство, существует очень узкий круг людей, манипулирующий всем остальным населением планеты, существует немногочисленная, но могущественная тайная спецслужба, осуществляющая постоянный контроль и немедленно пресекающая всякое инакомыслие...

Но осталась территория, неподвластная этому “мировому правительству” и его “мировому порядку”. И называется эта территория — Россия. Конечно, это очень небольшая часть бывшей России — то ли несколько деревень, то ли какой-то город. И живут там люди русские, хотя среди них есть представители всех рас. Живут, как хотят: пахут землю и выращивают хлеб, охотятся и ловят рыбу, рожают детей, учатся в школах, читают книги. Ходят в церковь, конечно же, православную... Каким-то образом туда, в Россию, попадают люди, “подвергшиеся принудительному изменению”, то есть вроде бы превращённые в животных-роботов, но они живут там, в России, как самые обычные люди... В Россию постоянно засылаются агенты мирового правительства, но лишь успевают передать какую-то информацию, а вскоре сами становятся русскими... Предпринимаемые мировым правительством военные акции против России не приводят ни к какому результату. Она неуловима — то объявится где-то на севере Евразии, то в Индии, то в Южной Америке... Но везде это одна и та же Россия — Русь. И жизнь-то в ней совсем не сахарная — деревенская, трудовая... И каким-то образом, без всякой внешней информации — не говорят о России ни всемирное телевидение,

ни газеты — о ней узнают и находят безошибочную дорогу к ней все “труждающиеся и обременённые”, а такие, несмотря на почти полное освобождение от всякого труда, на, казалось бы, полнейшую “свободу” и “демократию”, всегда находят. И ведь знают мировые правители (о, они умны, они многознающи!), что их мировая империя рухнет, понимают (о, они всё понимают!), что, как бы ни трудились их учёные над проблемой продления жизни, а умирать придётся... А Россия всё равно останется, а русские, кто бы ни были они по земной своей национальности, истинно бессмертны... И от этих знаний и понимания ещё больше они ненавидят Россию...

Всё это, только ещё более чётко, зримо, узнал в своём сне Александр Васильевич Игнатьев. Он будто прожил в себе жизни миллионов людей, и сам был каждым из этих миллионов. Он и проснулся с таким непонятным чувством... И увидел внука своего — Мишку: тот сидел у окошка и глядел на улицу, где начинался новый день. И в нём, в этом светловолосом мальчишке, увидел и своего отца, и деда, и сына, и будущего правнука — ту самую Россию, но не во сне, а наяву...

Послышались шаги на крыльце, и по-деревенски без стука вошла в избу Ольга Моторина:

— Здравствуйте! А давайте-ка, хозяйева, порядок-то в доме наведём! Мишка, беги-ка на пруд за водой, пол мыть будем... Беги-беги, Маринка вон ждёт тебя...

## Глава пятая

### 1

— Полинка, иди к дяде Мише, он уж запрягает, да съездите с Санькой за вениками-то, мы долетаем...

— Хорошо, мама... — Полина скатилась с макушки стога, оправила сарафан, перевязала косынку и побежала по твёрдоупотанной тропке к дому.

Сена оставалось на один стог, и Вера Егоровна, Васятка да нанятый в подмогу Воська-косой должны были здесь быстро управиться. Дядя Миша по сухорукости своей сеном не занимался, впрочем, и однорукый (левая висела плетью) умел делать многое и хорошо. Сейчас он выводил со двора впряжённого в телегу смиренного мерина Карько. И двоюродная сестра Полины, Александра (по-деревенски — Санька), довольная, сидела на задке телеги, свесив ноги в новых беленьких ещё лапотках...

— Прибежала, ну, и ладно, — кивнул дядя Миша. — Вот вам топор, смотрите, девки, не потеряйте. Езжайте за старую выгороду, там по праву руку берёзу-ти и рубите, да не заделявайте, смеркается быстро — и не заметите, — наставлял он дочь и племянницу, хоть и ездили они за вениками уже не первый год, всё знали...

— Ладно-ладно...

— Хорошо, божатко...

— С Богом, с Богом...

Телега запереваливалась из колеи в колею — в дождливые дни дорогу посередке деревни беспорядочно разъездили, так и засохла рытвинами. Увязалась, было, с тьяканьем за Карьком соседская собачонка (Карько шёл неторопко, обмахивая хвостом оводье да мух, не обращая на собачонку внимания), Санька замахнулась на неё вицей, и та отстала...

За деревней дорога выровнялась, телега покатилась мягко. Вскоре въехали под прикрытие леса, спрятались от палящего, хоть и клонящегося к закату солнца.

— Так отец-то пишет, что скоро вернётся? — спросила Санька.

— Да, пишет. А ты чего не приходила-то вчера?

— Скотину обряжали с мамкой. Отец-то рассказал...

Вчера Полина читала письмо отца — почти вся семья, да и кое-кто из соседей вокруг стола сидели, слушали...

— Ой, хоть бы уж и пришёл скорее. Мамка виду не кажет, а уж вся измаялась, тяжело без мужика-то... — серьёзно, по-бабьи вздохнула Полина, чем и вызвала приступ смеха у двоюродной сестры.

— А то ты знаешь, как бабе без мужика?

— А то не знаю...

— А как?

— Отстань ты! — грубовато прикрикнула Полина. Санька обиженно спрыгнула с телеги и пошла по краю дороги, обломив веточку с осинки, отмахивая комаров.

Карько ступал неспешно, покачивал в такт шагам большой головой, хлестал хвостом по крупу.

— Ой, Полинка, смотри-ка! — Санька указала вниз, на дорогу.

Полина нагнулась с телеги — на грязевой корке, оставшейся от пересохшей лужи, отпечатались следы.

— Мужик вроде шёл... Босой... — неуверенно сказала Полина.

— За грибами, что ли? — откликнулась Санька. — А чего не обутой-то? — сама себя спросила. И присела снова в телегу, дала и сестре веточку — комаров отгонять.

Карько что-то совсем уж замедился, закрутил головой. Полина легко подхлестнула его вожжами:

— Н-н-о, Карько, шевели мослами давай. Санька, погоняла бы ты с него оводов.

— Сама бы и погоняла! — откликнулась Санька, но сестру послушала, снова с телеги спрыгнула, охлестнула бока и пах мерина... Опять на дорогу глянула и опять след босого мужика увидала...

Прямо с телеги, через кусты, разглядела Полина мост красноголовиков, накрывший полянку. Карька остановили, вожжи на куст накиннули и пока все грибы в подолы не собрали — не отстали. Высыпали подосиновики в задок телеги, сами сели, надо было уже поторапливаться, в лесу заметно темнело. А Карько опять идти не хотел, норовил к дому завернуть, пришлось поостроже его на путь наставить.

Наконец, проехали и старую выгороду — участок леса, огороженный жердями, кое-где теперь уж сломанными, упавшими, в котором пасли в позапрошлом году деревенское стадо. Уже в сумерках по очереди рубили ветки на веники, наощупь определив, что берёза банная (испод листа бархатистый). Накидав полную телегу, поехали в деревню. И чем ближе к жилью, тем Карько веселее шагал.

Ещё издали Полина увидела непривычную колготню у своего дома. “Уж не случилось ли чего?” — подумала.

И только подумала, увидели обе девки бегущего им навстречу Васятку:

— Полька, Санька! Батька пришёл!..

...Утром мать, помолодевшая, неожиданно красивая, в горенку к Полине заглянула.

— Полька! Спишь?.. Осины-ти могли бы и за огородом наломать!

А из избы слышался непривычный, громкий смех отца и божатки. Вчера долго смеялись над “босым мужиком” — медведем, прошедшим впереди девок по дороге, а с утра кто-то, видно, разглядел и наломанные девками веники...

Солнце широко вливалось в избу. Два брата Игнатьевы — Семён и Михаил — сидят за столом, между ними — початая корчага браги, хозяйка орудует у шестка ухватом, Васька, просидевший вчера со взрослыми до полуночи, спит на полатах без задних ног, Полина одевается, стыдясь того, что проспала, не помогла матери хотя бы выгнать утром скотину...

И верится всем в семье Игнатьевых, что начинается с этого дня новая, другая, обязательно счастливая жизнь.

## 2

Не думал Иван Сергеевич, что доведётся ещё в эти места вернуться. Однако же партия сказала — поехал. Секретарём уездкома... Городок знакомый ему — поначалу здесь ссылку отбывал, пока не уехал ещё дальше,

на Красный Берег... На вокзале чувствовалась какая-то напряжённость — вооружённые красноармейцы группами сидели вокруг костров. Поздняков прошёл в знакомое деревянное здание вокзала, навстречу ему шёл коренастый с подкрученными усами (в отличие от Ивана Сергеевича, у которого усы висели по-сомовьи) человек в чёрной потёртой кожанке, в кожаной же фуражке со звёздочкой над козырьком, перепоясанный португеей, в кавалеристских галифе, в сапогах, с кобурой на боку.

— Товарищ Поздняков? Здравия желаю! Командир гарнизона Саблер! — представился человек.

— Что происходит, товарищ Саблер?

— В Воздвиженской волости кулацкое восстание, захвачено село Возвиженье. До трёхсот вооружённых бандитов. Убиты бойцы продотряда...

Постепенно вырисовывалась картина этого восстания. Докладывал председатель местной “чрезвычайки” Аксютин (между прочим, старый знакомый из ссыльных, но сейчас не до воспоминаний было): “Поступили сведения о совершившихся и предотвращённых восстаниях под руководством левых эсеров ещё в ряде городов и уездов Поволжья и по всему Северному краю... Инициаторами Воздвиженского восстания, как ни странно, стали недавно демобилизовавшиеся красноармейцы. Хотя это и понятно: в армейских рядах эсеровские агитаторы работали особенно активно... Поводом же к восстанию стал рейд продотряда. В Жукове они излишки хлеба изъяли, а на пути в Возвиженье продотрядовцы были захвачены местными мужиками во главе с Яковом Поповым, две недели назад вернувшимся домой по ранению...”

...Аксютин говорил неторопливо, несколько театрально... И Поздняков невольно всё же вспомнил, что Аксютин этот и правда организовал в городе театральный кружок из ссыльных, собиравшихся чаще всего у него на квартире и, с разрешения полиции, устраивал спектакли: летом — в городском саду, а зимами — в “народном доме”, который был в шестнадцатом году разгромлен местными членами Союза русского народа как “гнездо социализма”... “Театральный кружок” был, конечно же, и политическим клубом: читали и обсуждали новинки политической литературы, статьи из “Правды”, не забывали и “художественное”: Блок, Б. Ропшин, Горький... Выпивали, ссорились, отбивали друг у друга жён и партийных подруг... Поздняков (в то время, конечно, Потапенко) один раз был в этом “театральном кружке” и стал свидетелем того, как осталась у Аксютинца девица, считавшаяся невестой молодого меньшевика. Рассказывали, что ночью тот вернулся, стучал в двери и попытался поджечь дом, но был схвачен хозяином (Аксютин снимал квартиру в большом двухэтажном доме), избит и сдан в полицию... И случай тот был не единственным: пьянство, “свободная любовь”, махинации с партийными кассами и доносы процветали в среде ссыльных. Для Ивана Потапенко такие нравы в среде революционеров были внове. Он привык работать среди простых заводских людей, партийную учёбу проходил на курсах в Финляндии и в самом Питере, где партийные руководители казались ему чистыми, как небожители... Он сам тогда явился в жандармское управление и попросил отправить его на жительство в деревню. Тогда-то и познакомился он с Иваном Алексеевичем Сажиным, помощником начальника уездного управления. Тот необычную просьбу ссыльного уважил, и вскоре Иван Потапенко был отправлен на Красный Берег...

Поздняков отогнал ненужные сейчас воспоминания и продолжал слушать доклад Аксютинца.

“...Лишь одному из бойцов продотряда удалось бежать, остальные в ходе завязавшейся перестрелки были убиты. После чего бандиты обосновались в Возвиженьи и ведут агитацию против Советской власти в окрестных деревнях. Есть сведения, что, собрав достаточное количество людей, они попытаются продвинуться к ближайшей железнодорожной станции — это пятьдесят вёрст от Возвиженья — и захватить её. Полагаю, что Воздвиженский мятеж — звено в единой цепи эсеровского заговора”.

“Ишь, как шарит, — артист”, — внутренне усмехнулся Поздняков. А вслух спросил:

— Есть сведения, как развиваются события в других местах?

— В Ярославле — бои, в Вологде раскрыт и уничтожен эсеровский заговор... В нашем уезде сейчас идут аресты всех известных нам эсеров с целью предотвращения... — ответил Аксютин.

— Наши силы? — обратился Поздняков к Саблеру.

— Кавалерийский полк в полном составе сосредоточен сейчас здесь, на вокзале. Сформирован отряд из рабочих-добровольцев...

Поздняков вышел на перрон, чтобы покурить на улице, — в вокзальной комнате, где находился штаб по борьбе с мятежом, от дыма уже было не продохнуть.

Небо на востоке розовело. Состав, стоявший у перрона, отделял всё, что по другую сторону от него, будто стена, за которой ничего нет, будто по этому составу проходит граница видимого мира. У костров — люди и тени. Порывы ветра швыряют в лицо морось. И эти костры, тени, этот ветер и даже этот состав-стена вдруг напомнили Ивану Позднякову что-то из того времени, когда был он фабричным мальчишкой Ванькой Потапенко, и в бараке, где жили тогда с матерью, отцом и двумя сёстрами, за тонкой перегородкой сосед-старик бубнил-читал что-то, и тоже там, в читаемой стариком книге, были костёр, и тени, и, кажется, мокрый ветер... И охватило вдруг чувство восторга и страха одновременно, как и тогда от тех непонятных слов... Он подошёл к огню. Красноармейцы с багровыми от огня лицами курили, пили чай, что-то хлебали из котелков... Один, поняв в Позднякове начальника, спросил:

— Когда отправляемся, товарищ командир?

— Скоро, — коротко ответил Иван Сергеевич, бросил в огонь пустой мундштук выкуренной папиросы и ушел в вокзал...

К утру был выработан план: небольшой отряд красноармейцев, усиленный пулемётами, отправляется по железной дороге на станцию, чтобы предотвратить попытку её захвата. Остальные силы — спешенные кавалеристы, рабочий отряд, усиленный чекистами, два артиллерийских орудия — двумя пароходами движутся по реке к Воздвиженью и Красному Берегу, занимают Ивановку, чтобы не дать бандитам уйти на Красный Берег, окружают, атакуют и уничтожают бандитов в Воздвиженьи. По завершении боевой фазы операции специальные чекистские отряды проводят рейд по округе с целью ареста укрывшихся бандитов и их пособников.

— Всё, товарищи, решение принято. Действуем. Командира рабочих-добровольцев срочно ко мне! — уже командовал Поздняков. Саблер и Аксютин безоговорочно приняли его руководство.

### 3

Михаил Игнатъев ввалился в братову избу:

— Здорово ночевали!

За ним вошёл и ещё мужичок в длинной солдатской неподпоясанной шинели, в солдатской же фуражке, родом из Жукова:

— Здравствуйте.

— Здорово, здорово, заходите, садитесь, — Семён Игнатъев поднялся им навстречу от стола, на который Вера Егоровна только-только выставила самовар — семья уже позавтракала.

— Здравствуйте, садитесь, пожалуйте... Васька, иди-ка Полинке помоги, — вымела из-за стола парня.

Гости сели за стол. Хозяйка выставила ещё две чашки и тоже вышла из избы.

Семён неторопливо налил себе чаю:

— Давайте, сами наливайте... Ну, чего пожаловали-то?

— Слышал, Семён, чего на том берегу-то делается? — без обиняков начал Михаил.

— Ну?

— Вот — человек оттуда. От Попова.

— Протрядовцы хлеб подчистую выметают, обрекая людей на голодную смерть! Вся Россия, вся мужицкая рать поднялась на большевиков



и жидов. Вологда, Ярославль, Кострома — уже наши, в Москве бои... И наш уезд в стороне не остался — формируется крестьянская освободительная армия под командованием товарища Попова...

— Складно баишем, где научился-то? — с усмешкой оборвал его Семён. — Ты ж наш вроде, жуковский?

— Лебедев я, Сергей...

— Думай, Семён, за тобой мужики пойдут, — вмешался снова Михаил.

— Пойдут, говоришь... А ты знаешь, Миха, какая сейчас у большевиков сила? С чем и против кого пойдут мужики? Много ли их с германской-то вернулось? Ты понимаешь, — уже к Лебедеву он обернулся, — что вы людей на смерть зовёте? И кто вы? Эсеры? Да? А пришли бы вы к власти, где бы хлеб брали?.. Нет, Миха. Эта власть — всерьёз и надолго. Эта власть дала нам землю, и если нужно с городом хлебом поделиться — будем делиться. Не знаю, как другие, а я к Попову не пойду и другим не велю.

— Жаль, ошибочка вышла, — сказал Лебедев, поднимаясь из-за стола. Встал и Михаил.

— Ты с ним, что ли? — Семён спросил.

— Нет, домой я.

И Семён встал, и вслед выходявшему Лебедеву крикнул:

— Узнаю, что мужиков баламутишь, — утоплю!

Весь следующий день Семён Игнатьев, чем бы ни занимался (осматривал и готовил к пахоте плуг, чинил упряжь), думал о том, что происходит там, в Воздвиженьи и во всей волости...

Не выдержал, пошёл к Михаилу. Тот ловко, одной рукой, второй, нерабочей, лишь придерживая, тесал во дворе какую-то лесину. На Семёна, хотя уже увидел его, сперва не оборачивался. Махом всадил топор в чурбак, выпрямился и лишь тогда резко, всем телом повернулся к брату:

— Что скажешь?

— Скажу, что ты не дури, не слушай этих...

— Но я же здесь, не ушёл... Но я не понимаю! Завтра к нам продотряд придёт, выгребут всё, даже на сев не оставят, как в Жукове сделали, и как дальше?

— Всё не выгребут, — твёрдо ответил Семён. — Это тоже... знаешь... агитация... Всё не выгребут, не дураки же...

Михаил Игнатьев почувал неуверенность в словах брата, и усмешка в обросшем усами и бородой рту скривилась. И эта усмешка сразу придавала твёрдости Семёну:

— Это наша власть, Миха! Время такое, надо самим потерпеть, а накормить рабочего и солдата.

— А рабочий мне гвоздь задаром даст, плуг даст?

— Они нам мир дали, землю дали. На земле не пропадём!

— А что, Семён, — уже спокойнее, без злости и усмешки спросил Михаил, — что, если мужиков в кооперацию собрать, а? Как думаешь, позволит советская власть? Миром-то, сообща-то сподручнее в такое сложное время держаться...

— Вот ты уже и думаешь, Миха. Это уже хорошо. Я так думаю, что позволит. Главное сейчас — удержать мужиков, не отпустить на тот берег...

...Трое мужиков из Ивановки в тот день всё же ушли в "армию" Попова. К вечеру собрался на воздвиженский берег и Семён Игнатьев. Жене сказал:

— Утром вернусь. Не говори никому.

— Да куда ты, Семён? — вскинулась испуганно Вера Егоровна.

— Надо... Не бойся, я только переговорю с Яшей.

— Пап, ты куда? — спросил четырнадцатилетний сын Василий.

— На кудькину гору! Дрова неси, печь топите. К утру чтоб пироги были! — вроде шутливо, но и строго наказал отец.

— Какие пироги? — растерянно жена спросила.

— Какие хочешь, но чтоб были! Васька, гляди у меня! — и Семён Игнатьев шагнул за порог.

Вера Егоровна посмотрела в окно вслед мужу, убедилась, что он к реке пошёл... Обидно крикнула сыну:

— Чего встал, полоротый, иди за дровами! Полька — за мукой!..

...Семён переплыл на лодке реку. Никто не остановил его на Воздвиженском берегу, и он поднялся по крутому берегу в село. У входа в бывший трактир на телеге, рылом в сторону реки, стоял пулемёт с заправленной лентой. Мужик в шинели сидел тут же и чистил вицей с намотанной на конце тряпкой ствол винтовки. Ещё двое на крыльце — тоже в солдатской форме, причём заметно, что новой, не обмятой.

И здесь никто его не останавливал, ни о чём не спрашивал. Он сам спросил:

— Здесь Попов-то?

— Здеся, — лениво ответил один из мужиков.

А второй вдруг показал из кармана шинели бутылочное горло:

— Будешь? — И Семён вдруг понял, что оба в стельку пьяны.

Он не ответил, вошёл в здание...

...Вчера днём к Воздвиженскому храму подъехала кавалькада из трёх телег.

Отец Николай только что закончил утреннюю службу. Людей в тот день в храме было совсем немного, и после службы храм быстро опустел. Отец Николай встал на колени для молитвы перед любимой иконой.

Бесцеремонно ввалились люди, отец Николай успел заметить, что не все и перекрестились-то на входе. Поднялся им навстречу.

— Что угодно?

Человек в ладно сидевшей на нём перехваченной португеей форме, с рябым широкоскулым лицом и тяжёлым льдистым взглядом сказал коротко:

— Переговорить бы, отец.

За ним стояли люди и в военной форме, и в гражданской одежде. У одного даже винтовка за спиной...

— С оружием в храм нельзя... — стараясь говорить спокойно, сказал отец Николай.

— Вышли все! — едва разжимая губы, проговорил Попов. Это был он — “командующий крестьянской армией”.

Все вышли, громко топая сапогами, недовольно переговариваясь.

— А ты хоть знаешь, отец, кто я, и почему мы с оружием?

— Я слышал про вас, — отвечал священник.

— Батюшка, ты же всегда за народ, за крестьян... Благослови на борьбу с большевиками! — громким шёпотом выкрикнул Попов. И добавил: — Прордыху же мужику нет.

Отец Николай помолчал, опустил глаза в пол... А подняв глаза и глядя прямо в жёсткие глаза Якова Попова, ответил:

— Я не благословляю вас на братоубийство.

Теперь Попов в пол глаза упёр, он будто сдерживал себя от какого-то яростного шага. Желваки вздулись. Потом тяжело вздохнул. Глаза их опять встретились.

— Я исповедаться хочу.

— Хорошо...

...И вот Семён Игнатьев вошёл в просторную комнату, где раньше пили и гуляли, а сейчас расположился Попов со своим штабом.

— Здравствуй, Яков Петрович.

— И ты здравствуй, Семён Василич, — Попов шагнул навстречу Игнатьеву, и они обнялись.

— Ты почто и на что мужиков баламутишь, Яков? Знаю: тебе и своя шейка — копейка, да и чужая алтын... Но здесь не война. Хватит, навоевались. На гибель ведь зовёшь мужиков. На что ты надеешься? Не одолеть вам эту власть...

— Это ещё посмотрим...

Попов выставил всех из комнаты. Сидели двое, разделённые столом, на котором четверть самогона, стакан тонкого стекла, пара чашек, из которых тоже пили самогон, чугунок, приспособленный под окурки...

— Ну, а что вы-то, эсеры, — ты ведь эсер? — мужику дадите, если, допустим, к власти придёте? Землю? — так её и большевики дали. Хлеб они

забирают — так это я понимаю, и нашим мужикам, красноречивым, объясню: хлеб сейчас не просто продукт, это вопрос власти. Дадут большевики хлеб в города и в армию — устоит Советская власть...

— Ты меня-то, Семён, не агитируй, наслушался я всяких... Плевать мне — большевики, эсеры, мне обидно! Понимаешь ты, — Попов крепко пристукнул по столешнице, — обидно, что ведь угробят они мужика-то, не пожалеют, мужик для них — навоз! А эсеры — они хоть провозглашают, де-кла-ри-ру-ют, что мужик, крестьянин — первый человек на земле, а не пролетарий какой-то, нагляделся я на этих пролетариев...

— Но ведь раздавят вас! Что ты сделаешь с двумя пулемётами? Ведь с каждого, кого ты поднял за собой, с каждого спряят. Помирал бы тогда уж сам, один! — жёстко сказал Семён Игнатьев.

— А! Так ты! — глаза Попова пьяно соловели, наливались бешеной злобой. — А сам не хочешь подохнуть?! — К кобуре потянулся.

— Ну, убей меня. Мало крови-то пролил...

Попов не расстегнул кобур, клешней ладонью схватил стакан, сжал — треск, осколки, кровь на стекле и на столешнице...

А утром, шлёпа плицами колеса по воде, выпуская из труб клубы дыма, подошли к Воздвиженскому берегу два парохода...

— Вот и всё, Миха, полетят клочки от армии Яши Попова, — сказал Семён Игнатьев брату, с которым, как почти все жители Ивановки, стоял на берегу, обозревая невиданные в этих местах пароходы, весть о прибытии которых разнесли по деревне вездесущие мальчишки. А с пароходов на берег деловито прыгивали вооружённые люди, поднимались к церкви и в село. Грохнул, будто шаром по воде прокатился, близкий выстрел, и всё стихло. К Красному Берегу плыли две лодки, и чем ближе они подплывали, тем меньше людей оставалось на берегу. И шагнул навстречу приплывшим чекистам уже один Семён Игнатьев...

...Полина видела, как уплывал на тот берег в утреннем тумане Колька Якуничев ещё с двумя мужиками, стараясь потише спустить лодку на воду... Днём уже вся Ивановка говорила об армии Яши Попова. А ещё через день приплыли на Красный Берег чекисты, а по Воздвиженью ударили пушки и пулемёты...

Казалось ей, что сердце разорвётся, ни о чём не думалось, кроме как о Коленке, который там, где сейчас рвутся снаряды.

Со двора улизнула к реке, отвязала свою, игнатьевскую, лодку, на которой вчера отец на тот берег плывал. Воздвиженьё окрайком обошла, бежала туда, где уже за селом после затишья вновь послышалась стрельба. Быстрый-быстрый стрекот — “Наверно, пулемёт”, — подумала, знала о такой штуке из отцовских рассказов. Ружейные выстрелы. Потом опять грохот. “Из пушки палат”, — поняла.

Выскочила туда, где за селом полуразваленная зувская ферма. Размётанные дымящиеся брёвна... А вокруг — люди, люди лежат, стонущие, ползущие к лесу и неподвижные, мёртвые.

Остатки “армии” Якова Попова, отстреливаясь, отходили к ближнему лесу, но и оттуда, сбивая людей, полетели пули.

Полина бежала туда, где за какими-то заборами, полуразваленными сараями ещё отсиживались повстанцы. Она бежала туда, и казалось ей, что видит Николая своего. Вон он лежит раненый. Сейчас она добежит и спасёт его... И опять стихло всё — ни выстрела. Только прошипело вдруг что-то над головой, и стена земли встала перед глазами девушки...

Она открыла глаза — человек в кожаной куртке, в кожаной фуражке со звездой склонился над ней, открывал рот, но почему-то не было слышно его голоса.

К вечеру приплыл в село отец Полины — кто-то из деревенских видел, как уплывала она на Воздвиженский берег. Почерневший от горя, кричал что-то ей, а она, лежавшая прямо на траве, на подстеленной кем-то шинели, только мотала головой из стороны в сторону.

...Вроде бы и пришла со временем в себя Полина, только онемела и не слышала ничего. Колька Якуничев, как и большинство повстанцев, был

убит. Немногих из оставшихся в живых дня три ловили по окрестным деревням. Пойманных отвезли в город, судьба их дальнейшая неизвестна.

Яков Попов до последнего отстреливался из винтовки, из нагана, бросил даже гранату в набегавших солдат. Последнюю пулю в себя пустил, живым не дался.

В тот же вечер уехал нарочный от Позднякова в “губернию” с подробным отчётом о подавлении в Воздвиженской волости кулацкого восстания.

В Воздвиженье и на Красный Берег уже полноправно, неизбежно пришла новая, советская власть.

## Тень филина

...И когда в чёрном небе засияла холодно-жёлтая колючая звезда, и стал виден вечный ход вокруг неё созвездий и галактик, когда хладный свет достиг угора и камня на нём, филин раскрыл глаза, бесшумно и сильно расправил крылья и сорвался с кроны сосны. Сделав один мах, он проплыл над поляной. Ещё взмах — и он выше, выше...

Ничто не скрыто от его взора: сонно застывшие в болотных кустах лоси: ширококорогий горбатый сохач, покорная, схожая с коровой лосиха, хрупкий лосёнок... Собака, калачом свернувшаяся на крыльце дома... Лиса, несущая в зубах цыплёнка к заброшенной избе, где в погребке, в тёплой мгле — гнездо с лисятами... Лодка, качающаяся на воде звёзды... Белоголовый волхв с посохом в руке, стоящий у Марьиного камня... Тихие могильные холмики... Церковные кресты... Уставший за день, со всё ещё не остывшим мотором, трактор на дворе механизатора... Мышь, замершая в глубине своей норы... Ёж с наколотым на спину жёлтым яблоком, бегущий по своей тропе... Девушка за окном горенки, жарко разметающаяся на постели... Бабочка, сложившая крылышки на спящем цветке...

Каждым пером он чувствует плоть воздуха и, чуть шевельнув хвостом, закладывает круг. И во все стороны — леса, прорезанные реками; крыши деревень; огни посёлков и городов; костры рыбаков и волхвов...

Это не воздух, не ветер — сама вечность несёт вёвчу птицу над миром...

И когда из-за облака вышла луна, тень филина поплыла по земле, бесплотно касаясь живого и мёртвого, святого и грешного, всё обволакивая, оглаживая и умягчая сонным туманом...

## Глава шестая

### 1

В то лето вернулся Костя Куликов в Воздвиженье из города, куда отправлял его отец к какому-то дальнему родственнику для обучения сапожному ремеслу.

Ремесленная наука впрок парню не пошла, а вот на курсы политграмоты записался, а вскоре и в комсомол вступил. И в село родное вроде бы и не как изгнанный за лень и неспособность к учению возвращался, а с поручением создать комсомольскую ячейку. Предполагалось, конечно, что Костя её и возглавит, но тут его быстро поставил на место (был Костя, все знали-помнили, парнишка довольно непутёвый) сын местного коммуниста Савелия Козырева — Серёга. Впрочем, Козырев Костю (по-деревенски “Коську”) сделал как бы своим заместителем, а всех приятелей своих в комсомол “записал”.

Вскоре решили воздвиженские комсомольцы и Красный Берег своей работой охватить, стали в Ивановку наведываться, молодёжь агитировать. Сначала повесили объявление на конторе коммуны с приглашением молодёжи на “комсомольскую маёвку”.

Пришли ивановские ребята вечером на берег, на маёвку — с батогами.

— Ну, чё, помаёвничаем? — спросил воздвиженских агитаторов ивановский “атаман” Лёха Могуничев. И быть бы комсомольцам битыми, если бы не вступился за них тогда Василий Игнатьев. Интересно стало ему, как это давно знакомые воздвиженские парни стали вдруг какими-то комсомольцами, а они, ивановские, что, хуже? Да у него, Василия, отца недавно в партию приняли!

Так и стали собираться на “маёвки” (хотя дело было уже в июле-августе) на берегу реки, у костра.

Обычно начиналось всё с того, что Костя читал последнюю привезённую со станции газету, рассказывал что-нибудь из того, что помнил с курсов поллитрамоты. Потом пели даже “Интернационал” и другие революционные песни, которые знали.

Их за эти “маёвки” и поругивали, конечно, время-то сенокосное, да и мало ли дела летом в деревне... Впрочем, собирались “комсомольцы” не чаще раза в неделю, в остальные же дни были они обычными деревенскими парнями и девушками и жили обычной им с рождения жизнью.

...Был день в середине августа, который называли в Ивановке и округе “Марьин день”. В этот день собирали всегда на угоре у камня “канун”, жгли костры, пели песни, трапезничали...

Впрочем, давно уже только девки в тот день к камню бегали, хоровод водили, ну, за ними, конечно, и парни...

Вот и в тот август на Марьин день собрались девки на “канун”, с ними и малышня деревенская увязалась.

У комсомольцев же своё собрание.

— А чё, парни, пошли девок-то погоняем. Канун же сёдня, Марьин день... — сказал кто-то.

Костя Куликов и уцепился:

— Если мы, товарищи, боремся с религиозными предрассудками, то и с этим Марьиным днём должны бороться! Праздники у нас свои — большевистские!

— Верно! — откликнулся Серёга Козырев. — Айда, товарищи комсомольцы!

— Куда, на канун что ли?..

— Камень скидывать! Под корень дурман религиозный! — Серёга уже тоже от Коськи словечек умных поднахватался.

И человек пятнадцать воздвиженских и ивановских комсомольцев сорвались и весело побежали к угору.

Козырев ещё местных по домам направил — за топорами. Парень он был смекалистый. Те мигом слетали. Правда, с топорами лишь двое вернулись, ещё у троих старшие дома были, не разрешили топоры взять.

Поднимаясь к макушке угора, вырубил рычаги и слегли...

Когда девушки к камню поднялись, там уж вовсю работа шла...

И будто охнула земля, освобождённая от вековой тяжести, но не радостный был тот вздох и не все его услышали...

— Чего делаете-то, ироды! Где же нам теперь гадать-то?! — первой заголосила на парней Санька Игнатьева, самая бойкая из девчат.

Камень застыл, приподнятый рычагами...

— Ещё подадим!.. Девки, ну-ка!..

— Ну, уже ли так, и пропади оно пропадом! — первая же Санька рядом с парнями за рычаг и ухватилась.

И камень снова тронулся, приподнялся и, наконец, с нарастающим громким шорохом, как огромное животное, перевернулся на бок и заскользил по склону, на бугорке подпрыгнул и ещё перевернулся, и ещё быстрее заскользил к воде...

И смотрели на его падение с ожиданием чего-то страшного, что должно случиться вот-вот. И никто не видел, как с вершины сосны бесшумно снялся филин, сделал круг над поляной и то ли улетел в лесные заросли, то ли растворился в сгущающемся сумраке. Камень достиг воды и встал, причём почти повторив своё положение на бугре, тем же боком вперёд, рукотворным углублением кверху...

— Вот так! Ну, что, давайте-ка костерок! Здесь и собрание комсомольское проведём.

И уже не думали о камне, о каком-то “кануне” все: и девушки и парни — собирали сушняк для костра, тут же и малышня крутилась, которую старшие пытались, да не могли прогнать... Взвизги и смех неслись по заросшим кустами и лесом склонам угора.

...То ли туда уголёк отлетел, то ли что — за поляной, вниз по угору занялся мох (лето сухое стояло), уже к кустам огонь подбирался. И у всех на глазах вдруг факелом взвился куст, и огонь уцепился за нижние ветви деревьев...

Да еще и травы сухой было много — тут никогда не косили и не пасли, сушняк палый, листва...

— Туши! Рубахами закрывай! — первым опомнился Серёга.

И все, кто как мог, кинулись затапывать огонь, накрывать его рубахами, скидывать к воде тлеющие сушины... И походило всё это на дикий яростный танец — люди и их тени метались в языках пламени, сталкивались, вскрикивали.

А из глубины леса и от реки поднимались, выходили и вставали, глядели на яростно пляшущих людей бесплотные белые фигуры, но никто из девок и парней их не видел.

...Наконец загасили огонь.

— Не говорить никому, — предупредил всех Серёга, отирая сажу с лица.

— А не надо было камень трогать! — кто-то из девок крикнул.

— А то не увидят, вон все — как черти грязные, — ещё кто-то рассудительно сказал.

И Серёга махнул рукой:

— Айда, братва, купаться! Девки, пошли с нами!

— Ещё чево — лешой! Жаба тебе на грудь!

Костя Куликов склонился под кустом на краю поляны над своей растоптанной гитарой, сдерживая слёзы, ощупывал то, что осталось от неё, и понимал, что инструмент испорчен безнадежно.

Парни все к реке побежали, и оттуда вскоре понеслись уханье и смех. А девки пошли к деревне, но тоже там, где прибрежные ивы были погуще, к реке свернули...

— Ой, чё и скажу...

— Матка, дак, убьёт...

— А вода-то тёпла-а-ая!..

— Поломали? — услышал Костя голос позади себя, обернулся — Санька Игнатьева.

— Ну... — голос его дрогнул.

— Ты... не расстраивайся. Ой, чего на руке-то у тебя? Кровь?

Костя и сам только сейчас увидел, что левая рука его расплосована, видно, сучком от какой-то сушины...

— Обмыть надо, перевязать, пошли... — И Санька, сама дивясь своей смелости, потянула парня к реке, но не туда, где плескались все остальные, и не в сторону деревни, а по-за кустами к тихому берегу. Костя покорно шёл за ней. И оба думали, что сердца их стучат предательски громко...

## 2

— Здравствуй, Егор Ермолаевич, — от кособокой калитки поприветствовал вышедшего на такое же кособокое крыльцо старика Михаил Васильевич Игнатьев — председатель коммуны “Красный Берег”.

— Здорово, здорово, — как обычно, внешне неприветливо, поприветствовал гостя старый охотник Кочерыга. Понимал, что не просто так пожаловал к нему такой гость.

— Поговорить хочу.

— Давай, давай, садись вот... — Кочерыга указал на вросшую в землю, старую, но и крепкую, как и он сам, скамейку под низким окном избы...

Избёнка неважнецкая, осевшая тремя передними окнами чуть не до земли, с давно разобранным двором...

Пожали руки. Сели.

— Как здоровье-то, Егор Ермолаич?

— Да как... В эту зиму уж не охотился, дак... Глаз не тот, рука дрожит, да и, парень, зверя жалко стало, а это уж последнее дело для охотника, — откровенно сказал вдруг старик, забрал в пригоршню щуплую свою бородёнку и подёргал зачем-то.

— Ну-ну... Рука у тебя ещё — дай Бог всякому, и идёшь — не горбишься... Пчёлок завёл вон — хорошее дело.

С весны Кочерыга, и правда, на удивление всей деревне поставил за домом два улья — не помнила Ивановка, чтобы кто-то здесь пчеловодством занимался. А Кочерыга, оказалось, и это умел...

— Говори уж — чего надо-то! — грубовато оборвал долгие подступы Игнатьева к главному разговору Кочерыга.

— Так чего надо... Мельницу, знаешь ведь, на ручье поставили мы. Пригляд за ней постоянный нужен. Подумали с мужиками — лучше тебя мельника не видим... Справишься ведь? А там и пчёлам твоим раздолье, и рыбалка...

— Ну-ну, ты, парень, не гони коней-то... Пчёлы, рыбалка... С этим я сам разберусь... А мельница, — он усмехнулся, — так я родился на мельнице. Ничего вы, молодые, не помните. Была же мельница — выше только по ручью, отец мой там хозяйствовал, да...

— Ну, так...

— Говорю же — не нукай, не запряг, думать надо... Ты думаешь, так это легко, всё равно, мол, бобылём на отшибе живёт. Одно дело — на отшибе деревни, другое дело — совсем одному...

— Да как там-то людей будет к тебе больше, чем тут...

— А мне, может, этого и не хочется! А? — опять возразил неуступчивый старик. Но Михаил Игнатьев знал уже, что он согласится...

...Негромкий плеск воды на плотине, подвижное зеркало омута, смолистый запах сосновых брёвен. Кочерыга — Егор Емельянович Кокорин — сидит на берегу омута, потёртый картуз глубоко натянут, так что оттопыривает крупные, в седых волосах уши; седые брови нависли над выпуклыми бледно-голубыми глазами. Рубаха-косоворотка у него новая — синего ситца, с тремя перламутровыми пуговками по вороту — подарок от коммуны на новоселье, потёртые штаны заправлены в задубелые крепкие сапоги. Сидит он на обрубке бревна, смотрит на воду, думает всякое.

Думает, что рубаха вот такая у него в парнях только и была, что вот так же отражалось от мельничной запруды неяркое солнце в его детстве, о том, что как не довелось ему материнской ласки узнать (мать умерла во время родов), так не знал он и бабьей ласки... Прибрал его у отца, ещё мальцом совсем, помещик Зуев Сергей Александрович, дядя тех Зуевых, что стрелялись у Марына камня.

Почему отец отдал его господам, он не знал. Первое время ещё помнил, потом будто бы и забыл... Потом уж узнал, что ненадолго и отец мать пережил — говорили, что сам и мельницу сжёг, и с собой что-то сделал...

В усадьбе мальчишку в обучение псарю и охотнику Григорию отдали. Тот был мужик неласковый, но дело своё знал. Уж никто и своры не держал, а Сергей Александрович — из Москвы он вроде бы приехал — решил большую охоту возродить. Собаки, оружие, лошади — всё это с детства окружало Егора. Потом не стало собак, умер и Григорий. Сергей Александрович уж иногда только выезжал на утиную охоту, брал Егора с собой.

Потом объявили всем вольную. Сергей Александрович к тому времени скончался. Как-то хитро болезнь его называли. Но Егор-то знал, что за болезнь была, — пьянство беспробудное. Кое-кто из старых слуг оставался ещё в усадьбе, а охотник Егор стал не нужен. Впрочем, отпустили его с тем самым ружьём, что от Сергея Александровича осталось. Без излишеств, простое ружьецо, а надёжное — до сих пор служит. Дали ещё денег двадцать

рублей за службу верную, да и отправили на все четыре стороны... Да он и сам уж за господ не держался — охотников среди них не осталось.

Впрочем, далеко не ушёл — переплыл на Красный Берег, в Ивановку, там и избёнку старую купил (хозяйева её в тот год новый дом срубили) да и зажил своей жизнью охотничьей.

Было — понравилась девка ему ивановская, да, видно, не судьба. Ходил к отцу её — сватался. Отказал отец, да и сама-то девка боялась его, что ли... Больше и не пытался, привык один жить...

Пчёлка ткнулась ему в бороду, и он твёрдыми пальцами осторожно вытащил её из волос. “Лети, глупая...” — усмехнулся и отпустил. Гулко хлестнула по воде рыба, и солнечная рябь разбежалась по омуту. С дороги (специально расширенной и разбуженной лесной тропы) послышалось шлёпанье копыт, поскрипывание гружёной телеги, голоса. Старик поднялся, пошёл навстречу мужикам-мукомолам...

### 3

Жители Ивановки (далеко не все, конечно) собрались в “конторской избе”.

— Товарищи, то, что вы называете коммуной, таковой, по сути, не является. Кто входит в вашу коммуну, то есть, правильно сказать, — кооперацию, кто возглавляет её?.. — взмахивая рукой и несильно пристукивая по столу, говорил чернявый, по-мальчишески стройный “полномоченный” из уезда, товарищ Костиков.

— Известно, кто — Михаил Васильевич Игнатъев, — с дальней скамьи небрежно проговорил Воська Косой.

— Вот! А кем он является по сути? Кулаком он является, товарищи! — сильнее пристукинул по столу Костиков. — И в кооперацию свою собрал, разумеется, самых зажиточных...

— Да каких уж зажиточных-то? Своих мужиков и собрал...

— А кто работает на этих “кооператоров”? — гнул своё уполномоченный. — Беднота. То есть, товарищи, продолжается та же преступная эксплуатация бедняков, что была и при кровавом царском режиме.

— Так ведь и деньги платят за найм-то, — сказал кто-то невидимый из дальнего угла.

— Это кто там говорливый-то? — вскинулся сидевший за столом рядом с уполномоченным участковый милиционер Манюхичев.

— А ты нам, Пашка, рот-то не закрывай, — неожиданно высказался сидевший до этого смирно и незаметно старик Кочерыга. — Вопрос общественный, обществу и решать...

— Товарищи! Партия большевиков и советская власть ставит перед нами задачу полного искоренения буржуазных пережитков в деревне, каковым и является так называемая коммуна, возглавляемая гражданином Игнатъевым.

— Это что же? Вы меня и во враги советской власти запишете? — не выдержал Михаил Игнатъев, поднявшись со своего места у окна. — Нет. Я никаких законов не нарушал, и коммуна наша выполняла курс партии на новую экономическую политику... Мы газеты читаем...

— Товарищи, взамен кулацких коммун и кооперативов советской властью взят курс на создание истинно народных коллективных хозяйств, где главную роль будет играть беднота, — на колхозы, товарищи. Кулачество же на деревне будет искореняться как класс.

— Это как искореняться-то? — опять голос кого-то невидимого из угла.

— А вот так! — опять Манюхичев вскрикнул и тоже стукнул кулаком по столу.

...Так заканчивались недолгие “золотые” для русского крестьянства годы, уместившиеся в промежуток между политикой военного коммунизма и коллективизацией. Громила только-только зарождавшаяся народная кооперация, добровольно созданные коммуны, “кулачились” расторопные мужики-единоличники в деревнях и на хуторах...



В Ивановке за эти годы коммуна “Красный Берег” во многом преуспела: были построены водяная мельница и крупорушка на ручье, впадающем в реку, маслозавод, молочная ферма, теплицы (расширили те, что делал ещё до революции Савелий Носков), завели свой магазин в Ивановке, выкупили один из магазинов в Воздвиженьи...

Вечером в доме Михаила Игнатьева — совет. На завтра снова назначено собрание — “по приёму в колхоз”, как заявил уполномоченный.

— Вот как, Семён, вышло-то... Конец ведь это... Конец...

— Так ты завтра первым и подавай заявление в колхоз-то, всё барахло — тоже в колхоз, чего там, — потерявши голову, по волосам не плачут... — посоветовал Семён.

Михаил помолчал, пригубил браги из стакана. Помотал головой.

— Нет. Это ты сделай — вступай в колхоз. А мне, похоже, долю уже определили — ликвидация... как класс, — он невесело усмехнулся.

Они оба выпили. Помолчали, упершись взглядами в стол. Одновременно подняли головы. Встретились глазами. Со стороны они сейчас были очень похожи друг на друга, как когда-то в далёком, забытом детстве. Только у младшего брата, Семёна, лоб сильнее распахан морщинами...

— Спасать надо семью-то, — первым сказал Семён.

Михаил кивнул и крикнул ненужно громко, потому что жена была рядом, в выгороженной у печки кухоньке:

— Глафира!..

...Всю ночь при свете керосинки, под сдавленные поскуливания жены собирались вещи, грузились на телегу. Жена и дочь норовили побольше прихватить, но Михаил был неумолим:

— Только самое необходимое — инструмент, посуду самую нужную, одежду, всё-то тряпье не берите. Надо и колхозу оставить! — невесело шутил он. Помогали в сборах и Семён с женой Верой Егоровной.

Санька улучила момент, отозвала брата Лёшку, что-то шепнула тому торопливо. А тот, конечно, не утерпел и брату Пашке что-то шепнул. И оба мальчонки незаметно улизнули со двора, хоть и интересно было наблюдать за сборами, хоть и понимали умишком детским, что сборы нерадостные, а и грусти не ведали... Отец с матерью и не заметили в своём горе и хлопотах, что мальчишек нет. А те вскоре уже на угор взбизгались.

— Мы уезжаем! — первым Лёшка крикнул.

— В город! — Пашка добавил.

— Да тихо вы! — не ожидавший увидеть их и от этого растерянный прикрикнул на них Костя Куликов. — Санька-то где?

— Сундук свой ворошит.

— Батька велел лишнее барахло выкидывать, а она ревёт, что лишнего нет у неё...

— Пошли с нами, она со двора выйдет.

— Ага, вы бегите... Я приду...

Костя не знал, что делать. Он понял, что затеял Михаил Игнатьев.

— Эй, стойте! — окликнул мальчишек. Те встали.

— Скажите, не приду я сейчас. Не приду. Скажите — найду в городе. — И Костя чуть не бегом кинулся с утора к воде, где стояла причаленная лодчонка...

Прокричал первый петух, и ему откликнулись собратья по всей деревне, мыкнула во дворе корова, всхлинула Глафира Кирьяновна, жена Михаила. Сдавила в горле крик Санька, обнявшись с Полиной, и только погодки Лёшка и Пашка, двенадцати и одиннадцати лет, спокойно болтали ногами, сидя на задке телеги и уплетая по горбухе хлеба...

— Ну, не поминайте лихом! — Михаил Васильевич Игнатьев тронул поводья, и Карько покорно двинулся, вывез телегу на сумрачную улицу. Двинулись по дороге к мосту, что в десяти верстах вниз по реке. И дальше, дальше, в далёкий город, где с давних, ещё барских времён жил их двоюродный дед и ещё какая-то малознакомая родня. В неизвестную новую жизнь.

На следующий день в колхоз разом вступили двенадцать семей. Председателем был избран Семён Игнатьев. Для кого-то это стало неожиданностью:

как, мол, так — брат главного, да ещё и бежавшего деревенского кулака... Но уполномоченный Костиков помнил, что сказал ему Иван Сергеевич Поздняков, отправляя в этот глухой угол: “Приглядишься там к Семёну Игнатьеву. Это наш человек”. И как только кто-то назвал эту фамилию, Костиков горячо поддержал это предложение. Назвали колхоз, не мудрствуя лукаво, так же, как называлась и разогнанная коммуна, — “Красный Берег”, благо красный цвет у советской власти был в чести.

#### 4

Отец Николай надавил плечом и сдвинул тугую дверь (дом оседал, и верхние венцы прижимали косяк), околоченную изнутри обрезками его бывшего, на ватине, пальто. Вышагнул на зашнурованное, выметенное от снега крыльцо. Иней взвизгнул под валенками. Священник поднял глаза к синему до черноты небу — звёзды сияли, будто каждая умыта огромной доброй рукой... Он поправил камилавку и пошёл по хрустящей под ногами тропке к реке, откуда слышался гул голосов. Ещё с вечера вырубил мужики прорубь в виде креста и сейчас, наверное, подрубили уже успешную прихватить польную ледяную прозрачную корку и столкнули её под лёд. “И плывёт крест ледяной вниз по течению, благословляя реку и берега”, — красиво подумалось тут отцу Николаю.

Он прошёл мимо бывшего своего дома (в прошлую Пасху выселили его с матушкой в пустующую бобыльню избёнку), в котором теперь располагалась библиотека. Книги в библиотеку перетащили зачем-то из барского дома, в котором теперь была школа, большая часть собрания книг Зуевых, конечно, каким-то образом во время этого переселения пропала. Мимо храма, мимо прихрамового кладбища, где вот уже третий месяц лежит и его матушка-попадья... Белые ветви до малейшего изгиба, до мельчайшей вички графически чётко видны на фоне тёмного неба, отдельно растущая берёзка — как кружевная накидка, из тех, что ещё хранятся зачем-то в его нынешнем доме на дне старого сундука. Толпа на реке изрядная, с Красного Берега тоже ведь пришли, да и из дальних деревень. Перед священником расступаются, пропускают его к проруби.

— С Богом приступим, православные, — просто сказал отец Николай, начиная водосвятный молебен...

...Снег под полозьями взвизгивает, искрится в лунном свете. Белое речное русло очерчено пёстрыми бело-чёрными прибрежными кустами. Ходко, но при этом как-то и привычно неторопливо бежит мерин, тащит за собой сани-розвальни, в которых трое — искры их самокруток отлетают и гаснут в неверном лунном свете.

— Неймётся попу! Ну, придётся унять, — проговорил глухой голос сквозь зубы.

— Целой делегацией явились к нему, просили, чтоб отслужил...

— Это уже на организацию тянет. Ну, агитация — само собой... Н-н-о, Голубчик! Шевелись, старый!

Едут трое. То и дело кто-то из них спрыгивает с саней и бежит рядом — греется. Едут в Воздвиженье. Председатель уездкома Поздняков, милиционер Манохичев и комсомолец Куликов, отправленный ещё поутру председателем колхоза имени Ильича в город с тревожной запиской: “В виду предстоящего отправления религиозного обряда, что является злостной поповской агитацией и дурманом для молодёжи и прочих колхозников...”

Тёмная шевелящаяся масса на белом снегу, сизоватое марево выдохом над нею — толпа между двух берегов... Вот уж и отдельные фигуры различимы: бабы, укутанные в платки, мужчины, ребятишки... Комсомолец Куликов как-то сумел раствориться сразу, будто и не ехал с Поздняковым и Манохичевым. А перед милиционером и председателем уездкома расступались молча... И вот он — поп. В рясе своей, с крестом золотым на брюхе, две бабки перед ним раскрытую книгу держат.

— Прекратить! — милиционер крикнул.

— Гражданин Бобылёв, вам было запрещено отправлять культ, — твёрдо сказал Иван Сергеевич Поздняков.

Отец Николай прекратил чтение и глядел на прибывшее начальство, но ничего не говорил.

— Где колхозный председатель? — Поздняков ко всей толпе обратился, но ответа не услышал. — Так, и комсомольцы здесь? — кого-то острым глазом из толпы выхватил.

— Мы никаких законов не нарушаем! Не мешаем никому, — голос из задних рядов прилетел.

— Это кто там такой смелый? — Манюхичев взвился.

— Чего вам надо-то, рожки бесстыжие, чем вам батюшка-то помешал? — послышался старушечий голос.

— Повторяю, гражданину Бобылёву запрещено отправление религиозного культа. Расценивается как кулацко-поповская агитация!

— Мужики, да вы чего на них смотрите-то? Разве ж это народная власть — если против народа? — откликнулся женский голос где-то рядом, сказал спокойно, негромко...

— Это кто, это кто?.. — Манюхичев обернулся на голос, пытаюсь понять, кто это сказал.

Иван Сергеевич Поздняков тоже обернулся на женский голос... На знакомый голос... Он узнал её глаза под низко надвинутым пуховым платком. И отвернулся. “Узнала ли она меня?..” Час назад проезжали мимо той деревни, и он пытался с реки разглядеть крайний дом. Увидел лишь чёрный силуэт крыши за прибрежными кустами... “Сколько же лет прошло...”

А кольцо-то вокруг них сжималось. Рука милиционера к кобуре потянулась:

— Назад!

Тут и отец Николай голос подал:

— Православные, остановитесь!

— Батюшка, ты бы отошёл...

— Назад!

— В прорубь их!

Грохнул выстрел, но стрелял не Манюхичев. Откуда-то сзади, со стороны Красного Берега... Обернулись: бежал в распахнутом полушубке Семён Игнатьев с охотничьей двустволкой в руках, рядом семенил Костя Куликов.

— Расступись! — Игнатьев крикнул. Но толпа уже и так раздвинулась. По образовавшемуся проходу шли навстречу председателю колхоза “Красный Берег” Поздняков и Манюхичев.

— Зачинщики будут арестованы! — пообещал Поздняков, ни на кого не глядя. — Так-то у тебя, Семён Васильевич, антирелигиозная пропаганда поставлена? — уже Игнатьеву сказал.

— Ладно хоть успели... — выговорил запыхавшийся Игнатьев. — Прощу, товарищи, ко мне... — указал рукою на берег...

— Ладно? Нет, Игнатьев, не ладно!..

Сани подъезжали к избе Игнатьевых, Семён Васильевич не сел, рядом шёл.

Манюхичев, державший вожжи, стоявший в передке на коленях, оглянулся на реку, где уже черпали святую крещенскую воду из проруби.

— Так ведь и не разошлись. А ведь это прямое выступление против советской власти. Ну, ничего, я их всех запомнил.

— Почему вы не приняли мер? — спросил Поздняков. — Козырев хоть нам записку послал, — сказал он о председателе воздвиженского колхоза имени Ильича.

— Как можно предотвратить неизбежное? — вопросом ответил Игнатьев. — Проходите, пожалуйста, сюда вот меринка поставим...

Поздняков вспомнил своё первое гостевание в доме Игнатьевых, в дни разгрома банды Якова Попова. Да, тогда он и оценил Семёна Игнатьева, его влияние на местных мужиков — поддержал, выдвинул, дал рекомендацию в партию. Теперь вот Семён Игнатьев председатель местного колхоза.

Ничего, кажется, и не изменилось в этом доме, только хозяйин заметно поседел, а хозяйка вроде уменьшилась в росте, но всё так же суетилась у ше-

стка в кухне, уже готова что-то для неожиданных гостей. Вошёл крепкий румянощёкий парень, с Поздняковым и Манюхичевым за руку поздоровался.

— Здорово, здорово, Василий! — Поздняков узнал хозяйского сына. — Не женился ещё?

— Погожу пока, — ответил Василий и вдруг покраснел. — Батя, я к Киселёвым тогда, — отцу сказал.

— Давай, — кивнул Семён Игнатьев.

— Хорош сын-то у тебя, Семён Васильевич, — похвалил Поздняков. — А дочь-то... — и осёкся, вспомнив, что с дочерью-то и не больно добро у Игнатьева.

Семён, услышав о дочери, лишь махнул рукой.

На столе появилась бутылка водки, закуска...

— Ну, рассказывай, председатель, чем живы, как живы, — снова спросил Поздняков.

Милиционер Манюхичев всё молчал. В иззяном тепле после первой же стопки его заметно развезло, и он ждал, когда же предложат прилечь, — ночь ведь к тому же...

Утром следующего дня собрались они рано и быстро, Игнатьев до берега проводил, но в Воздвиженье не поехал, хотя и звали. Объяснил только, что надо вверх по течению проехать и там можно поворачивать — берег уже будет пологий. “Да там путь накатан — не собьётесь! Удачи, товарищи!” На том берегу — сразу к дому Козырева, председателя колхоза, мерина направили... Манюхичев, пока Поздняков серьёзно и не очень-то вежливо беседовал с председателем колхоза имени Ильича, подошёл к поповской избёнке. Выпавший под утро снежок от дороги и дальше до порога был не тронут ничьим следом. Дверь в дом припёрта по местному обычаю батажком: нет, мол, никого. Но и замок висел. Манюхичев всё же подошёл к двери, дёрнул замок, сплюнул под ноги и отправился обратно к председательскому дому...

## Глава седьмая

### 1

— Отец Николай, а ведь заберут тебя, давай-ка, от греха, ночуй у меня, а поутру в Михайловку увезу, к зятю, а там, если что, и ещё найдём место, где отсидеться... Нам ведь и Пасху справлять надо будет, — для пущей убедительности, видя, что священник собирается отказаться, прибавил Платон Гордеевич Болотов, колхозный бригадир. И отец Николай не отказался...

Так всю зиму и начало весны, до самой Пасхи и жил отец Николай то в одной, то в другой деревне. Хотя вроде бы никто специально его и не искал. Правда, вскоре после Крещения, чуть было не кончившегося для милиционера Манюхичева и главного уездного партийца Позднякова купанием в проруби, наезжала из уезда какая-то комиссия, и Манюхичев при ней тёрся, вызывали в председательский дом кой-кого из мужиков и баб и забрали с собой в город Платона Болотова. Забрали — да и с концами...

...Авдей Иванович Козырев, председатель колхоза имени Ильича, увидев в предпасхальный вечер раскрытые ворота храма, огоньки свечей внутри, видя, как идут и идут к церкви люди, и не только воздвиженские — со всей округи (вон — и краснобережцы тут)... так вот, увидев это, он сперва хотел броситься туда, где “отправлялся культ”, самолично прекратить безобразие и вражескую пропаганду (помнил ещё крещенский нагоняй от Позднякова), но потом решил сделать вид, что ничего не знает, уйти спокойно домой да и лечь спать, авось до уездного начальства и не дойдёт ничего. Но тут же и отбросил эту мысль: многие его сейчас видят, стоящего на дороге перед храмом (сходил, понимаешь, в поле, поглядел землицу), и уж благодетель найдётся, который шепнёт кому надо, что он, Козырев, мер по предотвращению безобразия не принял. “Игнатьеву, вон, горя мало. Почитай, вся Ивановка тут, а с него спроса не будет, как и зимой не было... Нет, надо решать окончательно с это богадельней!” От храма он решительно пошёл к колхозной конторе, расположенной в большом доме Мужиковых, рас-

кулаченных прошлой осенью и высланных по суду куда-то “на Севера”. Мимо своего дома проходил — даже не завернул, крикнул через ограду Серёжке: “Всех партийцев и комсомольцев срочно в контору! Бегом давай!”

Почти час собирались: троё партийцев да пятеро комсомольцев, включая и сына председателя...

И вот пятёрка комсомольцев да ещё столько же активистов (друзжки ихние) идут к храму.

— А ну-ка, расступись, дай пройти!.. — С трудом и неохотой, а расступались перед активистами-комсомольцами: свяжись с варнаками — себе дорожке.

Но кто-то Серёгу Козырева всё ж в тесноте крепко локтем в бок ткнул. Кто-то громко сказал:

— Шапки долой! В храм пришли!

Они кое-как пробились по высокой лестнице, расталкивая людей, прижимая к стенам на паперти, до широко распахнутых двустворчатых дверей в церковный зал, где густо пахло ладаном и горячим воском, а люди стояли, стиснутые плечо к плечу, слушая слова пасхальной молитвы... И тут на колокольне ударил колокол, вся масса народа колыхнулась, как единое тело, к выходу. Из алтаря выносили хоругви, отец Николай, перед которым каким-то чудом толпа раздвигалась, шёл к выходу — большой, торжественный... А те, что стояли у дверей, стали отступать на лестницу, задние выходили на улицу. На паперти, как обычно, возникла невообразимая давка...

— Православные, православные!.. Да...! — заверещал прижатый к стене, задыхающийся старик Кочерыга...

И вот в эту-то толпу и попали комсомольцы — рванулись за Серёгой, вперёд, встречу попу — и это было роковой их ошибкой: напиральная масса была неодолима. Серёга споткнулся, завалился на стоящего сзади. Спереди напирали на него, опрокидывали, никто не слышал его крика, приятели его тоже были смяты, слились с толпой...

Отец Николай понял, что впереди затор, сознавая, чем это может грозить, остановился, зная, что за ним не сразу, но остановится и вся людская масса и даст возможность выйти тем, что столпились на лестнице и у выхода... Вытащили друзья Серёгу с помятой грудиной на улицу, посадили спиной к стволу липы... А он и раненый, как настоящий командир, командует: “Братва, камни берите, по окнам...” Был Сергей парень упорный, и если уж решили (тем более отец попросил) религиозную пропаганду сорвать — всё сделает, чтобы выполнить решение. А “братва” его слушает, он настоящий вожак местных комсомольцев...

Зазвенели стёкла, застучали камни и о стены, кому-то и из выходящих из церкви досталось.

— Да они что же делают! Хватай их, мужики!.. В реку!..

Костя Куликов первым почувал нешуточную угрозу — как из церкви выкатился, сразу в кусты, между могил, и полетел к дому Козыревых.

И старший Козырев бежал теперь к церкви по размокшей грязи, на бегу заряжая револьвер...

До смертоубийства дело не дошло, но помяли комсомольцев крепко.

— Где этот попяра?! — орал председатель. Но служба уже закончилась, народ расходился, на двери храма как-то незаметно появился замок, и — будто бы ничего и не было...

А было светлое пасхальное утро. Пунцовое солнце поднималось с востока, поливало всё розовым светом. Воздух был пьяняще свеж. Тишина вдруг зависла во всём мире. И покой будто бы в самом воздухе был разлит...

И в это утро, никем не замеченный, всеми потерянный, уходил береговой мокрой тропкой отец Николай встречу солнцу, к истоку реки.

## 2

Вечером он выбрался к болоту. Бескрайнее, мшистое, кочкастое полотно раскинулось перед ним. Кое-где торчали чахлые кривые сосенки да берёзки-вички. Виднелись во мху прошлогодние водянистые ягоды клюквы. С высокой береговой берёзы с треском, чёрно-бело мелькая, сорвалась и полете-

ла вглубь болота сорока. Отец Николай перекрестился и шагнул на качнувшееся под ногой, будто над бездной натянутое мшистое покрывало, пошёл туда, куда улетела птица...

А недалеко и островок был — метров двести. Росла тут одна большая берёза, пара чахлых сосен. Но почва на этом островке посреди болота, дающего исток реке, была удивительно твёрдая, и в землянке, выкопанной посреди острова, воды не было. Под берёзой лежал огромный, такой же, как Марьян на Красном Берегу, камень. А к нему прислонён подгнивший и выпавший из земли, весь в зелёном мху крест.

Отец Николай опустил пред крестом на колени, кинул троеперстно сложенную длань ко лбу и плечам, зашептал слова молитвы...

...А ведь это было то, о чём уже давно мечтал отец Николай: покой, тишина и воля... Он успел хорошо подготовиться к зиме. Приходилось, правда, несколько раз ещё выходить к деревьям для закупки продуктов (деньги кое-какие у него были). И теперь сидел в землянке у тёплой печки, макал остро заточенную палочку в самодельковую деревянную чернильницу. Да и чернилато — сажа, водой разведённая... Писал в толстой амбарной книге.

“...Откуда явился в места наши угодник Божий Николай, прозванный позже блаженным Николаем Краснобережским, достоверно не известно. По словам одних, был он монах Троице-Сергиевой лавры, по словам других — из самого Киева пришёл. Достоверно известно, что был он монахом в иерейском чине. И было это во времена правления Благоверного князя Александра Невского.

Как гласит местная легенда, приплыл он на лодке с воздвигнутым в ней наподобие мачты крестом. И пристал сперва к Красному Берегу, близ деревни Ивановки. Местные жители поначалу ему мирволили, указали место, где можно келейку срубить, помогали и пропитанием. Собирались уже и церковь ставить... В те времена хоть и были уже все краснобережцы православными христианами, но сохраняли ещё многие языческие привязанности. Так, по окончании Петровского поста устраивались гулянья с кострами да хоровами, девки же заплетали венки и на воду пускали. И был Николай свидетелем тому, и обличил людей в языческих тех пристрастиях.

Жители же Ивановки не желали по гордости своей слушать его и велели покинуть их пределы.

Николай далеко не ушёл. Переплыл на другой, пустынный в те времена берег. И прямо напротив угора, где лежал издревле камень, у которого и совершались бесовские пляски да игрища, установил крест, рядом же и келейку срубил. Со временем вблизи его кельи стали селиться люди из числа краснобережцев, желающих по какому-либо поводу выделиться из общины, а также и пришлые. Сам ли Николай ходил или же кто-то из живших рядом в Ростов, то неведомо, но по благословению правящего архиерея построена была церковь деревянная, на месте которой нынешний каменный храм стоит...”

Недолго всё же в небытии для местных жителей оставался отец Николай. Осенью бабы-ягодницы, бравшие клюкву, вышли на его островок. Две их было. Дали слово язык за зубами держать. Но раз в неделю одна из них приносила и оставляла на краю болота, там, где кончалась лесная тропка, хлеб да картошку... Отец Николай хоть и вёл постнический образ жизни, такому повороту был даже внутренне рад. Всё же сущность человечью не обманешь — голод не тётка, а те запасы, что принёс в заплечном мешке, подходили к концу. Да и бабы, похоже, оказались не из болтливых...

“Храм же был освящен во имя Воздвижения Креста Господня, — писал отец Николай. — По нему же и село, вокруг образовавшееся, назвалось.

Долгие годы служил Николай настоятелем устроенного им самим храма, неся в округе свет веры Христовой, в любви и уважении жителей пребывая.

Случались же и клеветы на будущего святого. Так, был он уже в преклонных летах призван к правившему в то время архиерею по доносу кого-то из прихожан о якобы грехе пьянства. Но грех тот за отцом Николаем установлен не был...”

Впервые отец Николай столь свободно по доброй и давней воле отдался творчеству, испытывая все муки и радости его. Временами он впадал в такое состояние, будто бы сам жил в то время, сотни лет назад, на берегу этой реки, видел те дремучие леса вокруг Ивановки, полноводную реку, видел пожоги в лесу, а потом на месте их пашню, видел ночные костры на горе, пляски и хороводы вокруг Марьиного камня... И в отчаянии понимал, насколько не соответствуют те серые слова, что писал он, тем ярким образом, среди которых жил во время писания...

“И всё же зададимся вопросом: почему получил будущий святой Николай прозвание Краснобережский, ежели главные труды свои творил как раз на другом берегу? Думается, потому, что трудами своими, своим молитвенным служением показал он великий нравственный и христианский пример, в первую очередь, именно жителям Красного Берега, кои хотя и считали себя православными христианами, не были таковыми по сути...

Но вернёмся к житию святого Николая. Пришёл час, ведомый лишь самому блаженному Николаю да Тому, Кто создал время и вечность, когда решил он оставить и село Воздвиженское, и его трудом и попечением построенный храм. Несколько лет никто из Воздвиженских прихожан не знал, куда исчез отец Николай; одни почитали его уже почившим, другие же думали, что он покинул округу ради уединения и подвигов духовных. Отчасти те, вторые были правы. Но не так уж далеко ушёл отец Николай. В дне пути от Воздвижения есть огромное болото, из которого берёт свой исток река, пересекающая эту местность. Там-то, на болоте и наткнулись воздвиженские жители, собиравшие на болоте клокву, на уединенную келию, представлявшую собой землянку посреди острова...

В келии же обнаружили и отца Николая, узанного, хотя и с трудом, некоторыми из нашедших его. А потому, что старец безмолвствовал, поняли, что принял он на себя и подвиг безмолвия. Просив святого старца молиться о них, люди те удалились от келии его.

Но стали приходить люди за помощью к отцу Николаю и на болото. Просили молитвенной помощи и приносили еду, брал же он лишь чёрный хлеб. Чем же питался он до обнаружения своего?

Так прошли ещё года три в постоянных молитвах и безмолвии.

И пришли опять к келии святого старца, но не было его там. Поначалу ждали его люди, думая, что удалился он для собирания ягод или иной пищи, стали потом искать. Но так и не нашли.

Однако же нашлись те, кто продолжали просить молитвенной помощи Николая Краснобережского. И при искренней молитве всегда получали её. Так и до сего дня”.

### 3

Уж и зима свой пик миновала. Выдвожил отец Николай, приспособился к жизни в землянке. Печурка, из камней сложенная, исправно топилась, деревянная труба из полрой нетолстой колодины дымок наружу выдувала... Поутру он молился, потом собирал дрова по крайку болота, исследуя заодно и следы на снегу (лиса, как стежками в одну линию строчит; заячьи пятнашки; ещё какого-то зверька следки — белки или мыши...) Он побаивался волков, но волчьих следов, к счастью, пока не видел. Готовил похлёбку, снова молился, писал житие Николая Краснобережного... И подспудно всё время ждал, что придут за ним... Не могло быть такого, чтоб никто не заметил, как бабы еду носили. В последний-то раз уж по первому надёжному снежку санки притащили — мешок картохи, мешок хлеба, крупы, луку, а он сам с осени ещё успел клоквы побрать да грибов... Тогда и велел он им до весны уже не ходить... Валенки ещё принесли они, тулуп какой-то...

Одна из этих женщин — старостиха, вдова последнего церковного старосты, незаменимого помощника отца Николая во всех начинаниях, Мария Корчагина. Муж её Илья, как услышал в прошлом году, что его двор под раскулачивание попадает, в тот же день и упал, “ударом” разбитый, недолго и мучился — на следующий день отдал Богу душу, и тем спас жену и чет-

верых ребятишек. Их уже не стали выселять, лишь свели со двора одну из двух коров.

Вторая — глухая Полина Игнатьева с Красного Берега. Когда поправилась она от контузии, выяснилось, что оглохла напрочь, да вроде как и умом тронулась. В церковь каждый день стала из Ивановки на лодке приплывать, отец её, Семён, хоть и председатель, коммунист, а не держал. Так, считай, при храме, пока был открыт, и жила, только на ночь домой возвращаясь... “Не случайно они жильё моё нашли, сам Господь их мне послал!” — думал отец Николай, поминая добрых своих кормилиц в молитве...

Не было у него сейчас лыж, вот что плохо, тяжело без лыж-то... Ну, да он далеко-то и не ходил.

Однажды утром его разбудили перестуки топоров. Перебивающие друг друга, частые. Потянуло древесным дымом. “Это что же, ближе к деревне леса не нашли?.. Да и что-то много, кажется, лесорубов...”

Шумное и многолюдное соседство совсем не устраивало священника-отшельника.

Весь день он сидел, прижавшись к остывающей печурке, загасив постоянный до этого огонь, боялся и нос высунуть. Когда начало смеркаться, решил, вылез из землянки-норы.

До того места, откуда слышались звуки топора, и сейчас ещё не умолкшие, он прикинул, — если напрямую, будет версты две. Но он сначала к ближайшему берегу, под прикрытие кустов да деревьев стал пробираться. Потом уж по берегу, проваливаясь по колени в снег, долго шёл на звуки и дым.

Сперва он не понял, выйдя к краю широкой свежей вырубке, что это: какие-то огромные шалаши из целых деревьев, издали похожие на вигвамы североамериканских индейцев, виденные на картинках в книгах... Дым валит из всех дыр этих “вигамов”. Костры и на воле, рядом с шалашами горели. Люди-тени мелькали в свете огня. Не прерывался перестук топоров, слышались взвизги женщин, грубые мужские голоса, детский плач... “Да что же это такое-то? Что за наваждение?..” Отец Николай подошёл ближе к тем людям. Он ещё опасался, но что-то неодолимо влекло его туда...

Силуэты и тени обрели плоть. Женщина, укутанная в какое-то тряпье, сидела на свежем пне, а на словом лапнике лежали три человека: ребёнок, мужчина и женщина. То, как лежали они, — околелое, мёртво, — не оставляло сомнения...

Отец Николай, не скрываясь, подошёл ближе. Старуха подняла глаза на него. И он распахнул тулуп, показывая крест на груди...

...Их даже не охраняли, этих “выселенцев” с Украины. А куда они могли уйти? И оставалось им или умереть всем, или, пусть теряя родных и близких, но врубаться в новую для них жизнь. И они врубались — стук топоров и визг пил не прекращался ни днём, ни ночью. Через неделю были готовы два первых барака. Потом отдельное здание конторы и столовой, ещё жилые помещения. Уже через месяц с небольшим новый лесопункт выдавал продукцию — товарную древесину для государства. Хлысты с вырубок оттаскивали на лошадях к берегу реки, там складировали, чтобы по весне начать сплав...

Впрочем, отец Николай этого уже не увидел. За ним приехали на третью неделю его жизни среди ссыльных украинцев. Всё это время он соборовал, отпевал, как мог помогал хоронить мёртвых.

## Глава восьмая

### 1

Лично Аксютитц Позднякова и арестовывал...

Начали прибирать и всех “поздняковцев” — так с лёгкой руки, а точнее — гадкого языка того же Аксютитца стали называть всех “ставленников” и “сообщников” (опять же его, Аксютитца, слова) на страницах местной прессы...



Семён Васильевич Игнатьев знал, что скоро придут и за ним. Сам ушёл с председательского поста. Попросился на колхозную мельницу и пасеку при ней.

Кочерыга два года назад странным образом пропал с мельницы — ружьё на месте осталось, другие вещи, а самого старика не было. Спустили из ому-та воду, всё дно обшарили — не было старика. Так больше его и не видели. Странно жил — странно и исчез...

Там, на берегу лесного ручья, в избушке и стал жить Семён Васильевич. Даже ночевать не всегда приходил в Ивановку.

— Что ты позоришь-то меня?! — в сердцах бросала ему Вера Егоровна. Молчал. Или миролюбиво просил:

— Не ругайся, мать, мне там способней. Мы своё уж отжили...

... Золотистая пчёлка путалась в волосках на его руке.

— Что ты, глупая, лети, лети, — подтолкнул её Семён твёрдым, как гвоздь, пальцем, и пчела снялась, полетела...

Непрерывный гул пчёл усиливал тишину.

Тишина будто опустилась с бледно-голубого сентябрьского неба, накрыла лужайку, омут и лес, и всю округу...

Ещё будто бы лето, но нет: белым пухом взамен розовых султанов оделся иван-чай, побурели местами головки кашки, в зелени берёзок появились жёлтые заплатки...

Ветерок качнул траву. Качнулась и паутиная сеть между травинок, и суетливо дёрнулся в своей сети паук с крестом на спине...

Из леса по тележной дороге выехал всадник — Василий Игнатьев, сын Семёна, сменивший отца на посту председателя колхоза. Спрыгнул с коня, накиннул повод на столб ограды.

— Здорово, отец, — Василий отмахнулся от пчелы, оглянулся, сел рядом с отцом на ступеньку крыльца, ещё вправо-влево глянул.

— Ну, здорово, председатель, да не маши руками-то, Васька...

— Уходить тебе надо, отец... Они сегодня в Воздвиженье, завтра сюда заявятся... Уходи.

— Да куда уходить-то мне, — помолчав, ответил Семён Игнатьев. — Некуда мне уходить... Матери не сказал ещё? Не надо, не пугай раньше времени.

— Уходи, отец...

— Да что ты заладил-то! В колхозе как дела? Уборочную когда закончите?

— Закончим. — Василий пристукнул кулаком по колену. — За что, а? Ну, за что? Ведь ты здесь советскую власть устанавливал, ты колхоз создавал, ты покоя не знал, чтобы дать зерно, мясо, молоко этой самой власти...

— Ну, значит, за это за всё... Другой вины не знаю за собой, — усмехнулся Семён. Потом сказал твёрдо:

— Ты, Василий, не паникуй. Может, всё и образуется. А сам-то завтра не путайся под ногами у них, езжай на дальние поля, уборку там контролируй. Твоей-то вины точно никакой нет, и знать ты ничего не знаешь... Вот так... Мать береги, Полинку. Да и женись уже давай! Что ж нам с бабкой, и внуков не видать, а?

— Может, уйдёшь, отец? К озеру или за болото, зимовку сладим тебе, отсидишься, а там, глядишь, и выяснится всё, отвяжутся...

— Не отвяжутся. Я уйду — тебя возьмут. Не отсидеться. Всё, езжай давай. Давай, давай...

— Поехали хоть домой...

— Нет. Дай мне в покое крайний день побыть...

Не оглядываясь, уходил Василий — высокий, крутоплечий, быстрый и резкий в движениях — игнатьевская порода... Вскочил на коня, ткнул каблуками в бока...

Семён обвёл взглядом пасеку — два десятка ульев, оградка, неяркий осенний лужок, лес, позади — тихий омут... Что-то ждёт завтра. Арест, допросы, тюрьма... Зачем всё было? А может, прав был Яшка Попов — командир "повстанческой армии"?

Недалеко и отъехал Василий — услышал голоса впереди. Спешился, взял коня в повод, ушёл с тропы в лес, за деревья да кусты.

— Тихо, Карько, тихо, — коня по шее успокаивающе похлопал.

В телеге, катившей за неторопким меринком, сидели трое: один — в штатском и двое — в милицеской форме; один из этих двоих — старый участковый Манюхичев. Он ведь к Василию и прибежал. Упредил:

— Сегодня они в Воздвиженьи, завтра к нам переедут...

Значит, решили на том берегу не задерживаться, сразу на Красный махнули. “Может, и прав отец, что не прячется...”

Едут, не приглушая голосов. А чего опасаться? Что может сделать им старик... И тут как калёной иглой пронзило Василия: “Ружьё!”

Он вывел жеребца на дорогу, вскочил в седло... И в это мгновение грохнул выстрел... Жеребец прижал уши, запереступал на месте, и Василий опять ткнул его пятками, погнав вдогон телеге к мельнице... Спешился в кустах перед пасечным лужком, не выдал себя.

Удивительно тихо. Двое сидят за телегой посреди луга, мерин спокойно жуёт траву. Дверь избушки распахнулась, вышел Манюхичев, махнул:

— Идите!

А Василия опять по сердцу будто полоснуло: “Так кто же и в кого стрелял?” И уже не скрываясь, бросив жеребца в кустах, выскочил на луг, побежал к избушке. Один из тех, что сидели за телегой, потянулся рукой к поясной кобуре, второй, тот, что в штатском, тоже руку за пазуху сунул... Подвинув плечом участкового, вышагнул за порог Семён Игнатьев, и у Василия при виде отца подкосились ноги, и он уже не бежал — брёл по траве...

— Кто такой? — спросил его незнакомец в форме НКВД.

— Василий Семёнович Игнатьев, председатель колхоза.

— Сын это его, — вставил Манюхичев, кивнув на Семёна.

— Ты чего, Васька? — спокойно и даже нарочито пренебрежительно спросил отец.

— Что за стрельба? — строго спросил человек с морщинистым лицом в штатском.

— Да хотел ружьё перезарядить, медведь поблизости ходит, нажал случайно, — спокойно сказал старший Игнатьев.

И в этот момент мерин, мирно стоявший до этого посреди луга, вдруг, будто всеми четырьмя ногами сразу толкнувшись, подлетел в воздух, с отчаянным ржанием дёрнулся вправо, влево и понёсся к лесу, волоча за собой опрокинувшуюся набок телегу. На его ржание отозвался Карько, выскочил из кустов и тоже поскакал вдоль леса.

— Пчёлы! — крикнул Манюхичев и хлопнул себя по шее, сморщился, но сразу рванулся бежать за меринком.

— Карько! — крикнул Василий и тоже побежал за конём.

— А! — вскрикнул “штатский” и хлопнул себя по лбу.

— Да не дёргайтесь вы, дурни! — тоже потеряв спокойствие, рывкнул Семён Игнатьев...

...Вот так и произошёл его арест.

Василий сразу ушёл с председательства и вскоре, выучившись у городского шофёра, стал первым в округе водителем на новенькой, купленной колхозом полторке.

Что был за выстрел во время ареста отца? В кого и зачем стрелял отец, он так и не понял, — не в тех же, кто пришёл арестовывать его? Но ведь и не в себя же?..

...Через три месяца пришло из города казённое письмо, в котором сообщалось, что Семён Васильевич Игнатьев умер во время следствия от сердечной недостаточности. Сразу слегла и Вера Егоровна и больше уж не поднялась.

А весной следующего года Василий Игнатьев наконец женился. В свои двадцать пять Катерина считалась уже старой девкой. Без шумной свадьбы и гулянки обошлись, тихо расписались в сельсовете да и стали жить.

За Иваном Андреевичем Поздняковым захлопнулась обитая железом старая монастырская дверь.

Губернское управление ОГПУ расположилось в этом старинном монастыре в самом центре города надежно и нетесно. Тут же и следственная тюрьма была. В одной из её камер — бывшей монашеской келье — и оказался Иван Поздняков, недавний хозяин губернии.

Зарешёченное да ещё и забранное наполовину досками оконце в стене метровой толщины, выходявшее во внутренний двор бывшего монастыря, почти не давало света. Но горела электрическая лампочка на потолке, тоже в решётчатом колпаке — своеобразный символ тюрьмы.

Два топчана вдоль противоположных стен, на одном (у правой стены) — матрас и подушка, серое армейское одеяло, стол под окошком, два табурета по его сторонам.

За столом сидел человек. Он читал газету, и когда за Поздняковым закрылась дверь, отложил газету и повернулся. Иван Андреевич сразу узнал его по характерному жесту — указательным пальцем правой руки поправил глядевший на него Иван Алексеевич Сажин очки на переносице. Это был, безусловно, он. Постаревший, похудевший, с совсем реденькими и седыми волосами...

— Здравствуйте, Иван Сергеевич.

— Здравствуйте, Иван Алексеевич.

— Вы же ещё тогда, Иван Сергеевич, поняли, что это за люди, когда из города в глушь попросились. Уже тогда не жестокий царский режим, — усмешка чувствовалась в глухом голосе Сажина, — а вот эти же самые люди вас на Красный Берег сослали.

— Я не знал, что они победят. Я был не с ними тогда... А потом... Да... Не будем об этом...

— Собственно, ваша история мне известна, человек вы публичный. Если хотите — свою историю расскажу.

— Расскажите.

Уже вторые сутки никого из них не вызывали на допрос. Конвоир исправно передавал пищу, забирал посуду, и ни слова... Им даже не запрещали лежать целыми днями на койках.

И Сажин рассказывал неторопливо, подробно...

В тот день Аксютин говорил совсем не так, как раньше, когда встречались в неприметном домишке на окраине города. Хозяину дома платили какие-то деньги за то, чтобы одна из сдаваемых в наём трёх комнат всегда была свободна. Туда приходил, стараясь быть незамеченным, вечерами по пятницам Сажин, туда же с такими же, если не с большими, предосторожностями приходил поднадзорный Аксютин. Рассказывал новости из жизни ссыльных...

В этот день в здании бывшего жандармского управления он говорил требовательно, как член бюро городского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, как представитель победившей новой власти...

— Нам необходимы все, подчёркиваю, все документы о тайной работе департамента среди ссыльных.

— То есть они необходимы лично вам, господин Аксютин? — съязвил Сажин.

— Они небезынтересны и некоторым другим товарищам, как я понимаю... Будем откровенны — моя фамилия не должна всплыть. Я вёл двойную игру — обманывал вас, но я не смогу это доказать...

— Конечно, не сможете...

— Не стройте из себя героя, Сажин. Я могу расстрелять вас в любой момент... Не забывайте также о жене и ребёнке.

Иван Алексеевич понимал, что взывать к совести этого человека бесполезно.

— Какие гарантии?..

— Вас не тронут. И всё же лучше, если вы покинете город.

— Так вот вам моё слово: ни один документ не вышел за пределы этого здания, а оно в ваших руках. Фамилии осведомителей нигде не фигурировали — только клички...

Через день Сажина покинули уездный город, переехали в губернский. Поселились у Мариновых — они пока ещё спокойно жили в своём доме.

— Иван, ты со мной или нет? — спрашивал Константин Дмитриевич Маринов. — Сейчас там, на юге, решается судьба России, долг русского офицера...

— А тебе не кажется, Константин, что время упущено?

— Как бы то ни было, лучше погибнуть с оружием в руках! Впрочем, я уверен в победе белого движения.

— Знаешь, Костя, а я не уверен. — Иван Сажин вспомнил сейчас разговор с отцом Николаем из Воздвиженья... — Я не уверен. Потому что все мы — клятвопреступники. Все мы нарушили присягу, данную когда-то...

— Император Николай отрёкся от престола...

— Точнее, его вынудили отречься. Ведь так? Как раз Корнилов и иже с ним...

— Всё это болтовня — Россия гибнет, Иван...

— Нет, Костя. Кто сейчас идёт в Добровольческую армию? Вот такие, как мы, — офицеры, не сумевшие удержать власть, когда она была в наших руках, студентики-романтики, недоучившиеся гимназисты... А у красных? Крестьянская Русь встала за них. В считанные месяцы создали огромную и боеспособную армию. Это не может быть случайностью. Народ с ними сейчас. А народ победить невозможно. Тем более — наш народ...

— Вот такие болтуны и... — Константин Дмитриевич резко отвернулся от окна, выходившего в ярко-зелёный, в белом мареве цвета весенний сад, на его красивом лице жёстко выступили желваки...

Дверь в библиотеку распахнулась, влетел запыхавшийся, в распахнутой на груди рубашке сын Константина, Серёжа:

— Папа, Катя опять дразнится, скажи ей!..

— На сестру жалуешься! Стыдно...

Константин Сергеевич резко взял сына за руку и вышел. Заметно было, как он сдержался, чтобы не хлопнуть дверью.

Через три дня Константин Сергеевич Маринов, не простившись с Иваном Алексеевичем и его женой, уехал из дома, из города. Навсегда...

Через неделю явились из местного Совета с орденом на “уплотнение”. Обе семьи — Ольгу с двумя детьми, Ивана Алексеевича и Ирину с полуторагодовалым сыном — поселили в двух комнатах на первом этаже дома, рядом с кухней. По лестницам и коридорам дома Мариновых затопали ноги новых хозяев.

Обе сестры — Ирина и Ольга — устроились работать в госпиталь. За детьми осталась присматривать старая няня. Иван Алексеевич со дня на день ждал ареста, задушив в себе гордость, продавал на рынке кое-что из семейных вещей, читал книги из библиотеки Константина Маринова, перенесённые в их комнату.

“А может, лучше было уйти с Константином? Ведь и такая жизнь — предательство самого себя. Или попытаться уехать? Всем. За границу...” Мысли эти ничем не заканчивались. И хорошо ещё, что жена не корила...

В том же восемнадцатом году жена и сын умерли от тифа, которым она заразилась в госпитале. Сам он тяжело переболел. Волосы выпали тогда, да так толком и не отросли. Ирину, работавшую в том же госпитале, тиф миновал. Она ничего не говорила Ивану, но, кажется, получила какое-то известие с юга. О муже. Сажин понял, что Константин погиб. Да и не могло быть иначе... Вскоре Ирина пошла работать в школу, учительницей. Там же учились и её дети.

И ещё были у Сажина дни отчаяния и сомнений... В тот день — серый, дождливый — он долго ходил по городу, сам себя убеждая, что бесцельно, а пришёл всё же на окраинное старое кладбище, миновал церковь, шёл по засыпанной мокрой листвой дорожке мимо могильных памятников и крестов

в тот дальний кладбищенский угол, где тесно и торопливо похоронены были в прошлом году умершие от тифа. Стоял у могил жены и сына под единым деревянным серым крестом... Он прощался, ибо не знал, не находил, для чего жить дальше. И вся прежняя жизнь казалась пустой, ненужной чередой уступок и самообмана... На нём была бесформенная шляпа с намокшими полями, длиннополое пальто, калоши на старых ботинках испачканы рыжей глиной... Стёкла очков были мокрыми, и протереть их было нечем, и всё через них виделось ещё более мокрым, мутным, серым... Он будто увидел себя со стороны и сам себе стал противен.

Левый карман пальто тяжело оттягивал заряженный револьвер, который он зачем-то взял с собой сегодня. Сунул руку в карман, холодный от стали... Нет, не здесь... Правой рукой зачем-то тронул грудь и пошёл прочь.

Из церкви — безголосой, осиротевшей без колоколов (их сняли недавно по указанию местного Совета), — выходили люди. В основном, женщины — одинаковые в тёмной одежде, безмолвные. У входа стоял нищий — страшный, в мокрой рваной одежде, зябко выставив скрюченную ладонку с одинокой тусклой монеткой... Сажин снова сунул руку в карман, но там был лишь револьвер, бесполезный сейчас. Торопливо пошёл от церкви, с кладбища.

— Здравствуйте, Иван Алексеевич, — услышал женский голос за правым плечом, обернулся.

Елизавета Алексеевна Зуева шла чуть позади него.

— Здравствуйте... И вы здесь, — растерянно пробормотал Сажин.

— И я здесь. Как вы живёте, что с вами?..

Странно: раньше, когда приезжал в их имение, Елизавета Алексеевна всегда избегала разговоров с ним...

Они шли в сторону центра города. Сажин предложил, и она не отказалась — взяла его под руку. Шли, старательно обходя лужи...

— По предложению Совета я возглавляю комиссию по сохранению книжного наследия, формируем уездную библиотеку. Нам нужны сотрудники. Я приглашаю вас...

В тот вечер Иван Сажин бросил револьвер в старый, зарастающий тиной пруд, а на следующий день был зачислен сотрудником в комиссию, возглавляемую Елизаветой Алексеевной.

Первая большая поездка была предпринята в родное для неё и хорошо знакомое Сажину село Воздвиженье. Успели спасти большую часть зувеской библиотеки. И потом два года ездили по дворянским усадьбам губернии — спасали книги. Кое-что удалось спасти и из монастырских библиотек. Вот из тех книг и сложился первоначальный фонд Советской народной губернской библиотеки...

— И она стала вашей женой, — сказал, будто и не спрашивая, а утверждая, Поздняков.

— Да, мы поженились.

Иван Алексеевич Сажин понимал, что Елизавета Алексеевна не любит его, никогда не забудет своего жениха Дмитрия Ковалёва.

Она в восемнадцатом, следом за братом и женихом, потеряла отца и мать, потеряла свой дом, привычный мир, уклад, — казалось, всё рухнуло. И только книги, что остались в усадьбе (осенью семнадцатого Зуевы переехали на постоянное жительство в свой городской дом), оставались душевной ниточкой в тот, прошлый, родной мир. Она сама и предложила идею создания Советской библиотеки, понимая, что без помощи власти не спасти родовых книг. А потом и втянулась в эту работу. И Сажин, который так не нравился ей раньше, неожиданно стал главным помощником. А схожее горе потери близких сблизило их. Детей у них не было, а жили тихо и дружно в комнате большой коммунальной квартиры в бывшем доме Зуевых на одной из центральных улиц губернского города...

— Лиза и сейчас возглавляет отдел редкой книги в библиотеке. И я там работал. Несколько лет назад создали мы (а точнее, восстановили) со старыми и новыми товарищами Общество изучения истории и культуры.

— Да. Помню, ставил разрешительную резолюцию на бумаге, — откликнулся Поздняков.

— Ну, вот и поспособствовали созданию монархической организации! — будто бы обрадовавшись, воскликнул Сажин.

— Ну, хоть буду знать... — тоже усмехнулся Поздняков.

Еще три дня находились они в одной камере: бывший жандармский офицер, самодеятельный историк-лингвист Иван Алексеевич Сажин и бывший профессиональный революционер-большевик, секретарь губернского комитета партии Иван Андреевич Поздняков (Потапенко).

Сначала увели, думалось, что на допрос, Сажина, но он так и не вернулся в камеру-келью. Потом пришла очередь и Позднякова... Дальнейшая судьба их неизвестна...

В 1964 году Елизавета Алексеевна Зуева-Сажина получила официальное уведомление о том, что муж её умер от острой сердечной недостаточности во время этапирования к месту отбывания наказания и полностью реабилитирован ввиду отсутствия состава преступления.

Иван Андреевич Поздняков (Потапенко) был реабилитирован в годы гласности и перестройки. О нём как честном ленинце и жертве сталинских репрессий писал в местной прессе историк Александр Васильевич Игнатьев. Были даже предложения назвать именем Позднякова одну из улиц города, но время ускорило — и “честные ленинцы” вновь вышли из моды, улицам стали возвращать дореволюционные названия... Впрочем, улица Аксютица благополучно сохранила своё название, а улицу Саблера переименовали в Козлёнскую...

## Глава девятая

### 1

В жарком, бледном, как застиранный ситец, небе, кружил коршун: делал взмах и, распластав крылья в горячем воздухе, плыл, высматривая добычу...

По дороге, белой ниткой простегнувшей зелёное полотно степи, поднимая клубы пыли, быстро катил автомобиль...

Командир пехотного полка Соловьёв держал на коленях развёрнутую карту и говорил своему водителю, сержанту Василию Игнатьеву:

— Должен быть хутор, перекрёсток дорог...

— Должен, так будет, одна же дорога! — с нескрываемым неудовольствием отвечал Игнатьев. Ему надоел этот постоянно недовольный тон командира — будто бы он, Игнатьев, в чём-то виноват... А его дело простое, солдатское, шофёрское: крути баранку да следи, чтобы машина в исправности была. Этим, в основном, и последние два года перед войной занимался, в колхозе...

Минут через пять что-то замаячило тёмным пятнышком впереди, и уже вскоре стали видны кроны деревьев и сначала одна, потом две, три соломенные крыши.

Соловьёв поглядел в бинокль.

— Никого вроде... Давай, Игнатьев, но быстро...

“Журавль” торчал на колодце, вздёрнутый к небу, на перекрёстке двух степных дорог. Василий остановил машину в тени тополя у плетня, прихватил ведро и пошёл за водой. Хаты явно пустовали...

Соловьёв тоже вышел размять ноги, третий час в машине — срочный вызов в штаб дивизии... Это отступление по донским степям, почти уже бегство измотало всех и физически, и морально. Лето и осень сорок первого (а полк Соловьёва вступил в бой на третий день войны) помнились бесконечными боями: оборона, отход, оборона, атака при выходе из окружения, отход и снова атака, — и тоже было чувство какого-то отупения, будто превратился в машину для войны... И сейчас, летом сорок второго, после того как удалось всё же дать немцам по зубам под Москвой, снова приходится “драпать”. Именно приходится, потому что любая попытка закрепиться на рубеже заканчивается тем, что отходит, то есть опять же “драпает”, сосед

слева или справа, и нависает угроза окружения. Что такое окружение, “мешок”, бойцы с лихвой извели в сорок первом, одно это слово срывает целые роты и полки и заставляет панически бежать... Зачем вызвали в штаб, Соловьёв не знал и особенно нервничал потому, что в такой обстановке за просто можно было и не найти потом свой полк...

Василий Игнатьев почти подошёл к колодцу, когда неподвижно торчавший к небу колодезный журавль вдруг начал опускаться... И уходить было поздно и стыдно, и стоять на месте глупо, и Соловьёва звать нелепо, и оружия — никакого... А журавль уже снова задирал шею к небу — немец выбирал ведро из колодца... Был он, как и Василий, немолодой, с морщинистым, как стиральная доска, выпуклым лбом, в туго обтягивающей голову пилотке, рукава кителя закатаны по локоть... Он смотрел на Игнатьева, и в его серых глазах была и растерянность и вопрос. И Василий ответил ему таким же взглядом... Немец подхватил ведро и, не оглядываясь, зашпешил вдоль плетня, свернул, стал невидим... “А если их там много? Если сейчас скажет своим?..” Игнатьев отставил ведро, быстро добежал до того места, где свернул немец, выглянул осторожно. Там стояла серая от пыли легковая машина, в которой сидел офицер в высокой фуражке. Он что-то сказал водителю, заливавшему воду в радиатор, тот что-то ответил, захлопнул капот, сел, и машина, фыркнув, развернулась и покатила в сторону от хутора... Василий набрал воды, вернулся к своей машине.

— Чего долго так? — спросил недовольно Соловьёв.

Игнатьев не ответил, молча пожал плечами...

К вечеру были в станции с красивым названием Счастливая, забитой разномастными войсками. Нашли штаб, разместившийся в бывшем станичном Доме культуры. Крашенные серебряной краской статуи колхозницы в косынке, с ведром в руке и колхозника в кепке и спецовке, установленные на широком крыльце, говорили о богатой жизни в здешнем колхозе...

— Поищи пока квартиру и через час подъезжай сюда, — сказал Соловьёв Игнатьеву, поправил фуражку, одёрнул гимнастёрку и шагнул на штабное крыльцо.

Василий направил машину по центральной станичной улице. Ветви яблонь в садах гнулись от плодов, хаты — чисто белёные, с откинутыми зелёными, в ярких розанах наличниками... Всё это разительно отличалось от родной северной Ивановки. Дворы забиты солдатами — нечего и думать тут свободную хату найти. Да хоть бы куда-нибудь приткнуться...

Нашёл на дальней окраине осевшую окнами чуть не до земли хату, крытую серой соломой. Хозяйка показалась сначала Василию старой из-за низко сдвинутого на глаза платка, но при близком знакомстве оказалась ещё молодой бабой.

— Нам только переночевать, да мы и расплатимся...

— Ночуйте, — сказала. — Гришка, в хату! — крикнула она мальчонке, копошащемуся в пыли.

Белобрысый мальчуган лет трёх, беззубо улыбаясь, ткнул пальцем в Василия:

— Тятя! — и у Игнатьева сдавило сердце: такой же сын остался у него дома.

— Подожди-ка, — сунулся в машину под сиденье, порылся в вещмешке и выдал терпеливо ожидавшемуся карапузу кусок сахара. Тот взял белый кусочек, не понимая, видно, что это, на ладошке подержал.

— Благодарствуйте, — мать сахар взяла и ребёнка на руки подхватила, в хату пошла.

Игнатьев достал мешок и тоже в хату шагнул, низко согнувшись перед дверью.

В красном углу — икона, рушником вышитым оправленная, под иконой стол — пустой и, видимо, недавно крашенный яркой коричневой краской.

— На-ка, хозяйка, не обессудь, приготовь нам чего-нибудь, да и себе оставь, — он выложил на стол продукты.

— Благодарствуйте.

— Ну, так я за начальником поехал...

Молча кивнула в ответ.

“Ну и молчунья, слова не скажет...” — подивился Василий на хозяйку. Поехал к штабу.

Соловьёв уже ждал у крыльца, нервно курил. Выходили во двор и другие офицеры, тоже по машинам рассаживались.

— Может, к нам, Борис Анатольевич? — спросил кто-то у Соловьёва.

— Нет. Ночь перекантуюсь — и к своим. Попытаюсь поспать сегодня, — ответил раздражённо Соловьёв. — Ну, что так долго, — недовольно бросил Игнатьеву.

— Искал квартиру, забито всё, — спокойно ответил Игнатьев. Но Соловьёв, видно, и не ждал ответа, ничего больше не сказал.

Подъехали к хате. Вошли. Стол уже был накрыт.

— Спасибо, хозяйка. Садись и ты с нами, — пригласил Соловьёв, усаживаясь за стол.

— Благодарствую. Мы потом. Кушайте на здоровье.

Под сон отвела им какой-то закуток, наподобие горенки.

Василий сразу решил:

— Ну, я во дворе устроюсь, поближе к машине...

— Давай, а я тут, — охотно согласился начальник. Его уже необоримо тянуло в сон. Да и кровать в закутке лишь одна стояла.

— Я в сарае устроюсь. Не против? — спросил, входя снова в избу, Василий.

Женщина лежала на кровати, а за ней, у стены, усыпал, видать, малыш. Она поспешно обернулась на слова постояльца, поднесла палец к губам, кивнула согласно. И Василий, стараясь не скрипнуть дверью, вышел во двор.

Сарайчик этот он ещё днём приглядел. Царил в нём устойчивый скотный дух и сырой запах куриного помёта, но и следа живности, кроме этого запаха, не было: плотноубитый земляной пол, оконце в две ладошки в боковой стенке да куча старой соломы в углу. На соломе и устроился Василий. Вытянулся наконец-то во весь свой немалый рост. Сразу почувствовал, как устал за этот день, а может, и за многие предыдущие военные дни.

В станице, там, за стеной побрехивали собаки, слышались голоса... Потом тишина накрыла мир.

Скрипнула дверь, мелькнула в свете луны фигура, и снова темнота. И в темноте женщина села рядом с ним. И сон как откинуло. Василий чувствовал её рядом с собой.

— Как зовут-то тебя? — с трудом, шёпотом протолкнул он слова.

— Галя.

— А меня Василий... Ты чего?.. — коснулся рукой её бедра. И она сразу подалась к нему, легла... И он лежал и молчал, и не двигался больше...

— Брезгуешь? — спросила.

— Не могу я... — сдавленно сказал он.

И Галя опять припала к нему... И он уже не соображал — жена ли, нет ли, всё едино стало...

И потом уже лежали — её голова на его руке. Василий спросил:

— Где муж-то твой, Галя?

— Убили.

— Немцы?

— Наши. Колхозным председателем он был здесь. В сороковом взяли... Конфисковали всё, по миру нас пустили, дочка померла, с мальцом я одна осталась...

Он не спрашивал больше, только обнял её, будто стараясь согреть. Но Галя вдруг резко оттолкнула его, села.

— Пойду я. Спасибо тебе, Вася. Прости меня.

— Да что ты... Не уходи...

Но она поднялась, ушла. И Василий Игнатьев не пытался её удержать...

— Подъём, сержант! — Громкий голос раздался от широко распахнутой двери. — Заводи мотор. Ехать надо.

Игнатьев вскочил, стряхивая сон. Сунулся было в хату...

— Давай, давай, Игнатьев, заводи, некогда нам...



Галина вышла на порог, мальчишка жался к её ногам.

— Не забуду, — тихо и коротко сказал Василий.

Молча ответила она ему полупоклоном.

И километра не отъехали от станицы, как услышали грохот впереди и увидели клубы дыма...

Из гнавшей навстречу полуторки крикнул какой-то белообрый пучеглазый боец:

— Немцы! Танки!

И уже валом катились солдаты и техника, отступавшие к станице.

— Стоять! — заорал вдруг, выхватывая пистолет, Соловьёв. Увидел брошенную у дороги “сорокопятку”: — Гони туда, — скомандовал Игнатъеву.

Выпрыгнул из машины, каким-то чудом вытащил из бегущей толпы командира артиллерийского расчёта.

Первый же надвигающийся по дороге танк встретили прямой наводкой...

Со стороны станицы послышался треск пулемёта, винтовочная стрельба, только что бежавшие в панике люди возвращались, занимали оборону. Ещё три орудия ударили по танкам, обходившим станицу с флангов...

Всё же успели эвакуировать госпиталь и штаб...

Василий Игнатъев выпустил всю обойму из трофейного автомата в набегавшую вражескую пехоту. Видел, как мёртво ткнулись в траву двое немцев, — и знал точно, что это он их убил. Но немцы шли и шли. Василий откинул автомат с пустым магазином, выхватил гранату из подсумка, но не успел выдернуть чеку — немецкий автоматчик почему-то не стрелял, а бежал на него, Игнатъев с размаху и двинул ему гранатой в лицо, немец рухнул, как мёртвый. Василий выдернул чеку, бросил гранату и сам повалился рядом с немцем, взял его автомат, но магазин был пустой (вот почему он не стрелял)... Он видел, что красноармейцы отходят, и тоже, пригнувшись, безоружный, побежал за ними...

В том бою за станицу Счастливая с неожиданно прорвавшейся танковой, усиленной пехотой группировкой немцев погиб командир полка Соловьёв, погибли многие, тяжело был ранен командир дивизии, и уже при отступлении из станицы осколком бомбы (с полудня немцы подключили и авиацию) ранен был и Василий Игнатъев.

## 2

— В первый раз трудно убивать, а потом... Да нет, и потом трудно, — попыхивая сигареткой, говорил невысокий крепкий, с коротко стриженной, бургистой и от того похожей на картофелину головой парень в маловатом для него синем госпитальном халате. — Из автомата очередь дашь или там гранатой — не всегда и видишь, задел кого или нет, а ножом... Они обычно вдвоём стоят — одного режем, другого берём...

Сидели они — сержант Петров и рядовой Игнатъев — в госпитальном дворике, грелись на нежарком октябрьском солнышке. Оба выздоравливающие, оба думающие о дальнейшей службе.

— Нет, я только в разведку, чем в цепи под пулемёты-то. Давай и ты, как придет покупатель, просись со мной. Водилы везде нужны...

— К своим бы хотелось...

— Какие там свои, найдёшь там своих, такая мясорубка...

Василий Игнатъев уже второй месяц был в госпитале. Левая рука, в которую выше локтя и угодил осколок, сгибалась-разгибалась уже почти безболезненно. Он постоянно разрабатывал её, первое время после операции, скрипя зубами, сжимал пальцы в кулак правой рукой, тянул кисть левой к плечу...

...Вечером в каптёрке выпивали, пуская кружку по кругу, человек пять. Каптенармус, старшина лет пятидесяти, вспоминал гражданскую, Перекоп...

— Сейчас, батя, другая война, совсем другая, — перебивал его Сашка Петров.

— Какая другая! Солдат он всегда солдат, мне, что ли, вам рассказывать... Давайте-ка по глотку ещё и отбой.

— Война моторов! — гнул своё Петров.

— Я одному как вцепил — и винтовка надвое, тут он и лёг, второго кулаком зашиб, — не к месту бубнил своё захмелевший Богатырёв, и сам фигурой, двухметровым ростом, размахом плеч являя собой живой образ богатыря, только что без бороды...

— Это да, да, кому доводилось на гулянках махаться, тот и в рукопашной не сплочует, — подтверждал ещё кто-то.

— Вот и я говорю, — вставлял своё слово каптёр.

Кто первый предложил померяться силёнкой, потом и не вспомнили, а сам предложивший, конечно, не признался...

Начали на руках бороться.

Сперва Богатырёв легко трюх победил, впечатал их руки в столешню.

— Ну, давай! — не выдержал вдруг Василий Игнатьев. Он хоть и не такой крепкий с виду, как Богатырёв, а ростом немного ему уступал, да и жилистый, и сам за собой силёнку знал.

Установили правые локти на стол, пальцы большие в замок сцепили, левыми руками за край стола ухватились. Сашка Петров сверху их руки ладонью накрыл:

— Локти не отрывать! По моей команде начинаем... Начали, — и руку отдёнул.

Василий сразу понял, что зря он бороться вызвался. Хотя тягались правыми, но боль сразу отозвалась и в левой, холодный пот на лбу выступил. И всё же не дал Богатырёву смаху кисть переломить. На какое-то мгновение руки их застыли, они будто бы и не боролись, и только побелевшие пальцы и затвердевшие лица их выдавали крайнее напряжение. И первой дрогнула богатырская рука, качнулась вниз. Сразу же и выправилась. Но Игнатьев уже знал, что победит...

— Ну, это он устал уже! — утешая побеждённого Богатырёва, хлопая его по широкой спине, посмеивался Петров. — Давай-ка со мной!

Василий, только что одолевший Богатырёва, с усмешкой глянул на Сашку — хоть он и разведчик, хоть и крепкий парень, а мелковат по сравнению с ним-то, Василием Игнатьевым. И боль в левой руке уже не чувствовалась, и азарт победителя подзуживал.

— Ну, давай, давай...

Сцепились. И ведь каким-то вывертом мгновенным Петров кисть Василия переломил, за ней и вся рука к столу стала клониться. Но Игнатьев собрался, как рычагом потянул руку противника вверх, и уже прошли их будто спаявшиеся кисти верхнюю точку, и рука сержанта медленно клонилась к столу...

— Комендант идёт! — влетел в каптёрку дневальный — мальчишка лет восемнадцати с подвязанной правой рукой.

— Отбой, черти! — зло рявкнул "батя"-каптёр.

— Завтра продолжим, — шепнул, накрываясь одеялом, Петров.

— Запросто! — откликнулся Игнатьев.

Оба они, да и остальные посидельщики, лежали в кроватях, не скинув даже халатов, моля Бога, чтобы комендант госпиталя капитан Харитонов не пошёл с осмотром по палатам.

Голос докладывавшего дневального раздавался от входной двери. Батя, заперев дверь в каптёрку, убрал со стола остатки пиршества и закрутив керосинку, тише мыши сидел в своей кандейке...

— Это ерунда всё, борьба на руках, там... Конечно, ты бы победил. Но в схватке-то сила не главное. Вот смотри... Бей меня, — они были на травяной лужайке за госпиталем, тут же покуривали и другие выздоравливавшие. — Бей, не бойся! — Василий махнул правой рукой, которую тут же и перехватил Петров, резко дёрнул, подвернулся спиной под Василия, и тот, перелетев через Сашку, растянулся на траве во весь рост. Петров мгновенно придавил шею Игнатьева коленом и начал закручивать руку, заставляя Василия поворачиваться лицом к земле.

— Да легче ты! И без правой оставишь! — не сдерживаясь, закричал Василий.

— Ловко!.. Молодец!.. Покажи ещё! — их обступили все, видевшие эффектный приём.

Сашка стал показывать: просил ударить и прямо в лицо, и сбоку, и сверху, и ногой в живот, и захватить его руками сзади, и неизменно валил с ног противника, оказывался сверху, обозначал короткий удар кулаком или локтем, заламывал руки за спину.

— Это тебя в твоей разведке, что ли, научили?

— Нет. Некогда там уже учить... Я до войны в спортивной секции занимался — борьба вольного стиля. Тренер мой — Конопаткин, а он у самого Ощепкова занимался!

— Что ещё за Ощепков?..

— Он в самой Японии джиу-джитсу учился! — ответил Петров и добавил уже не слишком уверенно: — Его сам Ворошилов туда отправлял.

А вечером опять сидели в каптёрке, и Сашка, наигрывая несложный мотивчик на гитаре, пел, то и дело поглядывая наловатыми зенками на санитарку Машу. И она уже глаз с него не сводила...

*Дул холодный порывистый ветер,  
И во фляжке замёрзла вода,  
Эту встречу и тот зимний вечер  
Не забыть ни за что, никогда...*

Глаза Петрова подёрнулись влажной поволокой, будто и вправду вспоминал он какую-то встречу...

*Был я ранен, и капля за каплей  
Кровь горячая стыла в снегу.  
Немцы близко, но силы иссякли,  
И не страшен я больше врагу...*

Отчаяние от бессилия выражал сдержанный голос Сашки. Вообще он не просто пел, а изображал события в песне, как настоящий артист...

*Мне столетьем казалась минута...  
Шёл по-прежнему яростный бой.  
Медсестра, дорогая Анюта,  
Подползла, прошептала: “Живой!  
Оглянись, погляди на Анюту,  
Докажи, что ты парень — герой,  
Не сдавайся ты смертушке люттой,  
Посмеёмся над нею с тобой!”*

Медсестра Маша аж губку прикусила... А голос Сашки Петрова стал вдруг твёрдым, пружинистым:

*И ввалила на девичьи плечи...  
И во фляге согрелась вода...  
Эту встречу и тот зимний вечер  
Не забыть ни за что, никогда!..*

— Ну, молодец, Сашка!..

— Дай слова списать...

— Откуда такая песня?..

— Ещё давай!

Сашка скромно улыбнулся, даже что-то вроде поклона изобразил, одновременно и Маше подмигнув:

— Концерт окончен, товарищи бойцы! — картинно проговорил он.

Когда Петров вернулся в палату и лёг в свою кровать, Василий так и не заметил, уснул. А утром тот просыпаться не хотел долго, только перед обходом врача встал.

— Эх, хороша Маша! — блаженно потянулся Петров.  
— Да не наша! — добавил кто-то, видно, желая его поддеть.  
— Наша, ещё как наша, — спокойно ответил Петров.  
— Слушай, а где теперь твой тренер Конопаткин? — уже после завтрака спрашивал Петрова Василий Игнатьев, вспоминая вчерашнее показательное выступление разведчика.  
— Слышал, что погиб он в октябре сорок первого, под Москвой.  
— А Ощепкин этот?  
— Ощепков, — поправил Петров. Помолчал. И сказал, понизив голос:  
— Взяли его, в тридцать седьмом.  
Василий понимающе кивнул...

Через неделю приехал в госпиталь “покупатель”. Петров и Игнатьев напросились вместе в разведбат.

И уже вскоре оказались в подразделении пехотного полка на берегу реки Воронеж, другой берег которой занимали немецкие части.

### 3

...Немцев в посёлке не должно было быть. И всё же, въезжая по центральной улице на санях, запряженных лощёным жеребчиком, гордостью и любовью всего разведбата, четверо разведчиков во главе с лейтенантом Карелиным спешили, сдвинули предохранители автоматов ППШ. Василий Игнатьев, оставшийся в санях, сдерживал Красавчика, не давал разбежаться...

Из шоферов ему пришлось “переквалифицироваться в кучера”, как посмеивался Сашка Петров, да и остальные разведчики. А Василий не обижался и не жалел, что так вышло, умел он и с лошадьми обращаться...

Дома стояли пустые, с чёрными, мёртвыми проёмами окон. Не видно жителей. Не было даже и собак. Тишина страшная. Вышли по улице на площадь. Здесь стоял один каменный дом, вся площадь усеяна была какими-то бумагами, засыпана конскими катышами...

— А ведь, кажется, есть кто-то там, товарищ лейтенант, — подал голос Петров. Василий вожжи натянул, останавливая жеребца... Из окна каменного дома ударила пулёмтная очередь. И началось! Изо всех домов — обычных деревенских изб — ударили по ним из автоматов.

— Поворачивай! — кричал Карелин, влепяя очередь в окно дома. Остальные разведчики тоже, падая и перекатываясь, укрывшись кто за столбом, кто за сугробом, отвечали на вспышки из окон.

Василий, стараясь не перепутать вожжи, заворачивал жеребца. И только ждал — вот сейчас, вот эта моя. Но, как ни странно, ни одна пуля не задела ни его, ни жеребца. Что-то ударило в левую бровь, и теплая струйка потекла на глаз. Но Игнатьев сразу понял — не смертельно, развернул сани:

— Прыгайте!

Бойцы, продолжая отстреливаться, валились в сани.

— Ходу! — крикнул кто-то из них. И Василий уж погнало было Красавчика, но чуть оглянувшись, увидел правым глазом (в левом совсем стало темно), как кульком, лицом вперёд, выпал с задка саней лейтенант. За ним спрыгнул Сашка Петров, крикнул:

— Прикройте!

Василий снова стал сдерживать жеребца, но всё же тот ещё пробежал метров двадцать... Петров откинул пустой диск (вставлять новый было некогда), склонился над лейтенантом, ухватил за ворот шинели, потащил. Остальные разведчики не прекращали огонь, прикрывая товарищей. Василий увидел, как сбоку из какого-то двора набегает группа немцев, схватил лежащую на дне саней в соломе гранату, выдрал чеку, бросил. Красавчик шарахнулся, но Василий успел сдержать его, бросил вторую гранату. Лейтенанта втащили в сани, за ним рухнул на солому и Петров. И тут уж Василий дал жеребцу полную прыть...

Кровь на глазу смёрзлась, и казалось, что глаза нет. И страшно вдруг заболела правая нога, где-то внизу. Глянул туда Василий, а в запятке валенка черная дыра...

— Отгулял Сашка-то наш. Наповал, — глухо сказал солдат Миронов, перевернув так и лежавшего ничком Петрова.

— Жив он, не может быть, — бросив вожжи, рванулся к другу Василий. Петров был мёртв. Громко стонал лейтенант Карелин, раненный, кажется, в живот.

И над истерзанной войною землёй, над чёрным от копоти пожаров снегом, над уставшими и затвердевшими в своей усталости людьми вставало розовое, будто умытое, солнце...

...В левую бровь впилась щепка, выбитая пулей из саней. Глаз не задело — ничего опасного, только шрам на брови остался, а вот пятку на правой ноге вырвало напрочь.

— Всё, браток, теперь домой, отвоевался, без тебя фрица добивать будем, — говорил сосед по госпитальной койке.

А Василий молчал, он почти совсем не говорил все три месяца, что лежал в госпитале. Будто что-то заклинило в душе.

Потом был долгий медленный поезд, забитый ехавшими куда-то людьми: женщинами с детьми, комиссованными, как и он, военными... Состав подолгу стоял на больших станциях и крохотных полустанках, пропуская эшелоны с техникой и войсками. По вагону ходили патрули, и Василию Игнатьеву по несколько раз в день приходилось доставать свои документы из кармана гимнастёрки, протягивать со своей верхней полки, куда удалось с трудом забраться и откуда он почти не слезал... Один раз он дремал и очнулся от страшной боли в ноге, будто снова пуля ударила и раздробила пятку.

Солдат из патруля тряс его за ногу:

— Документы, военный!

— Да что ж ты... — не сдержался Василий, резко развернулся и готов был врезать этому патрульному (его и так уже раздражали эти многочисленные патрули — там, на передке, каждый человек на счету, а эти тут в тылу...).

— Спокойно, солдат, спокойно, — с ухмылкой на холёном лице, осадил его начальник патруля, лейтенант. — Документики.

И вот от этого “документики” стало Василию совсем противно, до тошноты. Но сдержал себя, снова полез под шинель, в карман гимнастёрки...

#### 4

Вокзал областного центра встретил Василия Игнатьева единой серо-зелёной толпой — солдаты в серых шинелях и выцветших гимнастёрках (был апрель и кто ещё одет был по-зимнему, а другие уже в летней форме), гражданские, женщины, подростки — тоже все в какой-то казавшейся одинаковой неяркой одежде...

И только когда шагнул со ступеньки вагона, огляделся — единая масса стала распадаться на отдельные фигуры и лица: опять патруль (прошли мимо, не глянув на него), женщина, менявшая варёную картошку из чугунка, завёрнутого в серый платок, на полбуханки солдатского хлеба. И солдат, что менялся с ней, нагловатый, с медалью “За отвагу” на груди, норовил прижаться к ней, приобнять... “Да убери пакши-то, лешой...” — не зло, по-деревенски говорила женщина... Паренёк в кепке и великоватом для него пи-джаме, скользнувший острым глазом по Игнатьеву и нырнувший зачем-то сразу под вагон... Безногий бородатый инвалид в зимней солдатской шапке без звёздочки и в обтрёпанной армейской телогрейке, на деревянной тележке ловко толкался дощечками с приделанными к ним рукоятками, катился вдоль перрона... “Табачок покупаем”, — прошёл совсем неприметный мужчина, и непонятно было, к кому он обращается, предлагает ли купить курево или сам покупает...

Прихрамывая, Василий вышел на привокзальную площадь.

Адрес он помнил, теперь вспоминал и дорогу к дому дяди Миши...

Тот, уехав в “год великого перелома” из Ивановки в город, сумел осесть в нём, работал сначала в частной сапожной мастерской выходца из Ивановки Алексея Семёновича Смирнова, потом мастерская стала государственной,

а Смирнов, по возрасту отойдя от дел, передал руководство производством Михаилу Игнатьеву... Две комнаты снимала их семья в доме того же самого Смирнова. Потом купили домик на окраине. Жена Михаила Игнатьева занималась хозяйством, сыновья бегали в школу. Дочь Александра, так и не дождавшись (а не долго и ждала!) своего деревенского жениха, вскоре вышла за секретаря парткома паровозоремонтного депо, где начинала работать простой уборщицей. Познакомились они в Доме культуры железнодорожников, и уже вскоре Александра жила у мужа в большой комнате в коммунальной квартире в центре города...

Василий бывал у них ещё до войны, когда ездил от колхоза “в область” принимать новую технику: трактор, конные косилки, плуги... Колхоз перед войной был богатым...

Думал невольно о судьбе дяди и его семьи — странные же были времена, в своей деревне были объявлены чуть ли не врагами народа, наверняка бы раскулачили и сослали их, а в городе — никаких претензий, поселились и жили...

От вокзала широкая улица Ленина вела в центр и дальше до противоположной окраины — это главная улица города, остальные улицы разбегаются от неё, рассыпаются переулками...

Василий отвёл кособокую калитку, вошёл во дворик. Дорожка из тёмных подгнивающих досок вела прямо к порогу невысокого домика, а на пороге сидел, сгорбившись и потому будто выставив вперед бурую лысину в обрамлении седых волосиков, прижатых ещё резинкой очков, дядя Миша. Он делал какую-то работу, как обычно, левой, неживой рукой лишь придерживая что-то... Ну, конечно же, подшивал какую-то маленькую, видимо, детскую, обувь и, продевая драпву в отверстие, наверняка слышал, что кто-то вошёл во двор, но не сразу поднял голову... Отложил сандальку, поднял лицо. Глаза за стеклами старых очков уже будто и не серые, а прозрачные... Василий, стараясь всё же меньше хромать, быстро подошёл к крыльцу, поднялся навстречу ему и отцов брат, опершись на перила. Обнялись.

— Здравствуй, божатка.

— Здорово, крестник, здорово... В отпуск или совсем?

— Теперь уж совсем, подчистую...

Сидели в небогатой небольшой комнатёнке, бутылка разведённого спирта (вёз Василий домой, да тут выставил) на столе, хлеб, кой-какая закуска, первые в этом году пёрышки лука.

— Скоро Санька должна придти, для внучки шлёпанец-то зашиваю... А так — один я, один...

— Муж-то у неё... — осторожно сказал Василий.

— На брони, на брони. А мои вот... — кивнул на фотокарточки сыновей на стене.

Василий знал, что оба они погибли. Жена из дома писала. Переписывался он только с Верой, с другой роднёй как-то не наладились письма...

— Помянем сынов моих! — сказал твёрдо Михаил Васильевич Игнатьев. Выпили, не чокаясь.

Помянули и жену дяди Миши, не пережившую похоронок...

Быстрые шаги на крыльце и в коридоре, скрип двери:

— Пап, привет! — деловито вошла Александра — совсем уже не похожая на Саньку городская дама. А всё же что-то девчоночье, лёгкое, что помнил в ней смутно Василий, осталось...

— Вася! — кинулась на шею ему, щекой к щеке прижалась.

— Здравствуй, Саша, здравствуй...

Не отказалась и стопку выпить.

— К нам-то пойдём, Вадим рад будет, да и девчонки дядю забыли совсем, — говорила Александра о муже и дочерях.

— Не знаю, надо как-то к дому ближе пробираться, — неуверенно отнекивался Василий, разомлевший от выпивки, внимания, тихого домашнего покоя. — К Вере, к Сашке моему хочется... Польку повидать... — заговорил о своих близких и Василий.

Александра вдруг губу закусил, на отца с вопросом в глазах глянула.

— Так Полина-то... — начала она и запнулась. — Ты не знаешь, что ли? Папа?.. — на отца опять глянула.

Тут только и узнал Василий, что сестра его Полина Семёновна Игнатьева уже около месяца назад погибла при сплаве леса...

С письмом нерадостным запоздали, не застало оно в госпитале Василия...

Никуда он в тот вечер, конечно, уже не пошёл, ночевал (в тяжкий хмельной сон провалился) у дяди Миши.

На следующий день с машиной до райцентра помог Вадим, муж Александры. От райцентра до Жукова тоже попутка нашлась. Дальше пешком по знакомой родной дороге топал солдат Василий Игнатьев до Воздвиженья.

Он ещё издали услышал реку, но не понял, что это её звук. Не шум воды, не плеск вёсел — глухие удары... Выйдя на берег, увидел забитую чешуйчатými еловыми да сосновыми брёвнами родную реку.

Таким вот бревном и ударило сзади, с берега, стоявшую с багром в руках у воды глухую Полину...

Родная Ивановка горбатилась избами. Знал Василий, что быть ему снова председателем колхоза, — в райкоме сказали.

— Я уже был председателем. Да и отец мой тоже...

— Некогда нам, товарищ Игнатьев, обиды вспоминать, а надо план по зерну и лесу выполнять. Принимайте колхоз, — жёстко сказал первый секретарь райкома.

## Глава десятая

### 1

Маринка и Мишка поднялись на утор. Полянка на вершине вся в траве и цветах. Мягкий скат к реке, тёмная бликующая вода, бескрестый купол над зелёными подушками крон кладбищенских деревьев и крыши на том берегу...

— Тихо, — Маринка прижала палец к губам, взяла Мишку за руку и подвела мимо берёзы с раздвоенным, в чёрных насечках стволом к краю поляны, в тень от огромной разлапистой сосны. Как в дом, вошли под её ветви.

Девочка подняла лицо вверх и указала рукой туда же:

— Смотри.

Мишка посмотрел. Большая круглоголовая птица с крючковатым клювом, с закрытыми глазами, сидела недвижимо, будто неживая. Мощные когти на мохнатых лапах обхватывали толстую ветвь сильно и надёжно...

— Филин.

— Да-а, — заворожённо выдохнул Мишка.

— Спит.

— Да-а...

— Побежали! — крикнула вдруг Маринка и, отпустив его руку, побежала через поляну вниз по склону. Косички её смешно торчали в стороны, пятнистое бело-зелёное платье сливалось с цветом травы и белых зонтиков каких-то цветов. Она бежала и уже будто летела под горку, и всё же запуталась в траве, упала и покатила. И Мишка за ней, за ней... И тоже упал, и покатился, и лёг рядом с ней, раскинув широко руки. Они лежали, и над ними были зелёные стебли травы, синее небо и белые пушистые облака...

Филин поднял голову, слепо раскрыл и сразу захлопнул круглые жёлтые глаза, чуть расправил и снова туго сложил крылья, переступил с лапы на лапу, щёлкнул клювом и затих, замер...

Маринка села, оправила платье, кивнула:

— А вон Марын камень. Он раньше на вершине этой горы стоял. Его там люди поставили. — И, помолчав, добавила: — Наверное, очень давно. Мне мама про этот камень рассказывала, а ей — бабушка...

— А зачем поставили? — спросил Мишка, он тоже сел, сорвал травинку и пощекотал шею девочки.

Она отмахнулась. Сказала строго:

— Не надо... Не знаю, зачем... Папа говорит, что, наверное, молились у него... Ещё раньше, когда церковей не было...

— А почему же он здесь теперь?

— Скинули. Пошли. — Маринка встала и пошла к воде, к огромному камню...

Мишка — за ней. С того берега от церкви по воде опять донёсся звук, который он уже знал.

— А там, — он махнул рукой, — человек, дядя Серёжа, церковь ремонтирует...

— Я знаю, он у нас был, да уплыл туда. Сказал, что там у него дело...

До камня было метра два по воде. Маринка, не снимая сандалий, только чуть подобрав подол платьишка, шагнула в воду. Мишка — за ней, тоже не сняв старенькие кроссовки и даже не закатав штанин. Он первым влез на камень, подал руку и помог забраться девочке.

Они легли на камень и смотрели вниз, и было видно, как шевелятся водоросли, и песчинки, и крохотные, будто стеклянные капельки, мальки... А потом сидели, смотрели на реку, на зелёные берега и молчали...

Мишка впервые за свою десятилетнюю жизнь почувствовал время, ход его: "...Вот сейчас я думаю это, прошла секунда, и та мысль стала уже прошлым, и это мгновение уже прошло, и это... А куда же оно уходит-то — время? И откуда оно..."

Может, и Маринка что-то такое же себе думала, потому что сказала вдруг:

— Представляешь, все умрут — папа, мама, я, все...

— Ну, это когда ещё будет...

— Это будет...

— Ну, будет, — согласился Мишка. — Ты боишься, что ли?..

— Нет. Это я так. Просто.

Они не заметили, как почернело облако. Брызнул дождик. А солнце продолжало светить. И они, съехав с камня, бежали по мелкоте у берега, брызгались и визжали. А потом радуга соединила цветным мостом берега...

...Сергей Куликов сидел под деревом, смотрел на детей. Дождик мягко шелестел в вершине, не долетая до земли...

Смотрел он на ребятшек, на радугу... И вспоминалось детство. Мама, папа. И золотой солнечный дождик...

## 2

Александр Васильевич всю жизнь изучал и преподавал историю. Много прочитал, написал тоже немало... А сейчас, сидя на старом крыльце родного дома, подумал, что вот на истории их деревни Ивановки можно проследить всё развитие человечества...

Весь этот жизненный уклад, эти избы, архитектура которых тоже имеет тысячелетнюю историю, а эти поля, сейчас заросшие лесом и кустами, — тысячи лет его, Александра Игнатьева, предки выращивали на них лён, ячмень, овёс... А церковь на том берегу, и связанное с ней имя Николая Краснобережского — яркий пример борьбы язычества и православия в этих местах. И хотя православие победило, храм-то — на том берегу, а камень, хоть и скинутый с вершины, — на этом... Да ведь в одно время и камень столкнули, и храм закрыли и разорили... Доводилось уже в восьмидесятых, когда стали открываться архивы КГБ, Александру Васильевичу читать рукописное житие Николая Краснобережского, написанное последним настоятелем Воздвиженского храма отцом Николаем... А опубликованный в краеведческом альманахе в семидесятые годы рукописный дневник Николая Зуева (Елизавета Алексеевна показывала и саму рукопись, хранившуюся в отделе редкой книги) он рекомендовал своим студентам в качестве пособия по сельскому дворянскому быту первой половины девятнадцатого века... Доводилось ему листать и страницы дела о "Поповском восстании", рассекреченного уже в девяностые... И письма его деда с Первой мировой и деду отсюда в армию...



Вспомнилось и знакомство с Елизаветой Алексеевной Зуевой. Он, тогда младший научный сотрудник, заинтересовался существовавшим до семнадцатого года и возобновлённым в двадцатые годы Обществом любителей истории и археологии. Узнал, что одним из основателей его был муж Елизаветы Алексеевны — Иван Алексеевич Сажин.

В то время она уже не работала, была на пенсии. В библиотеке ему подсказали номер её домашнего телефона. Немного волнуясь, Александр Игнатьев позвонил.

Женский голос, ответивший ему, был чистый и твёрдый, казалось, что совсем и не старый, но это была она, Елизавета Алексеевна. Путаясь, Игнатьев объяснил цель звонка.

Она не сразу ответила, Александр даже подумал, что прервалась связь:

— Алло, алло...

— Да-да, извините, я думаю... Хорошо, приходите...

И назвала время и очень неожиданное место встречи...

Было весеннее воскресное утро. Он шёл к старому, давно закрытому для захоронений кладбищу, вернее, к церкви, единственной действующей на весь город, вокруг которой кладбище и располагалось.

Церковь была на самой окраине, почти за городом, но общественный транспорт туда не ходил, так что путь был неблизкий. Впрочем, Игнатьев шёл с удовольствием. Дорога большей частью вилась вдоль реки, с которой прилетал свежий ветерок, пахло молодой зеленью, а впереди, будто к нему и шёл по этой дороге, вставало удивительно чистое, розовое, радостное солнце... Вон и железные кладбищенские ворота в кирпичной арке, за ними — старые большие деревья в молодой листве, покрывающие ветвями все могилы и здание церковки с распахнутой настежь дверью, из которой выходят навстречу ему старушки, все удивительно похожие друг на друга: в белых платочках, с узелками в руках... “Да ведь Пасха сегодня, Пасха!” — осенило Александра Игнатьева. И даже стыдно ему стало: пусть и не верующий, но ведь историк. А про такой день забыл! Сразу за воротами — нищий старик, никогда и не видывал он таких в городе: в каком-то облезлом, с надорванным под мышкой рукавом пальто, в опорках непонятных, волосики на голове жиденькие, бесцветные, а борода сивая, спутанная, глаза к земле опущены:

— Христос воскрес! Дай Бог здоровья... Христос воскрес! Дай Бог здоровья, — хриплым голосом твердит нищий. И в шапку, когда-то, кажется, меховую, опускают старушки — кто яичко крашеное, кто денежку... Игнатьев сунул руку в карман плаща, нашёл какую-то мелочь...

— Здравствуйте. Вы Александр Игнатьев? — услышал за спиной. Торопливо, не глядя, положил деньги в нищенскую шапку. Обернулся.

— Да, я...

— Христос воскрес! — сказала высокая стройная женщина в косынке, совсем не идущей ни к её моложавому лицу, ни к фигуре, ни к пальто — немодному, но очень опрятному...

— Воистину... — неуверенно ответил Игнатьев. И она улыбнулась, сказала:

— Пойдёмте... — и пошла не за ворота, а мимо церкви по дорожке вглубь кладбища.

В самый дальний конец его зашли. Было здесь не ухожено, кусты шиповника беспорядочно разрослись. Над холмиками, почти сравнявшимися с землёй, кособоко стояли, а то и лежали деревянные пирамидки с заржавленными овальными номерками на них.

— Здесь хоронили умерших в тюрьме... Ну и, видимо, расстрелянных. Где-то здесь и Иван Алексеевич... А вон там, — указала чуть в сторону, на такие же полустёршиеся с земли холмики, но ещё под крестами, — хоронили умерших от тифа в восемнадцатом. Где-то там его первая жена и сын...

“Зачем она привела меня сюда?.. Зачем?..”

— Простите, но я подумала, что вам как историку нужно это знать. Когда-нибудь всё это станет предметом изучения. Пойдёмте.

Проходя мимо церкви, она остановилась и перекрестилась, поклонилась низко. Неожиданно перекрестился и Александр Васильевич Игнатьев.

Так и познакомились. Потом уж довелось и дома у неё побывать. Увидел и дневник Николая Зуева, и газетные, ещё дореволюционные публикации Ивана Сажина, и альманахи, издававшиеся Обществом любителей истории и археологии...

И почему-то сейчас, спустя тридцать с лишним лет, здесь, в родной деревне, на крыльце родового дома всё это вспомнилось, всё соединилось...

Лёгкий дождик прошуршал по крыше над крыльцом, освежил зелень травы и листвы, солнце отражалось в каждой капле. И на душе старика стало удивительно легко, хорошо... Вдруг что-то стукнуло его в руку, будто камушек откуда-то прилетел. Это был крупный, чёрный с блестящим отливом жук, он почему-то опустился на кисть руки Александра Васильевича Игнатьева, сначала замер, а потом пополз, преодолевая бугорки вен... И этот неожиданный жук внёс сначала какую-то сумятицу в только что обрадованную душу, а затем и чёткое ощущение: всё, что буду писать, будет и моим покаянием... Александр Васильевич не знал — почему, но точно знал, что именно жук принёс ему такую мысль.

А жук вдруг раздвинул створки надкрылий, развернул радужные крылья и улетел.

От реки шли Мишка и Маринка — мokrёшеньки. А по дороге со стороны моста ехала так необычно выглядящая здесь ярко-красная иностранная машина...

### 3

Андрей Игнатьев не стал долго ждать, и уже на следующий день вся семья (жена его тоже захотела поехать) отправилась в путь к далёкому и таинственному Красному Берегу — неизвестной родине Олега Игнатьева, в деревню Ивановку.

Выехав рано утром, уже к полудню были в областном центре, где к ним присоединились Игорь Игнатьев с женой...

...Ещё вчера Галина, жена Игоря, зло говорила:

— Ну, и где они, что с ними, ты можешь мне ответить?..

— Да ничего с ними не случилось, чего ты... Ну, вне зоны действия сети они, и что? Раньше вообще мобильных не было, и как-то жили, — убеждал жену, да и самого себя Игорь.

— Старика с ребёнком отпустил, что угодно может случиться... Нет, я не могу так...

— Ну, не можешь, бери отгулы, и поехали, хоть завтра! — уже злился Игорь. Он и сам уже волновался. Не смог отказать отцу — отпустил Мишку с ним, а теперь и правда думал: не случилось бы чего... — Не такой уж там глухой угол, — уже спокойнее говорил он. — Там этот фермер, Моторин, живёт, у него машина.

— Да хоть добрались ли они... Ой, не могу я, дак... — переживала жена.

— Ну, дак, поехали, правда. И сами хоть отдохнём там. Ты уж сто лет в Ивановке не бывала.

— Поехали! — согласилась Галина и стала названивать начальнице — договариваться об отгулах.

Игорь тоже позвонил своему напарнику, предупредил, что не будет его три дня.

А работал он тренером по самбо...

...Конечно, хотел, чтобы Мишка занимался, таскал его на тренировки, но особого желания сына к этим занятиям не видел. И относился к этому спокойно: если не хочет — заставлять бесполезно, а когда сам захочет — и заставлять не надо будет. Какие ещё годы-то — десять лет, успеет всему научиться. Он и сам только в тринадцать лет начал заниматься самбо, но успел и “мастера” выполнить, и вот — тренером работает. А если так и не появится в сыне желания заниматься самбо или другим спортом (а и к дру-

гим видам спорта особой тяги в сыне пока не видел), так, может, и не надо ему это.

Игорь бы тоже никаким самбо не занялся (был почти равнодушен к спорту, а любил лет с семи больше всего читать и книги почти без разбора глотал, благо — библиотека и дома была большая, и в школьную ходил), если бы не один рассказ деда Василия...

Тот вообще-то не любил рассказывать про войну... В то лето, Игорь перешёл тогда в шестой класс, в Ивановке неожиданно появились мальчишки — двое братьев-близнецов, внуки бабки Могуничей. Приехали почему-то в первый и последний раз из Воркуты, где работал их отец, сын бабки...

В тот день захотелось Игорю не у речки погулять, а сходить в лес, за деревню, где, говорили, по крайкам стали появляться подосиновики.

Ивановка уходила от реки вглубь берега двумя улицами и ещё тянулась рядом домов и бань вдоль реки... По своей улице, зелёной, заросшей полностью кашкой (лишь тропка вдоль домов серая, но тоже кое-где в пятнах подорожника), и бежал Игорь к лесу.

В конце улицы, уже за деревней, был скотный двор, рядом с ним ископанный загон для коров и пруд, в который заходили коровы на водопой.

Стадо сейчас паслось на лугу у леса. Пастух Антон, средних лет мужик, в брезентовом плаще и кепке-шестиклинке (несмотря на теплую погоду), сонно сидел на вислопузой лошадке и время от времени щёлкал кнутом, лениво матеря уходившую в сторону корову...

На противоположном от скотного двора, более-менее чистом, не так густо заваленном коровьими лепёхами берегу пруда и сидели двое одинаково рыжеватых мальчишек.

Ещё вчера вечером Игорь слышал от бабушки, что к Могуниче приехали внуки, и даже мечтал, как познакомится с мальчиками, подружится. Он и пошёл сразу к ним...

Он понял, что они делали, — готовились закинуть в пруд корзину. Сверху корзина была затянута марлей, в середине марли — дыра, в корзине — хлеб. Караси, заплыв в корзину, уже не смогут выплыть — нехитрый способ, о котором рассказывал Игорю дед.

— Здорово, — первым сказал один из мальчишек.

— Привет...

Братья степенно, по очереди пожали ему руку, звали их Вовка и Сашка. При этом были они так похожи, что Игорь тут же и забыл, кто из них Вовка, а кто — Сашка...

— Если без нас корзину проверишь — получишь, — сказал вдруг с угрозой, кажется, Сашка, и сам себе кулак в скулу упёр.

— Ага, — подтвердил, кажется, Вовка и щёлкнул кулаком правой руки по раскрытой ладони левой.

— Я и не собирался, — удивился Игорь такому повороту.

— А хочешь, сейчас тебя побьём? — опять первый спросил.

— Нет. Вы чего?..

— Ну, и вали отсюда, чего встал! — крикнул второй.

Игорю стало обидно, он считал себя деревенским старожилом, а эти только приехали...

— Где хочу, там и буду стоять! Сами валите!

— Чего? — оба пошли на него.

А Игорь не побежал. Ему бы и хотелось сейчас убежать. Но не бежал...

И братья остановились. И один поднял ссохшийся ком земли и бросил.

Обида была сильнее боли. Игорь сам на них бросился. И они побежали от него. А потом вдруг резко оба остановились, схватили Игоря за руки и свалили на землю...

Тут и подъехал пастух Антон:

— Я вот кнутом-то вас!

Все трое бросились в деревню. Рыжие братья — к своему недалёкому дому, а Игорь — к своему, через всю деревню. Бежал и слёзы обиды сглатывал.

Бабушка полола в огороде гряды, дед что-то поколачивал в дровнике, где у него что-то наподобие мастерской было... Игорь ушёл на повесть. Там в рас-

писанном аляповатыми цветами сундуке лежали старые журналы, книги, пачки перевязанных бечёвками писем...

Вечером уж дед-то и сказал — сидели они на крыльце, пока бабушка собирала в избе ужин:

— Мне Антон-то, пастух, рассказал. Молодец, Игоряшка, не побежал от них... Дак они вдвоём тебя и свалили?

Игорь кивнул.

Дед покачал осуждающе головой. Тогда-то и рассказал он внуку о разведчике Петрове, удивительно ловко владевшем приёмами “борьбы вольного стиля”.

— Он и мне показывал, да у меня не очень получалось. Да и не до приёмов там было — так, баловались...

— Борьба вольного стиля? — переспросил Игорь.

— Да, так Сашка Петров называл.

— Может, вольная борьба? Я такую по телеку смотрел.

— Может, и вольная, — согласно кивнул дед.

...Осенью в городе Игорь попросил отца записать его в секцию вольной борьбы.

Пошли вместе в недавно построенный огромный спорткомплекс, где какими только видами спорта ни занимались. Нашлась и борьба. Только не вольная, а классическая.

— Вольной у нас в городе нет. Да вы давайте, к нам записывайтесь, — говорил тренер, оглядывая и Игоря, и его отца.

Александр Васильевич вопросительно глянул на сына, тот пожал плечами и всё же сказал: “А дедушка говорил — борьба вольного стиля”.

— Да что ты заладил — “вольного стиля”, “вольного стиля”, — взорвался вдруг отец, ему-то вообще вся эта затея не очень нравилась, только что не хотел обижать сына, да и отца...

— Подождите-подождите, — подал вдруг голос второй тренер, постарше возрастом, до этого равнодушно, казалось, сидевший за столом и что-то писавший в толстой тетради. — Вольного стиля, говорите. Так ведь так раньше самбо называли. Ага. Я сам этим вольным стилем занимался, и тогда тоже всё с вольной борьбой путали. Самбо-то — это уже в пятидесятые годы название придумали. К самбистам вам надо!

Первый тренер, кажется, осуждающе глянул на старика.

— Пусть идут к самбистам, Николаич, пусть идут, — ответил на этот взгляд старый тренер.

В этом же спорткомплексе и самбисты занимались. Попали как раз на тренировку. Игорь и сам не понимал — почему, но с первого же взгляда полюбил этот спорт.

Скоро он втянулся в тренировки. Появились и первые успехи на соревнованиях...

Очень хотелось ему, чтобы приехали на следующее лето воркутинские братья. Но почему-то больше они не приехали — ни на следующее, ни позже, никогда...

А теперь тренер Игорь Александрович Игнатьев всё чаще задавал себе вопрос: а что такое спорт, нужны ли им такие уж серьёзные занятия? Для здоровья полезнее физкультура. А что спорт характер воспитывает — это точно. Но он может развить не только лучшие, но и худшие черты характера — самонадеянность, культ грубой силы. Разве нет? Да и та система спорта, которая складывалась в последние годы, всё больше не нравилась ему. Хотя занятия в детско-юношеской спортивной школе ещё были бесплатными для ребят, но уже приходилось им самим (родителям, конечно) и форму покупать и, зачастую, поездки на соревнования оплачивать. И уже не редкостью были случаи, когда ребята из небогатых семей, даже и очень способные, прекращали занятия именно по этой причине. И это совсем не устраивало его, Игоря Игнатьева...

Более того, Игорь понял, что его всё больше не устраивает сам образ жизни в городе, хотя и был он абсолютно городским человеком.

Разве это нормальная жизнь — в бетонной клетке, где за стенкой — та-

кая же клетка? И раздражает то громкая музыка из-за стены справа, то стоны больного старика слева... И он уверен, что так же раздражает кого-то не тихая жизнь его семьи. Заставленный машинами двор. Вечно вывороченное нутро помойки у забора, пыль и грязь летом. Слякоть и снежно-водяная мешанина — осенью, зимой и весной... Транспорт, машины, которые, кажется, уже гораздо важнее, главное не то что пешеходов, а даже тех людей, что управляют ими... Эта постоянная скученность, эта невозможность полной тишины, натуральной, без электроподсветки ночной темноты, мёртвая вода из водопровода... Эта невозможность побыть одному, а человеку иногда нужно побыть одному в своём доме... Невозможность даже в этой тесноте рожать детей...

Если бы он мог выбирать — вот такая жизнь в городе или жизнь в деревенской избе, пусть и без городских удобств... Да только здоровье сына, а чистый деревенский воздух и чистая вода — это главное для здоровья, был уверен Игнатев, только один этот аргумент перевешивает все остальные...

Бросить бы всё, да и уехать жить в деревню. В Ивановку, на Красный Берег.

А что нужно, чтобы жить там? Возможность заработать на пропитание и возможность учиться для сына... Кажется — не так много, а непреодолимо. А давно ли в Воздвиженьи школа была, ещё его отец там учился. И ведь выучился — профессором стал. Ну, вот появилась возможность работать у фермера, можно бы и другую работу придумать. А там, глядишь, и школа бы появилась, если бы люди-то жили...

Вот такие мысли-мечты всё чаще посещали Игоря Александровича Игнатёва.

И вдруг позвонил Андрей. Сказал, что завтра к обеду с женой планируют быть у них в городе.

— Вы-то не хотите в Ивановку съездить? — спросил Андрей.

— Хотим, — ответил Игорь и улыбнулся.

...И вот — едут. Игорь — на переднем сиденье рядом с Андреем, женщины и Колька — сзади. Жёны их сразу общий язык нашли — всю дорогу болтали. Колька за долгую дорогу от Москвы уже умаялся, часто просил у матери пить, открыть форточку, ещё чего-то, а потом задремал.

Андрей и Игорь молчали. Но молчание их не было тяжёлым. Кажется, впервые со времён детства делали согласное дело — совсем не такая нынче поездка получалась, как тот давний совместный поход в Ивановку...

#### 4

...И стало в тот вечер в Ивановке неожиданно многолюдно и шумно.

Вынесли на улицу стол, выставили снедь и питьё. Александр Васильевич Игнатёв, его сын Игорь, жена его Галина, Андрей Игнатёв, его жена, Николай Моторин и его жена Ольга, работавшие у Моторина семейная пара из Заозёрной — Иван и Ирина Коншины, тракторист из Жукова Семён Кукушкин, Володя Сапогов — мастер на все руки (бывший житель Воздвиженья, а потом Жукова, а теперь — постоянный житель Ивановки — он занял пустующий домик неподалёку от моторинской фермы), молчаливый таджик Саша (его настоящего имени никто, кажется, и не знал — сложно выговаривать, да он и сам себя Сашей называл), поработавший какое-то время в колхозе в Жукове и тоже почему-то перебравшийся к Моторину... Да ещё ребяташки: Мишка, Маринка, Колька...

— Вот, думалось — всё, умерла Ивановка, захирел Красный Берег. Ан, нет — вот нас сколько тут. И все мы здесь не чужие... — говорил Александр Васильевич. — Я уж большую часть жизни в городе прожил, думалось по молодости — всё, распрощался навек с деревней. Стеснялся, бывало, и сказать, что я деревенский, а чем старше, тем больше сюда тянуло. И притянуло. Родина... Земля моя... Я вот подумаю, да и поселюсь тут. Мне уже не надо ни газа, ни ванны, а вот эту реку и это поле надо... — Он вроде бы ещё и не выпивал, но был будто бы не совсем трезвым, и Игорь с опаской посматривал на отца — больно уж разволновался...

— Так и давайте за нашу родину, за Ивановку! — не вытерпел, видно, долгой и сбивчивой речи Моторин и поднялся с полной рюмкой. Жена толкнула его ногой под столон, но тоже поднялась следом, и все встали, чокнулись рюмками. Даже таджик Саша.

Неожиданно разговорилась жена Андрея:

— Я такой красоты нигде не видела! Это же чудо! Андрей, а дом твоего деда не сохранился?

— Нет, я же говорил...

— Ну, давай купим какой-нибудь, будем приезжать, это же чудо...

— Берите любой, да и живите, у большинства домов никаких уж хозяев, поди-ка, нет, — откликнулся Моторин.

— Вы к нам в Заозёрье приезжайте, вот там можно отдохнуть — тишина, покой, а то здесь-то скоро, как в Москве, не протолкнуться будет, — то ли серьёзно, то ли в шутку сказал Иван Коншин...

Ольга Моторина затянула вдруг “Окрасился месяц багрянцем”, и муж подхватил, а все остальные подтянули, даже, кажется, и таджик что-то подпевал...

Дети тоже будто опьянели от свободы и свежего воздуха — носились и валялись по лужайке.

— Пострелята, давайте-ка дровишки на костёр собирайте, — скомандовал Моторин, и дети с радостью бросились собирать старые доски, палки, полусгнившие колья павших заборов — этого мусора крутом было много...

Зажгли костёр, и сразу ночь потеснила долгий вечер. И небесные звёзды сливались с искрами костра.

Мишка Игнатьев, разомлевший от непонятного счастья, подошёл к отцу и матери, сказал с затаённой надеждой в голосе:

— А я всегда тут хочу жить...

— Да я бы, может, тоже хотел, — откликнулся отец.

— Для начала отпуск здесь поживём, — подвела итог их мечтаниям Мишкина мама.

Александр Васильевич вдруг погрустнел. Моторин заметил это:

— Ты чего, Василич?

— Отца-то увёз я отсюда, каково ему было в городе-то помирать...

— Ну, ты это... Не надо... Давай-ка ещё по грамульке...

Неожиданно общее внимание привлёк Володя Сапогов, до этого больше молчавший:

— Я думаю, чего... Это, Николай Петрович, — Моторину кивнул... — Это... Александр Василич... — на Игнатьева взглянул... — Это... думаю... Пока много-то нас — давайте камень на место поставим, Марьин-то... А чего — Красный Берег, дак... Пусть всё, как было... Старики-то рассказывали, это...

— Точно! — первым поддержал его почему-то Андрей Игнатьев. — Господин фермер, придётся вашей техникой воспользоваться. Но я готов возместить — горючку там, амортизацию...

— Да ты чего, обидеть хочешь... — махнул на Андрея Моторин и поднялся, возвысил голос. — Решено — завтра ставим Марьин камень на место. Святу месту пусту не бывать...

И конечно, в ночи и в гвалте общего разговора никто не видел и не слышал, как плыла от Воздвиженского к Красному Берегу лодка...

— Здравствуйте всем! — громко поздоровался Сергей Куликов, неожиданно вышагнувший из темноты в свет костра.

— О! Сосед, садись, молодец, что пришёл. Налить ему!..

— Я, извините, сразу о деле скажу, а потом уж...

— Какие сейчас дела, ты что...

Но Куликов твёрдо повторил:

— Дело у меня, мужики... И женщины тоже, — добавил он, смутившись. — Я в храме-то, под досками, крест нашёл. Старый, надкупольный. Целый абсолютно. Чугунный. Я покрасил его золотянкой... Да это ладно... Купол-то целый почти, там сбоку только прореха, я забирался, приготовил всё... Надо бы крест-то поднять, — окрепшим голосом сказал. — А то живём без креста. Давайте все вместе, земляки... — обвёл стол взглядом.

— Мы хотели завтра камень... — начал кто-то.  
Но встал Александр Васильевич, сказал твёрдо:  
— Камень — это память, крест — это жизнь. Завтра будем ставить крест.

### Приближение (вместо окончания)

...Во тьме, в бесчувствии, в небытии — толчок. И сладкая боль из точки, из самого центра этого толчка. Неосознанно разгибается нога — какая томительная, сладкая боль... Пелена сходит с глаз, и он уже видит, чувствует тьму, в которой находится. Он делает первый шаг. Он скрипит всеми сочленениями... И — свет впереди, и живой воздух волнами наплывает... Золотисто-зелёное, изумрудно-сверкающее впереди... Превозмогая боль, медленно, скрипя — вперёд к свету...

...Василий Семёнович Игнатъев, с трудом переставляя ноги, опираясь о стену, прошаркал по больничному коридору к двери. С трудом, навалившись всем телом, открыл. С крыльца помог ему спуститься какой-то мужчина... Сел на ближнюю пустую скамейку...

...Он озяб от воздуха, от света. Прикрыл глаза и какое-то время не двигался, вбирал в себя солнечное тепло, запахи, забытые звуки жизни...

А ведь не верилось, что доживёт до весны. Дожил.

Был он когда-то сильным мужиком, а сейчас — кожа да кости. Он сидит на скамейке, склонившись, упёршись руками в колени. Синие, застиранные штаны коротки, и видны бледные, сухие, как палки, ноги. Кисти рук опутаны бледно-голубыми вздутиями вен. На левой руке — плохо различимая старая наколка.

Открыв глаза, он увидел между тоненьких, едва проклонувшихся травинок жука. Он был толстый, усатый, чёрный с отблеском.

Подобие улыбки скользнуло по губам.

— Ну, здравствуй...

...Жук почувствовал какую-то внешнюю, неодолимую, высшую силу, оторвавшую его от земли и опустившую на что-то шершавое, тёплое, в золотистых травинках или усиках. Он сделал несколько шагов, прощупывая путь перед собой чёрными усами, преодолел синее вздутие и застыл, чувствуя тепло — сверху, от солнца, и снизу, от того, на что опустила его та неведомая сила; и это тепло было частью той неведомой силы... И ещё он почувствовал, сперва самыми кончиками всех своих ножек, а потом всем своим существом, толчки — тук-тук-тук... И жук будто попал в поле этого движения-звука, сам стал частью этой пульсации, слился с нею...

...Жук шевельнул усиками, он чувствовал, как что-то наполняет его, будто часть той высшей силы переливалась в него... Он сделал несколько шагов и вновь замер, вновь попал в этот ритм — тук-тук-тук...

Жук шевельнул руку, и Василий Семёнович снова взглянул на него. И вспомнилось...

Было ему девять... нет, десять лет. Всю зиму он тяжело болел. Однажды сквозь бред услышал, как мама за тонкой дощатой перегородкой спросила у доктора (потом уже думал — откуда же взялся в их деревне доктор?... из города с какой-то оказией приехал?): “Что ему можно давать?” — “Что попросит, то и давайте”. Позже понял он, что это был приговор. И он попросил тогда почему-то козьего молока (хотя у них была корова), и мама купила, принесла от соседей. С тех пор ни разу он не пил такого вкусного молока... А тогда пошёл на поправку. И настал день, когда он вышел на крыльцо. Старшая сестра Полина и мать, наверно, работали в поле. А он будто заново узнавал мир. И мир этот радостно — солнышком, первой травой, клейкими листиками, тёплым ветерком — встречал его. Он спустился с крыльца на землю, сел на скамейку. И увидел жука. И жук тот поразил его. В нём, в жуке, будто собралась тогда вся одновременно и сложная, и простая тайна мира, жизни... Лапки, усики, начинавшие медленно, с ви-

димым усилием, раздвигаться чёрные с отливом надкрылья... Он взял жука на ладонь, тот сперва замер, потом прополз немного. И вдруг с треском развернулись чёрные створки, радужно сверкнули прозрачные крылья, и жук взлетел... И тогда он, Васятка Игнатьев, узнал, что жизнь его будет долгой и интересной, он будет хорошо учиться в церковной школе, потом, может, в уездном училище, станет учёным, в городе будет жить... И ведь забыл потом всё... Ну, не он, так сын его в городе живёт, вот и его всё же в город привёз... Хотя лучше бы уж дома... Там...

Вспомнилось, как пришёл после второго ранения домой. Сразу и председателем поставили. Как же стыдно-то было, что вот он вернулся, пришёл к жене и ребёнку... Потому что из всей Ивановки ушли сорок человек, а вернулись трое...

И дальше — жизнь, работа, работа, работа... А для чего? Если день за днём видел, как умирает родная деревня, будто неодолимый рок сбывается... А он всё жил... Вот и до этой весны дожил, солнышко видит, траву, скоро, поди-ка, сын Александр проведать придёт. Может, и внук Игорь...

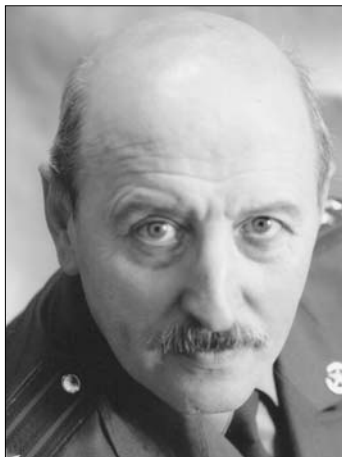
...Жук почувствовал, как то, что копилось в нём, сжалось в точку и вырвалось наружу — распахнулись надкрылья, расправились лёгкие крылышки...

Жук летел прямо на солнце. И стал он чёрной точкой, а потом исчез совсем. Улетел в свою жизнь, чтобы исполнить то, для чего и явлен в сей мир.

...”Так для чего же я-то жил?! Ведь всё уже, всё уже...” И увидел перед собой разлившуюся в весеннем половодье родную реку...



ЕВГЕНИЙ АРТЮХОВ



## БЕСЧИСЛЕННЫХ ЗАВЕТОВ НЕОБРАТИМЫЙ СЛЕД

\* \* \*

Товарищ мой идёт походкой деревянной,  
цветёт на голове заношенный берет.  
Он — ветеран войны,  
войны довольно странной:  
что на слуху у всех,  
а будто бы и нет.

Я знаю наизусть рассказ его печальный:  
как разметал фугас у Грозного “КамАЗ”;  
как рот он затыкал подушкой госпитальной,  
чтоб не пугать сестёр, почуяв судный час;

как складывал хирург его по сантиметру,  
выплёвывала сталь израненная плоть,  
был подвигу сродни любой поход до ветру...  
супец не расплескать... стакан не расколоть...

Пусть многословен он, я наберусь терпенья,  
уж коль своих сынов не слушает страна.

---

*АРТЮХОВ Евгений Анатольевич родился в подмосковном городе Реутово. Окончил Саратовское высшее военное командное училище и Литературный институт им. А. М. Горького. Член Союза писателей России. В “Нашем современнике” печатается с 1994 года. Автор нескольких стихотворных книг.*

До них ли ей, когда в “болотных испареньях”  
почти что не видна чеченская война.

А он её простил за нрав непостоянный,  
простил бы и за кровь таких же простофиль,  
да только что ни ночь киномеханик пьяный  
гоняет вместо сна один и тот же фильм.

В нём дом родной зажат Кавказскими хребтами,  
и дымом и огнём накрыты блок-посты...  
Он памятью своей всю ночь бредёт с цветами,  
а там, куда ни глянь, — кресты, кресты, кресты.

## МУЗЫКА

У изразцовой печки  
досталинских времён  
я кашу ел из сечки  
и слушал патефон.

Пластиночка кружится,  
иглочка скребёт.  
Русланова-певица  
про валенки поёт.

У тётки на Покровке  
жизнь трудная тиха.  
В двенадцатиметровке  
акустика плоха.

Сам Николай-угодник  
хранит покой и сон,  
пока на подоконник  
не встанет патефон.

А я точил иголки,  
накручивал завод,  
и тишины осколки  
царапали мне рот.

— Ты пой, а не рисуйся!  
— Ты с песней не шути!  
— С пластинкой не балуйся!  
— Пружину не скрути!

Прощай, Страна Советов  
и музыка тех лет,  
бесчисленных заветов  
необратимый след.

Пластиночка, бороздки  
не толще волоска.  
Шульженко отголоски,  
Утёсова тоска...

## ВЕРА

Когда в крошечной тьме запутана дорога,  
немотствует простор — зови иль не зови,  
отчаянье гони, и ты услышишь Бога  
и разглядишь огонь негаснущей любви.

Житейские моря не станут по колено,  
не сгладятся углы, не сдуются ветра,  
но женщину свою узнаешь непременно,  
что ближе и родней родимого ребра.

Не каждый в этот мир является в сорочке,  
читает, что ему назначено судьбой.  
Но если ночь тепла в глазах у старшей дочери,  
у младшей вспыхнет свет  
рассветно-голубой.

И ты увидишь мир, увы, не на параде,  
и будет ни строки в нём изменить нельзя.  
Но хлеба даст тебе, твои вихры пригладит  
знакомая ладонь  
с отметиной гвоздя.

## ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

Всего и минуло лет сорок,  
как он покинул белый свет, —  
эпохи сталинской осколок,  
советской выучки поэт.

Я не знал его живого,  
но ясно вижу из стиха,  
что крепок был, как крепко слово,  
и плотно сложен, как строка.

Продукт рабочего закваса,  
всю жизнь свою считал за честь  
служить трудящемуся классу  
и за него из кожи лезть.

Он строго следовал завету  
быть злободневнее других,  
и возглавлял в Москве поэтов  
по праву лучшего из них.

А пролетарские скрижали  
горячей веры и письма  
ни разу не поколебали  
ни плен, ни лагерь, ни тюрьма...

“Он позабыт”, — сказать не смею.  
Сказать: “Он с нами”, — тоже ложь.  
С рабочей правдою своею  
сейчас не больно проживёшь.

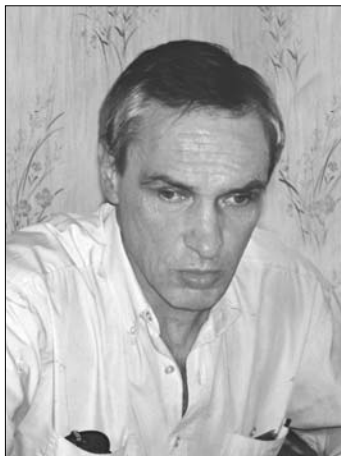
И лишь в гитарных переборах  
ещё мне слышится подчас,

что не больничным коридором  
он удаляется от нас.

Что Млечного Пути раздолье  
расцвечивает, как всегда,  
поставленная в изголовье  
его кремлёвская звезда.

И что забвения не будет:  
талант проглянет всё равно,  
ведь распахнут когда-то люди  
туманом скрытое окно.

ЛЕВ КОТЮКОВ



## Я СПАС СВОЮ ДУШУ...

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

*...И во время вечера, когда диавол  
уже вложил в сердце Иуде Симонову  
Искариоту предать Его, Иисус, зная,  
что Отец всё отдал в руки Его,  
и что он от Бога исшёл и к Богу  
отходит, встал с вечера, снял с Себя  
верхнюю одежду и, взяв полотенце,  
препоясался. Потом влил воды в  
умывальницу и начал умывать  
ноги ученикам и отирать полотен-  
цем, которым был препоясан.*

*Евангелие от Иоанна*

Все сошлись навсегда в тесной горнице,  
И себя до конца обрели...  
И преданье Святое исполнилось  
На окраине вечной Земли.

И пред страшной, назначенной расстанью  
Божий Сын наши души простил.  
И омыл ноги первых апостолов,  
И предателю ноги омыл.

---

*КОТЮКОВ Лев Константинович родился в 1947 году в г. Орле. Окончил Литературный институт им. Горького. Автор более тридцати книг стихотворений и прозы, лауреат многих литературных премий. Живёт в Подмоскowie.*

И молчали пределы Небесные,  
И таилась Луна в облаках...  
Но Земля содрогнулась пред бездною,  
И вскипела вода в родниках.

Никого, никого в тёмной горнице,  
Все себя до конца обрели...  
Всё свершилось, но всё не исполнилось, —  
И доносится хрип из петли...

## ПОСЛЕ ВОЙНЫ НЕБЕСНОЙ

*...Горе живущим на земле и на море!  
Потому что к вам сошёл диавол  
в сильной ярости, зная,  
что немного ему остаётся времени.  
Откровение Иоанна Богослова*

Наступает пора отмщения, —  
Всяк себя проклянёт, прозрев...  
Ни прощения, ни спасения, —  
Только ярость и Божий гнев.

И ни убыли, и ни прибыли  
На последней дороге в ад,  
И во времени царь погибели  
Покорит стоэтажный град.

И воздастся всем полной мерою,  
В звёздных топках сгинут миры,  
И вовек не открыть Америку —  
В тусклой бездне чёрной дыры...

## НЕ КО ВРЕМЕНИ

...О, как же я был несвободен!  
Как гений, поверивший в зло...  
Но годы былые сегодня  
Во сне вспоминаю светло.

И вроде остался со всеми,  
И вроде не всех позабыл...  
Но умерло место и время,  
Где я не ко времени был.

Порой наяву вспоминаю  
Себя на ином берегу,  
И что-то ещё понимаю,  
И что-то понять не могу.

Но вроде бы жизнь не пропала,  
И в Лету летят якоря,  
И время меня отторгало —  
Уверен, — в те годы не зря.

Я спас свою душу в безвестье —  
Пред бездною небытия.

Но умерло время и место,  
Где был не ко времени я.

В глуши одиноких растений  
Ловлю, словно тень, красоту,  
И годы летят, словно тени,  
И хлеб, словно пепел, во рту...

### СТАРСТЬ

Вновь больная усталость,  
Будто в лоб кирпичом...  
Но угрюмую старость  
Оттираю плечом.

Над бездонным оврагом,  
На обвальном краю,  
Оттираю с напрягом  
Злую старость свою.

А до гибели малость —  
Ну, один только шаг!  
И вот-вот моя старость  
Рухнет в чёрный овраг.

И с угрюмой ухмылкой,  
На обвальном краю,  
Я хватаю за шкирку  
Суку-старость свою.

И со мной моя старость!  
И, под стать молодым,  
Мы стоим, обнимаясь,  
Над провалом земным.

И пока мы живые —  
Мы близки, как никто.  
И стоим, как родные,  
Над провалом в ничто.

### НА ЗАКАТЕ ЕВРОПЫ

Холода. Города иностранные.  
Поезда. Разговоры пространные.  
Европейские бледные дни.  
Ни безумного, розного прошлого,  
Ни закатного зарева грозного, —  
В небесах неземные огни.

Эти дни вспоминать нынче некому —  
За лесами, холмами, за реками...  
Я и сам забываю себя...  
И всё еду дорогой отвратною  
В край, где солнце встаёт незакатное,  
Где никто никому — не судья...

Где не знает никто чужеродное,  
Где в любви моя воля свободная,

Где из тьмы не рождается тьма.  
Где никто о Европе не ведаёт,  
Где царит Божье Солнце победное,  
Где от смерти не сходят с ума!..

### ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА

Как из тьмы небытия  
Слышу голос страсти полный.  
Это Таня — жизнь моя,  
Жаль, фамилию не помню.  
Билось сердце горячо  
И не ведало обмана...  
“Это Таня — та ещё —  
Земляничная поляна...” —  
Говорил во тьме себе,  
Подбираясь жарко к Тане,  
А теперь в моей судьбе  
Эта Таня — как в тумане...  
Только образ неземной,  
Порождённый вечной тьмою,  
Что когда-то грезил мной  
Земляничною порою.  
Таня! Где твоя душа?  
Не спеши обжечь ответом.  
Ты прости, что жизнь прошла, —  
Я один виновен в этом...  
Ты во мне и не во мне...  
И саднит в душе, как рана,  
Позабитая во тьме  
Земляничная поляна.

### ПАМЯТИ МЕЧТАТЕЛЯ

Всё мечтал об избёнке уютной,  
Всё мечтал о цветах под окном...  
Но убит был бабёнкой распутной,  
И давно уже в мире ином.

Кто ты нынче, поэт и бродяга?!  
И шепчу, как в несбыточном сне:  
“Не купить мне избу над оврагом,  
И цветы не выращивать мне...”

### РАЗВАЛ

Жили-были, жили-были,  
И светло хотели жить...  
Но по дури развалили  
Всё, что можно развалить.

Даже то, что невозможно,  
Развалили, как сарай,  
С философией безбожной  
Обрести пытаюсь рай.



Возжелали воли свинской,  
Сокрушили всё подряд...  
Но по воле сатанинской  
Обрели досрочно ад.

И без смысла, и без цели,  
Как обвал, за годом — год.  
И в безоблачном приделе  
Никого Господь не ждёт.

Не воскреснет нынче Сталин,  
И таланты не нужны,  
И сию среди развалин,  
Как развалина страны...

### ПОЭТУ

Дай руку, мой собрат!  
И бездне не внимай...  
Легка дорога в ад,  
Трудна дорога в рай.

Пусть злобой дышит новь,  
Пусть бьются зеркала,  
Пусть бесится любовь,  
Исполненная зла.

Пусть всё предрешено  
От века на Земле,  
Но Богом не дано  
Любовью жить во зле.

Мы по дороге в ад  
Идём дорогой в рай...  
Дай руку, мой собрат!  
И бездне не внимай...

АЛЕКСАНДР МАЛИНОВСКИЙ



ГОЛУБЕНЬКИЙ ПЛАТОЧЕК

РАССКАЗ

...Как я с будущим моим мужем познакомилась? Обыкновенно. Это была моя первая посевная после окончания техникума. Жила я тогда в Усманке у бабы Зои. Вдвоём квартировали с девчонкой-зоотехником. Ещё моложе меня была, Варей звали. Баба Зоя так хорошо нас кормила! И приглядывала за нами, как за своими дочками.

Послали сына нашей хозяйки сеять пшеницу. Он трактористом был, Лёшей звать, год как из армии пришёл. Жил он с матерью в другой половине избы-пятистенки. Думаю: дай-ка проверю, как у них там в поле дела. Самой всё хотелось видеть, знать, потрогать... Я ведь агроном — первая в ответе.

Пришла на место-то, а они и не начинали сеять. Лёша — никакой, спит пьяный на мешках с семенами. Трактор по одну сторону дороги, сеялки — по другую. Две сеяльщицы истомились ждать, когда он проснётся. Не знаю, что делать. Ах, батюшки ты мои!.. За день надо засеять четырнадцать гектаров по норме. А тут клин в девятнадцать гектаров. И уже вторая половина дня! Попыталась разбудить Лёшу. Куда там...

— Что с ним случилось? — спрашиваю. — Вроде парень-то ничего...

— Девчонка его, Зинка, — говорят, — связалась тут с одним приезжим, он узнал вот только сегодня...

Ситуация!..

Мы в техникуме трактор немножко изучали, даже катались чуток. Взяла и завела. Не с первого раза. Я — в кабинку, бабы по моей команде — к сеялкам.

---

*МАЛИНОВСКИЙ Александр Станиславович родился в 1944 году в селе Утёвка Нефтегорского района Самарской области. Окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности инженер химик-технолог. Прошёл путь от простого рабочего до генерального директора крупных нефтехимических заводов. Доктор технических наук. Заслуженный изобретатель России. Автор десяти книг прозы и пяти поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живёт в Самаре.*

Засеяли мы за ночь девятнадцать гектаров! Я всё старалась в конце загона на поворотах поаккуратнее, чтоб огрехов не было, ровненько чтоб... И чтобы трактор, миленький, не заглох. Радость-то какая! Сама! Лёша только под утро проснулся. Извиняться начал.

А я каждое утро потом на этот клин у дороги бегала: взойдёт пшеничка или нет?.. На седьмой день всходы появились! И огрехов особых нет. Чудо! Сеяла-то впервые, да ночью ещё.

А про Лёшину пьянку никому не сказала. А то бы его выгнали с работы, и он ещё сильнее бы запил... А тут премию объявили в колхозе за самые хорошие посевы. Лёше дали первую. Он купил и подарил мне платок. Хороший такой, голубенький! Так мне нравился голубой цвет... И молодая, и всё моё ещё впереди!..

В сентябре сыграли мы свадьбу, стали с Лёшей мужем и женой.

\* \* \*

Мама моя против была, чтоб я за Лёшу замуж выходила. Тракторист всего-то!

Говорила: “Посмотри на Андрея! С высшим образованием, агроном! И умница!”

Заслал он сватов, а я — ни в какую... Упёрлась!

Мать корила: “Смотри, девка, против судьбы идёшь! Что с того, что твой Алёшка и высок, и голубоглаз? С лица воду не пить!”

Прошло уж столько лет!..

Мой Лёша как трактористом был, так им и остался. А Андрей стал мэром города, а потом и главой всего нашего района. Он у нас наполовину сельский, район-то. Когда колхозы развалились, Лёшке моему пахать нечего стало, слесарем в ЖКХ устроился. Потом попивать начал... Пошло сокращение...

Тут уж мама моя есть меня начала:

— Говорила тебе! Теперь вот близок локоток, да не укусишь! Недосыгаемая вершина, — это она про Андрея. — А твой-то — даже в слесарях не удержался!

А мне беспокойно как-то стало, не по себе. Уж больно богатеть быстро стали некоторые. И Андрей богатеньким стал, тоже так быстренько. Мой Лёшка-то попивает, вроде как ущербный какой... То почести, уважение — лучший механизатор района, а то — никто?..

А тут сначала старшего сына мэра нашего убили, он весь в бизнесе был. И маслобойка у него, и пекарня, и землю всю по паям скупил. Стал зерновые сеять. Но это ладно: на этой, его теперь, земле были когда-то нефтяниками закрыты буровые. А когда открыли их заново и принялись нефть качать, начали платить аренду ему за землю. Деньги задарма потекли вместе с нефтью... Много чего этот вёрткий его сын крутил. Докрутился вот...

А потом и самого Андрея, главу нашего района, посадили. Вот тебе и судьба!

Все злорадствовали по поводу Андрея. А мне жалко его было. Тужила и о Лёшке, и об Андрее. Ведь оба они — какие были, а? — неспорченные... Один красавец, другой умница. Комсомольским секретарём был. Родители его — чтоб чужое взять? Да никогда! А вот что получилось...

Думаю я: вышла бы за Андрея, может, у всех судьба была бы другая?.. И у Лёшки... Он знал, что Андрей сватал меня. Видел, как он вырос до начальника всего района. Переживал молча...

Нет на мне вины, а всё равно тягостно на душе...

\* \* \*

...Набралось как-то у меня чуть поболее пяти тысяч рублей, поехала в город на барахолку. Сапоги надо было купить к зиме самой, да внучке куртёшку какую. Большая уж, двенадцать скоро, а так, из одежки ничего путного нет...

Присмотрела у одной сапоги. Беленькие такие, кожаные. Понравились мне. И совсем почти не одёванные. И просит вроде недорого. Сама-то, похоже, не от хорошей жизни продаёт. Видно, что не торгашка. Глаза грустные-грустные. Стала мерить я сапоги-то, а сумка мотается, мешает. А положить куда? Тут ещё жмутся рядом какие-то ребята, лет по пятнадцать...

— На, — говорю ей, — подержи сумку, там денег на трое твоих сапог!

И отдаю ей, неумеха. А сама копошусь, копошусь... Левый сапог в подъёме малость жмёт... Носки на мне толстоватые... Так-то, может, ничего?.. Возьму, думаю.

Поднимаю голову, а её нет с моей сумкой-то. Как ветром сдунуло! Умыкнула мои денежки. Ах, батюшки! Туда-сюда... Ребята эти ржут надо мной!

...Всю дороженьку до дома сама не своя была. Неужто так, как она, можно поступать! Такая на вид своя, а воровка?..

Приехала домой. Вхожу в избу, а муж Алексей, жив был ещё тогда, говорит:

— Что ж ты, голова, на рынок-то без денег поехала?

Смотрю, а мой кошелёк на столе лежит. Забыла я его — так торопилась. Показываю с глупым видом мужу сапоги, а он ничего понять не может. Пришла в себя, рассказала, как дело было. И не по себе так! Это ведь я нагрешила, я сунула ей в руки пустую сумку, а сказала, что с деньгами. Он и соблазнилась... А не сунула бы... У неё глаза-то добрые... Как это всё вместе?.. Сильно опечалена она была, что-то прижало крепко её...

Алексей-то помалкивает мой. А пришедший Василий, шабёр, в своей манере шутит:

— Катерина! Не прикидывайся овечкой. Жалеешь её. А она, знаешь, как про тебя думает? Матёрая ты, — думает она, — аферистка! А кто же? За так, вернее, за старую холщовую, причём совершенно пустую сумку получила сапоги! Добытчица ты! У тебя всё отработано было. Название этому: махинация!

Мне и так не по себе, а тут ещё он...

Вытолкала его во двор, он только лбытается... Его-то спровадила, а сапожки стоят. Нарядные такие. Радоваться бы... Но... как укор!

Поеду, думаю, на рынок, отвезу ей сапоги. Либо деньги отдам. Всякое в жизни бывает. Коль беда у неё теперь, ещё горше ей...

Два раза на рынок ездила. Нет её! И не видел её никто больше там. Спрашивала я. Как сквозь землю провалилась.

Неужто я подвела её под новую какую беду?..

\* \* \*

...Я на днях ездила в район. Не утерпела, попросила свернуть с большой дороги. Сходила на свои первые поля и на клин тот, что за Алексея когда-то пахала... Прошлась в бурьяне по пояс... Земля-то заброшена давно...

Вернулась к машине, а меня спрашивают:

— Ты что, бабуль?

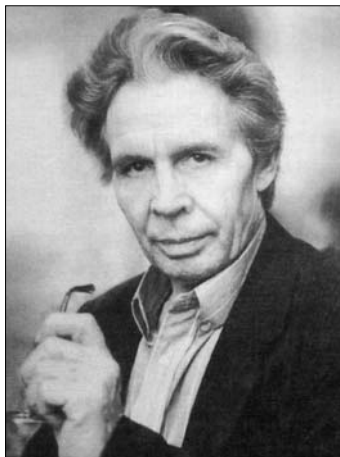
— А что? — говорю.

— У тебя вся куртка в репьях и лицо в слезах?..

---

*Редакция журнала от всей души поздравляет нашего старого доброго друга и автора Александра Станиславовича Малиновского с 70-летием и желает юбиляру крепкого здоровья и новых творческих достижений на литературной ниве России!*

ВЛАДИМИР БАЛАЧАН



Я ПИЛ ИЗ ЗВЁЗДНОГО КОВША...

ГЕРОЯМ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Что о белых и красных сказать?  
Две враждебно осознанных силы...  
Если их в общей сложности взять:  
Эти граждане — дети России.

В перспективе не видно ни зги.  
Братья, сёстры — с рожденья до гроба...  
Ну, какие же это враги,  
Коль одна родила их утроба?

Те и те проклинали войну,  
Сознавая,  
С насупленной бровью,  
Что неправо родную страну  
Умывают слезами и кровью.

Понимали и тот оборот:  
Не закрасить ни белой, ни красной  
Пополнение вдов и сирот  
К тем —  
С японской ещё и германской.

---

*БАЛАЧАН Владимир Фёдорович родился в 1939 году в с. Старо-Ярково Барабинского района Новосибирской области. Окончил Высшие литературные курсы при Литинституте им. А. М. Горького. Лауреат конкурса "Мой Пушкин", член Союза писателей России, автор шестнадцати поэтических сборников, живёт в г. Омске.*

Словом, как ты о том ни суди:  
Тех далёких триумфов и бедствий  
И у нас остаются в груди  
Незажившие язвы последствий.

Нынче тьма недоумок в простом:  
Почему-то серьёзно и твёрдо  
Демократы, взойдя на престол,  
Покаяния жаждут от мёртвых.

Потому, как гражданской войны  
Полководцы, бойцы, командиры  
Унесли уже чувство вины  
В закрома запредельного мира.

Наступил, полагаю, момент,  
Чтоб наглядную память оставить  
О войне той,  
Один монумент  
Надо белым и красным поставить.

Вижу в этом огромный успех:  
Он прокатится светлым потоком  
Покаяния — этих и тех —  
В назидание нам и потомкам.

## ОТ ПЕЧКИ

*Другу Ивану Быкову*

Пляшу от печки деревенской,  
Дышу теплом её огня...  
Капитализм!  
А я — советский,  
И всё, что делало меня.

Учился я в советской школе —  
В родной деревне, где я жил;  
Работал на колхозном поле,  
В Советской Армии служил.

Учителя — мои кумиры!  
Они меня во все года  
Учили, чтобы люди мира  
Не голодали никогда.

Кормил я хлебом их и песней,  
Как диктовала мне душа.  
Добро её — бальзам небесный  
Я пил из звёздного ковша.

И что бы там ни говорили,  
Моя душа, как часть Руси,  
Живёт заботами о мире  
На острие земной оси.

## УСТАЛОСТЬ

Руки мои в пыли,  
Ноги мои в пыли,  
Плечи мои в пыли —  
Много на мне земли.

Я тяжело иду.  
Всё у меня — в виду:  
Поле и дом в саду...  
Думаю на ходу:

Доля моя сия —  
Царь я Земли Всея:  
Дома — моя семья,  
В поле — моя земля.

Землю свою пахал,  
Зёрна в неё пихал...  
Ветер не утихал.  
Сам я не отдыхал.

Всходы бы мне спасти —  
Будут хлеба расти.  
Будут хлеба цвести —  
Взгляда не отвести.

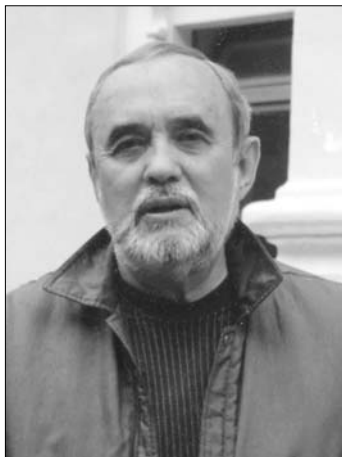
Сделал я всё, что мог.  
Трактор в степи заглох.  
Силы пошли мне, Бог,  
Переступить порог.

---

*Сердечно поздравляем нашего давнего автора с 75-летием!  
Желаем крепкого здоровья и новых поэтических книг!*

*Редакция*

БОРИС СИРОТИН



## ОГОНЬ БЛАГОДАТНЫЙ СОШЁЛ НА МЕНЯ...

\* \* \*

Вот и снова февраль, снова год мне прибавится скоро,  
Я хочу тишины, но такой, чтобы люди вокруг,  
И не надо бы слышать бесконечного крика и спора,  
Дай тебя обниму, мой старинный стареющий друг!

Ведь недавно совсем были мы молодыми  
И ведь тоже кричали, а споры-то всё об одном,  
В сигаретном клубящемся, женщин пугающем дыме, —  
О зажиме свободы; и грусть запивали вином.

Вот теперь нам свобода и кажет свой масляный кукиш,  
Что угодно кричи и пиши — не услышит никто.  
Магазины полны, для утробы всё нужное купишь,  
Ну, а дерзкие мысли прольются водой в решето.

Слово, Слово исчезло, которое было в Начале  
И творило Вселенную — не её ли мы были сыны!  
И о чём же мы, друг мой, тогда столь безумно кричали,  
От горячего спора сильнее, чем от водки, пьяны.

---

*СИРОТИН Борис Зиновьевич родился в 1934 году в оренбургской деревне. Автор многих стихотворных сборников, постоянный автор журнала, Лауреат Всероссийской премии им. А. Фета. Член Союза писателей России. Живёт в г. Самаре.*



Ты-то помнишь, конечно: твоя знаменитая память,  
Да и я не забыл, не забыл, не забыл, не забыл.  
И не зря пристрастился вплоть до осени плавать —  
Остужаю свой праведный, всё ещё памятный пыл.

И спокойствие Волги наполняет мне душу и тело,  
Дома кофей свой пью, заедаю его пирогом.  
Всё отчётливо помню, что гневная юность хотела,  
Но сейчас мои мысли совсем о другом, о другом...

Вот о том, что февраль и что год мне прибавится скоро,  
Ишь, как вьюга метёт, норовя с головою заместь.  
Ну, и что — заметёт, и покину отчизну раздора,  
Где и сладкая лесьть, и кровавая чёрная месть.

### ПРОСТО ЛИПА

Ждал цветения липы в июне.  
Как всегда. Но она расцвела  
Нынче в мае, тайком, как бы втуне.  
Отложил все земные дела

И по липовой длинной аллее  
Прохожу, и как сладко вдыхать  
Этот запах! И думать не смею,  
Что сошла на меня благодать.

Просто липа... И запах медовый  
В кровь войдёт, отзовется в строке,  
Если каплю медового слова  
Я почувствую на языке...

И тогда не о русском разладе  
Буду строки копить не спеша,  
А о том, что в Господней уславе  
Вновь и вновь оживает душа.

\* \* \*

Мальчик с велосипедом.  
Смотрит на поезд малец.  
Знает, что всем нашим бедам  
Скоро наступит конец.

Эта мальчишечья вера,  
Взгляд понимающих глаз —  
Самая точная мера  
Для суетящихся нас.

Нас, измождённых простором  
И без большого труда  
Свыкшихся с новым позором  
Мчущихся так, в никуда.

В это мгновение — здравствуй,  
Через мгновенье — прощай,  
Маленький мальчик вихрастый,  
Нам возмужать обещаешь!

Краем речным и лесистым,  
О невозможном трубя,  
С грохотом, топотом, свистом  
Мчимся мы мимо тебя.

\* \* \*

Огонь благодатный дошёл до меня,  
Держу я на свечке ту каплю огня...

Все грады и веси,  
И даже лесные глухие места  
В России воскресшего славят Христа:  
Воскресе, воскресе!

И даже безмолвный задумчивый скот,  
Тьмой разума праздник воспринял и тот;  
Таёжные звери  
Наставили уши на праздничный звон,  
Волнует их души свирепые он;  
И в мире все двери

Открыты на север, на юг, на восток,  
Который есть жизни исконный исток;  
У речки осина  
Трепещет, и в небе трепещет звезда,  
Их трепетом славится Имя Христа,  
Воскресшего Сына.

АМИР АМИНЕВ



## СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

РАССКАЗ

Один из погожих вечеров ранней весны.

У неказистого домишки колхозной конюшни, что на краю аула, собрался народ. Кто-то распряг здесь лошадь, кто-то пристал мимоходом, а были и такие, кто прибыл в аул по делу из других мест да и подзастрял в людном местечке.

Пятачок этот, в шутку именуемый “утлау”, то есть “пастбище”, — сборное место не только для игрищ молодых, но и для общения и неторопливых бесед людей зрелых, даже тех, кто давно уже имеет внуков. Да и где, как не здесь, обмениваться аульчанам деревенскими новостями? Вот и сходились к приходу бригадира, который станет призывать к работе да распределять участки, куда кому идти.

А когда просохнет земля, ребятня стянет сеткой два сиротливо торчащих за домиком столба и будет лупить по мячу до самых поздних осенних дождей.

Но это начнётся только через десяток дней...

А сегодня аульчане покуривают да весело судачат по поводу своевременного прихода весны, целости и сохранности скота после долгой зимы и скорого начала посевной. На их лицах — выражение благодушия и удовольствия.

— Слыхали, вчера дети Мансур-агая видели на горе гифрита\*? Говорят, человек — не человек, медведь — не медведь.

---

\* Гифрит — мифический великан.

---

*АМИНЕВ Амир Мухаметович родился в 1953 году в д. Сабай Гафурийского района Башкирии. Выпускник Литературного института имени А. М. Горького. Автор книг “Мелодии молодости”, “Лист берёзы”, “Водоворот”, “Ворота”, “Китай-город”. Член Союза писателей РФ, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. Лауреат Большой литературной премии России. Живёт в Уфе.*

Сабит первым узнает все последние новости; от него всегда услышишь что-нибудь новенькое о соседе и даже о самом себе. Потому, видимо, остро-словы и дали ему более чем подходящее прозвище — Почта-Сабит.

— А мы-то думали-гадали, что ты нам сегодня сообщишь. И вот ведь не оставил без новости! — съязвил местный балагур Ишбулды.

— Да правда это, биллахи\*, — начал клясться Сабит, пуча свои безбровые зелёные глаза, будто стараясь отыскать среди слушателей таких, что могли бы подтвердить сказанное им. — Я только что от Мансура. Так вот: эти парни со вчерашнего дня прийти в себя не могут от увиденного.

— Кто это?

— Кто, кто! Мансуровы дети.

— А где они его видели?

— На вершине Магаша, — и Сабит ткнул пальцем в сторону горы.

— Ну, конечно! Детям Мансура поверишь — сам дураком будешь. Пусть не брешут! — Ишбулды щелчком отбросил окурок, сплюнул сквозь зубы и пренебрежительно махнул рукой.

Так уж повелось: последнее слово на “утлау” всегда оставалось за этим человеком. Заливал ли он, правду ли вещал, а все прислушивались к его мнению. Как говорится, в работе слабак, да в споре мастак.

— Этот мансуровский отпрыск... из армии вернулся и рассказывал, будто с командиром полка вместе пиво пил, — вступил в разговор кто-то из более молодых. — А командир полка — это, по крайней мере, полковник. На худой конец, подполковник. Так они и станут с солдатом пиво пить. А если даже и будут, то не с Ульфатом же!

— Да кто их знает! Говорят, видели. — Голос Почты-Сабита уже звучал не так уверенно. Кажется, он и сам стал сомневаться в сказанном. Однако продолжал упорствовать. — Рост, говорят, у него метра три. А тело сплошь шерстью покрыто. Когда они его видели, тот под деревом сидел, грыз что-то.

— Сидел, говоришь? Как можно узнать рост сидящего? Они что, подошли к нему и измерили? — Говоривший от души рассмеялся, сотрясая вечерний воздух. Вслед за ним засмеялись и другие.

— И откуда же, интересно, взялся этот великан? Почему до сих пор его тут никто не видел? Он что, с неба свалился? — опять подключился к разговору Ишбулды. — Ты, Почта, слышал такую поговорку: “ври, да не завирайся”?

Разговор на время затих. Каждый обдумывал про себя новость, выданную Сабитом. Кто-то, как водится, не поверил, кто-то воспринял с сомнением, а третьи приняли за розыгрыш и лишь хитро переглянулись друг с другом.

Кашаф, у которого от рождения был лёгкий крен в голове, сокрушённо произнёс:

— Братва, а вдруг всё это правда? Страшное ведь дело намечается. Может, грянем всем миром да и проверим, что к чему?

— Ну, конечно! Он только нас и дожидается. Смотри, Кашаф, увидишь такое страшилище — в штаны наложишь, так жена за год не отстирает! — поддел его Ишбулды, и весь “утлау” отозвался на его слова весёлым хохотом.

— Если пойдёшь на него с топором да с вилами, он сам под себя наложит, — не оставил его без ответа и Кашаф.

— А ты пойдти, дорогой, пойдти, раз такой любопытный...

И снова — взрыв хохота.

— Слушайте, вы! А вдруг его сбросили с летающей тарелки? — ошарашил всех Гузаир, которого все тут звали Козаиром\*\*. Дело в том, что сам он был из соседнего аула, а выдал дочь за здешнего. Однако при этом положил глаз на свою сваху — мать жениха, выставил из её дома молодых и сам преспокойно зажил с этой самой свахой по-семейному.

— Как это может летающая тарелка вместить такую громадину? — задумчиво возразил Кашаф.

\* Биллахи — клятвенное заверение, аналогичное русскому “вот тебе крест!”

\*\* Козаир — составное из слов “коза” — сват и “ир” — муж.

— Тарелки тоже разные бывают, — рассудительно сказал Козаир. — Иные вон с тот дом. В неё не один — сразу несколько великанов уместится. Там же и спят, и едят. А ночь придёт — на землю спускаются. Так что подбросить гифрита они вполне могли.

Высказав эту точку зрения, Козаир с удовольствием закурил новую папиросу. Что-то добавить после него никто не решался. Хотя сомнительно: на этой самой горе Магаш люди летом ягоды собирают, сено готовят, зимой туда за дровами ездят, почему же до сих пор никто не замечал этого великана?

А Кашаф всё никак не мог уняться.

— Если то, что сказал Почта-Сабит, правда, надо отправиться туда с ружьём и уложить его на месте!

— А что станешь с ним делать? Есть будешь?

— Отвезёт тушу в город и сплавит тамошним богачам вместо говядины!

— Ну, хватит языками молоть! — досадливо произнёс Ишбулды. — Сказки всё это. Увидели тёлку и приняли за чудовище. У страха глаза велики.

— Хочешь сказать, сговорились они, Мансуровы дети? — обиженно отозвался Почта-Сабит и, обернувшись к Юмагулу, спросил: — Вот ты у нас знаменитый охотник, Юмагул-агай, ты и скажи своё слово.

— Не знаю, мужики. Лично я никогда ничего подобного не встречал, — нехотя промолвил Юмагул, который не любил участвовать в спорах. — Сказал бы: не бывает таких великанов, да ведь чего нет на белом свете?

Присутствующие переглянулись между собой, и разговор о гифрите снова угас, перейдя на разные повседневные дела. Тем более что и сам Почта-Сабит — причина всей этой словесной свары — куда-то незаметно улизнул.

Юмагул — знаменитый охотник. К своим семидесяти годам добыл тридцать девять медведей. Он вёл им строгий счёт и хорошо помнил, где и как “брал” каждый трофей. Он же уложил дожину волков, — одних забил сукмаром\*, других взял капканом. Лет десять назад только благодаря ему и удалось сохранить колхозных овец. Впрочем, сохранить удалось далеко не всех. В тот год волки шли на аул целыми стаями. После первого налёта на ферму недосчитались девяти, а после второго — шестнадцати баранов. Дело это рассматривалось даже в районе, откуда прибыл специальный уполномоченный и устроил разнос: как, мол, так, позволяете хищникам пожирать колхозное добро?

Ясное дело, Юмагул не остался в стороне, включился в борьбу с серыми. Две недели их выслеживал. Трёх подстрелил, остальные сами перекочевали в другие места.

После этого сильно поднялся авторитет охотника. Не только из райцентра — из самой столицы прикатили фоторепортеры, снимки его замелькали на страницах газет. Его теперь называли не иначе, как Охотник Юмагул, Юмагул — гроза волков. Эх, были же времена! Теперь всё это мало-помалу забылось. О звёздном часе своего земляка помнят лишь люди старшего возраста. Молодые о том даже не ведают. А если им что-нибудь такое говорят, то они и слушать не хотят: мол, знаем мы ваши байки!

Так вот, заставили-таки задуматься Юмагула слова Почты-Сабита. Конечно, поверить-то он не поверил, но, знакомый с разными слухами и газетными публикациями, вполне мог допустить, что в глухих лесных и горных местах могут существовать и такие гиганты. Он даже собрался было сходить к бригадире, посоветоваться с ним на этот счёт: может, действительно порыскал с ружьишкой по лесу, оглядеться по сторонам — вдруг и в самом деле вынырнет откуда-нибудь этот загадочный гифрит? Но навалились повседневные хлопоты, преставилась родная сестра жены, и ему пришлось заняться её погребением... А там и желание пропало.

Но вот Почта-Сабит вновь взбудоражил людей своим свежим сообщением, подлив масла в огонь:

— Я сам видел того зверюгу! Собственными глазами. Комолая корова домой не вернулась, вот и отправился её искать. Аж на самую Макарьевскую поляну забрёл. Вдруг слышу: треск среди деревьев. Не корова ли моя пропавшая, думаю, а это — он! Хоть верьте, хоть не верьте. Так вот, рост-то

\* Сукмар — кистень.

у него действительно под три метра. И всё тело шерстью обросло. От одного вида такого чудовища кого угодно кондрашка хватит. Пустился я от него наутёк и про корову свою забыл!

— Говорят, килен\* штаны его проверила, а там мокрым-мокро, — вновь попытался высмеять Сабита Ишбулды, но на этот раз его никто не поддержал. Все молча смотрели на Юмагула, ожидая, что он скажет. Но охотник молчал. Зато Сабит подстушился к нему вплотную:

— Юмагул-агай, теперь слово за тобой. Снимай с крюка свое ружьё, и двинем на гору. Мы его окружим и погоним в твою сторону, ну, а уж ты — не дрейфь!

— Одного ружья мало, — теперь уже вполне серьёзно сказал Ишбулды. — Нужно, по меньшей мере, три. Представляешь: ты его гонишь, а он вдруг развернётся — и на тебя самого! Что ты станешь делать? Опять — наутёк?

Теперь старый охотник уже почти не сомневался в существовании этого удивительного гифрита. Да и как тут сомневаться, если над твоей головой то и дело парят летающие тарелки! Но такой ли уж зловредный этот великан, чтобы на него поднимать оружие?

— Значит, говоришь, у Макарьевского поля? Ну, а вы где его видели? — обернулся он к сыновьям Мансура.

— Там, где сосняк начинается, — охотно отвечали те. — В глубине леса.

— Выходит, зверь этот так и топчется на одном месте, — задумчиво произнёс Юмагул, — Ну, что ж, попробуем пощупать, что за диво такое.

Однако за домашними делами да заботами миновало ещё несколько дней. А там и стадо выгнали на волю, и вот тебе оказия: в первый же день не вернулись обратно сразу две коровы. Правда, одна из них утром присоединилась к стаду, а вот корова Хайриямал-апай будто в воду канула, так и не вышли на её след. И это вновь заставило встряхнуться старого охотника. “Не травой же питается этот зверь, — подумал он про себя. — Без мяса вряд ли обходится. Да ещё после затяжной зимы”.

Но и на этот раз не смог он собраться — всё та же повседневная суета помешала. А на четвёртый день пропала ещё одна скотина, на сей раз — самого Мансура.

Прихватив с собой двух сыновей, пострадавший самолично отправился на гору. Целый день бродили они в поисках заблудшей коровы, а на обратном пути неожиданно-негаданно наткнулись на этого самого гифрита. Младший из сыновей Ильфат увидел его первым и не столько из смелости, сколько от страха дал по нему выстрел. Но неудачно...

“Эх, не умеют люди с животными да зверями обращаться, — услышав эту историю, подумал Юмагул. — Везде хозяевами быть хотят, а того не разумеют, что природа создана не только для них...”

А потом пропала тёлка из крайнего дома аула. Это было тем более странно, что с вечера хозяин загнал её в сарай и запер ворота ограды. И следы похитителя тут же отпечатались — огромные, каких здесь отродясь не видели. Поглядеть на них собрался весь аул. Кто-то даже обнаружил на жерди клок бурой шерсти.

После этого и самые неверующие вынуждены были признать свою неправоту, впали в уныние. Становилось страшно не только за скотину, но и за самих себя.

В беспокойном предчувствии и невесёлых разговорах прошли первомайские праздники. Однако гифрит пару недель подряд не давал о себе знать. “Питается тем, что увёл из аула, — решили люди. — Но как он поведёт себя дальше?”

И гифрит действительно не заставил себя ждать. Пришла весть, что он преследовал запозднившегося бухгалтера из соседнего аула, который проявил удивительную для его возраста прыть, спасшись от нападавшего бегством. А когда пропала ещё одна корова, Юмагула вызвал к себе председатель колхоза, сравнительно молодой человек, и сказал:

---

\* Килен — жена младшего по возрасту человека.

— Надо что-то предпринимать, Юмагул-агай. Вся надежда на тебя. Давай, бери своё ружьё — и на гору. Земля, считай, просохла, лес пока насквозь просматривается. Тебе ничто не мешает отыскать разбойника. — Потом смущённо добавил:

— И откуда он объявился, проклятый? Будто из старых бабушкиных сказок вылунился... Когда я ещё в школе учился, рассказывали о снежном человеке. Мол, видели его высоко в горах... Где-то на границе с Китаем. Тоже — огромные следы. Не то зверь, не то человек. А потом в лесах его стали встречать, клочки шерсти на ветвях находить. Вот я и думаю: уж не объявился ли этот снежный человек и в наших краях?

Он помолчал и закончил уже деловым голосом:

— Я и в райцентр сообщил, Юмагул-агай. Пусть всколыхнут своё охотничье общество. Впрочем, нам их дожидаться не резон. Так что бери с собой двух-трёх надежных парней — и в путь. Справитесь — каждому по барану.

Юмагул лишь усмехнулся про себя этим словам колхозного головы: не всё, сынок, баранами да деньгами меряется!

Теперь ему надо было решать, с кем и когда выходить на охоту. Конечно, возьмёт он с собой мансуровского отпрыска, который первым в ауле увидел “снежного человека”. Почта-Сабит и без приглашения увяжется. Ну, можно ещё предложить долговязому Аухату, который тоже иногда с ружьишкой всякую мелкую живность промышляет.

Ночью Юмагул спал плохо, всё ворочался с боку на бок да вздыхал и только на рассвете уснул беспокойным сном.

...А ведь были времена, когда лучших охотников страны вызывали в Москву на их съезды. Однажды среди приглашённых оказался и Юмагул. Колхозный председатель и тот самый уполномоченный, что устраивал им разнос из-за волков, пришли его уговаривать: мол, во всей республике нет охотника лучше тебя, потому, дескать, тебе только и пришло это самое приглашение из Москвы. А он растерялся, не знает, как поступить: дел невпроворот, скоро в отпуск сын с невесткой из Сибири должны приехать, огородам опять же надо заняться... Но начальники давят, продыха не дают: как, не поехать в столицу?! Да ведь на этом съезде должен присутствовать сам президент! К тому же, говорят, каждому участнику подарят по машине... И сдался Юмагул, не устоял перед таким напором.

Надо сказать, в Москве ему всё благоволило. Едва узнав, что прибыл “лучший охотник Башкирии”, каждый встречный-поперечный, будь то простой прохожий или милиционер, спешили проводить его по нужному адресу, желали успехов и счастья. “Да, велика Москва, но знают тут охотника Юмагула”, — не без самодовольства думал посланец своей солнечной республики. И в нём всё больше возгоралась гордость за себя и за свой родной Башкортостан. И даже походка у Юмагула стала иной — прямой, солидной, с гордой осанкой.

Его необыкновенно легко и просто пропускали во все ворота зубчатых стен Кремля: стоило лишь назвать своё имя и показать приглашение — и каждая дверь распахивалась перед ним нараспашку. Проходя, он успел погладить чугунное жерло огромной махины, которую называли “Царь-пушка”, постоял у великана-колокола с отломанным краем, но тут его взяли под руки и увели во внутренние покои Кремлёвского дворца: мол, пожалуйста на съезд, который сейчас начнётся. А там — Господи, боже мой! — блеск и роскошь, потолок уходит куда-то в поднебесье. И народу в зале полным-полно, больше, чем живности в лесу.

Вскоре рядом с ним уселись два своеобразных человека: у одного шрам от лба до подбородка и один глаз завязан чёрной материей; рука другого в гипсе и подвешена к плечу. “Охотники! — вмиг догадался Юмагул. — Удачные мужики...”

Но вот, наконец, появились три важных человека за длинным столом президиума, застланным красным сукном. Один из них поднялся с места и начал говорить в микрофон. Но, видно, не привык Юмагул к такому общению через аппарат, очень плохо воспринимал слова говорившего. Однако делал вид, что всё слышит и понимает, вместе со всеми начинал хлопать

в ладоши, когда оратор делал паузы и поднимал глаза на зал. А сам всё думал: когда же, наконец, появится президент? Но тот всё не появлялся, и в душу охотника начало закрадываться сомнение: хватили лишку земляки, преувеличили малость. Это чтобы он не упрявился. Да станет ли в самом деле глава государства, которого ждут в каждой стране, терять драгоценное время на каких-то охотников?

Во второй половине дня на сцену стали вызывать самих участников съезда. И вот Юмагул услышал свою фамилию и весь встрепенулся. Поначалу не поверил, решил, что в зале сидит ещё один человек с такой же фамилией. Но говоривший громко повторил: “Товарищ Зиннуров из Республики Башкортостан”. Теперь у него сомнений не осталось. Юмагул поднялся с места и под любопытствующими взглядами сидящих в зале на ватных ногах направился к сцене. Председатель улыбнулся и протянул ему руку, затем вручил какой-то ключ. “От машины!” — мелькнула в голове радостная догадка. На место он возвращался с высоко поднятой головой.

Когда съезд завершил свою работу и его участники повалили к выходу, Юмагул неожиданно заблудился и угодил в какую-то совершенно незнакомую комнату. Смотрит: а там — медведь, которого он должен добыть. То есть не медведь даже, а тот самый снежный человек, гифрит! “Ах, значит, ты и есть мой охотник!” — зарычал чудовище и кинулось на него, вскинув вверх огромные лапищи. Юмагул отчаянно вскрикнул и... проснулся.

Какое-то время он лежал, унимая сердцебиение. Жаль было расставаться с тем, что привиделось во сне. Особенно с ключом от машины. Но что делать: сон есть сон. Юмагул вспомнил о предстоящей вылазке, и ему почему-то стало не по себе. Вспомнилась и старая примета охотников: сороковой медведь добра не сулит...

Неторопливо позавтракав, Юмагул закинул за плечо ружьишко, прихватил с собой пса и так же неспешно направился в сторону горы. На разведку.

Под ногами чавкали лужи. День был ненастный, не сулящий скорого прояснения. Казалось, вот-вот свинцовые тучи над головой сомкнутся, и сверху обрушится дождь или даже снег. Деревья и кусты имели цвет ржавого железа.

Вот сквозь мелкий дубняк он поднялся на первый пригорок, затем на второй. Чем выше он поднимался, тем выше становились деревья, тем больше обнаруживались нещадные следы топора. “Как же мы не жалеем природу!” — с горечью думал охотник. Прежде лесники всерьёз боролись с браконьерами-порубщиками, а теперь... Вон, назначили парня с дипломом, а он этим самым порубщикам за водку продаётся...

Неподалеку раздался резкий треск сломанной валежины. Испуганно залаял, завизжал пес, трусивший рядом с хозяином. Юмагул вздрогнул, замер на месте, настороженно оглядываясь по сторонам. Потом привычным движением вскинул ружьё, однако вокруг опять всё было тихо. Но пса не обманешь: согнувшись коромыслом, он по-прежнему жался к его ногам. Значит, всё-таки тут кто-то есть. Юмагул до боли в глазах вглядывался в пространство между деревьями, но ничего подозрительного не замечал.

Снежный человек появился совсем не там, где он его искал. Он затаился за дубом метрах в двадцати от дороги, выглядывая из-за корявого ствола, как выглядывают дети во время игры в прятки. Под его пристальным оком охотник поневоле съёжился. Тело гифрита и впрямь было покрыто густой бурой шерстью, голова была лохматая, лицо — волосатое. Глаза чуть просматривались сквозь лохмы волос, и была в них какая-то гипнотизирующая сила. Уши торчали наподобие комьев из налипших друг на друга репьев.

Холодный пот прошиб Юмагула. Волосы на голове встали дыбом. Стрелять? А если не попадёт?... Ах, хитрая bestия, знает, как вести себя с охотником, за стволом прячется, дразнит, но не уходит.

“Первый патрон надо выпустить для острастки”, — решил Юмагул. Ну, а там, если удастся выманить на открытое место, вторым уложить на месте. Нет, старый стрелок-мэргэн ещё не разучился стрелять!

Тем не менее, руки слушались плохо, дрожали в кистях и локтях. Да и глаза ни с того, ни с сего начали вдруг слезиться. Юмагул дважды под-



нимал и опускал ружьё, в сердцах пнул тихо скулящего в ногах пса. Вот, наконец, он прицелился прямо в лоб снежному человеку, а тот возьми да и скройся за деревом, только бок лохматый торчит.

Юмагул снова опустил ружьё и с трудом передвинул одеревеневшие ноги. А тот, видимо, только того и ждал: стремительно переметнулся от одного дерева к другому и опять спрятался за его толстым стволом. Да, это был не какой-нибудь зверь-глупыш! Он был наделён редкой сообразительностью и расчётливостью.

Это открытие неприятно поразило охотника. Не выдержав, он стал отступать назад, в сторону аула. И вслед за ним сразу же двинулся снежный человек, но теперь уже кособоча, словно желая перерезать ему дорогу для отступления.

Юмагул быстро вскинул ружьё и нажал на курок. Промаях! Пройдя быстрым шагом метров десять, он вновь обернулся: снежный человек продолжал следовать за ним. На этот раз он укрылся за густыми зарослями можжевельника. Юмагул, не задумываясь, ошпарил дробью прутья кустарника — не одна, так другая дробинка должна бы попасть в него, но у того только бурый хохолок колыхнулся, как от ветерка.

Что же случилось? Почему он никак не может попасть? И от этих пустых выстрелов, от этого отчаянного бессилия вкрался в душу старого охотника тёмный страх. Он уже не уходил, а в буквальном смысле ускользал от преследующего его снежного человека, не забывая при этом нащупывать очередные заряды.

Один патрон он всё-таки успел протолкнуть в ствол, другой упал под ноги, но Юмагул не стал его поднимать, боясь оказаться достигнутым. Когда он изготовился в очередной раз, гифрит зарычал таким ужасающим голосом, что охотник опять дрогнул. Так рычать мог только медведь. Или бык. Или — тот и другой вместе.

Юмагул продолжал отступать, и всё спиной, спиной, не сводя глаз со своего преследователя, который мгновенно укрывался за деревом, едва он вскидывал ружьё. Оставалось лишь удивляться его проворности. “Бежать, бежать”, — кричал в сердце страх. Мчаться сломя голову в сторону аула! Разумеется, считаясь с возможностями своего возраста. Может быть, успеет спуститься с горы. А не успеет — начнёт кричать, звать на помощь.

Теперь он удивлялся тому, как мог пойти в такую разведку один. Мол, если что, и сам одолеет. Одолеет, как же!

А снежный человек продолжал двигаться за ним, следя за каждым его шагом, за каждым движением. Немало пришлось пережить Юмагулу разных опасностей, но в подобной ситуации он оказался впервые. Нет, убежать от такого зверя не имеет смысла, ибо он может настичь буквально в несколько прыжков. Но почему же он всё-таки медлит? Почему не бросается на него, пользуясь удобным случаем? Вот это-то и было для старого охотника самой непостижимой загадкой. Ведь при желании он мог бы накрыть его играючи — Юмагул и пикнуть бы не успел!

Но вот он миновал свой бывший “сенной” участок, и это придало уверенности. Теперь можно было рассчитывать на спасение. И именно на этом пятачке отпустил его, наконец, снежный человек, перестал преследовать. Но только добравшись до сельского кладбища, Юмагул наконец-то перевел дух, поняв, что зверь от него отстал. И тогда он упал спиной на землю, широко раскинув руки и ноги. И так, Аллах избавил его от неминуемой гибели.

А ночью снежный человек увёл у Юмагула тёлку из закрытого хлева. Знать, видел, в какую избу вошёл охотник. Выходит, отомстил. Впрочем, это могло быть его предупреждением и всем остальным: мол, попробуйте сунуться в горы — будете иметь дело со мной!

На “утлау” опять собрался народ. Все внимательно выслушали рассказ охотника о вылазке на гору Магаш и теперь молча переваривали сказанное им. Необходимость всеобщего вооружённого похода была теперь совершенно очевидна. Да и самолюбие старого охотника было сильно задето.

— Аухат, ты со мной пойдёшь?

— Ага.

— А ты, сынок? — обратился охотник к сыну Мансура.

— Ну, да.

— Сабит?

— Канишно!

— Почта-Сабит идет сзади всех, а улепetyвает впереди всех, — хихикнул на всякий случай Ишбулды.

— Потом будет хвастать: я первым выстрелил, первым на землю уложил! — поддержал его Кузаир.

— Зато вы только на то и годны, чтобы зубы скалить, — пробурчал Сабит. — Погоди, вы тут будете лясы точить, а мы перед вами шкуру гифрита кинем. Так ведь, Юмагул-агай?

— Ну, это ещё бабушка надвое сказала, — хмуро ответил старый охотник.

Наутро четыре человека с тремя ружьями направились к Магаш-горе. Весь долгий день бродили они по лесу, но на этот раз так и не смогли напасть на следы снежного человека. Спрятался, наверно, в глухом месте, решили они, понимает, что против такой силы не попрёшь. Но где он укрылся, не на дереве же, в конце концов? Да и в землю зарыться не мог: не медведь он, чтобы в берлогу лезть.

А через два дня прибыли из райцентра охотники, о которых говорил председатель колхоза, и Юмагулу вновь пришлось идти в лес, вести семерых вооружённых людей, явившихся сюда с разных концов района. Опять искали весь день и опять не нашли. После неудачного похода собрались в кабинете председателя, кратко доложили о результатах “рейда”, сделали предположение, мол, если гифрит действительно существует, то он, скорее всего, подался в иные места, и на том сочли свою миссию завершённой. Только и пришлось хозяину колхоза, что поблагодарить их за услугу и проводить в обратный путь.

Но Юмагул, уже столкнувшийся с хитростью и вполне разумными действиями снежного человека, прекрасно знал, что никуда он отсюда не ушёл, только затаился в непроходимой глубине леса и выжидает, когда всё вокруг успокоится, и можно будет вновь грабить да воровать скот. Чтобы укротить такую тварь, надо быть не только проворнее, но и умнее его самого. Впрочем, он уже держал в голове план, который должен был принести успех...

Юмагул сходил к электрику и выпросил у него широкий пояс, с помощью которого тот залезал на телеграфные столбы, приготовил доски, аркан и верёвки. После этого запряг в телегу лошадь и, прихватив по пути сына Мансура, вновь направился в сторону всё той же горы. Ульфат был горд тем, что знаменитый охотник выбрал среди других именно его, и потому старался быстро и точно выполнять все его указания.

Добратся до самой вершины лошадь не смогла, и охотникам пришлось перетаскивать туда привезённый ими груз на руках. К высокому ветвистому дубу были перенесены доски, провизия и верёвки, после чего Ульфат быстро забрался на дерево и соорудил там на мощных сучьях дощатый настил. Затем по указанию охотника он спилил две нижние довольно толстые ветви, чтобы повыше оголить ствол дуба. Когда, опять же по знаку старшего, парень спустился вниз, Юмагул проводил его до лошади и отправил обратно в аул, напутствуя так: “Услышишь с моей стороны выстрелы — зови на помощь людей, и валите сюда ко мне”.

На деревьях всюду набухали почки. Воздух был свеж; запах нарождающейся зелени вперемешку с прелью прошлогодней опавшей листвы щекотал ноздри. С высоты гор особенно остро чувствуешь вечность и глубину открывающихся перед тобой далей, неоглядность неувядаемо-прекрасной земной красы. На фоне этого вечного величия природы сама его жизнь представилась Юмагулу коротким мгновением бытия. И то, что он, семидесятилетний старик, сидит на этом дереве, как какая-то лесная кукушка, показалось ему глупой и нелепой детской игрой. Но что делать — жизнь и впрямь с каждым играет свою особую, неповторимую игру.

Вот в таких созерцательно-философских размышлениях провёл Юмагул двое суток, не сходя со своей верхотуры. Несколько раз порывался он

плюнуть на свою затею и отправиться обратно домой, но каждый раз его что-то удерживало на дощатом сооружении, каких немало приходилось ему устраивать на своём долгом охотничьем веку. Болела спина, ныли бёдра и бока, но он держался из последних сил, ибо привык доводить начатое дело до конца.

Наконец, на рассвете третьего дня стало ясно, что его старания и муки оказались не напрасными. Треск ломающихся сучьев и глухой топот вывели его из дрёмы, заставили встрепенуться и в мгновение ока изготовиться, проверить охотничье снаряжение, наличие патронов.

А неведомое существо продолжало с треском и шумом кружить вокруг да около, не спеша приближаясь к охотнику. Шаги его слышались где-то совсем близко, но самого не было видно, и это выводило Юмагула из себя. Он сразу же догадался, что неприятель исподволь повёл с ним свою хитрую и опасную игру.

Неожиданно наступила тишина. От напряжения у Юмагула разболелись глаза и голова. Нервировало ещё и то, что при малейшем движении доски настила начинали скрипеть. Наконец, сквозь опущенные первой зеленью ветви деревьев проступило что-то большое и тёмное. Юмагул вполне отчётливо разглядел знакомую бурюю тушу, длинные волосатые руки, торчком стоящие уши. Существо ступало тяжело и увесисто, казалось, при каждом шаге земля отдаётся под ним неясным донным гулом. Даже дуб, на котором сидел охотник, мелко затрясся от походки великана.

Юмагул взял ружьё и принял удобную для стрельбы позу. Но тут вновь ощутил дрожь в руках и коленях. “Эх, состарился ты, дружок Юмагул!” — сокрушённо подумал он, тем не менее поудобнее уложил ружьё, чтобы цель впереди просматривалась ясно и чётко, и взял её на мушку.

И тут опять произошло то, что не раз уже бывало в прошлый раз: только-только собрался нажать на курок, как зверь укрылся за стволом дерева. “Выходит, почувствовал моё присутствие, — подумал Юмагул с упавшим сердцем. — Но ещё не знает, где именно я нахожусь”.

Пока Юмагул выжидал нового появления снежного человека, тот успел сделать круговой маневр и оказаться под тем самым дубом, на котором как раз и сидел в засаде охотник. Юмагул почувствовал это в последний момент, когда бурая туша мелькнула на мгновение внизу и скрылась под настилом. Это его крайне огорчило. Теперь целить в него будет куда труднее. Юмагул осторожно отклонился в сторону, чтобы заглянуть вниз, и чуть не соскользнул с настила, кое-как удержавшись за его края. Тем не менее, он успел увидеть находившееся под дубом чудовище, и глаза их на мгновение встретились. Это были взгляды врагов! Столь же осторожно Юмагул свесил ствол ружья и выстрелил наугад. Приклад с силой отбросило вверх, и он больно ударил его в плечо. Когда дым рассеялся, Юмагул скользнул взглядом вниз и никого там не увидел. Снежный человек куда-то пропал. С похолодевшим сердцем огляделся Юмагул по сторонам и заметил своего врага уже в стороне. Тот стоял как ни в чём не бывало и продолжал смотреть на человека с ружьём пристальными немигающими глазами, от взгляда которых становилось жутко. Не задумываясь, он пустил в его сторону ещё один заряд. И, как много раз до этого, снежный человек вновь успел шмыгнуть за ближайшее дерево. Нет, этого не может быть! Не разучился же он верно целиться за какие-то несколько лет, когда стал все реже брать в руки ружьё. Значит, что-то тут не так. Возможно, он заваливает ствол или просто-напросто слаб заряд — не может пробить шкуру такой громадины.

Между тем, воспользовавшись заминкой стрелка, объект его охоты в несколько прыжков опять оказался на прежнем месте — под дубом. Впервые издав устрашающий рык, он начал изо всех сил трясти его, и каждая ветка дерева, большая и малая, пришла в движение, затряслась, зашелестела. Но ведь недаром же выбрал Юмагул для себя этот крепкий раскидистый дуб, если даже такой гигант, как этот дикий полувзврь-получеловек, не смог сколько-нибудь ощутимо подействовать на него! Тот и сам, наконец, понял, что справиться с лесным великаном ему не по силам, вновь издал бешеный рык и неуклюже полез вверх по корявому стволу дуба. Выпученные глаза его

горели злобой, ощеренные клыки разъятой пасти готовы были разорвать своего обидчика на клочки.

Дрожащими руками Юмагул затолкал в стволы ещё два патрона и, не задумываясь, произвёл два выстрела подряд в пасть чудовища. Тот на какой-то момент замер, вцепившись когтями в ствол дерева, затем издал такое сумасшедшее рычание, что окружающий лес ответил ему многократным эхом, а Юмагул чуть не свалился вниз от обуявшего его страха. Но вот глаза снежного человека как-то странно закатились, он отпустил руки-лапы и с грохотом упал на землю. “Наконец-то! — воскликнул охотник. — Наконец-то я его добил!” Тем не менее он решил пустить в лежащую под дубом тушу ещё пару зарядов, но пока возился с патронами, та вновь ожила, тяжело поднялась на ноги и довольно споровисто бросилась в сторону.

Юмагул был настолько потрясён, что чуть не выронил ружьё, удержав его в самое последнее мгновение. Теперь он просто следил за тем, как его лохматый противник чуть ли не с корнем вырвал росшее рядом деревце и с разбега ткнул им в осточертевший ему ствол дуба. На этот раз сотрясение было более ощутимым, с настила сорвался и упал вниз мешочек с едой, повисла шуба, чудом зацепившись за шербатый угол доски.

Юмагул изо всех сил сжимал ружьё, не зная, как действовать дальше. От сокрушительных тычков настил подскакивал и вот-вот готов был сорваться вниз. Оставив его и на ходу перекидывая ружьё за спину, Юмагул полез по стволу выше, пытаясь помогать себе ногами, но те то и дело соскальзывали, и ему стоило огромных трудов добраться до верхнего более или менее толстого сука. Устроившись на нём, он из неловкого положения произвёл ещё два выстрела, стараясь целить прямо в голову проклятого зверя. И опять безуспешно. Между тем тот добрался до уровня настила и принялся с остервенением ломать и швырять на землю оставшиеся доски. “Ну, теперь мне конец”, — почти спокойно подумал охотник, поглаживая гладкие гильзы двух последних патронов. Теперь он ясно понял, что его зарядами этого волосатого великана не пробьёшь, приходится уповать только на чудо. Но кто это чудо ему ниспошлёт?

А гифрит продолжал упорно карабкаться вверх, пытаясь схватить его лапами и свершить над ним суд прямо на верхушке дерева. Вот уже лохматое тело его совсем близко; ещё чуть-чуть — и схватит за ноги... И тогда, собрав последние силы, Юмагул с размаха ударил прикладом ружья по этому темени, абсолютно не надеясь на какой-либо успех. Но — действительно, чудо! — ветка, за которую держался снежный человек, внезапно обломилась, и он рухнул вниз вместе с ружьём Юмагула, которое выскользнуло из его обессилевших рук.

И в тот самый момент неподалеку послышался рёв трактора и человеческие голоса. Юмагул так и замер, из последних сил цепляясь за спасительный сук. Слезы сами собой поползли по его щекам.

Упавший с дерева снежный человек тоже услышал приближавшиеся голоса, бросил в их сторону быстрый взгляд и без особой спешки ушёл в глубину чащи.

Омертвевшие руки Юмагула будто приросли к стволу дерева, настолько сильно было его нервное напряжение. И только когда людские голоса зазвучали совсем рядом, он пришёл в себя, и первое, о чём подумал, было: жив! Да, Аллах вновь помог остаться ему в живых, и это само по себе уже было чудом.

Люди, сгрудившиеся вокруг дерева, не сразу разглядели на нём своего аульчанина. Один поднял с земли мешок с остатками еды, другой — ружьё с расщепленным прикладом, третий — старую шубу. Кто-то печально произнёс:

— Кажется, тут и нашёл свой конец наш отважный Юмагул-агай.

Но подоспевший Ульфат вдруг закричал пронзительным голосом:

— Вы что? Вон же он, Юмагул-агай! Живой! На дереве.

Все стоявшие внизу сразу вознесли взгляд вверх и ахнули, увидев старого охотника чуть ли не на самой макушке высокого дуба.

— Вот это да! — восхищённо промолвил один.

— Так высоко ни один наш малайка не заберётся.

— Слезай, Юмагул-агай! Ты что, летовать там решил?

Охотник медленно сполз вниз по корявому стволу дуба, который спас ему жизнь.

— Ну, и силён же ты, Юмагул-агай! Откуда только сила берётся!

— Юмагул-агай на то и охотник, чтобы не стареть.

— Ты тут так грохотал своим ружьём, что мы подумали: с целой вражеской армией воюешь, — сказал Почта-Сабит.

Между тем сам Юмагул внимательно приглядывался к уже растоптанной множеством ног земле и примятой траве, будто хотел отыскать какую-то потерянную вещь. Другие тоже стали рыскать вокруг себя глазами, ещё не понимая, зачем это нужно.

— Что ты ищешь, Юмагул-агай? — догадался, наконец, спросить один из аульчан.

— Следы крови ищу, — коротко ответил охотник. — Да, видно, не та это тварь, которую свинец берёт. Вот так, братки.

— Да стрелял ли ты в него? — спросил было кто-то из молодых, но на него так зашикали и замахали руками, что тот смолк и отошёл в сторонку, чувствуя себя виноватым. Было ясно: в лице этого снежного человека люди приобрели для себя страшного врага, а как с ним воевать, никто не знал.

После безуспешного поединка Юмагула с бурым наваждением несколько дней в ауле опять царили тишина и покой. Некоторые излишне беспечные люди вновь готовы были благодушествовать: ну, теперь-то он сюда не сунется, Юмагул-агай хотя и не подстрелил злодея, но напугал так, что тот вряд ли осмелится опять появиться в здешних местах.

И как бы в ответ разбойник растерзал сразу двух колхозных коров. Паника овладела сельчанами. Итак, всё начиналось сначала. Но кто же возьмётся по-настоящему бороться с этим воплощением зла и коварства, которое с каждым днём свирепствовало всё больше и больше? Были растерзаны ещё одна корова и дойная кобылица. Отныне все невесёлые мысли людей были связаны с этой двуногой бестией. Самое главное, никто не видел своими глазами, как он расправляется со скотиной: убивает ли её вначале и затем уносит, или сперва уносит, а потом уже убивает. Пытались копать на пути разбойника ямы-ловушки, покрывая их сверху лыком да землей, ставили хитрые капканы — всё напрасно: разбойник спокойно обходил опасные места и продолжал вершить свое чёрное дело.

Аул погрузился в глубокую печаль. Несколько семей перебрались в соседние деревни, к своим ближним и родным, уводя с собой скотину. Таким образом, селение, насчитывавшее около ста дворов, стало пустеть на глазах, становясь местом кровавого пиршества снежного человека.

Вскоре за горой у реки стало складываться новое поселение, состоящее сплошь из переселенцев.

А дикий разбой буро́го великана не знал границ. Теперь уже стали пропадать коровы и лошади в соседних деревнях. Горе и беда стремительно распространялись всё шире и шире. Прибывший из районного центра наряд милиции прочесал все окрестные горы и леса, но никаких ощутимых результатов не достиг.

Наконец, случилось то, чего со страхом ожидали все: Мансур с сыном, отправившиеся на поиски второй пропавшей коровы, обратно не вернулись. Лишь через пару дней их остывшие трупы были обнаружены на улице аула. Ни крови, ни увечий. Убийца умертвил их простым способом — сломал хребет и затем “милостиво” возвратил тела в родную обитель.

В один из вечеров Юмагул почувствовал за стенами дома присутствие своего заклятого врага. Он слышал знакомый топот его ног, мерную тяжёлую походку. Приблизив лицо к оконному стеклу, он взгляделся в вечернюю темь и увидел лицо снежного человека, зрящего на него в упор. От взгляда глубоко сидящих, пристально вглядывавшихся в него глаз ему стало не по себе.

А наутро он увидел пустой хлев — без единой скотины. Сарай был разрушен, жердяная ограда сломана. Видно, снежный человек решил, наконец, расправиться со своим главным врагом, уничтожив вокруг него всё живое и окончательно источив его волю и старческие силы.

Вскоре распространилась весть, будто бурый великан отнюдь не одинок, что подобных ему тварей много, и это было похоже на правду: началась настоящая охота на колхозный скот. Ни один самый лютый зверь не смог бы совершить такого разбоя, не будь рядом с ним других таких же пожирателей мяса.

И вот из города выслали вертолёт. Юмагула взяли в него как “специалиста по снежному человеку”, и он несколько часов кряду летал над горным массивом в поисках таинственных существ. Но у тех имелось непостижимое свойство скрываться от людского глаза, когда угроза для их жизни становилась вполне реальной.

Потом пришло сообщение, что положением в этих местах обеспокоились в правительстве и там сейчас совещаются по поводу того, какие меры следует предпринять для успешной борьбы с неожиданными кровожадными пришельцами.

Полное истребление собственной скотины Юмагул воспринял, как кровную обиду. Поняв, что подручными средствами бороться со столь опасным врагом невозможно, он решил проследить и понять его повадки, образ жизни, выявить уязвимые места. С тем он и отправился в новый поход под плач и причитания жены.

Долго бродил он по лесным тропам да горным перевалам, немало встретил следов снежного человека. Но стоило эту двуногую тварь начать искать специально и целенаправленно, как она тотчас исчезала из поля зрения, будто сквозь землю проваливалась. В то же время гифрит мог попасться на глаза в любой момент, стоило лишь отойти подальше от аула и углубиться в лесок. Он как бы играл с человеком в кошки-мышки, и с этим ничего нельзя было поделать. Старый охотник уже знал, что никаким ружьём его не возьмёшь, что черепная коробка у него — будто из чугуна, а тело — из железных мышц и суставов. Может быть, в него надо палить из пушек или бить из военных винтовок, в которых каждый патрон — с ладонь величиной?

Знал это Юмагул, знал, но снова отправлялся в горы, повесив на плечо старую двустволку и прихватив с собой скудный запас еды. Зачем? На это он и сам уже не мог бы ответить внятно. Зато чувствовал что-то подспудное, глубоко затаённое, что роднило его с самым этим снежным человеком, заставляло переступить порог родного дома и уходить в лесные дебри. Его перестал интересовать дом, он стал равнодушен к своему хозяйству, которым когда-то так дорожил. Даже к прямой своей мужской обязанности — добычанию пищи для прокорма семьи (не говоря уже о деньгах, о которых здесь и думать забыли) — он относился теперь спустя рукава, мог не есть, не пить долгие часы, а то и дни, а что там едят дома — не его забота. Он сделал своё дело, не один десяток лет тащил домой всё, что мог раздобыть, и никто не попрекнёт его за то, что он это делал плохо. А теперь пусть его оставят в покое, он заслужил хоть мало-мальского спокойствия и возможности предаваться своим думам и делам.

“Так что же это за тварь? — в который раз мучительно думал Юмагул, присаживаясь отдохнуть на кочку и напряжённо вглядываясь в окружающую его лесную чащу. — Откуда она взялась и как с ней следует разговаривать?..”

Разговаривать... А что? Может быть, с ним надо именно разговаривать, попытаться понять его? Ведь сначала он и появился-то как-то незаметно. Ну, задрал там какую-то коровёнку... Ну, пошалил вблизи аула... А разве стаи волков, на его памяти не раз бравшие деревню в осаду, такое только выдывали? Ого-го! И от волков доставалось, и от медведей. Да что там, если даже самые обычные лисицы иной раз причиняли такой урон колхозной птицеферме, что только стон стоял! И ничего, продолжают существовать рядом с человеком, как существовали сотни, а может, и тысячи лет. Боятся людей, особенно таких, как Юмагул, но существуют, чего же их за это попрекать? Правда, этот-то никому из них не чета. Даже медведям-шатунам, способным загрызть кого угодно, в том числе и человека.

Да, этот гифрит, этот снежный человек пришел в ярость именно после того, как люди стали ходить на него с ружьями. И первым был он, старый

Юмагул. А куда деваться, если он охотник и если нет во всём ауле более молодого человека, способного его заменить? До охоты ли нынче молодым, если водка заменяет им всё? Вон даже новый лесничий, присланный сюда для наведения порядка, не расстаётся с бутылкой, пьян целыми днями, все деланки, можно сказать, пропил, а ему хоть бы что! Ни контроля, ни проверки — одна словесная шелуха.

Да что там говорить, нынче пьют почти в каждом доме аула. Пьют и дерутся. Мужья бьют жён, жёны — своих детей. Недаром наложила на себя руки самая симпатичная девочка деревни — двенадцатилетняя Разиля! И после этого чего требовать? И удивляться тому, что в окрестных лесах хозяйничает существо, которое по жестокости ничем не отличается от человека? Да и повадки у него чисто человеческие. Только взять его ничем нельзя. Он будто бы ограждён самим Аллахом. Или сатаной. А может быть, самой Матушкой-Природой.

Эге-ге, не так все просто с этим снежным человеком, не сможет его, как сорокового медведя, взять старый охотник Юмагул. Силы уже не те. Да и нужно ли? Так почему же его так тянет в эти лесные дебри, подалее от человеческих глаз, прочь от деревенских сплетен, судов-пересудов, от каждодневной ругани и драк? Может быть, именно в этом неведомом гифрите почувствовал он родственную душу, живущую с незапамятных времён, когда он сам был таким же?

В тяжёлых думах возвращался Юмагул домой, так и не раскрыв тайн мохнатых пришельцев. Совсем иные думы одолевали теперь старого охотника.

Жена была безмерно рада тому, что муж вернулся цел и невредим: она-то ведь мысленно уже прощалась с ним навсегда...

Два дня и две ночи не поднимался Юмагул со своей постели. И болеть вроде не болел, а так, лежал и вздыхал, предаваясь своим невесёлым думам.

Когда на третий день Юмагул выглянул в окно, то вздрогнул и обомлел: вдали со склонов гор спускались вниз странные волосатые существа. Целое стадо! И впереди всех уверенно и степенно шествовал знакомый ему трёхметровый гигант — снежный человек. Страшный человек!..

## АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ



## И ПОМОГУТ СВЯТЫЕ БЕРЁЗЫ

### РАБОЧЕМУ

Оглянись-ка, земляк, посмотри, дуралей,  
Как живётся с тобой нам обоим:  
На советскую власть ты спустил кобелей —  
И остался бесправным изгоем.  
За куском к дармоедам ползёшь на поклон —  
Так тебя облапошили ловко.  
Где же гордость былая твоя, гегемон?  
Где смекалка твоя и сноровка?

Ты построил плотины, цеха и дворцы,  
Смастерил и станки, и ракеты.  
Почему же командуют ими дельцы?  
И не сам ли ты отдал всё это?  
На торжище спустил и своё ремесло,  
И завод, и страну, и эпоху...  
А теперь всё, что было, быльём поросло,  
Хорошо поменялось на плохо.

Наступила эпоха-пройдоха.  
Чем ответишь ты ей, кроме вздоха?

---

*ЩЕРБАКОВ Александр Илларионович родился в 1939 году в селе Таскино Красноярского края, в старообрядческой крестьянской семье. Окончил Красноярский пединститут и журфак Высшей партшколы в Новосибирске. Работал учителем, журналистом. Автор нескольких книг поэзии и прозы, изданных в Красноярске и Москве. Печатался во многих журналах СССР и России. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РФ. Живёт в Красноярске.*



## ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Ты рос в столице, на Трубе,  
А я в глубинке, на Тубе<sup>1</sup>,  
И потому ни “а”, ни “бе”  
Не понимаю я в тебе.

Ты поклонялся сатане,  
Я — православной старине,  
И потому ни “бе”, ни “ме”  
Не понимаешь ты во мне.

Ты не свернёшь — я не сверну,  
Как говорят, ни “тпру” — ни “ну”...  
И оба мы идём ко дну  
И тянем за собой страну.

## ПОМОЛЮСЬ...

Брошу всё и уйду на заре  
В лес тишайший, седой от мороза,  
И под тоненький звон снегирей  
Помолюсь белокорым берёзам.  
А кого ещё боготворить,  
На кого возлагать нам надежды?  
Если начистоту говорить,  
Лишь они нынче в белых одеждах.

Помолюсь за собратьев своих,  
Что попали в объятия бесов,  
И помимо стяжанья у них  
Не осталось других интересов.  
И за тех помолюсь, кто успел,  
И за этих, слетевших с катушек,  
Чтоб смягчить незавидный удел  
Уступивших лукавому души.

И за всю оскудевшую Русь,  
За бездольных её ребятишек  
Помолюсь, ибо очень боюсь:  
Не видать им ни книжек, ни пышек.  
Да минует их рабский хомут,  
Да минуют сиротские слёзы...  
Помолюсь — и берёзы поймут,  
И помогут святые берёзы.

## МИНУВШЕМУ ВЕКУ

Тебя свинцовым и кровавым  
Честят твои клеветники,  
Но ты иной достоин славы,  
Наветам злобным вопреки.

Да, всё ты знал: и кровь, и беды,  
Свинцовый свист и горький дым,  
Но всё же веком был победным,  
Российским, русским, прорывным!

---

<sup>1</sup> Туба — приток Енисея.

Ты впрямь рабочим и крестьянским,  
А значит — нашим веком был.  
Теперь мы это видим ясно —  
Все, кто былое не забыл.

### НА ТОРЖИЩЕ

Не мстительный, не злой, не заводной  
И в русский бунт не рвусь, махая дрыном,  
Но понимаю: жизни нам иной  
Век не видать, коль ею правит рынок.  
“Уместен торг”... И как мы ни ворчим,  
Он требует торгашеских талантов.  
Всё уже круг мастеровых мужчин,  
Всё шире — прощелыг и спекулянтов.  
И женщины, как их ни назови,  
Иной всё чаще проявляют норов,  
Былым предметам жертвенной любви  
Предпочитая выгодных партнёров...

Барыш перемешал добро и зло.  
Отсюда и наследников замашки:  
Заполучить портфель, “свалить из Рашки”.  
Что ж, се ля ви... Но только иногда  
Зайдётся сердце от тоски и боли,  
И думаешь: “Ужели, господа,  
Вы этого хотели, и не боле?”

### СЕДОЙ ПОЛОВИНЕ

Если смириться немножко,  
В жизни тебе повезло:  
В яме — грибы и картошка,  
В доме — тепло и светло.

Слабостям муж потакает...  
И вообще — хорошо  
Рядом с потухшим вулканом,  
Но не остывшим ишшо.

### МАТЕРИ

За кладбищенской рощей туманы.  
Над кладбищенской рощей дожди...  
Ты прости, ты прости меня, мама,  
Я приду, только ты подожди.

Закрутили меня, завертели,  
Замотали земные дела.  
И давно уже, как от метели,  
Голова моя стала бела.

Но заботам поставлю я точку.  
Помолюсь и с сумой на весу  
Ушагаю домой — и цветочки  
На могилку твою принесу...

Не однажды мне виделось это.  
Наконец, я в родимом краю  
На исходе Господнего лета  
Перед холмиком горьким стою.

Чёрный крест, домокованый, грубый,  
И берёза — как свет в небеса.  
Затряслись стариковские губы,  
И слезами застлало глаза...

У кладбищенской роши туманно,  
Над кладбищенской рощей дрожит.  
Я пришёл... Я вернусь к тебе, мама,  
Навсегда... только ты подожди.

---

---

*Сердечно поздравляем нашего стародавнего автора  
и друга с 75-летием!  
Желаем новых творческих свершений.*

*Редакция*

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

## НАРОДНЫЙ ГУБЕРНАТОР

По каким причинам именно к нему в Калугу приезжают, чтобы побеседовать с ним, многие знаменитые писатели, журналисты и телезвезды России – Александр Проханов, Юрий Поляков, Владимир Соловьёв? Почему едет к нему из Краснодарского края создатель всемирно известной “школы третьего тысячелетия” академик Михаил Щетинин, а из Франции – легендарный кутюрье Пьер Карден, из Америки – экономический гуру, один из самых успешных бизнес-мыслителей западного мира Ицхак Адизес, а из Москвы – народная артистка России Светлана Дружинина?

Почему именно перед ним с готовностью раскрывают свои объятия “Аргументы и факты”, “Литературная газета”, журнал “Наш современник”, “Учительская газета”, не говоря уж о различных телеканалах и сайтах? Почему за последние три-четыре года ему пришлось провести более 30 бесед с людьми куда более известными рядовому россиянину, нежели он сам? Ведь он не медийный кумир, не человек из списка журнала *Forbes*, не выдающийся политик. Он всего лишь один из 85 губернаторов России, руководящий небольшой и не слишком богатой Калужской областью.

Его беседа с тележурналистом и писателем Владимиром Соловьёвым, прошедшая в октябре 2011 года, начиналась так:

**В. Соловьёв:** Нефть в области есть?

**А. Артамонов:** Нефти нет...

**В. Соловьёв:** Газ есть?

**А. Артамонов:** Газа, слава Богу, нет.

**В. Соловьёв:** Природные ресурсы – уран, медь, никель – есть?

**А. Артамонов:** Нет.

**В. Соловьёв:** Тогда объясните: за счёт чего получилось то, что уже сейчас во многих книгах называют “Калужским чудом”?

А чудо начиналось с того, что в России в 2008 году на первое место по темпам промышленного роста вышла область, лишённая природных богатств.

Когда же в 2008 году мировой финансовый кризис потряс Россию, и федеральный центр, спасая регионы, выделил из резерва громадные деньги, Калужская область обошлась без федеральной помощи.

В 2010 году, когда Россия изо всех сил боролась с мировой финансовой катастрофой, калужане опять заняли первое место по темпам развития.

И недаром Владимир Путин во время посещения завода “Фольксваген” заявил на всю страну, что калужский пример “убедительно показывает, как можно практически с нуля создавать новые индустриальные центры, активно привлекать новые технологии, открывать дополнительные хорошо оплачиваемые рабочие места...”.

Впрочем, он мог сказать то же самое, посетив построенные на калужских землях заводы “Самсунг-электроник”, “Нестле”, “Вольво”, “Пежо-Ситроен”...

Но какова была природа энергии, рождавшей эти и многие другие очаги возрождения жизни на калужской земле?

На вопрос Владимира Соловьёва, попросившего объяснить, в чём “тайна Калужского чуда”, наш губернатор ответил просто и ясно: “Это можно сделать только если не на словах, а от сердца, от души любить то место, где работаешь. Я здесь родился. Здесь живу. Все мои родные здесь живут. Для меня лично принести пользу моей земле, моей Родине – это высший смысл моей жизни”.

Тут Соловьёв удивился: “Вы какой-то немодный губернатор. Модный губернатор рождается в Питере, приезжает в какую-нибудь губернию ненадолго, понимая, что их надо за уши вытянуть. В крайнем случае, он живёт в Швейцарии и летает туда на выходные...”

Калужский же губернатор, в отличие от администраторов из породы “перекати-поле”, которыми высшая власть затыкает кадровые дыры и прорехи, живёт по мудрой русской пословице: “Где родился, там и сошёлся...” Хотя он по праву заслужил славу умелого менеджера всероссийского масштаба, Анатолий Дмитриевич, тем не менее, понимает своё судьбоносное предназначение: “Мог ли я пойти работать в другой регион? Да, мог. Но то, что я делаю здесь, в области, не щадя себя самого, – не факт, что буду делать и в другом месте. Если у меня здесь всё естественно получается, то там я себя буду заставлять и считать дни, когда вернусь на свою малую родину”.

И жена Артамонова Зоя Иосифовна, как и он сам, “немодная губернаторша”. Нет у неё никакого “своего бизнеса”, никакой зарубежной собственности, и Анатолий Дмитриевич говорит о ней с трогательным простодушием: “Не думаю, что у кого-нибудь ещё из моих коллег жена несёт такую тяжелую ношу. Для того чтобы делать эту работу, надо иметь сердце, которое в рюкзак не поместится. В сфере её внимания – инвалиды, старики, дети, бездомные, пенсионеры – большая половина города”.

Так может рассуждать только подлинный сын русского простонародья, который родился и вырос в селе Красном самого дальнего и бедного района Калужской области. И его отец, и мать были крестьянами-колхозниками советской эпохи.

Отец в 16 лет ушёл на фронт и вернулся в родное село в 1945 году, отмеченный орденами, медалями и ранениями, работал плотником, ветеринаром, женился на девушке так же, как и он сам, крестьянского происхождения, которая, как и заведено было в русских деревенских семьях того времени, родила ему шестерых детей. Анатолий Дмитриевич был старшим, и естественно, что хозяйственные и воспитательные заботы, как и положено в многодетных семьях, смолodu легли на его плечи.

Наверное, это непростое и небеззаботное детство и сформировало его характер “старшего в семье”, навыки учителя, воспитателя, наставника. Потому он так охотно разговаривал в начале учебного года и с учениками обычной школы, и школы-интерната, и с молодыми учителями: “Нам нужно вернуть романтику в школу. Каждый учитель обязан помнить о том, что по тому, как сложится жизнь его учеников, когда они вырастут, станет ясно, удалась ли жизнь их учителя... Я радуюсь, когда вижу, что профессия учителя после страшных 90-х наконец-то становится популярной и уважаемой. Я вижу, что юноши и девушки выбирают её ради улучшения нашей общей жизни, и прошу учителей доходчиво объяснять детям, что они живут на замечательной земле”.

Он говорил без бумажки, задушевно, раздумчиво, убеждённо, может быть, вспоминая, как помогал отцу с матерью воспитывать младших братьев и сестёр, как учил их косить траву, кормить корову, колоть дрова, как после окончания школы-восьмилетки в родном селе два года ходил пешком за семь километров в райцентр, в среднюю школу, которую, несмотря на все домашние нагрузки, закончил почти на одни пятёрки.

Вот почему в беседе с Михаилом Щетининым, создателем уникальной школы в Краснодарском крае, Артамонов изложил свои сокровенные мысли о том, какого человека мы должны сегодня воспитывать в школах, чтобы возродить Отечество: “Человек в нашем Отечестве никогда не жил хлебом единым. И нам не реализовать открывающиеся перспективы, если в общественном сознании не будет настрой на труд – на труд во благо не только отдельной персоны или семьи, но и страны. Воспитанием гражданского патриотизма мы просто обязаны активно заниматься. Разумеется, не по американскому образ-

цу: индивид–государство–гегемония в мире. Народ России по сути – это народ коллективистский и самодостаточный. И я не могу не согласиться с вами, что у нас свобода развития личности должна сочетаться с несвободой от духовного родства с теми, кто живёт рядом. Великие победы наших предков достигались их великой дружбой: сам погибай – товарища выручай. Но традиционный коллективизм у нынешней молодёжи сохраняется лишь в генах, а не в сознании. Скажем, моё поколение выросло, близко к сердцу принимая слова песни: “Раньше думай о Родине, а потом – о себе”. А какие песни сейчас трогают сердца наших школьников? XXI век через всемирную паутину интернета пропитывает их индивидуализмом. Этого нельзя не учитывать. Поэтому нам предстоит решить очень сложную задачу: соединить у молодых стремление к личному успеху с неперенным желанием служить общим интересам”.

\* \* \*

На углу улиц Ленина и Дзержинского я остановился перед Доской почёта Калужской области и долго стоял, вглядываясь в фотографии и в скупые подписи под ними. Токарь из Людиново, глава администрации сельского поселения (по старому – сельсовета), доярка, тракторист, заведующая детским садом, акушерка... Все – дети простонародья, как и наш губернатор, который после окончания Московского института инженеров сельскохозяйственного производства вернулся на малую родину, где честно прослужил целых 17 лет, пройдя все этапы социального лифта советской эпохи: заведующий ремонтными мастерскими совхоза, главный инженер совхоза, начальник управления сельского хозяйства... И лишь после такой управленческой школы он стал секретарём райкома КПСС... Наверное, вспомнив своё честное трудовое прошлое, Артамонов пошутил в одном из своих интервью: “У нас в селе говорили, что лошадь, на которой ездит бригадир, пахать не будет!” Ах, если бы все секретари партийных райкомов проходили подобную школу, то в августе 1991 года советская власть смогла бы устоять под натиском ренегатов и перерожденцев!

... Я стоял перед Доской почёта и читал дальше: “Мастер производственного обучения”, “директор Износковской средней школы”, “учитель”, “директор спортивной школы”... Уж не сам ли Артамонов утверждал своей волей и своим педагогическим инстинктом список людей труда, выделяя в первую очередь не банкиров и менеджеров и даже не командиров производства и высокопоставленных управленцев, а учителей и воспитателей – устроителей духа народного?

В конце фотолетописи – изображение с подписью: “Руководитель народного хора русской песни”... Сердце моё ёкнуло. Вы сейчас где-нибудь услышите, чтобы, как в послевоенные годы, по радио или с телеэкрана неслись вечные, возвышающие душу звуки русского мелоса: “Вдоль по улице метелица метёт”, “Меж крутых бережков”, “Из-за острова на стрежень”, “Живёт моя отрада” – всё, что питало мою отроческую душу, вырываясь из чёрной тарелки репродуктора в нашем калужском доме на углу Пушкинской улицы и улицы Циолковского. Мой музыкальный и поэтический вкус складывался в этой стихии, созданной голосами Обуховой, Лемешева, Михайлова, Рейзена... А сейчас всё музыкальное пространство, за редким исключением, забито попсой, нашей и зарубежной. Посмотрите хотя бы передачу “Голос”. Много ли там русской музыки? Потому очень отрадно было увидеть на Доске почёта в моём родном городе фотографию женщины – руководителя ансамбля русской народной песни.

В 1957 году, приехав после университета в сибирский город Тайшет, где калужские комсомольцы строили железную дорогу Тайшет–Абакан, я ходил на работу в редакцию газеты “Сталинский путь” мимо подобной Доски почёта. Я знал в лицо многих из них, работавших на полевых станах, на животноводческих фермах, на лесопунктах, на возведении ажурного железнодорожного моста через Бирюсу. Одно из стихотворений моей первой книжки “Землепроходцы”, изданной в 1960 году в Калуге, было посвящено им:

*Городкам в России нету счёта.  
Почта. Баня. Пыль и тишина.  
И Доска районного почёта  
На пустынной площади видна.*

*Маслом размалёваны разводы,  
Две колонки — словно две колоды...  
Работёнки, скажем, неказисты  
Местных самоучек-кустарей —  
Выцветшие каменные лица  
Плотников, доярок, слесарей.  
Я-то знаю, как они немеют  
И не знают, руки деть куда,  
Становиться в позу не умеют,  
Вот пахать и строить — это да!  
Всматриваясь в выцветшие фото,  
Все, как есть, приму и всё пойму  
В монументах временной работы  
Вечному народу моему.*

“В поте лица будешь добывать хлеб свой”, — говорит Священное Писание. Но и завет социализма, в сущности, повторяет смысл вечной истины, хотя и другими словами: “Кто не работает, тот не ест”...

Много воды утекло с той поры в русских реках — и бирюсинской, и окской. И страна давно уже не та, и народ вроде бы другой. Но ведь не случайно же с калужской Доски Почёта, как некогда с тайшетской, на меня глядят лики людей труда! А значит, чувства надежды, любви, веры, самоотверженности не до конца выветрились, и семена их не сегодня, так завтра могут прорасти на нашей почве. Энергия элиты — дело важное. Но без энергии масс осуществить великие исторические проекты переустройства жизни невозможно. История СССР — тому подтверждение.

В 80-е годы мой друг Валентин Распутин произнёс крылатые слова: “Россия переварила социализм”. Глядишь, и капитализм переварит, сделает его, насколько это возможно, при помощи таких людей, как Артамонов, христианским, человечным.

Я перешёл улицу Ленина и очутился в Карповском скверике, прочитал на мраморной доске, что здесь, на месте сквера когда-то стояла церковь Благовещения, сначала закрытая, а потом и разрушенная большевиками. Теперь на этом месте возвышается бюст нашего великого земляка, дважды Героя Советского Союза лётчика Александра Терентьевича Карпова, сбившего во время войны 35 фашистских самолётов. А ведь недаром этот бюст курносого русского парня с бронзовым чубом стоит на фундаменте церкви — как искупление грехов и власти, и народа Великой войны, которая вечно будет называться “священной”. Может быть, и трудовые достижения таких героев нашего времени, как Артамонов, искупят грехи отцов-основоположников *дикого капитализма* и “героев” “великой криминальной революции”.

\* \* \*

Вот что говорит и как думает о русском простонародье его кровный сын Анатолий Дмитриевич Артамонов:

“Сейчас можно слышать из уст многих людей такое странное словосочетание: “в этой стране”. А я никогда не скажу о своей малой родине: “в этом селе”... Я всегда говорю: “в моём селе, в моей области, в моей стране”. Не бывает ни одного дня, чтобы я не вспомнил о своей малой родине”.

“Патриотизм сидит сегодня в любом американце, японце или китайце, а у нас, в России, чувство, что я живу в родной стране и должен сделать всё, чтобы моя страна была самая-самая, — это в последнее время было вымыто из наших мозгов”.

“Если не знать истории своей страны, то не будет источника вдохновения для того, чтобы свою жизнь посвятить Отчизне”.

“Тот, кто не жалеет живота за *други своя*, — тот русский человек ... И тот, кто с иными народами умеет жить в ладу”.

“Меня всегда возмущает, когда ищут только плохие примеры и на этом показывают, каким плохим стал русский человек ... Я вижу, как с каждым годом растёт число молодых людей, которые хотели бы гордиться своей Родиной — Россией. И даже те, кто проживает за границей”.

“Кто-то должен появиться на русской земле, чтобы уже без надрыва, в спокойном соизидании продолжить самоутверждение России как действительного центра спасения всего мира. Я абсолютно уверен: именно России уготована эта участь. Другой такой страны, как наша, нет”.

“Если бы в России стали сегодня заниматься воспитанием патриотизма так же, как в США, все близкие и далекие соседи немедля обвинили бы нас в шовинизме. Поэтому мы стесняемся. Но наша деликатность должна иметь пределы – так логика жизни подсказывает”.

Эти слова Артамонова взяты из его бесед с А. Прохановым, Ст. Куняевым, М. Щетининым. Я знал и знаю многих губернаторов двух последних десятилетий российской истории. Многим из них такие мысли и не приходили никогда в голову. Иным были вообще враждебны. Иные, если и были согласны с подобного рода убеждениями, почти никогда не решались публично высказывать их, поскольку в ельцинскую эпоху патриотизм был объявлен “прибежищем негодяев”. Но сейчас, когда я перечитывал ответы Артамонова именитым собеседникам, то вспомнил чеканную мысль Достоевского о том, что нужно было русскому народу во время смуты и поисков нового исторического пути – в послереформенную эпоху второй половины XIX века: “Самоуважение нам нужно, а не самооплевывание”.

И недаром наш современник – выдающийся педагог Михаил Щетинин – со всей искренностью и прямотой сказал Артамонову не комплимент, а чистую правду: “Вы губернатор со стержнем государственника и широкой душой русского человека”.

\* \* \*

Каково же происхождение “калужской энергии”, объединяющей людей в коллективы и команды, энергии, подобно магниту притягивающей в небогатую область громадные деньги и высококласных специалистов, энергии, возводящей на месте придорожных пустырей и барахолок синие ангары технопарков, энергии, поднимающей из руин великие монастыри и храмы?

Может быть, это энергия карьеры? Или энергия тщеславия? Или энергия материального интереса?

Много раз Артамонов в своих беседах объяснял, что ни один из этих стимулов не играет решающей роли в его судьбе. А вот к понятиям “долг”, “вера”, “надежда” он относится серьезно.

“Если человек приходит во власть, и у него появилась мысль о собственном благополучии, ему надо сразу сказать: “Ты ошибся”. Оплата труда бывает разной. Кому-то важны деньги, а для меня и моей команды важнее моральный фактор, моральное удовлетворение. Я вообще никогда не скрывал любовь к своей Родине, выше которой быть ничего не может. И для меня принести ей пользу – это высшая награда. На ту заработную плату, которую мы получаем, с голоду ещё никто не умирал. И костюм можно купить, и туфли, и детей одеть-обуть. Всё нормально. А олигархи – они несчастные люди. Я – раб своей работы, но мне это приятно. А он раб своих денег – это гораздо хуже” (из интервью газете “Завтра”).

А в разговоре с телеведущей Светланой Гордеевой он вспоминает свою поездку в северо-западный Китай, где люди в 1997 году жили в “лачугах и пещерах” вдоль речных берегов и оврагов, но знали, что они догонят по уровню жизни свои высокоразвитые южные провинции: “Бедняки из пещер и лачуг в это верили”, – восхищается Артамонов, и вера их оправдалась. В том же интервью Анатолий Дмитриевич с грустью добавил: “Может быть, глядя на трудолюбивых китайцев, мы тоже вспомним времена, когда трудились с большим усердием”. Может быть, при этом он вспомнил стихи Маяковского о строителях Кузнецка, которые, подобно китайцам “в пещерах и лачугах”, укрываясь под телегой от холодного дождя, шептали: “Через четыре года здесь будет город-сад”, – или вспомнил своего отца, возродившего жизнь из руин, оставленных поколению победителей страшной войной.

В этой же беседе с Гордеевой наш губернатор не случайно, но тактично и твердо вспомнил, что китайцы могут по-разному оценивать деятельность Мао Цзедуна, но портрет его на главной площади Пекина висит. И никто никаких разговоров не ведёт, чтобы его убрать, – других дел у всех много.



Я думаю, что это своеобразный ответ Артамонова либеральным болтунам и демагогам, вот уже тридцать лет ведущим разговоры о выносе тела Ленина из Мавзолея, а также ответ устроителям праздников, закрывающим во время торжеств на Красной площади гениальное творение зодчего Щусева со словом “Ленин”, врезанным в красный гранит...

Артамонов уважает и ценит историю Отечества такой, какой, по словам Пушкина, “дал её нам Бог”, и говорит об этом с подкупающей прямоотой: “Человек, который не видит заслуг предшественников, — это пустой человек. У него самого никаких заслуг не будет”.

Да, Артамонов умеет извлекать всевозможную пользу из рыночной жизни и из *рыночной демократии*. Но одна из самых высокохудожественных бронзовых скульптур Ленина, поставленная в городе в 30-е годы, стоит в Калуге на площади Старый Торг перед губернаторской резиденцией.

А когда профессор Ицхак Адизес в разговоре с Артамоновым начал говорить нечто легкомысленное и потому несправедливое о советской эпохе, Артамонов мягко и решительно поправил его: “Я не готов с вами согласиться, что корни затронутой проблемы все в прошлом. Вот вы доказывали на вчерашнем тренинге, что одним из факторов экономического успеха является вовлечённость всех людей в общую работу, в общее дело. И я вспомнил кинохронику сталинских десятилетий. Да, тогда был тоталитаризм, а последствиях которого вы говорите. Но тогда же на улицах было огромное количество весёлых людей, которые неподдельно радовались жизни. Это было не всегда и не у всех. Но было же! Мне кажется, что в сегодняшней нашей жизни, в сегодняшнее наше время нам как раз не хватает вовлечённости людей в общие процессы. И они не чувствуют радости от сделанной работы, потому что каждый — и богатый, и бедный — работает лишь на себя: а какая радость поодиночке?”

Удивительно точная характеристика нашего времени, после которой Адизес сказал Артамонову, что тот — своеобразный миссионер: “По моим исследованиям, самая лучшая мотивация — это миссия, цель... Я уверен, что у вас лично есть энергия цели...”

Иногда эта энергия цели придаёт словам Артамонова предельную убедительность, особенно когда он говорит о социальной справедливости, необходимой для будущего России: “В нашей стране прошла *прихвятизация*, приватизации у нас не было. Кто у нас является собственниками так называемых отечественных предприятий? Ни одного случая я не знаю, чтобы предприятиями владели группы рабочих или начальников цехов. В одночасье собственниками предприятий становились, как правило, бывшие их директора. Что они делают дальше? Вот владелец “Автоэлектроники” Андрей Виленович Перчан продаёт её иностранной компании. Спрашивается: это он построил данное предприятие? Нет. Почему же деньги от продажи предприятия должен положить в карман именно он, а не рабочие?”

Владелец завода “Стройполимеркерамика” Мамбетшаев Саит Ваитович продаёт испанцам это крупнейшее предприятие по производству строительной керамики: фаянс, кирпич — 80 млн штук в год, — некогда построенное Министерством среднего машиностроения. Теперь представьте: я иницирую вложение средств в эти предприятия. А через пару месяцев они ещё бы дороже продали их вместе с вложенными народными деньгами. Ликёроводочный завод — одно из лучших предприятий было в Советском Союзе! — сегодня вообще прекратил своё существование, потому что собственник продал его жулику, который завод разорил и теперь пытается нам продать его помещения, землю”.

Родовая травма “великой криминальной революции” до сих пор кровит на теле России, и это не даёт покоя одному из лучших её губернаторов.

Несколько лет назад мы беседовали с Артамоновым о трагедии нашего сельского хозяйства, и я напомнил ему его же слова: “Немалая часть калужских земель превратилась в товар для спекуляции, а где-то — просто в омертвелую недвижимость, и сегодня мы уже не можем людям, желающим заниматься сельским хозяйством, предложить свободные земли, мы тратим усилия на поиски инвесторов, уговариваем их вложить деньги в простаивающие сельхозугодья, но хозяин, не склонный хозяйствовать на земле, отказывается её продавать по приемлемой цене. Стыдно: у нас столько земель, а мы покупаем продовольствие. А ведь почему мы стали экспортировать зерно? Мы поубивали своих коров, некого стало кормить, нет своего скота, вот и стали

вывозить зерно. Я подозреваю, что люди, которые имеют влияние в Москве, в том числе и в Госдуме, нахватали, применю это слово, пахотной земли, и им теперь надо добиться, чтобы её разрешили перевести в земли иных категорий, тогда она сразу на несколько порядков вырастет в цене”. “Многие земли находятся в собственности людей, зачастую иностранцев, которые никогда не собирались и не собираются их обрабатывать, но сидят на них, как собака на сене. В Калужской области, например, один гражданин Израиля владеет громадными земельными ресурсами, которые он получил, купив когда-то у крестьян паи. И с тех пор он просто ждёт повышения капитализации этих земель, и не напрасно. Стоимость земель растёт, а человек, ничего не делая, ежегодно богатеет”.

“Если Вы действительно этого хотите, я начну говорить всю правду об итогах приватизации – ту правду, о которой люди зачастую не знают. Момент истины настаёт” (из бесед А. Д. Артамонова с А. Прохановым, Ст. Куняевым, М. Абельян).

Вспоминаю ещё одну его реплику на эту тему: “Слава Богу! Удалось вернуть три тысячи гектаров прекрасной пахотной земли, которой в лихие девяностые завладел Андрей Кончаловский. Завладел, а в дело не пустил. Заросла земля кустарником. Но ничего, возродим...”

С такой откровенной смелостью о разорении колхозов и о преступлениях наших “младореформаторов” по отношению к земле и крестьянству не говорил, пожалуй, ни один человек из высших эшелонов власти.

\* \* \*

Обсуждая все эти горячие вопросы, вспоминая коллективизацию и все её и страшные, и благотворные последствия для истории Отечества, мы с Николаем Анисиним – советником губернатора – сидели за чаем вместе с Анатолием Дмитриевичем. Речь шла и о “Тихом Доне”, и о гражданской войне, ну и, конечно, о ГУЛаге и об энергетике сталинской эпохи. О том, чего было в ней больше – принуждения или добровольного самопожертвования, с помощью каких сил она творила чудеса развития страны, когда производительность труда в СССР ежегодно вырастала аж на 16 процентов!

В связи с разговором за чаем я вспомнил крестьянского сына, знаменитого поэта Виктора Фёдоровича Бокова, которого знал весьма близко, и рассказал о его судьбе Анатолию Дмитриевичу.

Виктор Боков, доживший до 95 лет и умерший в 2010 году, во время войны учился в офицерском училище, но во время учёбы за какие-то лишние разговоры вместо того, чтобы попасть в звании младшего лейтенанта на фронт, очутился в Кемеровских лагерях, где написал несколько стихотворений, проклинающих Сталина. Но когда я в год его 90-летия приехал к нему в Переделкино за стихами, он попросил меня напечатать новые стихи о Сталине, где были строки:

*Я жил при нём, при нём сидел и строил,  
Я понимал, что мне не жить в раю,  
Прости мне, вождь, что я побеспокоил  
Бессмертную фамилию твою.*

А второе стихотворение заканчивается так:

*Что случилось со мной — не пойму,  
От ненависти перешёл я к лояльности.  
Тянет и тянет меня к нему,  
К его кавказской национальности...*

И это было написано поэтом, чья молодость прошла в эпоху беспощадной коллективизации! Но поскольку за нашим чайным столом речь зашла и о ГУЛаге, о том, что многие люди, прошедшие эту школу жизни, по возвращении доживали чуть ли не до ста лет (“естественный отбор” – сказал губернатор), то я вспомнил стихотворение Бокова о том, как он жил и трудился в неволе, как пересказывал в бараке уголовникам по вечерам после тяжких

земляных работ то роман “Красное и чёрное” Стендаля, то “Евгения Онегина”, то “Героя нашего времени”.

Видя интерес Анатолия Дмитриевича к моему рассказу, я после некоторого колебания решился и прочёл ему лагерное стихотворение Бокова:

*Моё сибирское сиденье  
Не совершило убиенья  
Моей души, моих стихов,  
За проволокой месяц ясный  
Не говорил мне: “Ты несчастный!” —  
Он говорил мне: “Будь здоров!”*

*Бывало, сердце под бушлатом  
Стучало, словно автоматом,  
Тянулись руки за кайлом.  
Земля тверда, но твёрже — воля.  
Бывало, на коленях стоя,  
Я в землю упирался лбом.*

*Я в уголовном жил бараке.  
Какие там случались драки,  
Как попадало мне порой!  
Но всё ж ворьё меня любило,  
Оно меня почти не било,  
И кличку я имел “Герой”.*

*Рассказывал я горячо им.  
В барак за мною шёл Печорин,  
Онегин и Жюльен Сорель.  
Как мне преступники внимали,  
Как спящих грубо подымали:  
— Кончай храпеть! Иди скорей.*

*Ах, Родина! Сибирь с бушлатом!  
Меня ты часто крыла матом,  
Но и жалела... Бог с тобой!  
Скажи, стоят ли наши вышки,  
И все ли на свободу вышли,  
И все ль вернулись домой...*

Артамонов пришёл в восторг, захопал в ладоши, подошёл ко мне, обнял за плечи... Я никогда не видел его в таком воодушевлённом состоянии. Но что могло так привлечь его в этом стихотворении? Скорее всего, он понял, что даже в жутких условиях лагерной жизни русский человек не падал духом, не впадал в отчаяние, не терял волю к жизни, жил верой и надеждой на лучшее будущее, сострадал своим товарищам по несчастью, жил человеческими, а не античеловеческими чувствами, христианским терпением и невольным братством со своими соседями по нарам, жестокие души которых смягчались, когда они слушали рассказы молодого поэта о трагических судьбах Печорина, Онегина и Жюльена Сореля... Ну, разве можно себе представить, чтобы такие своеобразные душевспасительные уроки литературы могли происходить в сегодняшних лагерях?

При всём своём прагматизме, при всей своей деловитости Артамонов в глубине души знает и любит русскую литературу. Наверное, в Хвостовичской школе этот великий для нашей школы предмет ему преподавала толковая, знающая дело учительница.

Однажды во время встречи с Анатолием Дмитриевичем мы разговорились о некоторых особенностях жизни и быта калужских деревень, и я вспомнил о том, как в рассказе “Хорь и Калиныч” Иван Сергеевич Тургенев, можно сказать, прославил наших земляков, с которыми много раз встречался во время своих охотничьих скитаний по жиздринской земле.

“Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей Орловской губернии и Калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живёт в драных осиновых избёнках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дёгтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханых полей, близ оврага, кое-как превращённого в грязный пруд. Кроме немногих раки, двух-трёх тощих берёз, деревца кругом на версту не увидишь; изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой... Калужская деревня, напротив, большею частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей, крыты тёсом; ворота плотно запираются, плетень на задворье не размётан и не вывалился наружу, и не зовёт в гости всякую прохожую свинью...”

Услышав в моём пересказе эти мысли, Анатолий Дмитриевич, сын калужской деревни, пришёл в восторг:

— А сейчас я вас, Станислав Юрьевич, познакомлю с мыслями о Калужской земле ещё одного писателя, имя которого вы, может быть, и не слышали. — Он встал из-за стола, подошёл к книжному шкафу, быстро отыскал какой-то свиток, скрученный из плотного листа бумаги, и прочитал с особым волнением:

“Не нужно быть очень большим учёным, обладать большими научными, этнографическими и топографическими знаниями, чтобы при самом беглом обзоре благодатной Калужской губернии убедиться, что это самое красивое, самое благодатное и целебное, в точном смысле этого слова, местечко центральной России. Высоко стоит Калужская губерния по отношению к другим”.

— Кто же это написал и когда? — удивился я.

В ответ губернатор протянул мне факсимильную страничку из старинной, зачитанной и весьма затрёпанной книги. В конце страницы стояли слова: “В. П. Быков, писатель-богослов, “Тихие приюты” 1913 г<од>.”

— Возьмите на память!

Я вставил в рамку этот драгоценный листок из книги, изданной ровно сто лет тому назад, и он висит у меня на стене моей калужской квартиры.

Именно такие чувства любви к своей Родине, восхищения ею и её людьми и рождает энергию, которая воплощается в инвестиции, в экономические успехи, в сверкающее возрождение монастырей и храмов.

Недавно на валдайской встрече Владимир Владимирович Путин на вопрос Александра Проханова, что он понимает под проектом “Россия”, ответил:

— Россия не проект, Россия — судьба!

Для таких людей, как Калужский губернатор, Россия — тоже судьба.

\* \* \*

На совместном заседании Правительства и федеральных чиновников, которое проводится с раннего утра по понедельникам, губернатор сразу же погружается в пучину срочных дел.

— Что такое местная и федеральная пресса в жизни области? Как идет уборочная страда? Каковы надои от одной коровы? Сколько заготовлено на зиму кормов? В каком состоянии находятся школы области в канун нового учебного года?..

А когда губернатор узнал, что в Кондрово в “интересах бизнеса” обанкротилась бумажная фабрика, принадлежащая структурам олигарха Дерипаски, а в результате закрывается теплоэлектростанция, и часть жилого фонда может остаться без отопления, а на носу зима, то возмущению его не было предела:

— Ни в коем случае нельзя ставить людей в такие условия! Жаль, что Дерипаска принимает меня за несерьёзного человека. Я сказал ему, что его управленцы, которые управляют его предприятиями в Калужской области, довели их до ручки, рабочих вышвырнули на улицу. Я ему сказал, что его люди жулики... Подключайте прокуратуру!

Чуть ли не по каждому вопросу губернатор высказывает свои соображения, которые всегда точны и конструктивны. Калужские туристы попали на Крымской земле в аварию, некоторые лежат в Севастопольской больнице. Губернатор предельно озабочен: надо пострадавших людей доставить в Калугу. Подключайте службу соцзащиты. Не будем нищенствовать.

– Старая женщина, которая была в детстве узницей фашистских лагерей, сейчас живёт в полуразвалившейся избе, – докладывает один из чиновников. – Но по закону, поскольку она не была участницей войны, улучшить её жилищные условия невозможно – так решили местные власти. – Услышав это, губернатор разволновался:

– Да, есть наши обязательства по закону, но есть ещё и человеческие обязательства, есть ещё кодекс милосердия. Давайте и поступать по его неписаным правилам...

Кто-то из чиновников пожаловался, что журналисты нередко извращают факты и несправедливо обвиняют губернские и местные власти во всяческих грехах. Губернатор отвечает не задумываясь:

– Если считаете, что они не правы, – подавайте в суд. Журналисты должны знать не только о своих правах, но и об ответственности за свои слова.

\* \* \*

Помню послевоенные церкви, мимо которых я ходил через всю Калугу от Загородного Сада до 9-й железнодорожной школы. Я шёл мимо этих пустых, ободранных, зияющих проёмами чёрных окон церквей, таинственных и в то же время величественных в своём поругании. В храме Бог поруганным не бывает. Мы любили лазить по их полуразрушенным сводам, разглядывали остатки ликов и фигур на стенах и куполах, озирали городские зелёные кварталы с высоты обесчещенных колоколен, на которых не было крестов. Но, право, в храмах, заросших травами и кустарниками, была своеобразная выстрадавшая святость...

Помню, что я, читая книгу Сергеева-Ценского “Севастопольская страда”, наткнулся на описание того, как жители Севастополя праздновали какую-то локальную победу во время обороны города и в честь неё “колокольный звон стоял в Севастополе, как в Калуге на Пасху...” Ещё бы, ведь в городе моём перед революцией было около сорока церквей... Сначала по пути в школу я проходил мимо единственной работавшей в те годы Георгиевской церкви. Совсем близко от неё на углу Пушкинской и Смоленки стояла коробка церкви Одигитрии, без колокольни и без куполов, превращённой в общежитие, где и на первом, и на втором этажах тянулись длинные коридоры с комнатами по правую и левую руку. Третьим храмом на моём пути было Оптинское подворье, стоявшее на Смоленке – улице, спускающейся от Одигитриевской вниз к Оке. Перейдя через Каменный мост, я выходил к парку культуры имени Горького, в котором стояли изумительные по красоте руины Троицкого собора; а если я поворачивал голову влево, то взор мой упирался в церковь Покрова на рву, превращённую в громадную инкубаторную фабрику. Итак, я прошёл уже пять храмов! Но пройдя площадь Старый Торг с Гостиными рядами, я, обрастая свой взор в начало улицы Революции, видел церковь Святого Никиты (где крестили моего деда по матушке), превращённую в кинотеатр “Пионер”, а повернувшись к Оке, мы разглядели за домами скульптурную фабрику, разместившуюся в Никольской церкви. Как сквозь строй, я прошёл мимо семи храмов, и уже школа недалеко, но ещё один остов стоит на моём пути рядом с кирпичной стеной, построенной будто бы для того, чтобы вести в Калуге уличные бои, когда в город войдут немецкие танки, а внизу, у самой реки, я вижу, как поблескивают золотом купола женского монастыря, превращённого в архив, а на улице Луначарского, если свернуть туда от кирпичной “противотанковой стены”, стоит ещё одна церковь, превращённая в кухню детского питания; вот уже и моя школа, бывшая гимназия, где преподавал Циолковский, и прямо напротив неё – храм Благовещения...

Итого, пока я дошёл до школы, я прошёл мимо одиннадцати церквей! Для чего я это вспоминаю? Да для того, чтобы поклониться Анатолию Дмитриевичу Артамонову с благодарностью, потому что именно за время его губернаторства все эти святые руины, за исключением церкви Одигитрии, возрождены, расписаны современными мастерами, сверкают новыми иконостасами, за то, что по праздникам в них молится православный народ, священники совершают таинства и требы, а колокольный звон в Калуге по праздникам вновь стоит, как в Севастополе времён Крымской войны, описанной Сергеевым-Ценским в романе “Севастопольская страда”.

“Я верующий человек”, – сказал Артамонов в одном из своих интервью. А вера, как и любовь, подтверждается делами.

НАТАЛЬЯ ПЕТРОВА

## ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО УЧИТЕЛЯ

На жмыхе будем сидеть,  
а школу обиходим!

Учительство 20–30-х годов

Революционный слом 20-х годов затронул всё, в том числе и народное образование. “Новый порядок” устанавливался и в искусстве, и в литературе, и в просвещении. Особенно рьяно “сбрасывали с корабля современности” классическое наследие прошлого и отстаивали культ классово-борьбы Пролеткульт, Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП), Левый фронт искусств, редколлегия журнала “На посту”. Для подготовки пролетарских кадров требовалась новая, “красная” интеллигенция, и ковать эти новые кадры необходимо было со школьной скамьи. Поэтому среди первых декретов, принятых большевиками, было “Положение о новой школе”, которое в корне ломало сложившуюся систему школьного образования.

Дореволюционную школу ругали учителя, ученики и их родители. За что? Прежде всего, за мелочную регламентацию, за жёсткую дисциплину, за ежегодные переводные экзамены, за ненавистную зубрёжку, за латынь и греческий, наконец. Все недостатки школы, казалось тогда, порождён существовавший в государстве несправедливый строй. В начале XX века многие надеялись на очистительный ветер будущей революции, который вышвырнет из старой школы всё отжившее и распахнет для школьников окна в новую жизнь.

В ожидании перемен многие школьники в те годы добровольно уходили из гимназии – так они выражали свой протест против порядка, который “иссушает мозги”. Один из гимназистов, объясняя свой поступок, даже сравнил этот порядок с “ужасным животным, у которого на жирных губах висят куски награбленной крестьянской пищи, а руки в крови от избияния студента, рабочего и жида”<sup>1</sup>. Другой ученик, покидая гимназию, назвал свои заметки “В школьной тюрьме. Исповедь ученика”.

И принесенные бурей семена ложились на благодатную почву. Но, как заметил историк и педагог XIX века Николай Устрялов, “в области просвещения плоды зреют медленнее, чем где бы то ни было”. Добавим: а место вырванных с корнем полезных растений всегда норовят занять сорняки... Вот и советская педагогическая система выстроилась не вдруг, не сразу, а прошла долгий путь проб и ошибок.

## Подряды из штата Массачусетс

Большевики, отбросив традиции русской педагогики как устаревшие, объявили о строительстве новой, подлинно демократической школы. В те годы особенно популярным был зарубежный опыт, в первую очередь, американский, и заморские педагогические изобретения внедрялись в нашей стране по горячим следам, нередко сразу вслед за их появлением на свет.

Большие надежды в советской России возлагались на американское новшество под название Дальтон-план (Dalton Plan) – систему индивидуализированного обучения. Придумала его в начале XX века Е. Паркхерст из штата Массачусетс. Учащиеся, по мысли автора этого метода, не должны заниматься в классе, осваивая основы наук, – это рутина, им необходимо предоставить свободу в выборе занятий и самостоятельность в планировании своего рабочего времени. Для этого учебный материал разбивался на месячные разделы – подряды, а они, в свою очередь, на ежедневные задания. В начале учебного года каждый ученик заключал со школой контракт о том, как он самостоятельно будет прорабатывать определённое задание. Работа педагогов сводилась к консультированию школьников, а методические указания и инструкции объясняли ученикам, как следует работать.

Дальтон-план подходил для новой, революционной школы как нельзя лучше – он развивал инициативу, поощрял самостоятельность учеников в приобретении знаний, учил самоконтролю, а главное – укреплял связь школы с жизнью, то есть делал то, чего так не хватало старой школе. Но уже в первые годы применения этого метода даже самые революционно настроенные педагоги убедились в крайне индивидуалистичном характере новшества.

Не секрет, что многие ценные человеческие качества раскрываются как раз во время коллективной работы, а в детстве, когда характер и индивидуальность ещё только формируются, это особенно важно. Индивидуальная лабораторная работа имеет право на существование в школьной жизни, но она должна, как показывает практика, сочетаться с коллективным поиском истины. Поэтому, критично оценив результаты Дальтон-плана, в России придумали сочетать его с методом проектов, назвав нововведение бригадно-лабораторным методом.

Вместо обязательной программы обучения вводилась система проектов, а классы заменялись подвижными звеньями и бригадами. Теперь проект выполнял не один ученик, а бригада. Проекты могли быть самыми разнообразными и должны были охватывать все сферы деятельности ученика. Под руководством учителя дети выбирали тему проекта, составляли план работы и шли к намеченной цели. Авторами метода проектов были американский философ и педагог Дж. Дьюи и его ученик В. Х Килпатрик<sup>2</sup>. Их главная идея заключалась в том, чтобы ученики принимали активное участие в обучении, а знания, полученные в школе, носили сугубо прикладной характер.

Каковы же темы этих проектов? Вот некоторые из работ, выполнявшихся в американских школах:

Как м-р Чэз стрижёт своих овец.

Как м-р Лонг делает патоку.

Как м-с Гин выращивает такие красивые цветы.

Чем отличается сосна от кедра.

Как набрать диких каштанов.

Как м-р Слокум собирает свой хлопок.

Проследить, как черепаха переступает через ветку.

Как м-р Вильямс упаковывает яйца.

Прудить на речке.

Покататься на пони м-ра Джима Шотланда.

Чем овца отличается от козла.

Как работает трактор м-ра Боуэра.

Как миссис Боссерман ошипывает гусей.

Наловить лягушек для нашего аквариума.

Как новый дом м-ра Боссермана снабжается электрическим светом, водой и теплом.

Как собираются наши налоги в Пиневиле.

Как назначается наш дорожный инспектор.

Как расходуются наши налоги в Пиневиле.

Это не злая сатира на современную американскую систему образования, а всего лишь список работ, которые выполняли ученики американской сельской школы в 20-е годы. Как видим, все “проекты” отличаются, мягко говоря, простотой. Представим 14-летних детей (темы “проектов” предназначены для этого возраста), которые день за днём наблюдают, как черепаха перешагивает через ветку, или пытаются осознать, чем овца отличается от козла. Возникает вполне логичный вопрос: “А где же, собственно, обучение основам наук?” Оно происходит мимоходом, поясняют авторы метода, то есть по ходу проработки таких вот “проектов” дети учатся писать, считать, говорить и постигают на элементарном уровне родную историю и географию<sup>3</sup>.

Постигнув таким оригинальным способом основы наук, дети переходили к постижению жизни. Чтобы это важное дело продвигалось быстрее, всё в той же американской сельской школе им предлагались так называемые практические “проекты”:

Обработка огорода.  
Изготовление коробки для гвоздей.  
Изготовление салазок.  
Стирка школьных салфеток и полотенце.  
Глажение школьных салфеток и полотенце.  
Чистка школьного участка.  
Посадка цветов на школьном дворе.  
Чистка зубов после завтрака.  
Мытьё рук перед завтраком.

Интересно, что сказали бы те самые российские юноши, добровольно покинувшие стены “гимназии-тюрьмы”, если бы вместо набивших оскомину французского, математики, естественной истории и изящной словесности им предложили бы обучаться чистить зубы и мыть руки перед едой? Наверное, спросили бы: а кого же готовит такая школа? Авторы метода ответили бы: “Американская сельская школа воспитывает детей фермеров как продолжателей дела их родителей”, — то есть таких же фермеров. А фермерам, как считали авторы проекта, не нужны ни всемирная история, ни литература, ни история искусств, ни астрономия или, скажем, химия и уж тем более иностранные языки. Кстати, экзамены после окончания школы проектов представляли собой выполнение тестов, проверявших не уровень знаний, а степень овладения различными практическими навыками и умениями.

Нетрудно догадаться, почему прикладной, сугубо практический характер обучения в американской школе был так привлекателен для практиков революционного преобразования школы в России. Впрочем, некоторые дальновидные преподаватели уже тогда возражали против лоскутной программы изучения наук и разработки ограниченных интересами фермерского двора, очень отдающих мешанским духом “проектов”. Поэтому в России в 20-е годы проекты насыщались идеями классовой борьбы и истории труда и назывались примерно так: “Крестьянское хозяйство”, “Взаимоотношения крестьян и помещиков”, “Крестьянские волнения”<sup>4</sup>.

### **Шкрабы и прорабы**

Новые идеи потребовали ломки всех устоев и традиций школьной жизни: была отменена классно-урочная форма обучения, занятия велись теперь не в классах, а в группах и студиях, ученики собирались без всякого расписания и под наблюдением учителя или самостоятельно прорабатывали какой-нибудь проект. Впрочем, и преподаватели в новой школе именовались не учителями, а школьными работниками или сокращенно шкрабами, они теперь не учили и воспитывали, но рационально организовывали проработку проекта учениками.

И педагогам, и родителям приходилось приспособливаться к новой школе. О том, как это происходило, можно было услышать за чайным столом.

— Ну, что у вас нового в классе? — спрашивал отец.

— Не в классе, а в группе, — отвечал сын. — Сколько раз я тебе говорил, папа, что класс — это реакционно-феодалное понятие.



- Хорошо, хорошо. Пусть группа. Что же учили в группе?
- Не учили, а прорабатывали. Пора бы, кажется, знать.
- Ладно, что же прорабатывали?
- Мы прорабатывали вопросы влияния лассальянства на зарождение реформизма.
- Вот как! Лассальянство? А задачи решали?
- Решали.
- Вот это молодцы! Какие же вы решали задачи? Небось, трудные?
- Да нет, не очень. Задачи материалистической философии в свете задач, поставленных второй сессией Комакадемии совместно с пленумом общества аграрников-марксистов.
- Папа отодвинул чай, протёр очки полой пиджака и внимательно посмотрел на сына. Да нет, с виду как будто ничего. Мальчик как мальчик.
- Ну, а по русскому языку что сейчас уч... то есть прорабатываете?
- Последний раз коллективно зачитывали поэму “Звонче голос за конский волос”.
- Про лошадку? – с надеждой спросил папа. – “Что ты ржёшь, мой конь ретивый, что ты шейку опустил?”
- Про конский волос, – сухо повторил сын. – Неужели не слышал?

*Гей, ребята, все в поля  
Для охоты на Коня!  
Лейся, песня, взвейся, голос.  
Рвите ценный конский волос!*

- Первый раз слышу такую... м-м-м... странную поэму, – сказал папа. – Кто это написал?
- Аркадий Паровой.
- Вероятно, мальчик? Из вашей группы?
- Какой там мальчик!.. Стыдно тебе, папа. А ещё старый большевик... не знаешь Парового! Это знаменитый поэт. Мы недавно даже сочинение писали – “Влияние творчества Парового на западную литературу”.
- А тебе не кажется, – осторожно спросил папа, – что в творчестве этого товарища Парового как-то мало поэтического чувства?
- Почему мало? Достаточно ясно выпячены вопросы сбора ненужного коню волоса для использования его в матрацной промышленности.
- Ненужного?
- Абсолютно ненужного.
- А конские уши вы не предполагаете собирать? – закричал папа дребезжащим голосом.
- Кушайте, кушайте, – примирительно сказала мама. – Вечно у них споры.
- Папа долго хмыкал, пожимал плечами и что-то гневно шептал себе под нос. Потом собрался с силами и снова подступил к загадочному ребёнку.
- Ну, а как вы отдыхаете, веселитесь? Чем вы развлекались в последнее время?
- Мы не развлекались. Некогда было.
- Что же вы делали?
- Мы боролись.
- Папа оживился.
- Вот это мне нравится. Помню, я сам в детстве увлекался. Браруле, тур де-тет, захват головы в партере. Это очень полезно. Чудная штука – французская борьба.
- Почему французская?
- А какая же?
- Обыкновенная борьба. Принципиальная.
- С кем же вы боролись? – спросил папа упавшим голосом.
- С лебедевщиной.
- Что это ещё за лебедевщина такая? Кто это – Лебедев?
- Один наш мальчик.
- Он что, мальчик плохого поведения? Шалун?
- Ужасного поведения, папа! Он повторил целый ряд деборинских ошибок в оценке махизма, махаевщины и механицизма.

- Это какой-то кошмар!
- Конечно, кошмар. Мы уже две недели только этим и занимаемся. Все силы отдаём на борьбу. Вчера был политаврал.
- Папа схватился за голову.
- Сколько же ему лет?
- Кому, Лебедеву? Да немолод. Ему лет восемь.
- Восемь лет мальчику, и вы с ним боретесь?
- А как, по-твоему? Проявлять оппортунизм? Смазывать вопрос?
- Папа дрожащими руками схватил портфель и, опрокинув по дороге стул, выскочил на улицу. Неуязвимый мальчик снисходительно усмехнулся и прокричал ему вдогонку:
- А ещё старый большевик!<sup>5</sup>

### Долой реверансы

Ученики принимали революционные изменения с восторгом юности. Лидия Дроздова – жительница маленького городка Дорогобужа в Смоленской губернии – так описывает свои впечатления от школьной жизни 20-х годов:

“После реорганизации школы было упразднено отдельное обучение, и школа стала жить бурно. Жизнь пошла по-другому, но только в старших классах мы начали разбираться в особенностях этого нового, что принесла с собой революция. Нам нравились бурные ученические собрания, споры, душа наполнялась каким-то особым чувством – значимости своей, что ли. До этого была просто гимназия, где гимназистки встречали низкими реверансами своих учителей, одевали в школу свою обычную коричневую форму, туго заплетали косы и завязывали чёрные банты, ходили в церковь с классными дамами, уроки начинали с молитвы.

И вдруг всё переменялось: совместное обучение с мальчиками, которых раньше дразнили, если они мешали на катке или на горке, реверансы отменили, форму – тоже, и даже дали право решать что-то самостоятельно в школьной жизни<sup>6</sup>.

Основное внимание в новой школе уделялось физическому развитию и трудовому воспитанию школьников – с осени 1918 года она так и называлась “Единая трудовая школа” и делилась на две ступени: I ступень – для детей от 8 до 13 лет и II ступень – для подростков и юношества от 14 до 17 лет<sup>7</sup>. Физкультура и труд стали главными предметами, особую популярность в те годы приобрели спортивные выступления молодёжи в клубах, красных уголках, летом – в парках.

“Не было афиш, не взималась плата, – пишет Лидия Дроздова. – Это выступала молодёжь революции, полная сил, здоровья и счастья, демонстрировала свою сплочённость, единство, приобщаясь к новому. Сама прониклась чувством красоты и хотела принести её людям<sup>8</sup>”.

Конечно, увлечь других мог только человек, сам увлечённый своим делом, ведь результат обучения во все времена определялся, в первую очередь, личностью учителя. Слова К. Д. Ушинского о том, что “только личность может действовать на развитие и определение личности, только характером можно образовать характер”, оставались также верны в веке XX, как и в XIX, когда они были написаны.

В 20-е годы увлечённых людей среди учительства было немало. В школе Дорогобужа им оказался преподаватель физкультуры П. В. Иванюшин, он-то и был организатором спортивных выступлений молодёжи. Вспоминает их участница Лидия Дроздова: “. . . Вечер, последние дни мая. На городском валу старинного уездного города Дорогобужа под звуки вальса и шелест серебристых тополей прогуливаются по тенистым аллеям парами и группами девушки и юноши. Люди постарше занимают скамейки под тополями, иногда медленно поднимаются по крутой лестнице на Верхний Вал, к собору. Оттуда далеко видна приднепровская равнина и сам Днепр, к этому времени ввернувшийся в свои берега после весеннего паводка”.

Но вот на главной аллее появляется группа юношей и девушек в спортивной форме с цветными флажками, обручами, палками в руках. Это – комсо-

мольцы дорогобужской школы 2-й ступени, они останавливаются на спортивной площадке перед беседкой для музыкантов. “Вокруг ребят начинают собираться заинтересованные проходящим зрители. П. В. Иванюшин отдаёт негромким голосом команду, и под плавную музыку вальса ребята слаженно и красиво выполняют вольные упражнения. Оркестр меняет ритм, звучит бравоурный марш. Новая команда, и юные спортсмены начинают строить пирамиду. Зрители аплодируют. Снова звучит команда, пирамида легко рассыпается, начинается маршировка и новые построения”<sup>9</sup>.

Это красочное зрелище привлекало немалое число зрителей, вносило новую, молодую струю в привычно устоявшуюся жизнь маленького провинциального городка.

В деревнях учителя создавали клубы, да и сами школы в те революционные годы порой становились своеобразными политическими клубами. “Вечерами, — как вспоминал сельский учитель А. М. Топоров, — вместо “сборни” всё чаще начали сходиться в школе... Постепенно у нас вошли в обычай политинформации, доклады, лекции, диспуты, вечера вопросов и ответов”. В своих воспоминаниях Топоров рассказал, как в пустом школьном сарае установили дощатую стену и начали репетировать спектакли. Сначала это было просто чтение по ролям, но потом артисты осмелели и к каждому празднику показывали новый спектакль. Представим: Сибирь, 1918 год, гражданская война, а в селе под Барнаулом деревенские мужики, бабы и ребятишки играют А. Чехова, М. Салтыкова-Щедрина, Л. Толстого и Г. Успенского.

“Конечно, жизнь моя была нелегка, — напишет, вспоминая свою учительскую молодость, Топоров. — Учил по-прежнему детей, учил взрослых, с утра до ночи крутился в школе, затевая новые дела. Но не ищите тут одной заслуги учителя: таково было время, и надо было за ним поспевать. Никогда ещё до этого, да, пожалуй, и после этого, я не видел в деревне такого всеобщего стремления докопаться до сути явлений, такой тяги людей к разговорам, спорам, общению”<sup>10</sup>. Словом, это было время, про которое можно смело сказать стихами Николая Шипилова:

*...Вместо тела — страна,  
Вместо сердца — страна.*

### **Комплексная утка**

Отмена привычных уроков в классах была не единственным революционным шагом. Следующим павшим бастионом оказались традиционные школьные предметы, вместо них определили три важные темы — природу, труд и общество, вокруг которых и выстраивали учебный материал. Называлось это “комплексными программами”, а занятие по ним выглядело примерно так: “Старенькая преподавательница Серафима Петровна, приходившая в школу с дорожным мешком за плечами, учила нас... Право. Мне даже трудно объяснить, чему она нас учила”, — пишет В. Каверин в своём романе “Два капитана”.

“Помнится, мы проходили утку. Это было сразу три урока: география, естествознание и русский. На уроке естествознания утка изучалась как утка: какие у неё крылышки, какие лапки, как она плавает и так далее. На уроке географии та же утка изучалась как житель земного шара: нужно было на карте показать, где она живёт и где её нет. На русском Серафима Петровна учила нас писать “у-т-к-а” и читала нам что-нибудь об утках из Брема. Мимоходом она сообщала нам, что по-немецки утка так-то, а по-французски — так-то. Кажется, это называлось тогда “комплексным методом”. В общем, всё выходило “мимоходом”<sup>11</sup>.

К образованию “мимоходом” прилагались ещё небывалая дотоле самостоятельность учеников и полный запрет на любые наказания. Н. К. Крупская, П. П. Блонский и С. Т. Шацкий выступали категорическими противниками наказаний, применения системы “штрафов” и детских товарищеских судов. Если ребёнок совершил дисциплинарный проступок, полагали они, значит, его спровоцировали неверные действия педагога. Поэтому в Уставе школы в 20-е годы был прописан строжайший запрет на любые виды и формы наказаний<sup>12</sup>. Новая идеология воспитания была пронизана идеей “свободного развития” в духе Руссо, а на практике давала вот такие плоды.

“Наробраз полагал, что мы отличаемся дарованиями в области музыки, живописи и литературы. Поэтому после уроков мы могли делать что угодно. Считалось, что мы свободно развиваем свои дарования. И мы их действительно развивали. Кто убежал на Москву-реку помогать пожарникам ловить в прорубях рыбу, кто толкался на Сухаревке, присматривая, что плохо лежит <...>”<sup>13</sup>.

Вскоре воплощение идеи свободного развития детей потребовало полной отмены дисциплины в школе, принуждать учиться было запрещено, педагогические советы упразднились, последнее, точнее первое слово принадлежало теперь школьному самоуправлению. Теперь ученики решали, какие кому ставить оценки, ходить в школу или нет, кто из педагогов “хороший”, а кто “плохой”. О том, что может произойти с детьми, если они останутся одни “самоуправляться” и некому будет понуждать их к хорошему, вполне реалистично описал У. Голдинг в “Повелителе мух”.

Нередко жертвой детского самоуправления – правильное сказать, самоуправления – мог стать талантливый и честный педагог, как это едва не случилось с учителем географии Кораблёвым в том же романе В. Каверина.

“Считалось, что раздача каши происходит на большой перемене. Но так как на уроки можно было не ходить, то весь школьный день состоял из одной большой перемены.

Однажды я попал на собрание пятиклассников, обсуждавших вопрос: заниматься или не заниматься? Лохматый пестовец (ученик бывшей гимназии Пестова. – Н. П.), которому всё время кричали: “Браво, Ковычка!” – доказывал, что ни в коем случае не заниматься. Посещение школы должно быть добровольным, а отметки выставлять большинством голосов.

– Браво, Ковычка!

– Правильно!

– И вообще, товарищи, вопрос упирается в педагогов. Как быть с педагогами, на уроки которых ходит абсолютное меньшинство? Я предлагаю установить норму в пять человек. Если на уроки приходит меньше пяти человек, педагогу в этот день пайки не давать.

– Правильно!

– Дурак!

– Долой!

– Браво!

Должно быть, речь шла не обо всех педагогах, а только об одном, потому что все стали оглядываться, перешёптываться, подталкивать друг друга: в дверях, скрестив руки и внимательно слушая оратора, стоял высокий, ещё не старый человек с пушистыми усами.

– Это кто? – спросил я тётю Варю, которая, ожидая приезда каши, с варёшкой в руке разгуливала по коридору.

– Это, брат, Усы, – ответила тётя Варя.

– Как усы?

– Эх ты, не знаешь!

Скоро я узнал, кого в четвёртой школе называли “Усы”. Это был учитель географии Кораблёв...”<sup>14</sup>.

Впрочем, далеко не все ученики требовали свободного посещения, желали выставлять отметки большинством голосов и возмущались поведением учителей, упорно приходивших на занятия. Во многих школах II ступени юноши и девушки мечтали получить аттестат и учиться дальше. Однако в 20-е годы препятствий для этого хватало.

## Жизнь шкрабов

Экономическое положение в стране после окончания гражданской войны было тяжёлое, школам часто не хватало топлива, и Отделы народного образования разрешали учителям не проводить занятий, если в классах было не выше +8°, а таких дней зимой – не счесть. Занятия часто срывались, ученики не проходили положенные программой темы. Не хватало не только топлива, но и хлеба, голодали и учителя, и ученики. Проблем было много, и новая власть порой не имела ни средств, ни опыта для их разрешения. Вот здесь-то нередко на помощь и приходило школьное самоуправление.

Не везде оно выглядело так, как описывает его в своём романе Вениамин Каверин. В Дорогобуже, например, ученики не только не лишали учителей хлеба насущного, но и буквально... кормили их.

“Мы были очень дружны, участвовали наиболее активно в ученическом самоуправлении, – вспоминает, спустя годы, Лидия Дроздова. – Когда нам предложили вступить в члены РКСМ, мы согласились. Никаких торжественных приёмов тогда не было. Теперь и нам, девчонкам, пришлось приложить свои усилия к тому, чтобы учебный год в школе закончился нормально. Никто из старших нам ничего не подсказывал. Нам, школьному самоуправлению, вполне доверяли. И мы справились с этой задачей, и самое главное, не только справились, но и поступили справедливо”<sup>15</sup>. Школьный ученический совет решил, что каждый учащийся должен привезти или воз дров, или пуд хлеба, называя это “самообложением”. Освобождали от привоза дров и от обложения хлебом лишь безлошадных и неимущих.

На удивление взрослых в короткий срок – всего за две недели – школа была обеспечена дровами. В школьном дворе громоздились огромные поленицы, которые складывали сами ребята. Топить печи в классах ребята тоже решили сами. Расходовать дрова старались экономно, дежурные по очереди топили вечерами, одновременно убирали классы и даже успевали готовить уроки. Дежурным обычно приходили помогать старшие братья и сёстры, товарищи, поэтому дежурство не было в тягость, а, наоборот, проходило весело и радостно.

Собранный ребятами по собственной инициативе хлеб предназначался для голодающих учителей, причём собирали хлеб втайне от них. “Один только Сергей Львович Дымский, заведующий учебной частью, – пишет Лидия Дроздова, – знал, для кого ребята сгружают мешки с хлебом в его кабинете. С доброй улыбкой он смотрел на ребячью деловую суету, когда комсомольцы и пионеры, распределив на заседании классного комитета хлеб, собирались развезти его по адресам. Вот на длинные санки положили мешок зерна, и мальчики покатали на них вниз, к мосту через Днепр. Это помощь поехала к учительнице математики Марии Александровне Смирновой. А вот другие санки мчатся вниз с горы Туторка за Ордышку – это поехали к учительнице естествознания Лидии Александровне Юлинской. Никого из учителей они не забыли, но одним отвезли больше, другим – меньше. Распределять старались по справедливости, учитывали, у кого больше семья – тем и зерна везли больше.

А учителя не жалели своего времени, занимались, навёрстывая упущенное, и все выпускники успешно подготовились и сдали экзамены”<sup>16</sup>.

Ученики, случалось, не только подкармливали учителей, но и сами становились учителями. В 1919 году принимается декрет о ликвидации неграмотности, и в пионерских отрядах, которые часто создавались по инициативе самих детей, зарождается почин: помогать шкрабам обучать грамоте взрослых. Ликвидация неграмотности была объявлена государственным делом, и подростки активно включились в эту работу.

В заметке с характерным названием “Лёд тронулся” корреспондент уездной газеты так описывает занятия в школе для взрослых:

“У стен школы стоят трое: муж, жена и подружка жены. Муж говорит, обращаясь к жене: “Ты и не думай в школу идти, а то сейчас развод потребую. Ведь вас не даром учить будут – обучат и сейчас в Сибирь на работы к японцам. А когда ты у меня тёмная, так я хоть спокоен за тебя”. В разговор вступает подружка: “Сказал бы прямо, что тёмной легче командовать! Пойдём, не слушай его”.

На занятиях взрослые женщины и молодые девушки, нахмутив лбы, с напряжённым сопением старательно водят карандашом по бумаге. “Ну, как ваши ученицы?” – спрашиваю у учительницы. – “Внимательны и восприимчивы”.

Замечаю, что между взрослыми сидят мальчики-ученики. “Вы что здесь мешаете?” – “Нет-нет, – вступает за них учительница, – они нам помогают”<sup>17</sup>.

Помогал шкрабам и Наркомпрос. Это удивительно, но едва закончилась гражданская война, как в том же 1920 году для учителей начали организовывать курсы. В Сибири, например, на трёхмесячных курсах в Барнаульском уезде, куда съехалось 500 учителей, для них читали лекции профессора и преподаватели высших учебных заведений Томска, Омска, Казани; специа-

листы вели занятия по лепке, рисованию, обучали пению, нотной грамоте, музыке, сценическому мастерству. “Сидели мы в нетопленных помещениях, – вспоминал один из учителей, – ели впроголодь, одеты были кто во что горазд, а рассуждали о школе будущего, о подлинной массовой культуре, о новых методах обучения детей”<sup>18</sup>.

### Коммуна “Майское утро”

В сельских школах нередко преподавал один педагог, желающих продолжать учение после окончания первой ступени было немало, вот и приходилось учителю работать буквально с утра и до вечера. “Долгие годы, – вспоминает учитель А. М. Топоров, – вёл занятия со всеми четырьмя классами. Потом с пятью, шестью... Занимался в две смены – по два-три класса в каждой. Такая была не считалась в диковинку. Хорошо было то, что начинать и кончать уроки я мог, когда мне и детям удобно. Строгого расписания, звонков на перемены мы не ведали. Просто, почувствовав усталость ребят, я говорил: “Идите погуляйте!” Потом бил в шибало (кусок рельса, висевший у школы) и продолжал занятия. Бывало, по какой-то причине срывались они, скажем, меня вызывали в район. А вернусь под вечер и вижу, что время ещё не вышло. Снова бью в шибало, и минут через пять сбегаются мои ученики. Благо жили все неподалёку. И ни один час у нас зря не пропадал”<sup>19</sup>.

Молодой учитель Топоров не только учил детей, в своём селе он организовал коммуны с нежным названием “Майское утро”. Полуголодные и нищие коммунары решили: “На жмыхе будем сидеть, а школу обиходим!” – и завозили в школу дрова и керосин для ламп, покупали учебники, бумагу, чернила, карандаши, добыли в Барнауле краски, заказывали книги для школьной библиотеки, костюмы и декорации для театра.

Через три года в коммуне “Майское утро” неграмотной осталась только одна слепая старушка, остальные все умели читать, писать и считать. Но этого молодому энтузиасту-учителю показалось мало. Он видел, что многие крестьяне не прочь порассуждать о поэзии Некрасова, Кольцова. Его удивляло, что некоторые наизусть знают Есенина, Пушкина, Лермонтова. Он давал крестьянам книги из своей библиотеки, спрашивал их мнение о прочитанном и удивлялся меткости и точности отзывов.

И однажды он решил провести коллективное обсуждение. Сначала крестьяне отнекивались – “Не-е-е. Это не нашего ума дело. Мы люди простые – не учёные, чё нам судить о книгах”. Тогда молодой учитель предложил обсудить прочитанное “не по-учёному, а по-простому”.

Большой пользы от встреч с писателями учитель не видел. Да и где их сыщешь в округе? Но припомнив свои встречи с известными на тот момент литераторами, он пришёл к выводу, что “вещь это, безусловно, полезная, но редко звучит на них критическое слово. В глаза авторам говорят обычно одни комплименты, тем скучно слушать, но, как люди благовоспитанные, они благодарят и кланяются”<sup>20</sup>.

Иное дело открыто и прямо обсуждать, какие книги – по душе, а какие – нет, и почему. Всё, что говорили крестьяне, учитель записывал, не забывая ловить их своеобразные слова и выражения. Авторитетов крестьянские критики не признавали: “Плоды просвещения” Л. Толстого вызвали у них восторг, а “Хозяин и работник” – недоверие и протест. Рассказ Вс. Иванова “Бог Матвей” получил самую высокую оценку, а его же “Партизан” не приняли.

Особое отношение у крестьянских слушателей было к поэзии. Стихи-агитки у крестьян не нашли никакого одобрения:

- Брось ты это мелево!
- Не лезет смех!
- Давай, Митрофаныч, дельное!”

Но “Шёпот. Робкое дыханье...” Фета заворожило их: “Тут всё человеческое!.. И луна, и соловей, ну, всё при ночи. Ровно как у нас в мае месяце, вон там за баней, над рекой...”. Классика мировой и отечественной литературы – всё лучшее и общепризнанное – находила у крестьян самый живой отклик, и не только произведения, где авторы описывали крестьянский труд или деревенскую жизнь, как это принято считать, – вовсе нет. Одинаково полюбили

они и “Воскресение” Толстого, и “Орлеанскую деву” Шиллера, “Вешние воды” Тургенева и “Оливера Твиста” Диккенса.

Никакой награды учитель сельской школы Адриан Митрофанович Топоров за свою инициативу не получил, только учительское жалованье — 32 рубля в месяц. Но не из корысти он старался, то есть корысть, как он признается, была, но в ином смысле: ему было интересно жить, чувствовать себя в селе нужным, не зряшным человеком. И от этого он получал “сияние и легкий взлёт”, а это не измерить ни в рублях, ни в наградах.

### Подвижники соцвосо

Особым было положение учителей, да и сама их жизнь, в колониях для беспризорных и малолетних преступников, во множестве появившихся после окончания гражданской войны. Выдержать суровую обстановку будней колонии мог не каждый воспитатель, нередко педагоги сбежали оттуда буквально на следующий день после приезда. Однако те, кто оставался, были поистине подвижниками, и самый известный из них — Антон Семёнович Макаренко.

“Называли нас в то время “подвижниками соцвосо” (социалистического воспитания. — **Н. П.**), — пишет он в своей знаменитой “Педагогической поэме”. — Сами мы не только так никогда себя не называли, но никогда и не думали, что мы совершаем подвиг. Не думали так в начале существования колонии, не думали и тогда, когда колония праздновала свою восьмую годовщину.

Говоря о подвижничестве, имели в виду не только работников колонии имени Горького, поэтому в глубине души мы считали эти слова крылатой фразой, необходимой для поддержания духа работников детских домов и колоний.

В то время было много подвига в советской жизни, в революционной борьбе, а наша работа слишком была скромна и в своих выражениях, и в своей удаче.

Люди мы были самые обычные, и у нас находилась пропасть разнообразных недостатков. И дела своего мы, собственно говоря, не знали: наш рабочий день полон был ошибок, неуверенных движений, путаной мысли. А впереди стоял бесконечный туман, в котором с большим трудом мы различали обрывки контуров будущей педагогической жизни.

О каждом нашем шаге можно было сказать что угодно, настолько наши шаги были случайны. Ничего не было бесспорного в нашей работе. А когда мы начинали спорить, получалось ещё хуже: в наших спорах почему-то не рождалась истина”<sup>21</sup>.

Макаренко и его соратники не были теоретиками педагогической науки. Но жизнь и педагогическая практика привели их к мысли о том, что школа должна выпускать инициативных, целеустремлённых людей, способных достигать высоких результатов, работая в коллективе, тех, кто соизмеряет свои поступки с интересами других людей и общества в целом. И если проступок члена коллектива опасен для других — то допустимы наказания, даже жёсткие, чтобы оградить остальных от агрессивного поведения нарушителя. Не будем забывать, впрочем, что воспитанниками Макаренко были малолетние преступники.

Не каждый педагог мог работать рядом с Макаренко, от коллег он требовал творческого подхода к делу, решительности и даже риска. Бедность в воспитателях для колонии была огромна, и, тем не менее, твердая решимость “подвижников соцвосо” довести начатое дело до конца, да ещё необходимость наладить хоть какой-то быт для своих воспитанников не позволяли им всё бросить и сбежать. Порой суровая жизнь колонии ломала привычки не только воспитанников, но и самих воспитателей.

“Когда в колонию приехали Осиповы, они очень брезгливо отнеслись к колонистам. По нашим правилам, дежурный воспитатель обязан был обедать вместе с колонистами. И Иван Иванович и его жена решительно мне заявили, что они обедать с колонистами за одним столом не будут, потому что не могут пересилить своей брезгливости.

Я им сказал:

— Там будет видно.

В спальне во время вечернего дежурства Иван Иванович никогда не садился на кровать воспитанника, а ничего другого здесь не было. Так он и про-

водил свое вечернее дежурство на ногах. Иван Иванович и его жена говорили мне:

– Как вы можете сидеть на этой постели! Она же вшивая!

Я им говорил:

– Это ничего, как-нибудь образуется: вши выведутся, или ещё как-нибудь...

Через три месяца Иван Иванович не только уплетал за одним столом с колонистами, но даже потерял привычку приносить с собой собственную ложку, а брал обыкновенную деревянную из общей кучи на столе и проводил по ней для успокоения пальцами<sup>22</sup>.

Можно научить учителя вести уроки – как в каждом ремесле, в обучении существуют свои приёмы, значит, и там есть мастера и подмастерья. Но воспитание – это искусство, здесь универсальных рецептов нет, каждая новая ситуация – как открытие. Бывает, что в затруднительном случае справиться с одним конкретным воспитанником не помогают и сотни томов по истории педагогики. И даже такие мастера, как А. С. Макаренко, порой попадали в знакомую каждому учителю ситуацию, которую он назвал “техническим бессилием”.

“Меня угнетала одна мысль: неужели я так и не найду, в чём секрет? Вот ведь, как будто в руках было, как будто ухватить оставалось. Уже у многих колонистов по-новому поблёскивали глаза... и вдруг всё так безобразно сорвалось. Неужели всё начинать сначала?”

Меня возмущала безобразно организованная педагогическая техника и мое техническое бессилие. И я с отвращением и злостью думал о педагогической науке:

“Сколько тысяч лет она существует! Какие имена, какие блестящие мысли: Песталоцци, Руссо, Наторп, Блонский! Сколько книг, сколько бумаги, сколько славы! А в то же время – пустое место, ничего нет, с одним хулиганом нельзя управиться, нет ни метода, ни инструмента, ни логики, просто ничего нет. Какое-то шарлатанство”<sup>23</sup>.

Ко всякому делу – обучению, налаживанию быта, организации собственного сельского хозяйства в колонии – Макаренко подходил творчески и поэтому совершенно не выносил мелочной опеки со стороны органов образования. Немало крови портили “подвижникам соцвоста” чиновники, они порой воплощали собой какой-то вневременной, поистине вселенский тип “специалиста” по всем вопросам, которого можно найти в любой стране и при любой власти.

“Особенно заедал меня один из инспекторов, Шарин – очень красивый, кокетливый брюнет с прекрасными вьющимися волосами, победитель сердец губернских дам. У него толстые, красные и влажные губы и круглые подчёркнутые брови. Кто его знает, чем он занимался до 1917 года, но теперь он великий специалист как раз по социальному воспитанию. Он прекрасно усвоил несколько сот модных терминов и умел бесконечно низать пустые словесные трели, убеждённый, что за ними скрываются педагогические и революционные ценности”.

Вот образчик выступления этого “специалиста”:

“– Локализованная система медико-педагогического воздействия на личность ребёнка, поскольку она дифференцируется в учреждении социального воспитания, должна превалировать настолько, насколько она согласуется с естественными потребностями ребёнка и насколько она выявляет творческие перспективы в развитии данной структуры – биологической, социальной и экономической. Исходя из этого, мы констатируем...”

Он в течение двух часов, почти не переводя дух и с полузакрытыми глазами, давил собрание подобной учёной резиной, но закончил с чисто житейским пафосом:

– Жизнь есть весёлость”<sup>24</sup>.

Что ж, вполне узнаваемый тип. И речь этого господина не оригинальна – достаточно в наши дни заглянуть в любой документ, исходящий из Министерства от так называемых специалистов, разрабатывающих – прости, Господи! – стандарты воспитания и образования: “При разработке Стандарта был полностью учтён объективно происходящий в условиях информационного общества процесс формирования новой дидактической модели образования, основанной на компетентностной образовательной парадигме, предполагаю-



щей активную роль всех участников образовательного процесса в формировании мотивированной компетентной личности”<sup>25</sup>.

Кто его знает, чем занимался разработчик этого стандарта до реформ 90-х годов. Помнится, “заедавший” Макаренко инспектор, этакий Бельмесов 20-х годов, был дремучий невежда – он понятия не имел о том, что такое барометр. Будем надеяться, что нынешний Шарин знает, для чего нужен барометр и как он действует. Но высокомерно-враждебное отношение к учителям, ученикам и их родителям, похоже, совершенно не подвержено времени. Как хороший учитель прорастёт на любой почве независимо от времён и политических систем, так же неизменно рядом с ним появится и такой сорняк-чиновник. И что любопытно – любое пафосное “учёное” выступление этих “спецов” всегда заканчивается изречением какой-нибудь мудрости типа: “Жизнь есть весёлость”.

### Результаты проработки

Шли годы, уходили в прошлое холод и голод 20-х годов, непримиримая ошибка гражданской войны и неизбежные её последствия – разрушенное хозяйство и беспризорность. Но образование ещё испытывало на себе последствия революционных разрушений: в школе по-прежнему были отменены учебники, экзамены и отметки, два центра семилетней школы (один круг в четыре года и второй в – три) заменяли традиционную девятилетку.

К чему же привели педагогические эксперименты и заимствованные из зарубежного опыта новации? Увы, польза от концентров, проектов и студийных занятий вместо уроков была сомнительна, зато вред очевиден: систематические и прочные знания у учеников полностью отсутствовали. Да и какими познаниями мог похвастаться выпускник, “комплексно” изучавший утку или постигающий “проект” сколачивания ящика? Преподаемое “мимоходом” и улетучивалось из головы сразу же, едва ученик перешагивал школьный порог.

Вернёмся к разговорам за чайным столом.

“Однажды бедный папа развернул газету и издал торжествующий крик. Мама вздрогнула. Сын сконфуженно смотрел в свою чашку. Он уже читал постановление ЦК о школе. Уши у него были розовые и просвечивали, как у кролика.

– Ну-с, – сказал папа, странно улыбаясь, – что же теперь будет, ученик четвёртого класса Ситников Николай?

Сын молчал.

– Что вчера коллективно прорабатывали?

Сын продолжал молчать.

– Изжили, наконец, лебедевщину, юные непримиримые ортодоксы?

Молчание.

– Уже признал бедный мальчик свои сверхдеборинские ошибки? Кстати, в каком он классе?

– В нулевой группе.

– Не в нулевой группе, а в подготовительном классе! – загремел отец. – Пора бы знать!

Сын молчал.

– Вчера читал, что этого вашего Аркадия, как его, Паровозова не приняли в Союз писателей. Как он там писал? “Гей, ребята, выйдем в поле, с корнем вырвем конский хвост”?

– “Рвите ценный конский волос”, – умоляюще прошептал мальчик.

– Да, да. Одним словом: “Лейся, взвейся, конский голос”. Я всё помню. Это ещё оказывает влияние на мировую литературу?

– Н-не знаю.

– Не знаешь? Не жуй, когда с учителем говоришь! Кто написал “Мёртвые души”? Тоже не знаешь? Гоголь написал. Гоголь.

– Вконец разложившийся и реакционно настроенный мелкий мистик... – обрадовано забубнил мальчик.

– Два с минусом! – мстительно сказал папа. – Читать надо Гоголя, учить надо Гоголя, а прорабатывать будешь в Комакадемии, лет через десять. Ну-с, расскажите мне, Ситников Николай, про Нью-Йорк.

– Тут наиболее резко, чем где бы то ни было, – запел Коля, – выявляются капиталистические противоречия...

– Это я сам знаю. Ты мне скажи, на берегу какого океана стоит Нью-Йорк?

Сын молчал.

– Сколько там населения?

– Не знаю.

– Где протекает река Ориноко?

– Не знаю.

– Кто была Екатерина Вторая?

– Продукт.

– Как продукт?

– Я сейчас вспомню. Мы прорабатывали... Ага! Продукт эпохи нарастающего влияния торгового капитала...

– Ты скажи, кем она была? Должность какую занимала?

– Этого мы не прорабатывали.

– Ах, так! А каковы признаки делимости на три?

– Вы кушайте, – сказала сердобольная мама. – Вечно у них эти споры.

– Нет, пусть он мне скажет, что такое полуостров? – кипятился папа. – Пусть скажет, что такое Куро-Сиво? Пусть скажет, что за продукт был Генрих Птицелов?

Загадочный мальчик сорвался с места, дрожащими руками запихнул в карман рогатку и выбежал на улицу.

– Двоечник! – кричал ему вслед счастливый отец. – Всё директору скажу! Он, наконец, взял реванш”.

Постановление ЦК ВКП(б) “О начальной и средней школе”, о котором говорится в рассказе И. Ильфа и Е. Петрова “Разговоры за чайным столом”, было принято в 1931 году. Начинаясь индустриализация страны, строились грандиозные пятилетние планы, и тут выяснилось: грамотных специалистов в стране попросту нет. Да, отмечалось в документе, за прошедшие после революции годы увеличилось число школ, снизился уровень неграмотности, изменился социальный состав учащихся – всё это хорошо, но школа не выполняет своей главной цели: не готовит грамотных людей, владеющих основами наук, не даёт системных общеобразовательных знаний. Для решения этой задачи нужны не заимствованные из-за рубежа модные новации, а проверенные временем средства.

Руководителями государства были сделаны выводы из сложившейся ситуации и... в Наркомпросе вернулись к тому, от чего отказывались в течение десяти лет. Были возвращены привычные предметы, учебники, отметки и экзамены, уроки по расписанию в классах, где ведущая роль принадлежала учителю (о “шкрабах” и “спецах по ликбезу” забудут). В те годы формируется и главная цель советской школы: дать ребёнку прочные знания и воспитать сознательного гражданина, а не работника конвейера. Не случайно именно в 30-е годы в школы возвращается преподавание истории, которую С. М. Соловьёв называл “единственной политической наукой в среднем образовании”, и потому предметом “чрезвычайной важности: от направления её преподавания зависит политический склад будущих граждан”.

Создаются новые учебные планы, где главное место занимают русский и родной языки, математика. Особое внимание обращается на развитие устной и письменной речи, на орфографическую грамотность учащихся.

Справедливости ради отметим, что многие отечественные достижения 20-х годов – деятельность Первой опытной станции Наркомпроса, организованной С. Т. Шацким, работа А. С. Макаренко в колониях для беспризорных – были использованы и в последующие годы. А суровую проверку надёжности советская педагогическая система прошла в годы Великой Отечественной войны.

### Те же грабли

Сегодня реформаторы – внуки революционеров начала XX века – пытаются вновь взорвать устои русской педагогической системы. Вместо косметического ремонта они снова рушат дом до основания, чтобы на его обломках воздвигнуть неведомое.

Провозглашённый инновационным так называемый исследовательский подход – это старый знакомый из революционных 20-х годов “Дальтон-план” или “метод проектов”<sup>26</sup>, в угоду которому была когда-то разрушена классно-урочная система. Из американской сельской школы 20-х годов, подобно вернувшейся мумии, пришли к нам и письменные тесты по всем предметам, для успешного выполнения которых необходимы лишь два качества: механическая память и умение чётко выполнять инструкцию. А насильно навязанный нашей стране ЕГЭ родился в современной европейской практике. Так Пётр I когда-то заставил насильно русское общество брить лицо, носить европейское платье и длинный парик. Да, помнится, с тем костюмчиком – то промашка вышла: мода эта, завезённая царём-реформатором, во Франции уже давно прошла.

Так и с нынешними “образовательными” модами получается: на учительской конференции в Дании, проходившей лет 20 назад, автор впервые услышал от своих европейских коллег критические замечания и по поводу письменных тестов, и по поводу несовершенства единичных экзаменов. У нас ЕГЭ давно уже стал целью образования, а не средством, – ведь по его результатам нынче определяют не только степень подготовки выпускника, но и квалификацию учителя, школы, да и уровень образования в целом.

Впрочем, авторы нынешних реформ даже и не скрывают их заимствованный характер: текст документов в новом стандарте читается с трудом и представляет собой плохой перевод с английского. Чего стоит одно лишь усиленно внедряемое понятие “компетентностный”, которого нет ни в одном словаре. Напомним, в новом стандарте планируют оставить только три обязательных предмета – физкультуру, “Основы безопасности жизнедеятельности” и никому ведомую “Россию в мире”, а также знакомый по 20-м годам “проект” ученика.

Заимствование ценного чужого опыта не плохо, даже наоборот. Но во всех государствах, достигших высокого уровня развития, образование всегда оберегало национальные и государственные интересы, оно последовательно и неизменно отстаивало собственные, сложившиеся десятилетиями традиции воспитания. Школа готовит будущего гражданина в соответствии с особенностями своего государства и своего народа, если утратить эту цель – исчезнет сердцевина образовательной политики. Не думаем, что современным реформаторам это не известно.

Среди главных целей образования авторы реформы когда-то провозгласили “интеллектуальное развитие подрастающего поколения, стимулирование его творческой активности”. Спустя 20 лет после начала реформ можно оценить, достигнута ли провозглашённая когда-то цель.

Возьмём, к примеру, близкое нам преподавание истории. В 90-е годы наперекор всем возражениям учителей вновь – в третий раз за прошедшее столетие – ввели концентры. Поэтому история – и всемирная, и отечественная – сейчас изучается дважды: пять лет в I концентре – (с 5-го по 9-й класс) и два года во II концентре (в 10-м и 11-м – классах). И если в 20-е годы это ещё имело хоть какое-то оправдание: семилетнее образование тогда не было обязательным, и уходя, например, из 4-го класса, ученики получали законченный круг знаний, то сегодня, при обязательном 11-летнем образовании, существование концентров вообще лишено всякого смысла.

Чтобы успеть “пробежать” “от Адама до Потсдама” или, как говорят сегодня, “до Саддама” всю историю, количество часов, отведённых на её изучение, не увеличили, как того можно было бы ожидать, а... сократили. В советское время на изучение истории выделяли 630 учебных часов, сегодня – 490<sup>27</sup>.

Из школьной программы ушёл не только фактический материал – современные школьники знают ровно вдвое меньше того, что изучали в школе двадцать лет тому назад, – но исчезло необходимое время на развитие учебных умений и навыков, в первую очередь, – умение грамотно формулировать свои мысли письменно и устно.

Разумеется, сокращение времени на изучение материала привело к понижению качества знаний. Посмотрим результаты Московского регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории<sup>28</sup>, куда, как известно, отправляются лучшие ученики. Узнать героев войны 1812 года и правильно установить последовательность событий смогли только 19% 11-классников г. Москвы. Среди девятиклассников только один (!) ученик, прочитав исторические документы, верно объяснил их содержание – они рассказывали о раз-

вители крепостного права в России. Проанализировать текст источника и ответить на вопросы о Крымской войне и о Табели о рангах смог опять-таки лишь один (!) участник олимпиады, 20 человек вообще не поняли смысла задания.

Не лучше обстояло дело и с исторической картой. Лишь 8% учеников 9-х классов правильно назвали знаменитые места сражений Великой Отечественной войны. И это не удивительно: в 9-м классе событиям Великой Отечественной войны посвящено всего пять уроков, в 11-м классе – тоже пять, но уже Второй мировой войне. Напомним, что в дореформенной школе Великую Отечественную войну изучали в 10-м классе почти 30 уроков.

На третьем туре олимпиады школьники писали сочинение – эссе по истории – и защищали его устно. Здесь вроде бы ситуация лучше, но, как отметили организаторы олимпиады, ученики проявили “более сильную позицию по написанию эссе, чем по их защите”. То есть объяснить грамотно и связно то, что они написали, оказалось для них сложной задачей. Подобное затруднение, говоря языком дидактики, свидетельствует о недостаточном развитии навыков устной речи, а для формирования навыка, как известно, требуется время. Но где же его взять при минимуме часов?

Примерно такая же картина, как на олимпиаде по истории, наблюдается при сдаче ЕГЭ. Главный недостаток работ – ученики не выполняют так называемую часть “С”, которая состоит в том, чтобы прочитать текст, осмыслить его и ответить на поставленные вопросы. Было бы удивительно, если бы при нынешнем подходе к преподаванию гуманитарных дисциплин – литературы и истории – и тестировании с первого класса вместо устных ответов, ученики делали бы это успешно. Учебные навыки и умения развиваются годами, это требует специальной работы, которая вполне успешно проводилась в советской школе.

Итак, итоги изучения истории после проведения реформ явно не блестящи. И не только в средней школе, печальный опыт транслировался и дальше, в школу высшую. За годы реформы недоученные школьники успели поступить в институты, окончить их, а кое-кто даже и вернулся в школу учителем. Вот уже выпускники педагогических институтов становятся методистами округов Москвы и сами придумывают олимпиады и контрольные работы. Несколько таких работ пришло как-то и в нашу школу.

Прочитав работу по всеобщей истории для 10-го класса, учителя нашли в ней такое количество ошибок, которое приближалось по объёму к самой работе. Так, авторы теста всерьёз полагали, что война за независимость североамериканских колоний в XVIII столетии и гражданская война в США в середине XIX века – это одно и то же событие, что во всех без исключения странах Европы, где произошли революции 1848–1849 годов, были приняты конституции, а Россия XX века, оказывается, – “колониальная держава нового типа”.

Вторая контрольная работа демонстрировала явное незнание её авторами действующей Конституции РФ. Позвонив в Методический центр Юго-Западного округа за разъяснениями, мы услышали невероятный ответ: “Так написано в учебнике таких-то авторов (названы фамилии), который по школам рассылается бесплатно, вот по нему-то мы и составили тесты”. И это говорят методисты, задача которых – контролировать уровень подготовки учителей и заботиться о его повышении.

Данный пример, к сожалению, не единичен. Огромное количество фактических ошибок, некорректные формулировки, синонимичные варианты ответов в тестах – вот те недочёты, за которые учителя и сегодня критикуют экзаменационные работы ЕГЭ.

Некоторые задания вообще не укладываются в рамки здравого смысла. Как можно, например, “сравнить Земские соборы первой половины XVII в. с Земскими соборами второй половины” того же века, если последний Собор проходил в 1654 году?! – А вот так и сравнивайте, – советуют нам авторы задания, – в первой половине они были – это, оказывается, общее, а во второй половине их не было – это, вы уже догадались, – различное. Для такого обучения обычные учителя не годятся – здесь нужен особый “талант”: только бельмесовы могут родить такую задачу и сами её решить.

Уповая лишь на развитие разума и рассудочности, в ущерб обращению к чувствам детей, идеологи реформы забыли и о воспитании, и о развитии личности как таковой. А вот в учебных книгах XIX века, из которых преподаватель сам выбирал, на его взгляд, лучшую, всегда помимо богатого фактического

материала присутствовал и воспитательный момент; написанные великолепным словом, они обращались не только к разуму, но и к сердцам читателей. Авторами книг и пособий были знающие свой предмет историки и опытные педагоги, их соревнование между собой рождало в итоге первоклассную учебную литературу. Не забывали о воспитательных задачах и в советской школе.

Сегодня авторы учебников обозначают иные цели – “воспитание грамотного потребителя”, подготовка “конкурентноспособного молодого человека на рынке труда”<sup>29</sup>. А как же формирование личности, её образование, которое в основном и происходит в годы учения? Как же воспитание гражданина, равнодушного к происходящему в обществе? Способен ли потребитель, даже грамотный, слышать других людей? Быть внимательным к их нуждам? Отстаивать интересы своего государства? А защищать его, в случае необходимости, с оружием в руках?

А ведь именно для этого и создавалась русская школа, как считал К. Ушинский: “Приучить дитя вникать в душевное состояние других людей, ставить себя на место обиженного и чувствовать то, что он должен чувствовать”. Поэтому для отечественной педагогической школы был характерен не практицизм, а духовное и интеллектуальное развитие творческой личности, способной самостоятельно находить нестандартные решения.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Дурылин С. Н. В школьной тюрьме. Исповедь ученика (Антология гуманной педагогики). М., 2007. С. 48.

<sup>2</sup> Калущая Е. Проектные технологии на уроках истории: прошлое и настоящее // История. Научно-методическая газета для учителей истории и обществознания. № 9 (923). 1–15 мая 2011. С. 40.

<sup>3</sup> Research.ru; enc-dic.com/pedagogics/Dalton-plan-R-455.htm.

<sup>4</sup> Калущая Е. Проектные технологии на уроках истории: прошлое и настоящее // История. Научно-методическая газета для учителей истории и обществознания. № 9 (923). 1–15 мая 2011. С. 42.

<sup>5</sup> И. Ильф, Е. Петров. Разговоры за чайным столом.

<sup>6</sup> Дроздова Лидия. Моя комсомольская юность. Рукопись. С. 2. Машинописный текст мемуаров Л. Дроздовой автору любезно предоставил научный сотрудник Дорогобужского музея Владимир Анатольевич Прохоров.

<sup>7</sup> История педагогики и образования: Учебное пособие для педагогических учебных заведений / Под ред. А. И. Пискунова. М., ТЦ “Сфера”, 2001. С. 456.

<sup>8</sup> Дроздова Л. Моя комсомольская юность. С. 4.

<sup>9</sup> Там же. С. 5–6.

<sup>10</sup> Топоров А. М. Я – учитель. М., 1980. С. 118.

<sup>11</sup> Вениамин Каверин. Два капитана. М., “Молодая гвардия”, 1966. С. 74.

<sup>12</sup> История педагогики и образования: Учебное пособие для педагогических учебных заведений / Под ред. А. И. Пискунова. М., ТЦ “Сфера”, 2001. С. 474–475.

<sup>13</sup> Вениамин Каверин. Два капитана. М., “Молодая гвардия”, 1966. С. 77.

<sup>14</sup> Там же. С. 78–79.

<sup>15</sup> Дроздова Л. Моя комсомольская юность. С. 8–9.

<sup>16</sup> Там же.

<sup>17</sup> Газета “Борьба”, 1921, № 3.

<sup>18</sup> Топоров А. М. Я – учитель. М., 1980. С. 130–131.

<sup>19</sup> Топоров А. М. Я – учитель. М., 1980. С. 129–130.

<sup>20</sup> Там же. С. 148–150.

<sup>21</sup> Макаренко А. С. Педагогическая поэма. М., Художественная литература, 1987. С. 69.

<sup>22</sup> Макаренко А. С. Педагогическая поэма. М., Художественная литература, 1987. С. 70.

<sup>23</sup> Там же. С. 96.

<sup>24</sup> Макаренко А. С. С. 117–118.

<sup>25</sup> Образовательные стандарты второго поколения. – Mon.gov.ru.

<sup>26</sup> История педагогики и образования: Учебное пособие для педагогических учебных заведений / Под ред. А. И. Пискунова. М., ТЦ “Сфера”, 2001. С. 467.

<sup>27</sup> Козленко С. И. Преподавание предмета “История” в условиях перехода на новые образовательные стандарты. – Вестник московского образования. 2011. № 13. С. 66.

<sup>28</sup> Мельникова О. Н. Московский региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории – “О преподавании истории в 2008–2009 учебном году”. Методическое пособие. М., МИОО, 2008. С. 86–102.

<sup>29</sup> Мельникова О. Н. Московский региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории // “О преподавании истории в 2008–2009 учебном году”. Методическое пособие. М., МИОО, 2008. С. 111.

*“От сумы да от тюрьмы не зарекайся”, — предупреждает русская пословица. И хотя обыватель не любит вникать в юридическую конкретику материалов предварительного следствия и судебных заседаний, каждому следовало бы помнить народную мудрость и с должным вниманием относиться хотя бы к самым громким процессам. К их числу, бесспорно, относится суд над Даниилом Константиновым.*

*Напомню: сын народного депутата России Ильи Константинова — начинающий, но уже получивший известность политик Даниил Константинов был обвинён в убийстве некоего А. Темникова. Защита молодого националиста представила неопровержимое алиби: в момент совершения преступления Константинов находился в ресторане на дне рождения матери. Этот факт подтверждают многочисленные свидетели, а также фотоматериалы. Однако 22 марта 2012 года Константинов был задержан и до сих пор находится в заключении.*

*Случай столь вопиющий, что он привлёк внимание широкой общественности. В защиту Даниила выступили видные политики, одним из его адвокатов стал Сергей Бабурин, известный юрист, в прошлом — вице-спикер Госдумы.*

*В конечном счёте, суд вынужден был прислушаться к доводам защиты. Дело Константинова было возвращено в прокуратуру для дальнейшего расследования. Однако молодой политик до сих пор остаётся за решёткой. И, разумеется, госслужащим и в голову не приходит принести ему извинения за облыжные обвинения и 20 месяцев, вычеркнутых из жизни.*

*Считая этот случай общественно значимым, редакция публикует выступление С. Н. Бабурина на судебном заседании 16 декабря 2013 года.*

*Александр Казинцев*

СЕРГЕЙ БАБУРИН

## О ДЕЛЕ ДАНИИЛА КОНСТАНТИНОВА

Месть — это постыдно. Однако её следует отличать от возмездия. Именно о возмездии думаешь, сталкиваясь с проявлением современного государственного произвола, мечтаешь, чтобы ничто не осталось безнаказанным.

Отдельно хочу это обосновать на деле сына моего давнего соратника, народного депутата России И. В. Константинова Даниила.

16 декабря 2013 года я выступил по делу Д. Константинова в Чертановском суде в прениях. Ввиду значимости проблем приведу текст своего выступления:

“Высокий Суд! Уважаемые представители сторон! Высокоцитируемая публика!

Обстоятельные выступления моих коллег, также осуществляющих защиту Константинова Д. И., во многом облегчили мне задачу. В завершение выступлений со стороны защиты я остановлюсь на двух ключевых, итоговых вопросах:

1. Кто такой Константинов Даниил Ильич?

2. Почему Константинов Даниил Ильич находится уже более полутора лет под стражей и обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, откуда взялась и куда делась ч. 2 ст. 296 УК РФ, по которой он также ранее обвинялся?

Начнём с характеристики личности обвиняемого.

Даниил Ильич Константинов родился 5 февраля 1984 года в городе Ленинграде, имеет высшее юридическое образование. Женат, примерный семьянин. В момент ареста работал генеральным директором ООО «Юрпрефект», ранее не только не судим, но имеет репутацию убеждённого борца с преступностью.

Как портрет Д. И. Константинова нарисован в обвинительном заключении?

Человек, убивший несчастного А. Н. Темникова, действовал, по мнению следствия, очень расчётливо. Находясь в общественном месте, он, используя незначительный повод, выразившийся во внешнем виде погибшего, стремясь унижить человеческое достоинство последнего, подошёл к Темникову и присутствию посторонних лиц – пешеходов, как уверяет единственный свидетель этой сцены Софронов, плюнул Темникову на куртку, спровоцировав ссору, переросшую, к радости нападавшего, в обоюдную драку. В ходе драки этот будущий убийца, «осознавая противоправность своих действий, действуя дерзко и агрессивно, пользуясь своим физическим, моральным превосходством и пренебрежительным отношением к человеческой жизни вообще, безотносительно к личности потерпевшего, нанёс Темникову А. Н. множественные – не менее семи – ударов руками и ногами в область головы и туловища». Затем, реализуя внезапно возникший умысел на убийство случайно ему встретившегося Темникова, обвиняемый достал имевшийся при нём, по мнению следствия, неустановленный нож и, стремясь умышленно причинить смерть потерпевшему, догнал его на улице, напротив корпуса 6 дома 1 по ул. Газопровод, «в ходе драки нанёс ему не менее двух ударов ножом в область расположения жизненно важных органов». Осознавая, что потерпевший убит, убийца, по версии следствия, с места происшествия скрылся.

Привожу все эти выдержки из обвинительного заключения не для констатации противоречий следствия (к ним я ещё вернусь), а для демонстрации предъявленного нам портрета убийцы: жесток, вспыльчив, пренебрежительно относится к человеческому достоинству и человеческой жизни, способен публично не только затеять драку, но даже задумать и убить человека.

Конечно, в речи обвинителей 13 декабря 2013 года личность обвиняемого, а с нею и мотив убийства исчезли полностью, стало: «увидел, подошёл, убил». Тем более важно оценить, почему обвинение после судебного следствия предпочло забыть о заявленном изначально мотиве убийства.

Какое отношение характеристика убийцы из обвинительного заключения имеет к нашему подзащитному, Константинову Даниилу Ильичу? Убеждён: никакого! И доказательства этого имеются в материалах уголовного дела, представлены в ходе судебного следствия.

Исключительно положительные характеристики на обвиняемого даны всеми, кто только имел или имеет отношение к его жизни:

– родителями и женой, которые и в судебном заседании подтвердили свои отзывы об обвиняемом как об исключительно интеллигентном и образованном, вежливом даже в моменты споров человеке;

– с места учёбы – от руководства факультета юриспруденции и ювенальной юстиции РГСУ: «В период учёбы зарекомендовал себя способным, дисциплинированным и прилежным студентом... Проявил себя как исполнительный и добросовестный аспирант, обладающий неординарным аналитическим мышлением... Константинов Даниил Ильич зарекомендовал себя воспитанным, доброжелательным, уравновешенным и культурным человеком, пользующимся в коллективе заслуженным авторитетом» (т. 7, л. д. 292);

– с места регистрации от соседей и от уполномоченной компании ООО «Д. В. Групп» подтверждено, что за все годы проживания на ул. Академика Королева, а это более 20 лет жизни обвиняемого, жалоб от жителей или сведений о нарушениях общественного порядка не поступало. По отзывам местных жителей, с соседями вежлив и доброжелателен, с 1996 года (то есть с момента начала проживания) и по настоящее время ни с кем не конфликтовал, в состоянии опьянения замечен не был, общественный порядок не нарушал.



Замечу, что среди лиц, подписавших отзыв от жильцов дома, есть государственные служащие и депутаты российского Парламента (т. 7, л. д. 291, 293, 234). Представить, что Д. Константинов многие годы втайне от родных, друзей и соседей ездит в другой конец Москвы, чтобы там издеваться над людьми, бить и убивать прохожих, как это предлагает нам следствие, можно только при больном воображении – никаких оснований для этого в деле нет;

– от руководства политической партии “Справедливая Россия”, в которой Даниил Константинов состоял в 2007–2008 годах. Подчёркивается, что являясь руководителем молодёжной организации партии “Справедливая Россия” в СВАО, Д. Константинов зарекомендовал себя эрудированным, коммуникабельным, законопослушным человеком с активной гражданской позицией. За доброту, честность и открытость характера, дружелюбие и профессионализм пользовался заслуженным уважением товарищей. В своей политической деятельности всегда руководствовался принципами гуманизма, ненасилия и человеческой солидарности. Склонности к агрессии и экстремизму никогда не проявлял (т. 8, л. д. 200);

– из Координационного совета оппозиции, в котором Д. Константинов состоял и состоит, являясь одним из организаторов и активных участников протестных действий (т. 12, л. д. 20).

Ответ на требование в оперативно-справочный отдел свидетельствует, что Константинов Д. И. к уголовной ответственности никогда не привлекался (т. 10, л. д. 95–97).

Даже то, что Даниил Ильич страдает многими хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями позвоночника (остеохондрозом) и сердечно-сосудистой системы (подтверждающие медицинские документы, в том числе справка о вызове “скорой помощи” Константинову в ходе судебного заседания 01 ноября 2012 года в деле имеются – т. 8, л. д. 114–120, 155–161, 165, 200; из СИЗО – т. 10, л. д. 197), не сделало его даже при реальном следственном произволе озлобленным или истеричным. Не считать же за преступление или истерику его слова в адрес следователя Звонкова и свидетеля А. Софронова: “Вы ответите за фальсификацию уголовного дела!”

В судебном заседании защитником Д. В. Динзе приобщено к материалам уголовного дела заключение специалиста-психолога Рубашного, бывшего сотрудника системы ФСИН, касательно Даниила Константинова, в соответствии с которым Константинов обнаруживает уровни агрессии ниже среднего. Специалист Рубашный был допрошен в судебном заседании 05.12.2013 и полностью подтвердил ранее сделанные выводы.

Людьями, характеризующими Даниила Константинова как вдумчивого и спокойного человека, исключаящего в человеческих отношениях насилие даже по политическим причинам, тем более избегающего насилия в повседневной жизни, стали многие известные общественные деятели, просто соседи или друзья семьи. Они, встречавшиеся с ним в самых разных ситуациях, уверены в его невиновности, говорят, что Даниил – человек спокойный, не склонный к насилию, придерживающийся мирных методов решения конфликтов и политической борьбы. Практикующий юрист. Умеренный националист, национал-демократ. Никогда не высказывал ненависти к панкам или просто к людям с другими взглядами и вкусами, к представителям других национальностей. Никогда не носил ножей. Напомню имена этих людей, допрошенных в судебных заседаниях 17.06.13 и 26.11.13 в связи с готовностью выступить в качестве поручителей при решении вопроса об изменении меры пресечения Константинову и давших ему самую положительную характеристику:

Глов Сергей Александрович – научный руководитель Д. И. Константинова в РГСУ, доктор юридических наук, профессор, депутат российского Парламента четырех созывов;

Горбунова Алла Игоревна – друг и соратник, одна из лидеров молодёжного политического движения;

Гудков Дмитрий Геннадьевич – депутат Государственной Думы ФС РФ, лидер Движения молодых социалистов России;

Жмуров Василий Владимирович – друг и соратник Д. Константинова;

Касенов Дамир – его друг и партнёр по юридическому бизнесу;

Навальный Алексей Анатольевич – один из лидеров российской политической оппозиции;

Милов Владимир Станиславович – лидер партии “Демократический выбор”;

Мосафир Рустам Саламович – друг, кстати говоря, единственный человек, объяснивший в судебном заседании, кто такие панки. Желаящим понять стало очевидно, что свидетель Софронов и покойный Темников к панкам в 2011 году, по крайней мере, никакого отношения не имели;

Каретникова Анна Георгиевна – член Общественной наблюдательной комиссии по контролю за тюрьмами;

Сенчин Роман Валерьевич – российский писатель;

Емельянова Елизавета Анатольевна – российский литератор, поэт;

Холмогорова Наталия Леонидовна – руководитель правозащитной организации РОД;

Пионтковский Андрей Андреевич – научный работник, политик, публицист;

Приходько Алексей Александрович – муниципальный депутат, журналист.

Я не просто перечисляю имена людей, давших положительную характеристику Д. И. Константинову, – я хочу этим перечислением подчеркнуть, что о нём с теплом и уважением отзываются люди разного возраста, разных политических взглядов и социального положения. Это и

Витухновская Алина Александровна – известная поэтесса, писатель, журналист;

Давидис Сергей Константинович – юрист, социолог, правозащитник;

Сорокин Николай Олегович – директор Института проблем саморегулирования;

Павлов Евгений Александрович – друг семьи Константиновых, член Совета Федерации ФС РФ первого созыва;

Фёдоров Георгий Владимирович – член Общественной палаты РФ;

Иванников Олег Владимирович – пенсионер МВД, полковник;

Рохлина Елена Львовна – активист правозащитного движения.

Материалов, характеризующих Константинова Д. И. негативно, следствием не представлено. Вся его характеристика, содержащаяся в обвинительном заключении, не подтверждена ничем, кроме путаных показаний свидетеля Софронова, к которым я ещё вернусь.

Другие материалы, собранные обвинением, прямо подтверждают показания свидетелей защиты.

Вывод из материалов, имеющихся в деле, однозначен: Даниил Ильич Константинов – абсолютно законопослушный гражданин Российской Федерации с активной жизненной позицией. Он соблюдает законы сам и добивается, чтобы законы в нашем обществе соблюдали все, в том числе государственные руководители любого уровня. Такие люди, как он, – гордость, опора и надежда любого государства.

А теперь пришло время сформулировать ответ на вопрос, почему Константинов Даниил Ильич находится уже более полутора лет под стражей и обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, откуда взялась и куда впоследствии делась ч. 2 ст. 296 УК РФ, по которой он также ранее обвинялся?

В интервью, размещённом на сайте “Русская Платформа” 24 сентября 2011 года, включённом в расшифрованные материалы ГУПЭ МВД РФ (т. 10, л. д. 105), на вопрос о целях организации “Лига Оборона Москвы” Д. Константинов отвечает: “Цель проста – образование мощного русского противовеса в Москве, который не будет позволять властям в национальном вопросе не учитывать мнение коренного большинства. У нас много планов и идей, как и каким образом добиться этого”.

С точки зрения права Константинов излагает намерение обратиться к таким методам борьбы, как проведение шествия на основании поданной в мэрию заявки, организация городского референдума по вопросу строительства мечетей, отрицает немусульманский характер движения, подчёркивая, что Лига только против демонстративного исламизма (т. 10, л. д. 110–112).

Безупречное следование духу и букве законов!

Но хочу сказать и с точки зрения политической: а не из-за этой ли активной гражданской позиции, в том числе планов организовать общегородской референдум по болезненному для москвичей вопросу строительства мечетей, и развернулось под видом уголовного чисто политическое преследование Константинова?

Говорю об этом с печалью, потому что так хочется жить в стране, где соблюдаются законы и торжествует справедливость!

Речь идёт о прямом преследовании Д. И. Константинова за его принципиально либеральные и национально-патриотические убеждения. Этот вывод основывается на следующих материалах уголовного дела.

1. Для Д. И. Константинова драматическая эпопея началась ещё в ночь с 5 на 6 декабря 2011 года, когда он был задержан после участия в массовой акции в Москве “За честные выборы”. Из камеры предварительного заключения ОМВД России района “Тверской”, в которой он находился вместе с другими задержанными, его в полночь доставили на беседу с неизвестным мужчиной, представившимся сотрудником Центра по противодействию экстремизму Маркиным, который стал угрожать ему неприятностями за занятия политической деятельностью и склонять к сотрудничеству в качестве секретного осведомителя. Д. Константинов решительно отказался. Демонстрируя свои возможности, его собеседник гордо бросил фразу: “Я тот, кто вывозил из России нацбола Абеля” (партийная кличка одного из лидеров НБП Линдермана Владимира Ильича). Константинову было сказано, что за отказ сотрудничать он сядет в тюрьму надолго.

Вернувшись в камеру, Д. Константинов рассказал о состоявшемся разговоре сокамерникам Мангушеву И. Л. и Коротичу Е. В.

Допрошенные по уголовному делу свидетели Мангушев И. Л. и Коротич Е. В. подтвердили показания Д. И. Константинова.

Через три месяца, в начале марта 2012 года через интернет от знакомого по политическим акциям Феоктистова Д. В. Д. И. Константинову стало известно, что сотрудники ФСБ интересуются его политической деятельностью и подозревают Константинова и нескольких других участников акции 1 октября 2011 года – марша против этнопреступности – в совершении тяжкого преступления, а именно в участии в драке со смертельным исходом.

22 марта 2012 года в квартиру Д. Константинова ворвались работники спецслужб и, задержав его фактически в 10:00, подвергнув после этого унижениям и запугиванию, лишь в 16:25 доставили его в ОВД Чертановского района.

Заявление Д. И. Константинова о его политическом преследовании сделано им на первом же допросе в качестве подозреваемого.

Как следствие избавилось от необходимости учитывать возможную политическую причину уголовного преследования Д. Константинова? Очень просто. Выделило материал в отдельное производство, направило в СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве и приобщило к делу полученное оттуда решение об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Д. Константинова. Кто бы сомневался! Но “уши” политического заказа торчат из уголовного дела Д. И. Константинова очень сильно, да их и не особо прикрывают.

2. О том, что уголовное дело в отношении Д. И. Константинова имеет чётко выраженную политическую направленность, свидетельствуют вполне конкретная нацеленность приобщённых материалов допросов ряда свидетелей.

Феоктистов Дмитрий Вениаминович был допрошен 12.03.12 о совместных политических акциях с Д. Константиновым. Ему предъявили несколько оперативных снимков с марша 1.10.11 против этнопреступности, среди сфотографированных лиц он опознал Д. Константинова (т. 2, л. д. 14–15). После опознания Феоктистов допрашивался о партии “Новая Сила”, о движении “Русский Гражданский Союз”, занимающемся организацией митингов и демонстраций, о Д. Константинове, который как лидер “Лиги Оборона Москвы” участвует в этих акциях. Феоктистова всё время пытались вывести на разговор о боевиках, но он пояснил, что если Константиновым и организовывалась охрана мероприятий, то только для поддержания порядка.

15.06.12 года последовал дополнительный допрос Феоктистова. Свидетель показал, что ещё в середине февраля 2012 года был приглашён в здание полиции, сотрудники ЦПЭ УВД по ЮВАО предупредили его о недопустимости экстремистских действий в период президентской избирательной кампании. Что для нас важно: Феоктистову не просто предъявили для опознания 4–5 фотографий и фотороботы, спросив, не Константинов ли изображён на одном из них (один был похож). Главное – сотрудник УР показал ему на фоторобот молодого человека в капюшоне, сказав, что он-то и есть основной подозреваемый в убийстве. Напоминаю, это было в середине февраля 2012 года.

Интересны вопросы по поводу рассекреченных записей прослушки телефонных разговоров. “Что именно вы имели в виду, говоря о национализме? Кто такие Костя, Милитарев, Мангушев?” И вновь следствию объясняли, что среди националистов обсуждается необходимость уходить от этнической составляющей национальной идеологии и переходить на гражданскую тематику общественно-политической работы (т. 2, л. д. 31, 32).

26 апреля 2012 года следователь допросил в качестве свидетеля Фёдорова Виктора Викторовича, 15 июня его допросили повторно. Кто интересуется следствием? Константинов, Феоктистов, Владимир Тор.

А имеющиеся в материалах дела данные ГУПЭ МВД РФ? Сведения о лицах, входящих в круг общения, составляют 24 страницы убористого текста (т. 10, л. д. 100–123).

Меня лично заинтересовало, почему в части, касающейся Бабурина С. Н., с каким-то недобрым оттенком особо оговорено, что я последовательный сторонник объединения с Белоруссией. Может быть, я чего-то не знаю, и стремиться к объединению с Белоруссией уже является антигосударственной деятельностью?

Это чудо, что преступление 3.12.11 года вообще не сделали умышленным деянием группы лидеров русского национально-патриотического движения. Помешала славянская национальность погибшего, да и алиби, очевидно, оказались у всех. Но алиби Д. Константинова решили принести в жертву.

3. Ярким показателем политического заказа и изменения этого заказа в течение декабря 2011 – февраля 2012 года могут служить меняющиеся показания единственного свидетеля обвинения, находившегося на месте преступления, А. А. Софронова. Не буду повторять анализ этих показаний Софронова, проделанный адвокатом В. П. Шкредом, речь пойдёт только о динамике показаний свидетеля.

А. Софронов называет себя близким другом убитого Темникова, что, однако, не было подтверждено в судебном заседании отцом погибшего. Следствие вообще не рассматривало версий, что Темников и Софронов вступили в конфликт с лицами, с которыми у них первоначально могли решаться некие деловые вопросы. Отдельные свидетели видели только конец истории. Началом не видел никто, оно предстаёт лишь в виде менявшегося в принципиальных деталях сказания в исполнении Софронова. Сценарий и режиссура сказания – на совести талантов, оставшихся для нас всех в тени.

То, как менялись показания свидетеля Софронова, очень чётко укладывается в этапы шантажа в отношении Д. И. Константинова.

Протокол допроса 04.12.11 года. Свидетель Софронов дал показания об обстоятельствах дела. На него и А. Н. Темникова напали, он убежал, о том, что Темников погиб, узнал позднее от лиц, оказывавших ему медицинскую помощь. Увидел он Темникова после своего бегства уже только мёртвым.

Убеждён, это самый точный протокол допроса и самые искренние показания Софронова. Он составляет фоторобота двух человек, которые его избивали. 15.12.11 года Софронова допрашивают второй раз.

Проходят два месяца, к работникам уголовного розыска плотно присоединяются своим расследованием ГУПЭ МВД России и Управление “М” ФСБ РФ.

04.02.12 года свидетеля Софронова допрашивают вновь. В присутствии понятых он уверенно по фотографии опознаёт Константинова как человека со своего фоторобота, в компании которого был кто-то, убивший Темникова. Константинов, по уверенным, подчёркивается в протоколе, показаниям Софронова, был на месте преступления и избивал его, Софронова. Протокол Софроновым был прочитан лично, замечания к нему у Софронова отсутствовали (т. 2, л. д. 4, 5).

Мы с вами помним, что и при допросе в суде Софронов, объясняя, почему фоторобота два и кто на них изображён, первоначально повторил эту версию, но запутался при объяснениях, что же делал Константинов, бил его или убивал Темникова.

Кого-то устраивал в начале февраля 2012 года вариант сделать из молодого и перспективного политического лидера Д. Константинова заурядного хулигана. Но Константинов, узнавший от Феоктистова о намерении российских спецслужб включить его фигурантом в какое-либо уголовное дело, вместо того, чтобы испугаться и навеки спрятаться, продолжил свою политичес-

кую деятельность и стал публично рассказывать о попытке его завербовать в опсведомители ФСБ.

Вернёмся к А. А. Софронову.

21.03.12 года оформлен протокол следующего допроса свидетеля Софронова. На этот раз свидетель уже утверждает, что Константинов избивал не его, а Темникова, и он, Софронов, видел в его руке “блестящий предмет”.

Уже на другое утро, в 10:00 22.03.12 года дома задерживается Д. Константинов. Его подвергают запугиванию до 16:25, после чего доставляют в ОВД и тут же оформляют повторное опознание (что не предусмотрено УПК) и очную ставку Софронова с Константиновым. Протокол повторного опознания аккуратно отпечатан, в том числе данные и показания Софронова, что “когда лицо № 3 и Темников побежали на улицу, я увидел в его руке нож”. Константинов на обороте протокола опознания написал заявление, что на свидетеля оказывалось давление, он фактически не назвал номера, под которым опознал Константинова, даже не взглянул в его сторону (т. 3, л. д. 11–14).

В протоколе очной ставки свидетель также заявляет, что видел не только драку Константинова с Темниковым, но и то, как Константинов замахнулся ножом на Темникова. Примечательно, что Д. Константинов и адвокат О. Михалкина отказались подписать протокол очной ставки.

Действительно, взгляните на протокол очной ставки, Ваша честь! В нём отпечатаны Ф. И. О. и паспортные данные бессменных понятых по делу Константинова, Векина и Российского (они, действительно, фигурируют во многих протоколах дела). Напечатан ответ Д. Константинова о том, что свидетеля он не знает, раньше не видел, неприязненных отношений с ним не имеет. А вот Ф. И. О. адвоката О. Михалкиной вписано в протокол от руки – очевидно, следователь не знал заранее, кто из адвокатов подъедет на опознание, а то и вообще рассчитывал обойтись без адвоката.

С полным на то основанием адвокат О. Михалкина записала на протоколе очной ставки: “Данный протокол очной ставки является сфабрикованным. Мой подзащитный на вопросы следователя отвечать отказался, в том числе на вопрос о том, знает ли он Софронова А. А. Сведения следователь записывал самостоятельно, Софронов А. А. того, что написано в протоколе очной ставки, следователю не сообщал” (т. 3, л. д. 37).

Именно тем, что обвиняемый и его адвокат поймали следователя Звонкова С. А. на фальсификации, указали на злоупотребление следователя служебным положением, и следует объяснить немедленное заявление Звонкова об угрозах в его адрес, о реальности угроз в адрес следователя и свидетеля. Против Константинова тут же возбуждается дело по ч. 2 ст. 296 УК РФ (угроза в связи с осуществлением предварительного следствия). Впоследствии в этой части обвинение снято, дело прекращено, но сделано это было не из гуманизма и соответствия закону, а из-за нежелания как допрашивать по этому эпизоду О. Михалкину, так и направлять дело Д. Константинова в суд присяжных (чему служит и переквалификация с ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 105 УК РФ). Театр абсурда с якобы угрозами Константинова сыграл свою роль: даже мы с вами в судебном заседании не стали обращать особого внимания на явно сфабрикованный протокол очной ставки.

Вот теперь заказчики уголовного преследования Д. И. Константинова могли быть довольны: из ординарного хулигана следователи его подняли до злобного и циничного убийцы.

Остались без ответа вопросы, как свидетель Софронов, находящийся с марта 2012 года под государственной охраной, сумел за этот период совершить несколько краж и быть дважды осуждённым. Что делала его государственная охрана? Что – стояла на стрёме? И почему во второй раз приговор в нарушение УПК вынесен вновь условно? За готовность дать любые показания по делу Д. Константинова? Наверняка!

4. О политическом характере уголовного дела свидетельствуют многочисленные небрежности и фальсификации материалов уголовного дела Д. Константинова.

Обвинительное заключение прямо противоречит показаниям свидетеля Софронова в суде. Исчезновение важнейших вещественных доказательств – изъятых вещей погибшего А. Темникова (телефона, фотоаппарата, рюкзака), исследование которых могло дать, а может быть, и дало доказательства непричастности Д. Константинова к убийству, не может считаться случайным. Это – один из ключевых моментов фальсификации материалов уголовного дела.

Предварительным следствием материалы, касающиеся Д. Константинова, подбирались предвзято, интерпретируясь лишь как доказательство его виновности. Так, материал по Константинову из базы АИПС “Экстремист” раскритикован для доказательства вины Д. Константинова. Однако он содержит лишь информацию о его активной политической деятельности, о такой же деятельности многих его друзей и знакомых. Содержит данные о пикетированиях в его поддержку, проводившихся после задержания Константинова (т. 10, л. д. 110–112).

И наоборот, ходатайство адвоката Д. В. Зацепина о приобщении к делу видеозаписи выступления Д. Константинова 23.02.2012 года на митинге Российского общенародного союза, где Константинов выступил как политический деятель широких патриотических взглядов, с четкой гражданской позицией, не являющейся антиобщественной и не несущей никаких призывов к насильственным действиям, было следователем отклонено. Впрочем, само постановление об отказе в удовлетворении ходатайства, подписанное следователем Алтынниковым, должно повергать кого угодно в смущение. Документ называется “Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства”, но в самом документе написано, что, рассмотрев ходатайство защитника о приобщении к делу видеозаписи, придя к выводу, что видеозапись не содержит сведений, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, следователь постановил: “Удовлетворить ходатайство защитника Д. В. Зацепина” (т. 8, л. д. 197).

Что это? Небрежность или уверенность, что по делу приговор уже предreshён, и суду для его оформления нужны лишь тома любой макулатуры, даже самой халтурной?

Впрочем, возьмите само Обвинительное заключение. На с. 32 в прилагаемой справке по делу следователь Алтынников отметил, что “потерпевший Темников А. Н. с материалами уголовного дела не ознакомивался”. Между тем, Алексей Николаевич Темников убит 03.12.11 года. Вот и думаешь: то ли столь серьёзные опечатки, касающиеся человеческих судеб, стали у нас обыденным явлением, то ли следствие реально рассчитывало, что покойный тоже должен ознакомиться с итогами расследования его убийства.

А возьмите беспрецедентное шоу с художественным исполнением рисунка ножа, которым, возможно, был убит Темников! Заявляя (и не с первой попытки), что увидел в руке Константинова “что-то блестящее”, Софронов под творческим руководством следствия даже это “что-то блестящее” 24.07.12 года нарисовал, после чего “это что-то” стало фактически кухонным ножом с лезвием в 20 см. И этот рисунок сомнительного исполнения всерьёз предьявляется свидетелю и суду как доказательство наличия у Константинова орудия убийства.

Кстати, откуда следствие сделало вывод, что Д. Константинов вытащил из кармана принадлежащий ему нож? А может быть, он его взял из чьих-то рук? Чем доказано то, что он что-то вытаскивал из кармана (я сейчас даже не возвращаюсь к вопросу, что Д. Константинова не было на месте преступления – убийца-то был)? И откуда следствие сделало вывод, что у Константинова вообще есть принадлежащий ему нож? Где справки, показания? Ничего в деле нет!

А вспомните нелепо выбритые виски свидетеля Софронова перед дачей показаний в суде! Зачем следствие организовало этот театр? Ни на одной из сделанных ранее и имеющихся в деле фотографий А. А. Софронова у него нет подобной причёски. Более того, она имеет очень далёкое отношение к традиции панков, очевидно, ни парикмахер, ни куратор Софронова в силу халтурной торопливости не стали искать внятное изображение реального панка для эталона. Зачем и кому понадобилось стричь Софронова перед судебным заседанием? Он что, проникся столь высоким пиететом к суду, что помылся, побрился и подстригся? Софронов не мог подстричься сам, потому что прекрасно понимает, что вору нужна незаметность, что столь нелепая, но бросающаяся в глаза причёска будет ему помехой в следующих кражах. Судя по всему, он продолжает рассчитывать за условные судимости.

Фактом, подтверждающим фальсификацию доказательств по делу Константинова, стал многомесячный отказ следствия от сотрудничества с защитой, прежде всего, в проверке заявленного алиби обвиняемого.

На протест по поводу непредоставления в суд материалов, связанных с заявленным алиби, майор юстиции Маркосян В. В., отказывая в ходатайстве, хладнокровно написал: “Уголовно-правовым законодательством не регламенти-

ровано, какие именно материалы уголовного дела должны прилагаться к ходатайству о продлении срока содержания под стражей. Суду, рассматривающему заявленное ходатайство о продлении срока содержания Константинова Д. И. под стражей, материалов уголовного дела, представленных в суд, было достаточно для принятия законного и обоснованного решения” (т. 3, л. д. 16).

Адвокат Д. В. Зацепин на прошлом заседании блестяще доказал многочисленные фальсификации при “опровержении” алиби Д. Константинова, например, сфабрикованность ленты контрольно-кассового аппарата ресторана “Дайкон” за 3 декабря 2011 года. То, что следователь Алтынников преднамеренно, в целях поставить под сомнение алиби обвиняемого, отказался изъять и официально исследовать одежду Д. И. Константинова и его супруги, в которой они были в ресторане на дне рождения матери обвиняемого, Константиновой Г. А., 03.12.11 года. Именно в этой одежде они запечатлены в тот день и в том месте на сделанных и имеющихся в деле фотографиях. А представленные защитником Д. Зацепиным доказательства покупки этих вещей в 2011 году исключают возможность датировать имеющиеся в деле фотографии 2007 или иным более ранним, чем 2011, годом.

Не буду повторяться: я подчёркиваю лишь умысел следствия.

Эксперт МВД РФ, отнюдь не защиты, официально подтвердил, что возможность фальсификации фотографий исключена, что их дату технически установить невозможно — всё это следствием демонстративно игнорируется. А ведь на фотографиях, предшествующих сделанным 3.12.11 году, запечатлены и другие страницы жизни семьи Константиновых, имевшие место в 2011 году. Ничего не проверяется!

Объяснение может быть только одно: политические заказчики уголовного осуждения Д. Константинова сидят в столь серьёзных креслах, что следственная бригада, работавшая по делу Константинова, их боится больше, чем ответственности за преднамеренную фальсификацию уголовного дела. Отсюда и беспрецедентные заявления следователя Алтынникова в суде: может быть, и был Константинов в ресторане, а может быть, и не был, может быть, там были свидетели, а может быть, их и не было. И это позиция руководителя следственной группы, официально завершившей расследование!

Следствие, не дав должной и своевременной оценки алиби Д. Константинова, уже неоднократно вводило в заблуждение суд, добиваясь продления содержания обвиняемого под стражей.

Социогуманитарное исследование от 20.11.2012 года, сделанное экспертом Дубровским Дмитрием Викторовичем, подтвердило, что Константинов Д. И. является одним из лидеров национального крыла протестного движения в России, умеренным националистом, организатором многих протестных акций. Эксперт подтвердил и политическую составляющую расследования уголовного дела № 701310, указав на наличие в составе оперативной группы представителя центра по борьбе с политическим экстремизмом, и наличие угроз, ранее поступавших в адрес Константинова Д. И. Допрос специалиста Дубровского Д. В. был и в судебном заседании, в ходе которого он вновь подтвердил сделанные выводы (т. 8, л. д. 203–225).

Константинов Даниил Ильич с полным на то основанием уже признан политзаключенным Правозащитным центром “Мемориал” и Союзом солидарности с политзаключенными, что подтверждено соответствующим документом (т. 12, л. д. 20).

Политический вывод из дела Д. И. Константинова однозначен.

Обвинение Константинова Д. И. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, продолжающееся вопреки наличию подтверждённого в ходе судебного заседания алиби, может быть объяснено только преследованием Д. И. Константинова за его принципиально либеральные и национально-патриотические убеждения, активную оппозиционную политическую деятельность.

Важен и общеправовой вывод из дела Д. И. Константинова.

Дело Д. И. Константинова может выступать в качестве образца грубейшего нарушения конституционных прав и свобод граждан России, ярким примером попрания норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, ратифицированной Российской Федерацией и ставшей частью нашей правовой системы.

При возбуждении и производстве предварительного следствия нарушены 2 статьи Конституции Российской Федерации.

Ст. 29 Конституции РФ: “1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова... 3. Никто не может быть принуждён к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них”.

Ст. 31. “Граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования”.

По настоящему уголовному делу мы сталкиваемся с нарушением статей 9, 10 и 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года.

Ст. 9 гласит: “1. Каждый человек имеет право на свободу мысли...; это право включает свободу менять религию или убеждения и свободу... придерживаться убеждений как индивидуально, так и сообща с другими, публичным или частным образом...”

Ст. 10 гласит: “1. Каждый человек имеет право на свободу выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию или идеи без какого-либо вмешательства со стороны государственных органов и независимо от государственных границ”.

Ст. 11 гласит: “1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и на свободу ассоциации с другими”.

Кроме того, следствием нарушен п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой “каждый человек, обвиняемый в совершении уголовного преступления, имеет как минимум следующие права:

...b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты;

...d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него”.

Как установлено судом в ходе судебного следствия 10 декабря 2013 года, при ознакомлении с материалами дела обвиняемому не было предоставлено возможности прослушать и просмотреть приобщенные к делу и использованные следствием при допросе свидетелей и выработке обвинения в адрес Константинова Д. И. аудио- и видеоматериалы. Судом были приняты меры к ознакомлению обвиняемого Константинова Д. С. с указанными материалами дела, и обвиняемый максимально пользуется этой возможностью, однако это произошло только в середине декабря 2013 года, когда судебное следствие было закончено и начались судебные прения, что принципиально ограничило право обвиняемого на защиту.

К сожалению, и при производстве судебного следствия имело место нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции, который гласит: “Каждый человек имеет право при... рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона”.

Указанная статья предусматривает 6 оснований для исключения из общего правила гласности судопроизводства:

- по соображениям морали;
- по соображениям общественного порядка;
- по соображениям государственной безопасности в демократическом обществе;
- когда того требуют интересы несовершеннолетних;
- для защиты частной жизни сторон;
- при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия.

Из материалов дела следует, что допрос свидетеля Софронова, проведенный 22.11.2013 года в закрытом заседании, и, тем более, обсуждение тоже в закрытом порядке самого ходатайства прокуратуры о проведении закрытого заседания, не подпадают ни под одно исключение, предусмотренное в ст. 6, следовательно, имеет место нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции.

Европейский суд по правам человека в решении по делу “Претто и другие против Италии” от 8 декабря 1983 года подчеркнул: “Публичный характер судопроизводства, о котором говорится в ст. 6 п. 1, защищает тяжущихся от



тайного отправления правосудия вне контроля со стороны общественности; он служит одним из способов обеспечения доверия к судам, как высшим, так и низшим”.

Как подчеркнул ЕСПЧ в своём решении по делу “Ле Конт, Ван Левен и Де Мейр против Бельгии” от 23 июня 1981 года, разбирательство в случаях, не предусмотренных исключениями, указанными в ст. 6 Конвенции, не будет нарушением Конвенции, если проходит при закрытых дверях “с согласия заинтересованного лица”.

В нашем случае такого согласия не было, напротив, и обвиняемый Д. Константинов, и защита настаивали на допросе свидетеля в открытом судебном заседании. Тем самым при судебном рассмотрении дела нарушена и ст. 123. Конституции РФ, согласно которой “1. Разбирательство во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом”.

Таково было моё выступление в прениях. Исходя из всего вышеизложенного, я попросил Суд остановить маховик политического преследования Константинова Даниила Ильича и в частном определении дать оценку действиям лиц, виновных как в фальсификации уголовного дела в отношении Константинова Д. И., так и в том, что настоящий убийца Алексея Темникова до сих пор находится на свободе и, вероятно, продолжает свою преступную деятельность.

В отношении же Константинова Даниила Ильича просил Суд вынести оправдательный приговор за отсутствием в его действиях состава преступления.

Федеральный судья не рискнула вынести ни обвинительный, ни оправдательный приговор. 26 декабря 2013 года, более чем через два года после убийства А. Темникова и через 20 месяцев после взятия под стражу Д. И. Константинова, суд вернул дело прокурору.

Фактически было удовлетворено наше ранее неоднократно заявлявшееся ходатайство, следствие показало своё банкротство, но оклеветанный молодой политик пока остался в тюремной камере. Наша борьба за его освобождение и реабилитацию продолжается.

ИСРАЭЛЬ ШАМИР

## У РОССИИ ЕСТЬ ДРУЗЬЯ

Архиепископ Севастийский Феодосий – здоровенный, темноволосый, синеглазый, кудлатая борода с проседью, похож на дородного русского батышку. Сила – физическая и духовная – так и пышет от этого, самого высокопоставленного палестинского иерарха Православной Иерусалимской церкви. Палестинцы зовут его Аталла Ханна, как его звали с рождения до принятия сана, а родился он сорок с лишним лет назад в деревне Рами, в Галилее, на севере Израиля, в семье с глубокими и древними православными корнями. По преданию, сам Иисус Христос крестил его далёких пращуров – и пращуров многих палестинских христиан. Каждый раз, посещая Иерусалим, прихожу к нему получить пастырское благословение и услышать, что он думает об острых международных и ближневосточных проблемах. Это про таких, как он, говорят, “глас народа – глас Божий”.

### **Сейчас настало время России**

Нет на Святой земле владыки, который больше бы любил Россию и верил в неё, чем архиепископ Феодосий. Для него Москва важнее Константинополя. Он поддерживал линию России по Сирии и по Палестине. Он всегда с надеждой расспрашивает меня о положении Церкви на Руси, о настроениях в Москве. “Сейчас настало время для России усилить своё влияние на Ближнем Востоке, – говорит он. – После блестящей победы в Сирии, когда Россия остановила американские ракеты, арабы прониклись уважением к Путину и Лаврову. Все смотрят русское телевидение – RT по-арабски. Кроме посольств, Россия может сейчас создать свои культурные и духовные миссии, деловые центры, расширить ежедневные контакты с арабами, – то есть сделать то, что делают США, Франция, Англия, и что делала Россия в прошлом. Сейчас для проникновения русской “мягкой силы” сложились удобные обстоятельства”.

Из русских послов на Ближнем Востоке владыка Феодосий особенно отличает посла в Бейруте – тот превосходно говорит по-арабски, часто выступает по телевидению. Нынешний российский посол в Тель-Авиве, в отличие от его предшественников, в церковь не ходит, с православными палестинцами не видится, да и своим сотрудникам запрещает. В прошлом православные палестинцы служили опорой России на Ближнем Востоке.

### **Что думает архиепископ о терактах в России?**

За терактами в России, на Ближнем Востоке и в мире стоит Саудовская Аравия. Это она своими немереными деньгами сеет семена исламского экстремизма. По всему миру саудовцы строят мечети, но ни одной христианской

церкви не разрешают построить в своей стране. Катар дует в ту же дуду, только сил у него поменьше. А Саудовская Аравия подкупает всех. И в Палестине, и в Сирии, а теперь и в России саудовские деньги творят зло.

Что же можно с этим сделать? Хорошо бы принести демократию в Саудовскую Аравию, но это затруднительно – семьдесят процентов жителей богатейшего королевства неграмотны, говорит владыка.

Я вспоминаю, что десять лет тому назад американский аналитик Лорен Муравец предложил на встрече в Пентагоне сместить с трона саудовскую династию и разобрать экс-Саудовскую Аравию на отдельные провинции; передать Хиджаз с его священными городами Мекка и Медина законнейшим правителям, потомкам пророка Мухаммада, королям Хашимитской династии. Они сотни лет правили Хиджазом, пока англичане не прогнали их, отдав им Иорданию в качестве утешения.

Муравец умер, но его идея – обессаудить Аравию – живёт среди арабских политиков и журналистов.

### **Мирные переговоры**

За день до нашей встречи израильский министр обороны Буги Яалон резко отозвался об американском госсекретаре Джоне Керри, сказав: “Получил бы он, наконец, Нобелевскую премию, и свалил подальше со своей мессианской одержимостью, оставив нас в покое!” Буги долго не хотел извиняться, чувствуя, что выразил общее мнение израильского руководства. Израильтяне не верят и не хотят успеха миссии Керри, да и многие палестинцы не верят, что она может увенчаться успехом – ведь по планам Керри израильтяне навеки останутся в долине Иордана, будут контролировать все входы и выходы из якобы “независимого” палестинского государства. Какой же путь предвидит владыка Феодосий?

– Мир необходим, нельзя вечно воевать. Но идея создания двух государств, еврейского и палестинского, приказала долго жить. У неё ещё был шанс при Арафате, но сейчас таких шансов нет. Наше будущее – в едином демократическом государстве для всех жителей Святой земли, для евреев, христиан и мусульман. Пусть у нас будет один Парламент, одно правительство, как у всех на свете. Нет нужды в двух отдельных государствах. Для христиан Святой земли лучше одно демократическое светское государство, иначе к власти придут, с одной стороны, еврейские, с другой – мусульманские фанатики.

Эту точку зрения владыки Феодосия разделяют многие израильские политики – в основном из “правых” партий, в то время как “левые” партии хотят создать чисто еврейское государство. Парадокс? Да, один из многих еврейских парадоксов. “Левые” партии Израиля объединяют состоятельных и образованных граждан, прозападных светских евреев. Они против религии, за однополые браки, за приём африканских беженцев, а русские и палестинцы им не нужны.

### **Один в поле...**

Нелегко владыке Феодосию и в его Церкви в Иерусалимской патриархии. Там все епископы и сам Патриарх – греки, и палестинцев они не допускают на высшие ступени церковной иерархии. Владыка Феодосий – единственное исключение.

В моих встречах с православными мирянами в Палестине и Израиле я часто слышал нелюбезные отзывы о Патриархе и епископах, которые не заботятся о пастве и даже продают церковную землю еврейским бизнесменам. Всё чаще миряне выводят церковные земли из-под власти патриархии во власть общин – “пока греки не продали все евреям”, как они говорят.

Владыка Феодосий пользуется народным доверием, а это вызывает ревность в патриархии. Её представители говорят евреям, что Феодосий – палестинский националист и враг Израиля, а арабам они говорят, что Феодосий – израильский гражданин и дружит с евреями. Так что владыке не позавидуешь.

Владыка Феодосий на самом деле уроженец и гражданин Израиля, путешествует с израильским паспортом. Хотя за его постоянную и открытую поддержку прав палестинцев израильские спецслужбы клеймят его как “заядлого врага Израиля” и даже мешают его встречам с дипломатами, он не враг ев-

реям. Даже во время моего короткого визита он успел ответить на звонок “Нетурей Карта” – группы глубоко верующих ортодоксальных евреев, живущих издавна в Иерусалиме. “Нетурей Карта” – не сионисты, даже антиссионисты, но они самые правочерные евреи, которых можно найти, и они часто навещают владыку Феодосия.

### **Антихрист грядёт?**

Я спросил владыку, ожидает ли он скорой победы Антихриста и Второго пришествия Христа, о чём часто слышишь в русских религиозных кругах.

Владыка Феодосий мнётся: “Конечно, так предсказано, но времени исполнения пророчеств никто не ведает. Лучше об этом не задумываться, а усердно посещать церковь, причащаться святых даров, стараться не грешить”.

Есть признаки близости Антихриста – это однополые “браки”, которые возмущают владыку. Однополые половые связи вообще греховны, но церковь умеет работать с грешниками. В Иерусалиме и раньше бывали гомосексуалисты, но они грешили украдкой, скрывали свой грех. Сейчас они гордятся своим грехом, а это возмутительно.

Однополые “браки” – это мета Антихриста, считает владыка. И в этом позицию владыки разделяют и мусульманские, и ортодоксальные еврейские духовные лица в Иерусалиме.

### **Служба в храме**

Владыка Феодосий продолжает своё служение, церковное и светское. Он живёт в непрерывных поездках по миру; всюду, где обсуждается палестинская тематика, он выступает; и служит в храме Гроба Господня, где к нему часто обращаются за помощью русские священники и епископы. Они знают – этот улыбчивый молодежавый владыка всегда старается помочь гостям и паломникам из сестринской Русской Православной Церкви.

АЛЕКСАНДР БОБРОВ

## ВЕНГЕРСКИЕ ЗАРИСОВКИ

### “Йоббик”

В красивом городе Дьёре на реке Рабе – притоке Дуная, отравленном не так давно красными отходами алюминиевого завода в Айке, – сыпал нудный дождь. Медленно приходила весна в Венгрию, с запозданием на две недели, как уверяют старожилы. Под этим холодным дождём жался к старым вычурным зданиям (Дьёр называют “городом балконов”) немногочисленный митинг. Полиция не пускала протестующих на проезжую часть. Несколько людей стояли в чёрных одеждах с жёлтыми звёздами Давида, какие заставляли носить венгерских евреев оккупанты-нацисты. Митингующие держали плакатики, на которых было написано: “Дьёрские граждане говорят “нет” антисемитизму”; “Дьёндьёши, если ты против евреев, то мы все евреи”, “Йоббик, Дьёр не хочет ненависти”; “Кто против евреев и цыган – это нацисты. Остальное – болтовня”. Кстати “болтовня” по-венгерски звучит удивительно понятно и насыщено для всякого русского – “дума”. Так что за дума-болтовня объединила этих людей под дождём недалеко от фонтана с памятником сифону, который, как оказывается, был придуман здесь? Объясняю тем, кто не знает венгерской действительности, но кто способен извлекать политические и прочие уроки.

В демократической России словом “националист” либеральные СМИ детей и власть держащих пугают, а в новой венгерской конституции прямо написали, что Венгрия является (о, ужас!) национальным государством венгров. ЕС обрушился с критикой и плачем, а жестокосердные венгры проигнорировали. Да к тому же партия с экзотичным названием “Йоббик” по итогам выборов 2010 года имеет 46 депутатов из 380 в венгерском парламенте. Это всё равно что – по соотношению – в Госдуме РФ было бы несколько десятков депутатов-националистов!

Йоббики популярны среди пролетариата небольших городов и крестьянства в восточной части страны. Не исключено, что “Йоббик” – сейчас вторая по популярности партия Венгрии после правящей “Фидес” председателя правительства Виктора Орбана. Сама партия определяет себя в качестве “радикальной и национально-консервативной силы”. В её партийной идеологии мощно представлена антиглобалистская составляющая. Йоббики заявляют себя врагами западного вектора развития Венгрии. Вожди – люди из народа, которые громко говорят о социальной несправедливости. В этом аспекте они вполне искренни, и вряд ли можно расценивать их речи как простую демагогию, как заявления того же внука члена Политбюро Ильи Пономарёва, который борется якобы против коррупции, а сам за организационно-преподавательскую деятельность (“Даже больше преподавательскую”, – говорит он) получил больше 7 млн рублей в рамках проекта “Сколково”. Ну вот, а утверждают, что в России профессора и доценты бедствуют! В Венгрии такое вообще бы не прошло в любой партии.

Сейчас там люди живут скромно, любимые венграми ресторанички и даже погребка с дешёвым вином (2–2,5 евро за литр!) – пустуют. Во времена социализма – не зайти, по выходным – особенно: никто дома не хотел обедать. Так ведь, венгры? Брутто-зарплата, как выражаются в Венгрии, формально достаточно велика, однако велики и налоги, в итоге нетто составляла 135 тыс. форинтов (18 200 рублей), в России в 2011 году средняя нетто-зарплата составила, как уверяет нас статистика, 20 500 рублей. Средняя пенсия по размерам практически сравнялась: в Венгрии около 260–270 евро, в России якобы 9,5 тыс. рублей (240 евро). Средняя заработная плата в Венгрии в 2012 году подросла и составила 211 200 форинтов – примерно 735 евро. Но по-прежнему высоки и налоги. Такого никогда не было, – особенно при соцлагере, – чтобы венгерская зарплата была ниже среднероссийской, но теперь, благодаря Евросоюзу, свершилось. Но если венгры могут на что-то держать низкие цены, они, сцепив зубы, стараются. Растёт цена энергоносителей, но как стоил абонемент в целебное озеро городка Хевиза 7 500 форинтов (1000 рублей) на 10 часов в течении недели – так и стоит. Это по цене – две ванны по 15 минут в нашей “Мацесте”. Новая термальная купальня в Дьёре стоит 270 рублей на три часа со всеми бассейнами, горками и целебными ваннами. Вы найдите мне такой даже не целебный, а простой аквапарк в России? Вот что такое забота о здоровье нации на фоне наших беспрерывных дорожных любой профилактики. Вот урок для России, которая находится на 113-м месте в мире по финансированию здравоохранения!

Да, мировой кризис, экономические трудности толкают к радикализму. А ещё – общая политика неолиберализма, когда рыночные отношения переносятся из сферы экономики во все сферы общественной и духовной жизни, что в Венгрии, что в России. Царит зверский социал-дарвинизм и излюбленный многими нашими политиками тэтчеризм (“железная леди” говаривала: “Нет никакого общества, есть одиночки – мужчины и женщины”). А вот же: оказалось, что и общество есть, и народ, и нация!

Рост национализма и политические успехи “новых правых” в странах Евросоюза достаточно оживленно обсуждаются в европейских и транснациональных СМИ, у нас – почти замалчивается. На сегодняшний момент в центре внимания, прежде всего, те, кто попал в органы законодательной власти: это “Партия свободы” Герта Вилдерса в Голландии, партия “Истинные финны” Тимо Сойни в Финляндии, партия “Хриси авги” в Греции и, наконец, партия “Йоббик” Габора Воны в Венгрии. “Новых правых” в западных СМИ клеймят за их ксенофобию и правый популизм. Первой для показательной порки в Европе как раз и была избрана венгерская “Йоббик”: её критики часто ссылались на внешне устрашающие уличные акции отрядов так называемой “Венгерской гвардии” – организации, которая формально не входит в “Йоббик”.

Антисемитизм в неявной риторике всегда присутствовал у лидеров и рядовых членов партии, что, в частности, хорошо продемонстрировало недавнее дело одного из вождей – депутата Европарламента Чанада Сегеди, произносившего антисемитские речи, а на поверку оказавшегося евреем. После разоблачения Чанада был вынужден покинуть ряды партии “Йоббик”. И вот в таких-то условиях в конце прошлого года депутат от партии Мартон Дьёндьёши призвал в стенах роскошного венгерского парламента на берегу Дуная составить списки политиков-евреев, особенно с израильским гражданством, чтобы проверить их персонально на предмет угрозы национальной безопасности Венгрии. На пленарном заседании Дьёндьёши обратился к парламентскому госсекретарю по иностранным делам с вопросом, почему Венгрия в конфликте Израиля с палестинцами столь быстро приняла сторону Израиля? Тот в ответ промямлил, что Венгрия отстаивает общие интересы и приветствует прекращение огня в Газе. Именно после этого Мартон Дьёндьёши и назвал подобные действия венгерского правительства результатом деятельности израильского лобби в Венгрии. Тут он и произнес ставшие “знаменитыми” на весь западный мир слова, получившие, с лёгкой руки транснациональных СМИ, определение “список Мартона”: “Именно сейчас настало время в связи с этим конфликтом обследовать, в частности, сколько людей еврейского происхождения есть в венгерском Парламенте и правительстве Венгрии, которые означают действительную угрозу национальной безопасности для Венгрии”. Депутаты венгерского Парламента молча выслушали это высказывание Дьёндьёши. Никто не попытался прервать его выступление и бурно протестовать

сразу же после. Почему? — из-за сдержанности венгров и потому, что даже политические противники в душе разделяли смысл его речи.

Волна яростной реакции на высказывание Дьёндьёши пошла на следующий день. Её нетрудно было предсказать заранее. Будапешт бушевал, а Запад громко реагировал. Посольство США в Венгрии выступило с жёстким заявлением против “глубоко оскорбительных и зверских” слов депутата. Вслед за этим высказывание Дьёндьёши решительно осудил посол Израиля в Венгрии. Ну, и так далее. Эхо несмолкающих политических битв докатилось и до провинциального Дьёре с его скромным митингом. Накануне Конституционный суд Венгрии постановил отменить закон, запрещающий использование нацистских и коммунистических символов. Судьи посчитали, что принятый ранее документ ограничивает свободу выражения мнений, трактуя слишком широко варианты использования свастики, серпа и молота, красной звезды и других символов. Законодателям предложено внести изменения в текст документа. Демократия...

Партия “Йоббик” — молодая по составу, 30–40 лет — это средний возраст членов партии, которые не помнят не то что годы войны и послевоенного социалистического развития (восстановленные города, метро, скоростные железные дороги, выдающееся сельское хозяйство — всё из тех лет), но и событий 1956 года — не помнят. Кто кого, почему и за что тогда мочил? Усвоили только словосочетание “советские оккупанты”. Снова подумал: какая же удобная позиция — всё сваливать на Советский Союз, при котором Венгрия жила, как у Христа за пазухой, была витриной социализма! Ещё раз убедился в этом, когда прочитал беседу депутата парламента Иштвана Саваи (далее — И. С.) — члена фракции, которая занимается заграничными венграми, и депутата Мартона Дьёндьёши (далее — М. Д.), который внутри партии отвечает за внешнюю политику в целом. Два места из их откровений меня поразили особенно.

**И. С.: Сейчас 3,5 миллиона венгров живут в приграничных с нами странах, каждый четвертый венгерский ребёнок рождается за пределами Венгрии. До сих пор все венгры помнят, что 72 процента территории Венгрии отсоединили от страны после Трианона (Трианонский мирный договор был подписан 4 июня 1920 года между Австро-Венгрией и странами — победительницами в Первой мировой войне. — А. Б.). Поэтому ответственностью нынешнего официального Будапешта является оказание помощи зарубежным венграм и забота о них. Мы никогда не откажемся от идеи возвращения тех сородичей, которые оказались за пределами Венгрии, обратно. В Венгрии никто, включая правящую партию, не осмеливается об этом сказать вслух, но наша партия заявляет об этом открыто. Да, мы признаём, что у этого заявления нет политической реальности в настоящий момент. Мы заявляем лишь о том, что не имеем права отказаться от зарубежных венгров. В течение XX века в венгерской истории было много неожиданных моментов, то есть всё так быстро меняется, что вполне возможно, что когда-нибудь это может стать реальностью. Сейчас это не имеет никаких оснований, но в принципе, как от идеи, мы не можем от этого отказаться.**

**М. Д.: Но, конечно, здесь не идёт речь об организации военных действий по возвращению территорий. Прежде всего, нельзя забывать о зарубежных венграх и нужно думать о сохранении их культурных традиций, языка и обычаев. Границы могут однажды поменяться, бывает и такое.**

О, уж мы-то в России хорошо знаем, что такое бывает в одночасье, когда опускается советский флаг над Кремлём, и вдруг земли, завоёванные и обжитые русскими, оказываются за границами когда-то искусственно нарезанных республик! Но в Венгрии депутаты ставят твёрдую цель: сохранить на отторгнутых территориях венгерский язык, идентичность, культурные ценности. Основное условие — создание экономических условий, чтобы люди не уезжали, оставались компактно проживать на этих землях. Депутаты уверяют: “Венгрия — единственная страна Европы, покинув которую в любом направлении вы найдёте компактно проживающие венгерские общины”. Зато Россия — единственная страна мира, где поезжай из европейской части в любом направлении и везде: за Днепром, за Уралом-рекой, за Сеймом, Неманом, Даугавой (Западной Двиной) и Нарой ты найдёшь не общины, а целые анклавы и поселения притесняемых русских! наших политиков это мало заботит, и даже несбыточной пока мысли вернуть их в лоно материки-родины они не лелеют. В Венгрии — как раньше в Германии — принципиально не так!

Ещё весьма характерен и болезнен лично для меня был их ответ на вопрос: какова ситуация у венгров на Украине? Мол, власти Украины занимают жёсткую позицию в сфере языковой политики по преподаванию в школе и использованию не украинского языка, в том числе и венгерского.

**И. С. : Украинские законы не направлены против венгров, а, скорее, против русскоязычного населения.**

Слыхали, братцы? Даже соседи-венгры за Карпатскими горами понимают отлично вашу русофобскую политику, что бы вы там ни заявляли официально!

Ну, а самая большая часть беседы – ответы на вопрос: как йоббики относятся к предложению властей Будапешта о переименовании Московской площади и переносе памятника советским солдатам из центра города?

**М. Д. : Самое главное – это не направлено против русских. Название Московской площади было дано после вхождения в Будапешт советских войск в 1956 году и ассоциируется у венгров с этим событием...**

А что за события? Приходится припомнить историю.

### Гражданская война 1956-го

... В 1944–1945 годах венгерские войска – союзник вермахта – были разгромлены, территория страны занята советскими войсками. После войны провели свободные выборы, предусмотренные Ялтинскими соглашениями, на которых большинство получила Партия мелких сельских хозяев. Однако коалиционное правительство, навязанное контрольной комиссией союзников, которая возглавлялась престарелым советским маршалом Ворошиловым, отдала победившему большинству половину мест в кабинете, а ключевые посты оставались за Венгерской коммунистической партией. Коммунисты, пользуясь поддержкой советских войск, арестовали большинство лидеров оппозиционных партий и в 1947 году провели новые выборы. К 1949 году власть в стране была представлена, главным образом, коммунистами. В Венгрии установился режим Матьяша Ракоши. Была проведена коллективизация, начались массовые репрессии против оппозиции, церкви, офицеров и политиков бывшего режима.

Венгрии (как бывшей союзнице нацистской Германии) пришлось выплачивать значительные контрибуции в пользу СССР, Чехословакии и Югославии, составлявшие до четверти ВВП. Страна жила трудно, коммунисты допустили много ошибок. Внутрипартийная борьба в Венгерской партии труда (коммунистической) между сталинистами и сторонниками реформ началась с самого начала 1956 года и к 18 июля 1956 года привела к отставке Генерального секретаря ВПТ Матьяша Ракоши, который был заменён на Эрнё Герё (бывшего министра госбезопасности).

Огромную роль сыграла подрывная деятельность западных спецслужб, в частности, британской МИ-6, которая готовила многочисленные кадры “народных повстанцев” на своих секретных базах в Австрии и затем перебрасывала их в Венгрию. Отстранение Ракоши, а также вызвавшее большой резонанс Познанское восстание 1956 года в Польше привели к росту критических настроений в среде студенчества и пишущей интеллигенции. С середины года начал активно действовать “Кружок Петёфи”, в котором обсуждались самые острые проблемы, встающие перед Венгрией.

23 октября в 3 часа дня началась демонстрация, в которой приняли участие десятки тысяч человек – студенты и представители интеллигенции. Основная масса вела себя осторожно: шли под красными флагами, требования о включении в правительство реформатора Имре Надя соседствовали с лозунгами о венгерско-советской дружбе. Однако по мере движения к шествию присоединились радикально настроенные группы. Зазвучали требования проведения свободных выборов, создания правительства во главе с Надем и вывода советских войск из Венгрии.

Большая группа демонстрантов попыталась проникнуть в радиовещательную студию Дома радио с требованием передать в эфир программные требования манифестантов. Эта попытка привела к столкновению с оборонявшими Дом радио подразделениями венгерской госбезопасности. Появились первые убитые и раненые. Оружие повстанцы захватили на складах гражданской обороны и в разгромленных полицейских участках.

Ожесточенный бой в Доме радио и вокруг него продолжался всю ночь. Начальник Главного управления полиции Будапешта подполковник Шандор



Копачи распорядился в повстанцев не стрелять. Он безоговорочно выполнил требования собравшейся перед управлением толпы об освобождении заключённых и снятии красных звёзд с фасада здания.

Ночью 23 октября 1956 года руководство венгерских коммунистов приняло решение назначить премьер-министром Имре Надя, как того требовали восставшие. Кто же он, реформатор Имре Надь, памятник которому стоит недалеко от великолепного здания Парламента в Будапеште?

Родился он в 1896 году. Воевал в составе австро-венгерской армии. В 1916 году попал в плен. А уже в 1917-м вступил в Российскую коммунистическую партию (большевиков), в годы гражданской войны сражался в Красной Армии. В 1921 году вернулся в Венгрию, но в 1927 году бежал от режима Хорти в Вену. С 1930 года жил в СССР, работал в Коминтерне и Институте народного хозяйства АН СССР у Бухарина. Был арестован, но тут же выпущен. Причём не просто выпущен, а принят на... службу в ОГПУ. Как позже выяснилось, он был завербован ещё в 1933 году и сообщал органам о деятельности соотечественников-венгров, которые нашли убежище в Советском Союзе. В годы перестройки председатель КГБ Владимир Крючков передал Горбачёву из архива КГБ папку документов, из которых следовало, что Имре Надь в предвоенные годы был осведомителем НКВД. Эти документы Горбачёв направил венгерской стороне, где их благополучно спрятали и до сих пор не предъявили общественности.

С 1941-го по ноябрь 1944-го Надь работал в Москве на Кошут-радио, которое вело трансляцию программ для жителей Венгрии – союзницы Германии в войне. Здесь снова стоит напомнить, что Венгрия была одним из самых активных союзников гитлеровцев в войне против СССР. В телеграмме от 22 июня 1941 года, отправленной в Берлин, сообщалось, что правитель Венгрии Хорти, прочитав письмо Гитлера о нападении на СССР, в восторге воскликнул: “22 года я ждал этого дня! Я счастлив!” На советском фронте отвоевало почти полтора миллиона венгров (каждый 7-й венгр!), из них погибли 404 700 человек, больше 500 000 попали в плен. Венгерскими войсками на территории СССР было совершено множество военных преступлений.

4 ноября 1944 года Надь вернулся на родину. В коалиционных правительствах он занимал различные министерские посты. В 1949 году он бросил вызов диктатору Ракоши, демагогически обвинив его “в извращении линии Ленина–Сталина” и неумении работать с кадрами, за что был исключен из ЦК и снят со всех постов.

Однако уже в 1951 году Надь возвращается на руководящие должности. Правда, поговаривают, что и здесь не обошлось без вмешательства его советских кураторов, которые вступились за своего ценного агента и настояли на его возвращении в большую политику. По утверждениям людей, близких к архивам КГБ, с советскими спецслужбами Надь не порывал никогда.

При члене Политбюро Наде и при полной его поддержке задания первого пятилетнего плана в 1951 году, то есть через год после его принятия, были повышены почти вдвое. По новому плану промышленное производство в целом должно было увеличиться за пятилетие уже не на 86,4%, как это намечалось первоначально, а на 200%, объём производства тяжёлой промышленности – не на 104, а на 280%; уровень капиталовложений повышался по сравнению с первоначальным на 70%. В отдельных отраслях ставилась задача добиться прямо-таки скачкообразного роста: например, объём производства в горнодобывающем секторе было намечено увеличить на 142% (ранее планировалось 55,2%), в чёрной металлургии – на 162% (ранее – 15%).

Перекосы в развитии народного хозяйства, шараханья в коллективизации привели Венгрию к кризису 1956 года. Сегодня воспеватели Надя любят говорить, что он-де “боролся за единство Венгрии”. Что выступил с известным призывом: “Девять с половиной миллионов венгерских сердец, которые бьются, как одно сердце; девять с половиной миллионов венгерских душ, которые вдохновляются, как одна душа...”. Но никакого единства в Венгрии, повторяем, на тот момент не было и быть не могло. Страна вышла из тяжелейшей мировой войны и была расколота. Существовала крупная группа “старовенгров”, представителей буржуазных слоёв и части интеллигенции, выступавших, как сейчас принято говорить, с “имперских позиций”, была большая просоветская лево-коммунистическая группа, была, наконец, достаточно большая группа “хортистов” – нацистов венгерского разлива, затаившихся и выжидавших своего часа. И он настал!

Формально выступая за подавление мятежа, Надь до последнего саботировал введение законов чрезвычайного положения, а 25 октября вообще отменил комендантский час и приказал вернуть армейские части в казармы. Не только венгерские, но и советские войска были уведены в места дислокации. Улицы городов остались практически без власти. Началось кровопролитие.

Гвардейцы Белы Кирая и отряды Дудаша казнили коммунистов, сотрудников госбезопасности, военных, отказывающихся им подчиниться. На какое-то время добившись успеха, участники восстания быстро радикализировались. Начались обстрелы советских военных городков.

Участились случаи убийств советских военнослужащих в увольнении.

Повстанцами был захвачен Будапештский городской комитет ВПТ, и свыше 20 коммунистов были повешены толпой. Фотографии повешенных коммунистов со следами пыток, с лицами, обезображенными кислотой, обошли весь мир. Повстанцы рыскали по улицам, отлавливая сотрудников госбезопасности.

Учтём, что 29 октября 1956 года Израиль, а затем и члены НАТО Великобритания и Франция напали на поддерживаемый СССР Египет с целью захвата Суэцкого канала. 31 октября Хрущев на заседании Президиума ЦК КПСС заявил: “Если мы уйдём из Венгрии, это подбодрит американцев, англичан и французов-империалистов. Они поймут это как нашу слабость и будут наступать”. Было принято решение создать “революционное рабоче-крестьянское правительство” во главе с Яношем Кадаром и провести военную операцию с целью свержения правительства Имре Надя. План операции, получившей название “Вихрь”, был разработан под руководством министра обороны СССР Георгия Константиновича Жукова.

Между тем 1 ноября правительство Надя приняло решение о расторжении Венгрией Варшавского договора и вручило соответствующую ноту посольству СССР. Одновременно Венгрия обратилась в ООН с просьбой о помощи в защите своего нейтралитета. Рано утром 4 ноября начался ввод в Венгрию новых советских воинских частей под общим командованием маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Уже 4 ноября были захвачены основные объекты в Будапеште, члены правительства Имре Надя укрылись в югославском посольстве. Однако отряды венгерской национальной гвардии и отдельные армейские подразделения продолжали оказывать сопротивление советским войскам. Советские войска наносили артиллерийские удары по очагам сопротивления и проводили последующие зачистки силами пехоты при поддержке танков. Основными центрами сопротивления стали рабочие пригороды Будапешта, где местные советы и хортисты-офицеры сумели возглавить более или менее организованное сопротивление. Эти районы города подверглись артобстрелам.

К 10 ноября рабочие советы и студенческие группы обратились к советскому командованию с предложением о прекращении огня. Вооружённое сопротивление прекратилось. Премьер-министр Имре Надь и члены его правительства 22 ноября 1956 года были выманены из посольства Югославии, где они укрылись, и заключены под стражу. Позднее премьера и министра обороны Пала Малетера приговорили к смертной казни. Имре Надь был повешен 16 июня 1958 года. После падения социалистического режима Имре Надь и Пал Малетер в июле 1989 года были торжественно перезахоронены. Вот уже двадцать лет агент КГБ и противоречивый политик-карьерист Имре Надь считается национальным героем Венгрии. Бог им судья. Но почему солдат, выполнявших свой долг и обязательства государства, называют кровавыми палачами?

Твёрдо установлено, что в результате событий 1956 года в Венгрии погибло 2740 чел., 25 000 было репрессировано, 200 000 бежали из страны. При этом как-то по умолчанию принято считать, что их всех – 2740 человек – уничтожили “советские оккупанты”. Хотя на самом деле это совсем не так. Согласно документам, в первые дни восстания от рук повстанцев погибло более 300 “коммунистов и их пособников” – таких, как, например, расстрелянные у здания МВД солдатики, которым просто не повезло оказаться не в той форме не в том месте. Надо, кстати, честно сказать, что далеко не все в Венгрии потеряли голову и рвались в бой. Например, во всей Венгерской армии нашлось всего несколько офицеров, которые перешли на сторону путчистов. При этом ни один генерал не принял участия в этой бойне. Самым заметным “героем” того времени оказался начальник строительных частей полковник Пал Малетер, как это ни смешно – ещё один советский агент, бывший офицер хортистской армии, попавший в плен в 1944 году, прошедший подготовку

в советской разведшколе и заброшенный в Венгрию с заданием организовать партизанский отряд. Именно он стал военным лидером путчистов, правда, перед этим успев отдать приказ танкам стрелять по “мятежникам” и лично расстреляв двух пойманных студентов. Но когда наступавшая толпа фактически не оставила ему шансов, он отдал приказ солдатам “перейти на сторону народа” и объявил о своей верности Имре Надю.

Теперь ещё о силах и потерях. Гарнизон Будапешта на тот момент насчитывал около 30 000 солдат; известно, что на сторону восставших перешло около 12 тысяч, но далеко не все приняли участие в боях. После ареста Малетера его подчинённые фактически разошлись по домам. В различных боевых отрядах сражалось в общей сложности около 35 000 человек, из которых более половины – это бывшие солдаты и офицеры, “хортисты”, составившие костяк путчистов. Сегодня вообще никто не педалирует тему социального состава “повстанцев”. Чаще всего напирают на то, что это были “студенты и рабочие”, но, судя по спискам погибших, студентов среди них было не так уж и много. То, что “хортисты” составляли костяк отрядов, вынуждены были сквозь зубы признавать и современные венгерские историки.

В распоряжении путчистов было более 50 000 стрелкового оружия, до 100 танков, около 200 орудий и миномётов – сила не маленькая.

Но советские войска всего за 4 суток смогли разгромить и рассеять армию мятежников, взять под контроль все основные города и объекты. По данным статистики, за период с 23 октября по 31 декабря 1956 года в связи с восстанием и боевыми действиями с обеих сторон погибли 2652 венгерских гражданина и были ранены 19 226 человек. Потери советской стороны составили 720 убитыми, 1540 ранеными, 51 человек пропал без вести. В ходе последовавшего затем следствия было заведено 22 000 судебных дел. Было вынесено 400 смертных приговоров, но приведено в исполнение чуть больше 300, сбежали на Запад 200 000 человек, из которых не все были противниками коммунистического режима – как не воспользоваться возможностью устроить свою жизнь на Западе под видом “жертвы”! По тогдашним меркам это была довольно гуманная операция.

### **Кровавый ответ медали**

Куда более кровавой была битва за Будапешт на исходе Второй мировой. Она началась 29 октября 1944 года, а завершилась утром 13 февраля 1945-го, когда над Крепостной горой и над Будапештской резиденцией королей воспарило красное знамя. Этот победный аккорд грянул после того, как соединения и части Будапештской группы войск после городских боёв штурмом овладели Крепостной горой с её кручами, бастиями и подземными лабиринтами и пресекли отчаянную попытку противника вырваться из котла окружения. Немецкими войсками, насчитывавшими в общей сложности 188 тысяч человек, командовал обергруппенфюрер СС Карл Ффеффер-Вильденбрух. Командующий обороной вместе со штабом был взят в плен. В честь победы в февральской Москве прогремел салют двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трёхсот двадцати четырёх орудий.

За 108 суток непрерывных боев войска 2-го и 3-го Украинских фронтов разгромили 56 дивизий и бригад врага, заплатив за победу 80 тысячами убитых (почти столько же пало в битве за Берлин!), а раненых было в три раза больше. Падение венгерской столицы – важнейшего узла сопротивления на пути к так называемой “Альпийской крепости”, за горной грядой которой жаждали отсидеться гитлеровцы, явилось прелюдией к взятию Берлина.

В результате тяжёлых боев, которые продолжались несколько месяцев, город был почти полностью разрушен, а две трети исторических зданий превратились в руины. Были взорваны все 7 мостов через Дунай, в том числе элегантный Маргит, построенный специалистами мастерской Эйфеля. Есть в мемуарах командующего группой армий “Юг” Фриснера раздел, так и названный “Мост Маргит взлетает на воздух”. По его словам, все мосты через Дунай были “на самый крайний случай” подготовлены к разрушению, и один из них, с отходящей ветвью на остров Маргит, приводивший Фриснера в восхищении своим “элегантным видом”, перестал существовать 4 ноября, когда “русские пытались прорвать наше кольцо обороны вокруг восточной части Будапешта”. Право отдать распоряжение об уничтожении мостов Фриснер оставил за собой,

но “психологическое воздействие” прорыва советских войск было таково, что начальник инженерной службы 6-й армии немедленно поспешил лично провести приготовления к взрыву. “Поскольку шум боя в восточной части города усилился, он приказал на всякий случай вставить зажигательные трубки в подрывной заряд”. Саперы выполнили приказ, и тотчас последовал сильный взрыв. “Это произошло в начале второй половины дня при оживленном транспортном сообщении. Всё, что находилось на мосту, рухнуло в воды Дуная, в том числе и немецкие сапёры”. Ну, а венгров-то вообще никто не считал. Лучшие из них – настоящие патриоты – к этому времени поняли, что Будапешт и Венгрию от полного разрушения может спасти только Красная армия.

Рассуждая о ходе Будапештской операции, нельзя не вспомнить о зарождении боевого содружества наших народов. В конце декабря 1944-го созданное в Дебрецене Временное национальное правительство Венгрии объявило войну фашистской Германии. Ещё раньше был принят Меморандум венгерского народного фронта. Он гласил:

1) Венгерская армия прекращает военные действия против вооруженных сил союзных держав и разоружает все немецкие части, находящиеся на территории Венгрии.

2) Венгрия объявляет войну Германии.

3) Одновременно с этим Венгрия направляет делегации в страны антигитлеровской коалиции для заключения перемирия и выработки условий совместной вооружённой борьбы с Германией.

4) Будет образовано коалиционное правительство из представителей политических партий, входящих в Венгерский фронт, а также армии.

Вот свидетельство священника Йожефа Немета: “8 декабря 1944 года я получил приказ от командира корпуса Ивана Хинди присутствовать при вынесении приговора по делу Эндре Байчи-Жилински, генерал-лейтенанта Яноша Киша, Вильмоша Тарчаи и их товарищей, после чего встретиться с ними, исповедать их и отпустить грехи.

Командир корпуса предоставил в моё распоряжение свой служебный автомобиль. Меня привезли из монастыря Сион на проспект Маргит, где в здании тюрьмы судья Доминич объявил приговор. После этого я обменялся несколькими словами с приговорёнными к смерти, но более обстоятельно я разговаривал с ними в камерах смертников, где исповедал и причастил их.

За три часа общения с ними у меня была возможность по-настоящему познакомиться с их духовным обликом, с их политическими взглядами, хотя лично я давно был знаком с каждым из них. Я понял, что они испытывают глубокую и искреннюю тревогу за судьбу венгерской нации. Это были мужественные люди, сложившие головы за верность идее истинного патриотизма, любви к венгерскому народу. Первым к виселице во дворе тюрьмы я проводил Вильмоша Тарчаи; это произошло приблизительно в 14 часов 15 минут, потом – Енё Надя и, наконец, Яноша Киша, которому суждено было увидеть своих товарищей висящими на виселице.

Перед смертью Янош Киш попросил не говорить жене, что его казнили. Он сказал ей, что его переведут в тюрьму в Шопронкёхид. Он не хотел подвергать супругу тяжелейшему потрясению. Это лишний раз показывает, каким чутким был этот человек, какого тонкого душевного склада...”.

Писатель Андраш Шимонфи приводит в повести слова отца: “Помни, сынок, что в газетах и учебниках истории много лжи... Я примкнул к движению Соппротивления, как только такая возможность мне представилась. Мы ставили перед собой следующую цель: акциями саботажа наносить немцам урон, а в решающий момент с помощью солдат и офицеров, примкнувших к нашему движению, сдать без кровопролития Будапешт частям Красной армии, тем самым спасти город от разрушения и голода, спасти мосты между Будой и Пештом, подготовленные к взрыву, спасти банки и музеи от разграбления гитлеровцами...”.

Фашисты жестоко расправились с этими патриотами, а сегодня о них говорят с неблагодарностью или непониманием. Однако факт: 20 января 1945 года в Москве было подписано Соглашение о перемирии. Временное национальное правительство Венгрии обязалось сформировать и передать под командование Красной армии 8 пехотных дивизий. Оно рассчитывало на поддержку советского руководства и плененных-венгров в наших лагерях. Военнопленные откликнулись на призыв правительства. Ко дню подписания перемирия генштаб был готов передать венгерскому правительству 19 тысяч доб-

ровольцев из лагерей военнопленных. Правда, в последующем процесс этот затормозился. И не только потому, что не хватало трофейного оружия и боевой техники, которыми венгерское военное руководство собиралось оснастить армию. Москва колебалась и не спешила с оказанием помощи в формировании армии временного национального правительства Венгрии с бывшими хортистскими генералами и офицерами. Можно понять осторожность советского руководства. Но к концу войны удалось сформировать и отправить в распоряжение командующего 3-м Украинским фронтом маршала Толбухина две дивизии венгров. Они что, не заслуживают сегодня почестей и памяти?

Зимой 1945 года, 65 лет назад, строжайший приказ Гитлера гласил: оборону венгерской столицы вести “борьбой за каждый дом”, не оставлять её даже при неблагоприятном развитии обстановки на южном крыле советско-германского фронта. Но, видимо, не очень-то внимали жители Будапешта заклиниям “национального” правительства и самого командующего Фриснера строить на улицах баррикады, набивать песком мешки, расчищать секторы обстрела в садах и парках, укреплять каждую подворотню, принимать участие в боях внутри города. Фриснер негодовал и возмущался: “Из 1862 человек, призванных в эти дни на военную службу, явились только 29; из 262 человек, мобилизованных на трудовой фронт, прибыли только девять человек! Это было красноречиво... Вести войну с такими союзниками и в таком трудном положении было не слишком заманчивой задачей! Я чувствовал себя покинутым...”.

Уже 18 января 1945 года, ведя уличные бои, советские войска освободили около 70 тысяч евреев из центрального будапештского гетто, где насильно держали людей в ожидании транспорта в концлагерь Освенцим. Около 600 тысяч венгерских евреев погибли во время Холокоста в ходе Второй мировой войны, когда Венгрия была союзницей фашистской Германии. Гетто, обнесённое колючей проволокой и охраняемое полицейскими собаками, находилось в районе синагоги, почти в центре Будапешта. Теперь здесь мемориальный сквер. Я помню, как венгерские евреи и представители правительств Венгрии и России отметили 60-летие освобождения советскими войсками будапештского гетто. Церемония прошла в крупнейшей в Восточной Европе синагоге на улице Дохань в Будапеште. Собрались старые и молодые евреи, чтобы помолиться за тех, для кого советские солдаты прорвались слишком поздно... Интересно, как отметили 18 января этого года в синагоге 65-летие освобождения Будапешта и спасения его обречённых евреев? Такой информации мне обнаружить не удалось.

Венгерский поэт Йожеф Фодор писал в те страшные и победные дни о павших освободителях:

*Оттуда, где плещет Волга,  
Оттуда, где катится Дон,  
Ушли эти войны.  
Спать им долго, —  
Укрой их, Венгрия, синим пологом.  
Да будет тихим их сон!*

Сон их — не тихий! На синий полог нынешней Венгрии, которая вступила в НАТО, ложится тревожный и кровавый отсвет медали за взятие Будапешта. Будем помнить, какой ценой лучшие сыновья двух стран и безвинные жертвы фашизма заплатили за Победу.

### **Венгрия под сенью ЕС и НАТО**

“Страна-Паром, страна-Паром, страна-Паром: даже в самых своих фантастических снах она только и делала, что сновала, как паром, от одного берега к другому — с Востока на Запад, но охотнее всего — в обратном направлении”, — так писал в 1905 году, размышляя о судьбах родины, классик венгерской литературы Эндре Ади.

Страна-Паром, ринувшись окончательно на Запад, недавно поплыла по багровым потокам шлама. Венгрия попала во все мировые выпуски новостей: потоки миллионов кубометров жидких токсичных отходов уничтожили всё живое в округе города Айка, севернее Балатона. Полностью погибла экосистема реки Марцаль, трава попала даже в Дунай и его притоки. Я писал в статье, как пе-

реплелись в этих багровых потоках алчность, стремление высосать всё из социалистического наследия и политиканство – стремление добыть противников, переложить собственность и получить помощь с Запада. Страна-Паром...

После одной из статей читатель с провокаторскими замашками начал поучать меня на сайте и даже защищать от моей критики Венгрию и трудолюбивых венгров. Это излишне. Из всех стран НАТО я лучше всего знаю (исторически, культурно, географически), люблю, “но странною любовью”, – Литву и Венгрию, несмотря на их открытую русофобскую политику.

Венгрия продолжает строить свой капитализм под крылом Запада и НАТО. Часто забывается политиками, что сами разговоры о приёме в НАТО восточноевропейских стран возникли после того, как разразился конфликт на территории бывшей Югославии и возникла необходимость участия, по крайней мере, некоторых соседствующих с этим кризисным регионом стран в международных миротворческих усилиях. Так, французский исследователь Жан-Кристоф Ромер в одном из последних номеров журнала “Дефанс насьональ” напоминает, что одним из главных стимулов, заставивших западные страны взять курс на расширение НАТО, стало проведение в жизнь резолюции 781 Совета Безопасности ООН (октябрь 1992 года) о запрещении полётов военных самолётов над Боснией и Герцеговиной, в чём ключевую роль сыграла Венгрия, предоставившая американским войскам базы на своей территории.

Таким образом, уже тогда была продемонстрирована готовность восточноевропейских стран следовать пронатовским курсом, весьма важная, в первую очередь, для Вашингтона, что показал не только югославский, но и иракский кризис. То, что Польша, Чехия и Венгрия без колебаний поддержали США в Персидском заливе и в югославском конфликте, послужило американской администрации весомым аргументом при убеждении сенаторов голосовать за расширение НАТО. Во многом опираясь на поддержку этих “младоатлантистов”, США доказали своим союзникам необходимость принятия новой стратегической концепции НАТО, делающей упор на “новых миссиях”, не подпадающих под статью 5 Североатлантического договора, и на расширении зоны возможных коллективных действий членов альянса, которая не ограничивалась бы его географическими рамками.

А что же Венгрия?

Президент Венгерской Коммунистической партии Дюла Тюрмер предельно кратко: “Наше вступление в НАТО – огромная ошибка. Мы вступили в Альянс в 1999 году, а через две недели началась война против дружественной нам Югославии. Это отрезвило даже тех немногих наших сограждан, которые думали, что вступление в альянс станет благом для страны. Получилось всё наоборот. Венгрия стала пешкой в чужих кровавых играх. Кроме того, ещё и попала в непосильную финансовую кабалу. Совет НАТО обязал венгерское правительство к 2012 году выплатить 4200 миллиардов форинтов за перевооружение армии натовским оружием. Это 23 годовых бюджета нашего государства! Я думаю, что такие страны, как Венгрия и Украина, не нужны НАТО, их просто используют в “особых” целях. Наш народ уже осознал, что, вступив в НАТО, мы не стали жить лучше”.

Венгры такой народ, что не любят признаваться в ошибках. Тем более что на референдуме, предшествовавшем вступлению в НАТО, более 80% граждан проголосовали “за”. Это мы готовы отречься от старого мира, каяться в ошибках, даже в чужих и мнимых, перечёркивая целые периоды своей истории. Но когда припрёт – и венгры демонстрируют здравый смысл. Так, было остановлено строительство радара НАТО на юге Венгрии. Такое решение принял Апелляционный суд Будапешта после того, как местные власти и активисты гражданского движения подали соответствующий иск. Они убеждены, что радар нанесёт урон окружающей среде региона, а также историческим памятникам, внесённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, негативно отразится на развитии туризма – последнем источнике валюты. Официально сенсационное заявление о приостановке строительства радара на юге Венгрии сделал заместитель главы города Печ – Берталан Тот.

Немало венгров негативно оценивает и вступление страны в ЕС. Оно обернулось драконовскими экономическими требованиями “старших партнёров” по Евросоюзу и огромным внешним долгом. На сегодня он составляет более 30 миллиардов евро. Для возврата такой гигантской суммы каждый работающий гражданин должен в течение многих лет ежемесячно платить по 21 600 форинтов (примерно 120 долларов). Страшный удар нанесён по сель-

скому хозяйству. Ведь с землёй были кровно связаны 770 тысяч семей, которые являлись кормильцами Венгрии, и не только её. Но ЕС и ВТО планомерно превращали Венгрию из страны, производящей сельхозпродукцию, в страну, её потребляющую. Раньше приедешь в провинцию – процветающие сёла, стаи гусей, ресторанчики и магазины у дороги переполнены дешёвыми продуктами, пусть и произведёнными не по стандартам ЕС. От правительства Венгрии потребовали сократить число крестьян с 770 до 90 тысяч, то есть в девять раз! В итоге 680 тысяч венгров остаются без работы и средств к существованию. Рушится ментальность этой своеобразной, действительно трудолюбивой, особенно на селе, нации.

Разговоры о том, что ЕС будет помогать развивать венгерскую экономику, остались зачастую пустыми. По свидетельству того же Дюлы Тюрмера, со времени вступления в ЕС Венгрия подала около двух тысяч заявок на получение финансовой помощи для осуществления разных проектов по развитию своей экономики. Евросоюз удовлетворил менее одного процента этих просьб! Всё это свидетельствует о том, что как сильный полноправный партнёр Венгрия Евросоюзу не нужна. Потому-то в последние годы около миллиона людей живут за счёт остальных девяти миллионов. Более пятой части населения сосредоточены в Будапеште, здесь же с каждым приездом замечаешь всё больше бомжей и спившихся людей, которые ночуют прямо в центре города, на улицах и возле храмов. В винных погребах по-прежнему много посетителей, и там держат низкие цены (разливное вино дешевле пива и даже минеральной воды – 15–20 рублей стакан), но во многих местах от разливного домашнего вина перешли к бутилированному, дешёвейшему – из пластиковых бутылок, чего нельзя было себе представить десять-пятнадцать лет назад!

В прежние времена в нашем представлении Венгрия олицетворялась с такими названиями, как Балатон, “Глобус”, “Икарус”. Сегодня из них в Венгрии сохранилось только озеро Балатон, его курорты и другие благодатные места с термальными источниками – Хевиз, Хайдубосло, Эгер, Бюк. Везде я бывал, проехал на поездах всю Венгрию вдоль и поперёк.

“Глобус”, продукцию которого знал и любил каждый житель СССР, не выдержал конкуренции в условиях рынка ЕС. И после продажи французскому предприятию “Бондюэль” венгерские овощные и фруктовые консервы выпускаются под французской торговой маркой. Нет больше и крупного предприятия по выпуску автобусов “Икарус” – на его месте создано несколько маленьких заводов, выпускающих автопродукцию. По мнению многих, Венгрия, как и многие другие страны соцлагеря, потеряла то, что стоило бы спасти и сохранить.

Сегодня 80% венгерской промышленности скуплено иностранным капиталом, безжалостно эксплуатирующим рабочих. Уже поднят вопрос об отмене 8-часового рабочего дня. Возраст выхода на пенсию через несколько лет должен достигнуть 65 лет, как в большинстве стран Европы. В стране для преодоления кризиса больше будут применяться общественные работы. В Венгрии такая практика была и раньше: многих из тех, кто обращался за социальными пособиями, направляли сначала собирать мусор у железнодорожного полотна или чистить лес. В стране существует большая проблема – цыгане, которые составляют около 7% населения, или примерно 700 тыс. человек, часть из них не работала никогда. Эти люди могут получить социальную помощь только через участие в общественных работах. Их преследуют шовинистически настроенные группы, и сами цыгане говорят, что при социализме таких гонений не было.

Ещё одна проблема, схожая с российской, – профессиональное обучение. Несмотря на кризис, молодёжь не идёт в профшколы даже на бесплатные отделения. И в семье, и в школе отсутствует воспитание в этом направлении. Но все хотят хорошо зарабатывать, смотря на соседнюю Австрию, где за подобную же работу платят в два раза больше. Продукты по ценам сопоставимы с нашими, овощи и фрукты – дешевле, в ресторанчиках и пивных цены гораздо ниже безумно задранных наших, а средняя зарплата – 700 евро. Правда, на какой-нибудь провинциальной фабрике перца она может составлять и 500 евро, а пособие по безработице – 300 евро. Зачем работать? Пенсии – весьма высокие для страны, не имеющей нефти, газа, леса и золота. Моя коллега – филолог и преподаватель, еврейка из Будапешта, которая подрабатывает в Москве, прекрасно зная русский, – сказала, что получает 1000 долларов пенсии: “Раньше вы гордились низкими коммунальными платежами, теперь у нас примерно одинаково”. Раз в год венгерский пенсионер может летать бесплатно в любую страну! Весь транспорт, включая поезда, –

после 65 лет бесплатный. В будапештской термальной купальне Сечени – водном дворце здоровья – очень много пенсионеров, которые ходят сюда по льготным абонеентам, а для других посетителей плата поднялась до 3100 форинтов (16 долларов).

Обобщающий вывод один: конечно, социальных благ, по сравнению с Россией, в Венгрии гораздо больше, да и жизнь – чище, безопасней, легче. При социализме эта страна в первые приезды мне вообще казалась прообразом будущего коммунизма. Теперь и они, и мы катимся по другому пути – от “гуляш-коммунизма” к “гуляш-капитализму”, как горько шутят венгры в накуренных кабачках подешевле. Не то чтобы Россию – страну контрастов и полного наплевательства на жизнь простого труженика – бьёт на поворотах больше всех, но она всё-таки жаждет усугубить своё незавидное положение, вляпавшись в ВТО, сотрудничая с НАТО. “Элита”, олигархи и чиновники с обслугой – в выигрыше. Большинство народа безнадежно проигрывает, уж если страна-Паром сталкивается с такими проблемами. Ну, а страна – могучий лайнер со своим курсом – Западу вообще не нужна.

\* \* \*

Закончить я хочу совсем другим примером. Минувшей холодной весной, в цветущем возрасте 47 лет ушел из жизни один из популярнейших венгерских исполнителей, композитор, лидер рок-группы “Республика” Ласло Боди, взявший себе сценический псевдоним Башмак. Сердце певца остановилось в марте, незадолго до моего приезда. Любимец миллионов венгров завещал своим поклонникам, всей Венгрии – свою боль и то, что волновало его в последние годы жизни, что он, к нашему общему горю, не решался сказать открыто. В завещании, которое оставил певец, была просьба устроить ему похороны по-коммунистически, сыграв над могилой... гимн СССР. Среди близких ему людей, которых бы он хотел видеть на прощании, в первых строках стояло имя председателя Венгерской рабочей партии Дюлы Тюрмера, которого он называл своим идейным другом. Образованнейший человек, дипломат, знающий китайский язык, Дюла Тюрмер, отвечая на вопросы многочисленных ошарашенных корреспондентов, поделился некоторыми подробностями, всплывшими в завещании друга. Да, Ласло Боди состоял членом Венгерской рабочей партии, правившей когда-то, но ни разу не прошедшей в постсоциалистический Парламент, приходил на их собрания, делился наболевшим, выступал... Они часто разговаривали по телефону вечерами, когда музыкант хотел как можно скорее поделиться со своим идейным товарищем мыслями об увиденном, прочитанном. Такой дружбы не ожидал никто, особенно друзья музыканта из культурной тусовки, пасущейся преимущественно на либеральном поле. Это как если бы Макаревич тайно вступил в КПРФ! Ведь все орали вслед за “Машиной времени”: “Вот – новый поворот! Что он нам несёт?”. Оказалось – принёс пребывание в буржуазном шоколаде, бабло и творческую смерть, а ведь от них, таких “дерзких”, и дальше ждали правды, борьбы, а они, оказывается, только фигу в кармане держали, а потом вытащили загребушую руку и обрызгли. Да, Ласло тоже не афишировал членство в партии трудового народа, дабы не навредить своим сподвижникам по творчеству и родным (это при официально-то объявленной демократии!). Даже явные звёзды, по степени таланта, а не по раскрутке на ТВ, не могут пробиться в этом зверином социал-дарвинистском сообществе без поддержки либеральных СМИ и денег, уведённых у народа. То есть нацист может быть и членом Парламента, и процветать, а коммунист, защитник простого народа – никогда. В этом очередной венгерский урок. Или, если вдуматься, приговор капитализму.

Будапешт–Дьёр–Москва

---

---

*Редакция с радостью поздравляет нашего давнего автора — поэта, публициста, барда Александра Александровича Боброва с 70-летием!*



Вот уже более века каждый русский человек, каждое русское сердце замирает при первых звуках удивительной песни: “Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает. Врагу не сдаётся наш гордый “Варяг”, пощады никто не желает...” Песня эта была написана в связи с событиями Русско-японской войны 1904–1905 гг. и рассказывает о подвиге экипажей русского крейсера “Варяг” и канонерской лодки “Кореец”, находившихся к началу войны на рейде корейского порта Чемульпо (ныне Инчхон) и атакованных там японской эскадрой в составе 6 крейсеров и 8 миноносцев. Русские моряки приняли неравный бой и, подбив несколько японских кораблей, вынуждены были уничтожить свои корабли, чтобы не сдать врагу. Весть об этом подвиге обошла весь мир, а песня, написанная на стихи австрийского поэта Рудольфа Грейнца в переводе русской поэтессы Евгении Студенской, стала неофициальным русским военно-морским гимном. Валерий Сергеевич Новиков, капитан I ранга в отставке, собрал обширный материал о событиях и людях той поры. Мы публикуем в сокращении его интереснейшую работу.

ВАЛЕРИЙ НОВИКОВ

## “ВАРЯГ” — ЛЮДИ, СУДЬБЫ, ПЕСНЯ

*К 110-летию подвига русских моряков*

*Не скажут ни камень, ни крест, где легли  
Во славу мы русского флага,  
Лишь волны морские прославят вдали  
Геройскую гибель “Варяга”!*

Р. Грейнец, перевод Е. Студенской

В 9:30 утра 27 января (9 февраля по новому стилю) командиру крейсера “Варяг” капитану I ранга Всеволоду Фёдоровичу Рудневу был вручён ультиматум командующего японской эскадрой контр-адмирала Уриу, предлагавшего русским сдать. Руднев принял решение идти на прорыв.

В 10:15 в кают-компании “Варяга” офицеры крейсера единодушно поддержали решение командира. Так же решили офицеры канонерской лодки “Кореец” под командованием капитана II ранга Г. П. Беляева.

10:40 — на русских кораблях команды ПЕРЕОДЕВАЮТСЯ В ЧИСТОЕ.

11:00 — аврал, построение, речь командира: “...Безусловно, мы идём на прорыв и вступим в бой с эскадрой, как бы она сильна ни была. Мы не сдадим ни крейсер, ни самих себя, сражаясь до последней возможности и капли крови. Помолимся Богу перед походом и с твёрдой Верой в милосердие Божие, пойдём в бой за Веру, Царя и Отечество. Ура!”

Корабельный священник о. Михаил (Руднев) прочёл молитву “За дарование победы”, музыка играла несколько раз гимн (нештатный оркестр — 23 человека).

11:10 – “Все наверх, с якоря сниматься”, больные из корабельных лазаретов русских кораблей спешно двинулись на свои боевые посты, вольнонаёмные (буфетчики, коки, музыканты) отказались съехать на берег.

Уважаемый читатель! Поверь, это не из романа, всё это из вахтенных журналов наших кораблей.

А теперь кратко о соотношении сил сторон. Против двух русских кораблей водоизмещением 8400 тонн стояли 6 крейсеров (в том числе два броненосные “Асама” и “Чиода”), 8 миноносцев и авизо “Чихайя” – всего 28 516 тонн водоизмещения; по мощности механизмов – против 15 718 л. с. русских 95 300 л. с. японских; по артиллерии – против 52 русских стволов – 182 японских; по торпедному вооружению – на 7 аппаратов русских кораблей приходилось 43 японских. 726 моряков Российского Императорского флота бестрепетно шли навстречу 2680 воинам микадо. Это как пример “превосходства” самурайского духа, кодекса “Бусидо” над нашим “сермяжным” русским.

11:20 – “Варяг” и “Кореец” снялись с якорей и двинулись к выходу с рейда, на иностранных кораблях, стоявших на рейде, команды и караулы во фронте кричали русским “Ура!”, на итальянском играли Российский гимн. “Варяг” отвечал всем их национальными гимнами, с корейского берега неслись прощальные крики – все понимали, РУССКИЕ ИДУТ НА СМЕРТЬ.

11:25 – на русских кораблях пробили боевую тревогу.

11:40 – на “Наниве” подняли флажный сигнал с предложением сдаться, на русских – на гафелях и стеньгах Андреевские флаги, на реях – красные “НАШ”, то есть “открыть артиллерийский огонь”.

11:45 – флагманский японец “Асама” открыл огонь, “Варяг” начал отвечать в 11:47.

Стрельба и маневрирование длились до 12:45. При этом японцы довольно свободно могли маневрировать на широком плёсе, а русским пришлось, почти на ощупь, двигаться извилистым фарватером, изобилующим отмелями, островами и хаотичными и сильными течениями. Вот что написали иностранцы о происходящем. Неаполитанская “Моттино”: “Семь громадных колоссов, точно собачья свора, преследовали два русских судна... началась буря ударов. Страшный перекрёстный огонь... борты, палуба, мостики “Варяга” были поражаемы выстрелами, как градом, красавец корабль исчез в облаках дыма, чтобы через некоторое время появиться почерневшим”.

В первые минуты боя на мостике “Варяга” был убит мичман граф Нирод и два матроса, уничтожен дальномерный пост. Сосредоточенным огнём японских кораблей сорвана штурманская рубка, “выкашивается” оружейная прислуга, выводятся из строя орудия, разбиваются дымовые трубы. Вскоре разгорается пожар на шканцах, появляются пробоины в бортах. И всё это при медленном, “на ощупь” движении наших кораблей по “коридору смерти” между камней и отмелей.

Газета “Монитэр де ла Флотте” (№ 8 от 7/20 февраля 1904 г.) сообщала: “На палубе русских судов сцены происходили невыразимо страшные. Падавшие боевые снаряды разрывались, жгли и разрывали людей на части. Треск оглушительный, а люди, посреди этого кровавого побоища, продолжали прицеливаться, маневрировать и ДЕЙСТВОВАТЬ КАК НА УЧЕНИИ”.

В отличие от нынешних наших доморощенных создателей “Саг”, “Штрафбатов”, “Рот”, “Адмиралов” и прочих “Сволочей” – этим журналистам можно верить, они ТАМ БЫЛИ, да и нравы в творческой среде сто лет назад были иные.

В 12:05, пройдя траверз острова Иодольми, “Варяг” получает повреждение рулевых приводов (руль заклинило), ранен командир, рядом с ним убиты штаб-горнист Николай Нагле и барабанщик Донат Карнеев, тяжёлые ранения получают рулевой Снигирёв и командирский ординарец квартирмейстер Чибисов.

Машинисты и кочегары, задыхаясь в дыму и копоти из перебитых дымовых и вентиляционных труб, продолжают давать ход и энергию сражающемуся кораблю. Из-за пробоины левого борта затоплено третье котельное отделение и угольные ямы. Старший офицер крейсера капитан II ранга В. В. Степанов со старшим боцманом А. Харьковским под огнём противника (дистанция 28–30 кабельтовых) заводят пластырь.

И тут на помощь старшему собрату приходит “Кореец”. Прикрывая израненный “Варяг”, комендоры канонерской лодки сумели крепко потрепать

японцев, на коротких дистанциях его правое 203-мм и кормовое 152-мм орудия сумели поразить, вывести из строя один из крейсеров японцев (он вышел из боя) и уничтожить один миноносец.

По завершении поворота в бой вступают ещё не стрелявшие орудия левого борта “Варяг”, вскоре старший комендор орудия № 12 Ф. Елизаров добивается попадания в кормовую часть японского флагмана “Асамы”, горит кормовой мостик, замолкла его кормовая башня. Но и положение русских стало безвыходным, их боевая способность приблизилась к нулевой.

Обгоревшие, с разрушенными надстройками, с постоянно увеличивающимся креном, русские корабли медленно втягиваются на внутренний рейд Чемульпо. В 13:15 корабли стали на свои прежние якорные места. Прибывший на “Варяг” командир французского крейсера “Паскаль” капитан II ранга Виктор Сэнес докладывал своему начальству: “Палуба залита кровью, всюду валяются трупы и части тел... все жизненные части пробиты, борта и койки обгорели. Все 47-мм орудия (8 установок) выведены из строя, восемь из двенадцати 152-мм орудий сбиты, так же как и семь из двенадцати 75-мм. Стальные шлюпки совершенно прострелены, палуба пробита во многих местах, кают-компания и командирское помещение разрушены. Дым шёл из всех отверстий на корме, и крен на левый борт всё увеличивался”.

Француз не знал ещё и о четырёх обнаруженных подводных пробоинах, о том, что почти все водоотливные средства выведены из строя, а некоторые котлы сошли с фундаментов.

Потери личного состава были ужасающи: из 22 офицеров один убит и 7 ранены, в том числе командир, то есть убыль равна 36%; из 535 нижних чинов – 31 убит, более 180 ранено – убыль около 22%. Причём на верхней палубе, то есть среди орудийной прислуги и строевых, процент потерь был вообще катастрофичен – 45%.

И опять-таки свидетельство иностранцев – английская “Дейли Мейл” сообщила: “Сцены, происходившие при свозе раненых, совершенно неопишуты по своему ужасу. Большая часть раненых имела по несколько повреждений. Между людьми господствовал ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК”.

В 13:50 Руднев, вернувшись с английского крейсера “Тэлбот”, где он доложил старшему на рейде о намерении уничтожить русские корабли за их полной непригодностью, созвал военный совет. На нём офицеры единодушно решили потопить крейсер. Офицеры “Корейца” решили свой корабль взорвать. “Варяг” взрывать не стали из-за опасения “нейтралов” получить повреждения от взрыва. Увести корабль в более удалённое место или на место с большими глубинами буксирами не представлялось технически возможным ещё и за отсутствием времени – Уриу в 16:00 должен был атаковать русских уже на внутреннем рейде.

15:45 – взрыв тысячи пудов пороха расколол “Корейца” на три части и поднял их в воздух. “В то время, когда смолкал грохот взрыва, слышалось пение русского национального гимна” – “Монитор дела Флоте” в № 8 от 7/20 февраля 1904 года.

17:30 – команда покинула “Варяг”, механики с хозяевами отсеков открыли клапана и кингстоны и тоже покинули крейсер.

17:50 – “Командир со старшим боцманом, удостоверившись ещё раз, что все люди покинули крейсер, отвалили от него на французском катере”.

Ну, а дальше? Дальше, как всегда, бюрократическая волокита российского МИДа, попытки японских оккупационных властей перевести русских моряков в статус военнопленных, и... долгая дорога домой на “попутках”. А вот дома русских моряков ждала заслуженная слава.

Царские милости были безмерны, офицеры получили “Георгиев”, “Владимиров”, “Станиславов” и “Анн” с мечами и бантами. Командир произведён во флигель-адъютанты и назначен с повышением. Впервые в истории Российского флота орденами св. Георгия были награждены механики и врачи, а корабельный священник о. Михаил (Руднев) был удостоен наперсного креста на Георгиевской ленте. Нижние чины получили знаки отличия Военного ордена 4-й степени. Уже в июне были изготовлены специальные серебряные медали (697 шт.), а в июле-августе вручены каждому участнику боя. От ведомств, фирм, общественных организаций им преподнесли самые разные дорогие сувениры: серебряные подносы и солонки, ковши и братины. В Москве офицерам вручали золотые, унтер-офицерам серебряные, матросам бронзовые

с серебрением жетоны. Городской голова Санкт-Петербурга Лелянов вручил нижним чинам часы. В обращение вышла 50-рублевая золотая монета, посвящённая подвигу “Варяга”.

На обеде в Зимнем дворце 16 апреля с моряками участвовала вся царская семья. Царь с императрицей перед обедом молились на коленях, матросы кушали с серебра, император обошёл ВСЕХ матросов с бокалом, с некоторыми беседовал. В Концертном зале Зимнего царская семья обедала с офицерами, а затем “император и императрица долго, непринужденно беседовали с офицерами”. Во второй половине дня геройские экипажи были приглашены в Народный дом императора Николая II. По окончании торжественного заседания городского общественного управления (гордума) и вручения памятных адресов и подарков моряки с участием императрицы Марии Федоровны, цесаревича Алексея и великих княгини посмотрели спектакль “Пётр Великий”. Далее последовал торжественный обед, где великие княгини вручали морякам подарки.

Подвиг “Варяга” был повторён. 10 марта эсминец “Стерегущий” (командир – лейтенант Сергеев), возвращавшийся из разведки от островов Элиот в Порт-Артур, был перехвачен четырьмя японскими эсминцами. В течение часа он вёл бой с превосходящим противником, подбил двух японцев, лишился хода, получил несколько пробоин, в том числе подводных. Из команды в живых осталось лишь несколько матросов и, когда десантная партия японцев пыталась взять “Стерегущий” на буксир, матросы И. Бухарев и В. Новиков, задравшись в машинном отделении, открыли кингстоны и затопили корабль вместе с собой. . . “Погибаю, но не сдаюсь” – под таким девизом бился 13 апреля у Порт-Артура с ШЕСТЬЮ миноносцами наш эсминец “Страшный”. Потеряв всех офицеров и командира – капитана II ранга Юрасовского, а также три четверти экипажа, русские не спустили флаг. Из 57 человек команды подошедший на выручку крейсер “Баян” поднял с воды 5 матросов. . . Имена командиров “Стрежущего” и “Страшного” были присвоены новым кораблям Российского флота (которые они носили до 1918 г. ).

В России и за рубежом разрастался шквал публикаций, большинство которых принадлежало перу дилетантов. Рождались самые разные мифологемы лубочного характера, многотысячными тиражами издавались почтовые открытки и тому подобная печатная продукция. Множество известных и совсем неизвестных поэтов и композиторов сочиняли и исполняли свои произведения. Отметился на этом поприще и прославленный Цезарь Кюи с песней “Варяг” идёт свершить свой подвиг славный”. Успех Кюи был довольно значителен, несмотря на то, что произведение создавалось по заказу, а автором стихов предположительно был Великий князь Константин Константинович.

17 февраля 1904 года в газете “Русь” появились стихи Я. Репнинского “Варяг” или, как многие знают по первой строчке – “Плещут холодные волны”. Вскоре студент Юрьевского университета Ф. Богородский написал музыку (в ритме марша). Практически одновременно свой вариант, совершенно не ведая о первом, сочинил профессиональный композитор В. Беневский, но уже для хорового исполнения (трёхдольный размер для каждого куплета). Второе столетие эта песня живет в народе в маршевой обработке А. Александрова, и хоровой А. Свешникова.

*Плещут холодные волны,  
Бьются о берег морской...  
Носятся чайки над морем,  
Крики их полны тоской...*

.....  
*Мы пред врагом не спустили  
Славный Андреевский флаг,  
Сами взорвали “Корейца”  
И потопили “Варяг”!..*

Всего же до 1917 года в России о подвиге “Варяга” было опубликовано свыше ста поэтических произведений, начиная с четырёхстрочных посвящений и кончая поэтическими былинами.

**Однако непревзойдённой стала песня “Наверх вы, товарищи. . .”.** Её поют ВСЕ и ВСЕГДА! – Особенно в тяжкую минуту – и в отсеках аварийных

субмарин, и в окопах, и в космосе, и на плацу на парадах, и у могил, прощаясь с боевыми товарищами, её поют боельщики на стадионах, эски в лагерях – ВСЕ РУССКИЕ помнят хоть несколько строчек этой песни – гимна, песни-клятвы, песни-призыва. Именно благодаря ей сегодня в России знают, что у неё был ФЛОТ, что русские должны “стоять по местам”, что они “не сдаются” и “пощады не желают”, и готовы за Родину, за “славу русского флага” умереть.

К сожалению, ни флотские историки, ни музыковеды, ни начальники от культуры до сих пор толком не знают (автор в этом убедился в ходе собственных исследований) об авторстве стихов этой уникальной песни. Кратко же история её создания выглядит так. По версии общественных исследователей, впервые стихи австрийского поэта Рудольфа Грейнца “Der “Wariag”” были опубликованы в немецком журнале “Jugend” (“Юность”) 25 февраля 1904 г. В России они вначале были перепечатаны журналом “Море и жизнь”. По общему признанию, перевод Евгении Студенской в “Новом журнале иностранной литературы, искусства и науки” № 4 за 1904 год оказался более удачным, более “русским”, нежели дословный перевод Н. Мельникова, опубликованный в журнале “Море и жизнь”. Приведём несколько строчек из дословного перевода:

*На палубу, товарищи, все на палубу!  
Наверх для последнего парада!  
Гордый “Варяг” не сдаётся,  
Нам не нужна пощада!*

*На мачтах пёстрые вымпелы кверху,  
Звенящие якоря подняты,  
В бурной спешке к бою готовы  
Блестящие орудия!..*

И сравним с поэтическим переводом Евгении Студенской:

*Наверх вы, товарищи, все по местам!  
Последний парад наступает.  
Врагу не сдаётся наш гордый “Варяг”,  
Пощады никто не желает.*

*Все вымпелы вьются, и цепи гремят,  
Наверх якоря поднимают,  
Готовые к бою орудия в ряд  
На солнце зловеще сверкают...*

Именно перевод Студенской и стал нашим военно-морским гимном. С автором музыки вообще полная неразбериха. Самый дотошный исследователь этой проблемы А. Шилов остановился на нескольких вариантах, авторами могли быть: А. С. Турищев – музыкант 12-го гренадерского Астраханского полка, участвовавший в апрельских встречах варяжцев в Москве, а также И. Н. Яковлев и И. М. Корносеви́ч, чьи фамилии он встречал на нотных изданиях начала прошлого века. Единого мнения не существует, а посему главный российский историк “Варяга” В. И. Катаев предполагает, что все вышеназванные могли быть, в некотором роде, соавторами. Что ж, такие случаи и сегодня не редкость, ведь оспаривают некоторые творцы и полстрочки и полторы ноты.

А вот мы обязаны **помнить и вечно чтить “забытого” морского офицера, первого командира “Варяга” Владимира Иосифовича Бэра. Тем, чем стал “Варяг” в бою, он обязан своему первому командиру.** Это он, спустя три недели после официальной закладки крейсера (10 мая 1899 г.) на заводе “Вильям Крамп и сыновья”, прибыл в Филадельфию (США) и приступил к достройке-приёмке крейсера. 16 мая 1900 г., имея на борту, кроме американских рабочих и инженеров, всего лишь 51 человек собственной команды, капитан I ранга В. И. Бэр вывел корабль на первые ходовые испытания. К декабрю численность экипажа приблизилась к штатной, личный состав 6 декабря перешёл на корабль и приступил к приёмке с одновременным продолжением испытаний в условиях вечных дряг с подрядчиком.

22 сентября 1901 года стало официальной датой сдачи крейсера. 20 марта – 3 мая “Варяг” совершил переход из Филадельфии в Кронштадт, исправив на ходу множество поломок. Пройдя двукратное докование и установив необходимое радио- и телефонное оборудование, 1 августа крейсер успешно прошёл императорский смотр. Почти сразу же, 5 августа в составе отряда из 5 кораблей В. И. Бэр повёл корабль на Тихий океан. Сколько и какие задачи пришлось решать “Варягу” в этом походе, в каких очень сложных условиях проходило плавание, написано изрядно в специальной литературе.

Автор имел честь в 1983–84 гг. пройти почти тем же маршрутом. Шёл я на новом ракетном эсминце с газотурбинными двигателями, общекорабельной системой климат-контроля, с опреснителем производительностью 3 тонны в сутки (на экипаж в 195 чел.). Но мне трудно даже представить жизнь и быт полутысячного экипажа “Варяга”, не имевшего всех этих удобств, сто лет назад на этом маршруте.

После захода для ремонта в арабские султанаты, Карачи, Коломбо, Сингапур, Гонконг и Нагасаки, 25 февраля 1902 г. “Варяг” вошёл на рейд Порт-Артура. И практически без передышки закрутилась боевая подготовка, начиная от тренировок отдельных постов, учений по подразделениям, так и общекорабельных и в составе эскадры. Об интенсивности боевой учёбы говорят цифры “Вахтенного журнала” – до 50-ти за сутки. 1 мая 1902 г. крейсер вступил в кампанию. 28 февраля 1903 г. начальник Тихоокеанской эскадры вице-адмирал О. В. Старк по результатам инспекторского смотра оценил содержание и уровень боевой подготовки “Варяга” как вполне удовлетворительный. И уже 1 марта В. И. Бэр передал командование кораблём капитану I ранга Рудневу В. Ф., а сам получил назначение на новейший эскадренный броненосец “Ослябя”, который строился в Санкт-Петербурге.

В. И. Бэр родился в 1853 г. (точной даты, места рождения и родителей пока установить не удалось). После окончания Владимирского кадетского училища в Киеве в 1875 году закончил Морской корпус (на два года позже Руднева). Совершил несколько заграничных плаваний, в том числе кругосветных, последовательно командовал минным крейсером “Лейтенант Ильин”, мореходной канонерской лодкой “Храбрый”. Погиб 27 мая 1905 г., командуя броненосцем “Ослябя” в Цусимском сражении. До этого 23 мая после длительной болезни скончался второй флагман II Тихоокеанской эскадры контр-адмирал Д. Г. Фелькерзам, державший свой флаг на “Ослябе”, но командующий эскадрой З. П. Рожественский приказал скрыть сей факт.

“Ослябя” сразу же после начала боя попал под сосредоточенный огонь **шести броненосных крейсеров** японцев, имея колоссальные разрушения, он через 30 минут “вывалился” из боевого строя и ещё через 30 минут перевернулся и затонул. Последние минуты “Осляби”: “Командир Бэр, несмотря на разгорающийся вокруг него пожар, не покидал своего мостика. Для всех стало ясно, что он решил погибнуть вместе с кораблём. Казалось, все его заботы теперь были направлены только к тому, чтобы правильно спаслись его подчинённые. Держась руками за тентовую стойку, почти повиснув на ней, он командовал, стараясь перекричать вопли других: “Дальше от бортов! Чёрт возьми, вас затянет водоворотом! Дальше отплывайте!”

В этот момент, перед лицом смерти, он был великолепен.

Броненосец перевернулся вверх килем и, задирая корму, начал погружаться в море” (см. Джон Н. Вествуд Свидетели Цусимы. М., “Яуза”, 2005, с. 253).

Цитируемый труд принадлежит перу авторитетного британского военно-морского историка и очень тонкого знатока теории и практики военно-морского строительства. Более 30-ти российских источников и 17 иностранных источников – с 1904 г. по 1958 г. – лежат в основе его исследования. Сегодня это наиболее компетентный и объективный взгляд на трагедию Цусимы и, как это ни странно для англичанина, **в защиту нашего оболганного и оплётанного русского флота.**

В. И. Бэр имел награды: орден св. Владимира 4-й степени с бантом, св. Анны 2-й степени, св. Станислава 2-й степени. Других сведений об этом замечательном офицере найти не удалось. **Своё достойное место в истории флота и “Варяга” его первый командир должен иметь по праву!** Его подопечные могут гордиться им, а русские моряки помнить и подражать. Без него не было бы того “Варяга”, о котором поются песни второе столетие.

АНАТОЛИЙ ПАРПАРА

## ДЕРЖАВНЫЕ СТРОИТЕЛИ РОССИИ

### РОДОНАЧАЛЬНИКИ МОСКОВСКИХ КНЯЗЕЙ

*Каждый русский сознаёт себя частью всей державы, сознаёт своё родство со всем народонаселением. Оттого-то, где бы русский ни жил на огромных пространствах между Балтикой и Тихим океаном, он прислушивается, когда враги переходят русскую границу, и готов идти Москве на помощь, как шёл в 1612 и 1812 годах.*

Александр Герцен

#### 1. “Сего блаженного Даниила избра Бог”

Первый московский князь Даниил был последним сыном Александра Невского. Когда тот умер, маленькому Даниилу было всего два года. Перед своей смертью великий князь Владимирский завещал свои родовые земли: Переяславль – старшему сыну Дмитрию и Москву (по сути, основывая новое княжество) – младшему, Даниилу. Последний во время своего малолетства жил (мать его княгиня Александра умерла) у тверского князя Ярослава Ярославича, своего дяди, который с 1263 года был великим князем владимирским до своей смерти в Орде в 1271 году. Тогда же принял юного княжича к себе на воспитание старший брат Дмитрий Переяславский, который и помог ему сесть на московский стол. По одним сведениям, это произошло в 1272 году, по другим – позже, скорее всего, в 1276-м, когда Дмитрий Александрович после смерти своего дяди Василия Ярославича сел на великокняжеский престол во Владимире.

Собственно говоря, Даниил Александрович не был первым владельцем московским. Будущую столицу России, после упоминания её летописью в 1147 году, девяносто лет не вспоминали, пока деревянный город не постигла трагедия 1237 года. Летописец с великой печалью записывает: “...Тояже зимы взяша татарове Москву, а воеводу убиша, Филиппа Нянка, за православную хрестьянскую веру, князя Владимира яша руками, сына Юрьева, а люди убиша от старца до сущего младенца, а град и церкви огневи предаша, и монастыри вси и села пожгоша и, много имения вземше, отъидоша” (“П. С. Русск. Летоп.” 1, 196).

---

Продолжение. Начало в № 1 за 2014 год.

История сохранила имена предшественников Даниила. Достаточно хорошо известно имя Михаила Хоробрита, сына Ярослава Всеволодовича, отважного, но необузданного воина, который с большими перерывами владел Москвой в общей сложности десять лет (1238–1248).

Совсем неизвестно для широкого читателя имя его предтечи – Владимира Всеволодовича. Его отец – Всеволод Большое Гнездо – умер во Владимире-Залесском (так раньше назывался нынешний Владимир. – **А. П.**) в апреле 1212 года. Отписав по завещанию крупные уделы старшим сыновьям (а было их к тому времени пятеро, ещё двое – близнецы Борис и Глеб – умерли в детстве), он оставил Владимиру Москву и Дмитров, а самому младшему – Ивану – городок Стародуб (от князей стародубских вёл свой род Дмитрий Пожарский. – **А. П.**).

Великий князь Юрий Всеволодович – второй брат по рождению, но по воле отца получивший владимирский стол, – несмотря на первенство и желание отца, решил перераспределить уделы и пытался забрать Москву себе, но семнадцатилетний Владимир отказался подчиниться воле брата, да и москвичи поддержали его, выступив впервые против воли самого владимирского князя. Он успел прокняжить всего один год, ибо в 1213 году Юрий Всеволодович с братьями Ярославом и Святославом “пришед, оседе Москву, свой ему город”, как писал владимирский летописец, и прогнали его княжить в Переяславль Русский под Киевом, по сути дела сделав изгоем. В 1215 году он выступил со своей дружиной против половцев, но был разбит и попал в плен. К счастью для него, в следующем году произошло сражение между братьями Юрием и Константином (старшим по рождению братом) под Юрьевом Польским, в котором ростовский князь Константин одолел владимирского Юрия и сел на его стол. Константин выкупил Владимира из половецкого плена и отдал ему Москву, исполняя волю своего отца, в 1127 году.

На следующий год Константин неожиданно умирает, но Юрий, вокняжившись во Владимире, оставляет брата сидеть на столе в Москве. Историк В. Н. Татищев утверждал по известным ему документам, что Владимир Всеволодович умер московским князем. Жизнь его сложилась крайне неудачно. Он не был счастлив ни в битвах, ни в семейной жизни, ни в княжеской и умер в тридцать три года бездетным.

Теперь, после такого экскурса в нашу историю, вернёмся к Даниилу Александровичу, который является родоначальником истинных московских князей.

Как мы уже говорили, Даниил сел на Москве в пятнадцать лет. Нрава он был спокойного, но твёрдого, богобоязненного, но умел держать удар и постоять за себя.

То, что Даниил Александрович Московский был смелым воином, подтверждает и победа его над литовцами в 1285 году. Литовские отряды во главе с князем литовским Довмонтом напали на тверскую землю и разорили Олешню, принадлежавшую тверскому епископу Симеону (Троицкая летопись). Нагружённые добычей, они пытались уйти, но Даниил вместе с тверичами, дмитровцами, ржевчанами догнал их и отомстил за насилие.

В 1293 году враждебные отношения Дмитрия Переяславского и Андрея Городецкого в борьбе за великокняжеский стол достигли своего апогея. Самолюбивый Андрей не мог смириться с тем, что старший брат Дмитрий стал великим князем. Подговорив своих товарищей, удельных князей, пожаловаться на великого князя, они поехали в Золотую Орду *искать правду*, ожидая, что ордынский правитель вызовет на скорый суд и накажет Дмитрия. Но хан Тохта решил по иному. Видимо, и ему надоели эти русские князья, пытавшиеся разрешить свои проблемы, вовлекая правителя Золотой Орды в недостойный спор. Он отдал приказ собрать карательное войско и, поставив во главе его брата своего Дюденю, отправил на Северо-Восточную Русь для погромов. Тем более что дело ожидалось быть весьма прибыльным.

Не впервой Андрей Александрович приводил монголов на родные земли, желая доказать небеспочвенность своих великокняжеских амбиций, но этот карательный поход мог сравниться по своей жестокости только с нашествием Батыя. Дюденю рать устроила настоящее разорение русских земель. Вот как описывает это летописец: “В лето 6801 (от сотворения мира, или в 1293 году от Р. Х. – **А. П.**) бысть в Русской земли Дюденева рать на великого князя Дмитрея Александровича, и взяша столный град славный Володимерь, и Суждаль, и Муром, Юрьев, Переяславль, Коломну, Москву, Можайск, Волок,



Дмитров, Угличе поле, а всех городов взяше татарове 14. Поиде бо из Орды ратью с татари князь Андреи и князь Федор Ростиславич на князя великаго Дмитрея Александровича, на брата своего старейшего, а князь великий Дмитрие тогда был в Переяславли. Слышав же горожане переяславци рать татарскую, разбегошася разно люди черныя и все волости переяславския. После же и сам князь великий Дмитрие и з своею дружиною побеже к Волоку, а оттоле к Пскову. И тако замятеся вся земля Суждальская...”

Москву ордынцы взяли хитростью, пообещав не тронуть, если впустят в город. И, как всегда, нарушили своё слово: разграбили Москву, побили жителей, но князя Даниила всё-таки не тронули.

Этот поход имел следствием своим наглядную демонстрацию права силы перед правом наследования по старшинству. Отныне младшие стали уважать только ханский ярлык – решение повелителя Золотой Орды. И претендентов на ярлык стало множество. С этого момента Русь была ввержена в яростную междоусобицу. По верному замечанию историка Н. Устрялова, “народу оставалось терпеть и лить кровь за князей ослеплённых”.

Захвативший иноверной силой владимирский стол Андрей Александрович Скоросый (“Вспылчивый”) решил урезать уделы своих братьев, сидящих в Переяславле-Залесском, Москве и Твери (двоюродный брат Михаил Ярославич), но Даниил Московский и Михаил Тверской не смирились с таким решением. Они собрали свои полки, и вышли навстречу великому князю владимирскому. Рати встретились у Юрьева. И Андрею Александровичу пришлось отступить.

Совместный выход Даниила Московского и Михаила Тверского против великого князя владимирского и победа их укрепила в глазах русских князей значение Москвы как города, ведущего самостоятельную политику. Да и сам Даниил почуствовал свою силу. В 1300 году он напал на Коломну, которая принадлежала тогда рязанскому княжеству, и присоединил её к Москве. Константин Романович, владетель Рязани, призвал на помощь, как некогда Олег Рязанский, ордынцев и в следующем году вышел против Даниила. Но московскому князю удалось разбить их объединённое войско под Переяславлем-Рязанским. Константин Романович попал в плен к москвичам. В результате этой победы Коломна со всей округой вошла в Московское княжество как составная часть его уже навсегда.

На этом расширение пределов владений Даниила Александровича не остановилось. В 1302 году умер добрейший князь переяславский Иван Дмитриевич, внук Александра Невского. Поскольку он не имел детей, то город свой завещал Даниилу, ибо любил своего дядю, как писал летописец, “паче инех”. Вместе с Переяславлем московский князь получил и город Дмитров. Андрей Городецкий пытался отнять родовое гнездо у младшего брата, ибо выморочный удел по традиции должен возвращаться к великому князю владимирскому, но Даниил тут же послал своего сына Юрия с мощным отрядом, и тот прогнал владимирцев. Великий князь пожаловался в Золотую Орду, но москвичи не подчинились и ханскому приказу.

Даниил Московский уже тогда понимал, что только лишь приращением земель княжества не усилишь. Столица должна соответствовать новому статусу, а потому в Москве, как в Киеве и Владимире, нужно было возводить величественные храмы. Продолжая начатое Владимиром Всеволодовичем строительство (церковь в честь Дмитрия Солунского), он задумал поставить за Москвой-рекой возле княжьего двора монастырь в честь своего небесного покровителя – Даниила Столпника с каменной церковью Спаса Преображения. В 1296 году был выстроен и Богоявленский монастырь. Именно в нём служил одним из первых игуменов Стефан, брат Сергия Радонежского, который дружил с Алексием, будущим митрополитом всея Руси. Уже тогда заложено было великое переплетение державных судеб.

Возможно, что Даниил Московский расширил пределы Кремля, готовя Москву к новому предназначению – роли стольного города. “В лето 6799 (1291) месяца июля в 21 день... устроися град Москва от Москва-реки” – так записано в одной из псковских летописей. Именно тогда и была, видимо, построена церковь Спаса на Бору (около нынешних Боровицких ворот).

Даниил Московский был, вне сомнения, богобоязненным человеком – “Степенная книга”, созданная в 1560–1563 годах под началом митрополита Макария, писала: “Сего блаженного Даниила избра Бог”, – но это смирение ему, как, впрочем, и всем князьям, жившим в те времена, не помешало напа-

дать на ослабевших соседей. В 1303 году он готовился к нападению на Можайск, желая отобрать его у смоленских князей. Но в марте того же года, успев принять схиму в Даниловом монастыре, он скончался, передав своё княжение старшему сыну Юрию, который в этот момент находился в Переяславле.

Современный историк Николай Борисов писал в своей книге «Иван Калита»: «Князь Даниил Московский умер, как и жил, — скромно. И день выбрал — словно подгадал. Шёл Великий пост, время скорби и покаяния, когда все предавались размышлениям о своих грехах, о неизбежной смерти и Страшном суде». Летописец записывает беспристрастно: «В лето 6812 месяца марта в 5, в великое говение, на безымянной неделе во вторник преставился князь Данило Александрович».

Похоронили московского князя, как он и просил, на общем монастырском кладбище, вместе со всеми братьями во Христе. Потомки его, к сожалению, не следили за могилой своего мужественного предка, и она оказалась в забвении. В запустение пришёл и монастырь его. Но прошли десятилетия, и на забытой могиле стали происходить чудеса: здесь исцелился коломенский купец. Один юноша из окружения Ивана III рассказывал, что ему явился сам Даниил Московский и велел передать такие слова своему господину: «Скажи великому князю Ивану: се убо сам всячески себя утешаешь, меня же забвению предал». Иван III, узнав об этом, велел установить сборные панихиды о душах своих родственников. Князь И. М. Шуйский, вельможа сына его, Василия III, имел несчастье попытаться сесть с надгробного камня Даниила на своего коня и был сброшен на землю. Конь пал мертвым, а князя с трудом отпели на этом месте молебнами. И всё же, несмотря на эти знаменья, ещё долго память о Данииле Московском была в забвении. И только при молодом Иване Грозном, воспитаннике митрополита Макария, произошло чудо: был восстановлен Данилов монастырь и выстроена каменная церковь. Царь каждый год стал приходить на могилу своего предка вместе с митрополитом и совершать заупокойную службу. Мы помним, что именно при Иване Грозном Александр Невский был причислен к лику святых. А мощи Даниила Московского были обретены нетленными 30 августа 1652 года и перенесены в храм Семи Вселенских Соборов Данилова монастыря. Но это было уже тогда, когда Москва стала столицей огромного царства.

Ради истины стоит сказать о легенде, озвученной «Повестью о зачале Москвы», которая жива в сознании некоторых читателей и по сей день. В ней рассказывается об убийстве Даниила сыновьями московского боярина Кучки, которых вдохновила на чёрное дело супруга князя Улита, и приводится немало душераздирающих подробностей. Я несколько лет вёл передачи о русской истории на радио, и мне задавали нередко вопросы на эту тему. Со сказаниями и преданиями спорить невозможно. Серьёзные историки отвергают легенду об убийстве Даниила, ибо она построена на событиях, произошедших с владимирским князем Андреем Боголюбским. Это его убили сыновья московского боярина Кучки, и предала собственная сладострастная супруга. О московском князе таких сообщений нет, да и сыновья его, будущие великие князья Юрий и Иван, не оставили никаких свидетельств.

Для нас ясно то, что Даниил Московский был человеком благоразумным, умеющим ладить с людьми. Он так выстроил свою политику, что сумел привлечь в молодое княжество множество беженцев из разорённых Киева, Чернигова и других русских княжеств, давая им кров и пропитание. А люди, обустроившись, становились защитниками земли, обогрешей их, и пополняли княжескую казну своими доходами. Так Москва набирала экономическую силу. Ей предстояло сделать ещё многое. Сыновья Даниила — дерзкий Юрий, умный и дальновидный Иван Калита продолжат начатое дело, внуки и правнуки расширят пределы государства, но не будем забывать о том, что всё это было заложено Александром Невским и выросло из Даниилова семени.

## **2. Начальные создатели Московии: князь Юрий и князь Иван**

Иван Данилович Калита, великий князь Владимирский и Московский, 31 марта 1340 года умер в Москве от тяжёлой болезни.

Незадолго до этого, будучи явно нездоровым, он, тем не менее, вместе с сыновьями Симеоном и Иваном совершил сложнейшую в его положении поездку в Золотую Орду, отстаивая своё право на великое княжение от претен-

зий тверского князя Александра Михайловича. Последствия этого достойного, хотя и отчаянного, шага для упрочения значения Москвы как лидера среди русских княжеств необычайно велики. Борьба не на жизнь, а на смерть между потомками Александра Ярославича Невского – родоначальника московской династии Рюриковичей – и потомками его брата Ярослава III, который стал родоначальником тверской династии Рюриковичей, с этого момента медленно затихает. Первенство Москвы становится настолько неоспоримым и наследственным, что внук Калиты Дмитрий Иванович (будущий Донской) так и не дал сесть на владимирский стол тверскому князю Михаилу Александровичу (внуку Михаила Тверского), несмотря на то, что тот трижды получал в Орде ярлыки (осенью 1370-го, весной 1371-го и в июле 1375 года) на великое княжение. В те времена такое непослушание являлось великой дерзостью.

Историк С. М. Соловьёв так пишет о противостоянии Твери и Москвы: “Для Москвы средства к этой борьбе были приготовлены ещё при Данииле, начал борьбу и неумоимо продолжал Юрий Данилович. Калита умел воспользоваться обстоятельствами, окончить борьбу с полным торжеством для своего княжества и дал современникам почувствовать первые добрые следствия этого торжества, дал им предвкусить выгоды единовластия, почему и перешёл в потомство с именем первого собирателя Русской земли” (Соловьёв С. М., Сочинения, М., “Мысль”, 1988. Т. 3–4. С. 234).

Когда пишут о Калите как о зачинателе собирания русских земель, ссылаются часто на его интуицию собственника, желавшего приобрести как можно больше земель для расширения своего удела. И забывают о главном. Забывают о национальных задачах Московской Руси. Мысль о Руси как “общей отчизне” подспудно владела народом и активно поддерживалась единоначалием церкви и самой Церковью. Именно при Иване Даниловиче эта мысль стала проникать в сознание правителей небольшого княжества. Эта идея, и ничто другое, овладела делами его сыновей. Не случайно уже Симеона Ивановича называли Государем всея Руси (хотя его отец только в одной грамоте местного значения так назвал себя), а византийский император Иоанн Кантакузин обращается к нему таким образом: “Благороднейший великий князь всея Руси, любезный сродник моего царского величества, кир Симеон”. Подобно именует его и Вселенский Патриарх: “благороднейший князь всея Руси и любезный сродник высочайшего и святого самодержца моего” (Р. И. Б. Т. VI, прилож. С. 16, 26 и 36).

Авторитет московских князей растёт неуклонно, несмотря на то, что правитель Византии и Церковь Вселенская считали мирскую и церковную власть Московского княжества гораздо ниже себя, в подчинённом положении со времён принятия христианства Владимиром Великим. Но началось это движение с весьма взвешенной и разумно проводимой политики умного и деятельного Ивана Даниловича.

Впрочем, ради объективности стоит сказать, что такое мнение оспаривалось многими исследователями Московской Руси. Историк русского права В. И. Сергиевич назвал Ивана I человеком, “лишённым качеств государя и политика”. Н. М. Карамзин утверждал, что могущество Москвы есть “сила, воспитанная хитростью”. Н. И. Костомаров считал, что Калита был “человек характера невоинственного, хотя и хитрый”. Д. И. Иловайский писал о нём: “Необыкновенно расчётливый и осторожный, он пользовался всеми средствами к достижению главной цели, то есть возвышению Москвы за счёт её соседей”. Именно Иловайский перевёл слово “калита” как мешок с деньгами. И было в этом определении многое от куркуля и скопидома, хотя на самом деле Калитой называли Ивана Даниловича за его доброе отношение к нищим, которым он раздаривал деньги из своего кошелька, “даяще нищим, сколько вымется” (игумен Пафнутий Боровский).

При советской власти Ивану I досталось ещё сильнее от М. Н. Покровского, А. И. Насонова, В. В. Мавродина, Л. В. Черепнина. Вот что писал последний: “Этот князь жестоко подавлял те стихийные народные движения, которые подрывали основы господства Орды над Русью. Жестоко расправляясь со своими противниками из числа других князей, не брезгуя для этого татарской помощью, Калита добился значительного усиления могущества Московского княжества”. Умение выбирать союзников в борьбе против агрессоров всегда считалось достоинством для государственных деятелей: вспомни хотя бы Александра Невского, который привлекал татарские полки для отпора католической экспансии.

Автор первой его биографии Н. С. Борисов вполне резонно замечает: “Развенчание и охуление Ивана Калиты, в конце концов, вызвало законный вопрос: да мог ли столь низменный человек исполнить столь великую историческую задачу, как основание Московского государства? Ответ напрашивался двойкий: либо он не был основателем, либо созданный историками образ Калиты недостоверен” (“Иван Калита”. М., “Молодая гвардия”, ЖЗЛ, 1995. С. 8). Своей книгой – доказательной, во многом новаторской – Николай Сергеевич отвечает: “Да, образ, созданный историками, недостоверен!” И призывает к себе в союзники авторитетного исследователя политической истории России А. Е. Преснякова: “Обзор фактических сведений о деятельности великого князя Ивана Даниловича не даёт оснований для его характеристики как князя-“скопидома”, представителя “удельной” узости и замкнутости вотчинных интересов. Эта его характеристика, столь обычная в нашей исторической литературе, построена на впечатлении от его духовных грамот, которые, однако, касаются только московской отчины и её семейно-вотчинных распорядков”.

Год рождения Калиты даётся в разных справочниках по-разному: между 1282 и 1284 годами. Но Н. С. Борисов предлагает датировать его 1288 (или около того) годом. Первое упоминание об Иване Даниловиче появляется в одной старинной новгородской летописи. В ней говорится о том, что в 1296 году новгородцы призвали князя Даниила к себе править. “И присла князь переже себе сына своего в свое место именем Ивана”. В те времена рано начиналось княжеское служение – после семи лет князья принимали на себя правление, конечно, номинально, но опыт приобретался постепенно. Так было с дедом его Александром Невским, севшим на престол в возрасте около восьми лет, и с дядей его Дмитрием – около девяти лет. Судя по всему, Даниил Александрович возлагал на своего младшего сына большие надежды.

В 1303 году 4 марта умер Даниил Александрович, и московским князем стал Юрий. Смелый до безрассудства, он продолжил дело отца в собирании русских земель. Вместе со своими братьями он захватил Можайск, принадлежавший Смоленскому княжеству. Это приобретение имело для Москвы сверхважное значение: держа в своих руках Коломну и Можайск, московский князь контролировал всю Москва-реку от верха до устья и был свободен в своих движениях в смоленскую и рязанскую земли. В следующем году, после смерти великого князя Владимирского, вслед за Михаилом Тверским он отправляется в Золотую Орду пытаться счастья в борьбе за ярлык на великое княжение Владимирское.

В отсутствие князей тверичи решили захватить Переяславль. 15-летний князь Иван вышел навстречу тверичам и в битве разгромил их. Как видим, Калита не избегал брани, но в будущем предпочитал, как и его потомок, правнук Иван III, решать подобные дела дипломатическим путём.

В своих притязаниях на великое княжение Юрий Данилович опирался на помощь Великого Новгорода. Он не раз помогал северянам в битвах с тверичами, с немцами и шведами. Так, в 1323 году он ходил против шведов на Неву, где поставил на Ореховом острове городок, будущий Шлиссельбург. Да и в Золотой орде он нашёл себе “подарками и ловкостью” союзников: хан Узбек отдал за него свою сестру Кончаку, в крещении Агафью. Получив ярлык на великое княжение Владимирское, он собрал большое войско и вместе с ханским вельможей Кавгадыем пошёл на Тверь. В сорока километрах от неё Михаил Тверской встретил Юрия Московского и разбил его войско, взяв в плен многих бояр и супругу князя.

В ставке хана Тохты Юрия победил в соперничестве Михаил Тверской, – он дал большой выкуп и обещания татарам. Но вражда их на этом не закончилась. В итоге оба они погибли в ставке хана с разницей ровно в шесть лет. И вражда между Тверью и Москвой пошла по новому кругу, пока не утихла окончательно при Иване III.

Иван Данилович, который уже три года был практически князем Московским в отсутствие Юрия Даниловича, тяжело переживал убийство любимого старшего брата. Его утешал митрополит Пётр. В начале XIV в., когда против митрополита Петра восстала довольно сильная партия духовенства, обвиняя его в еретичестве, инок Акиндин писал великому князю Михаилу Ярославичу Тверскому, что ему следует исправить зло; он упрекал его за молчание, “видя ересь растущу и множающуюся”, и напоминал: “Повелено и тебе, господине княже, не молчати о сем святителем своим... Царь еси в своей земли;

ты истязан имаши быти на страшнем и нелицемернем судище Христове, аще смолчиши митрополиту” (Р. И. Б. VI, № 16). Тверской князь, однако, не мог воспретить митрополиту его беззаконий, хотя и вмешался в это дело: митрополит Пётр стоял под защитой московского князя и на переяславском соборе был оправдан от взводимых на него обвинений (М. Дьяконов. Власть московских государей. СПб, 1889. С. 52). Этим князем был Юрий Данилович.

Здесь же, на соборе произошла встреча Ивана Даниловича, который в тот момент был главой Переяславского удела, с митрополитом Петром. Будущий Калита нашёл духовную поддержку в лице иерарха Русской Православной Церкви.

Именно Пётр посоветовал Ивану I построить собор Успения Пресвятой Богородицы в Москве не хуже Владимирского. 4 августа 1326 года был заложен будущий соборный храм всей России как символ единения державы российской. У первосвятителя после долгих раздумий, видимо, не случайно, появилась благая мысль поставить Москву выше Владимира, который наследовал место Киева. Ему нравился этот быстро растущий город. И потому в решении выделить Москву среди других городов сказалось личное желание его упокоиться именно здесь. К сожалению, митрополит Пётр не дожил до освящения собора, состоявшегося ровно через год. Мощи святителя, который любил Москву и часто останавливался в ней, стали святыней для верующих. Потому новый митрополит Феогност уже не хотел оставить без своего присутствия “гроба и дома чудотворца”. Таким образом, через 28 лет после переноса митрополии из Киева во Владимир Москва стала духовным центром русских земель, а на следующий год Иван Калита получил ярлык на великое княжение Владимирское. Вот как это произошло.

15 августа 1327 года в Твери случилось стихийное восстание против татар, точнее, против отряда Шевкала, двоюродного брата хана Узбека. Поводом послужило отнятие ордынцами у дьяка Дудко его кобылы. Ордынцы и до этого вели себя, как грабители, и потому этот эпизод только подлил масла в костёр ненависти, которую испытывало русское население к завоевателям. Александр Михайлович, ставший великим князем Владимирским по воле Узбека, несмотря на то, что его брата Дмитрия, убившего Юрия Московского в ставке хана, казнили, не хотел больших осложнений. Но таков был справедливый порыв против угнетателей, что князь не смог перечить соплеменникам и поддержал их. Весь ордынский отряд и сам Шевкал погибли от разъярённых тверичей.

Властолюбивый Узбек решил жестоко покарать убийц своих людей, но чужими руками. Повеление хана о срочном приезде в Орду пришло в Москву осенью этого же года. Иван Данилович, прекрасно понимая, что значит послушание, повиновался. Вскоре пятидесятитысячное войско – “Федорчукова рать” (по имени одного из темников) выступила на Русь. Во главе его стоял Иван Данилович. К нему присоединился троюродный брат Калиты и Михаила Тверского суздальский князь Александр Васильевич, который вскоре станет вместе с Иваном Даниловичем соправителем Владимирского княжества. Жестокий вихрем промчалось по Тверскому княжеству ордынское войско. Князь Александр и двоюродные братья его Константин и Василий бежали. Были разграблены и сожжены Тверь и Кашин. Новгород смог откупиться. Опустошение прошло и по Рязанской земле. Но Москвы это лихо не коснулось. Как, впрочем, и в последующие годы.

Немаловажное значение для формирования центра нового государства имела стабильность жизни княжества. Не случайно и С. М. Соловьёв, ссылаясь на свидетельства древних авторов, говорит о том, что “...предки наши представляли себе Калиту установителем тишины, безопасности, внутреннего наряда, который до тех пор постоянно был нарушаем сперва родовыми усобицами княжескими, потом усобицами князей или, лучше сказать, отдельных княжеств для усиления себя на счёт всех других, что вело к единовластию”. Такой же процесс происходил в юго-западной Руси, Литве, Польше, Венгрии...

Калита начинает расширять пределы наследного удела. Как соправитель, в 1328 году он получал ярлык на право владения Костромой и Новгородом. Александр Суздальский получил во владение Владимир, Переяславль и Нижний Новгород. Сыновья Михаила Тверского получили: Константин – Тверь, а Василий – Кашин. Кроме того, Калита, судя по всему, получил пра-

во верховной власти и сбора дани с Галича (Костромской), Углича и Белозера. Это были богатые северные земли.

Через три года умирает бездетный ростовский князь Фёдор Васильевич, и Калита присоединяет к Москве выморочный удел: половину Ростовского княжества и Сретенскую часть города Ростова. После смерти Александра Суздальского Калита получает от Узбека ярлык на полное владение великим княжеством Владимирским. Кроме этого, он выхлопотал право самому собирать дань для хана – так русские земли предохранялись от набегов баскаков и воинственных грабителей.

Получив право сбора дани, Калита решил перераспределить её размер по землям. Многие княжества в результате обнищания не могли платить выход, который был установлен в давние времена. Новгород, в связи с приращением к нему новых областей в верховьях Камы, по Печоре и Вычегде, по решению Калиты должен был платить дополнительную подать – “закамское серебро”.

Естественно, что это не понравилось новгородцам. Тогда в 1332 году великий князь отнимает у Новгорода города Торжок и Бежецкий Верх и прерывает пути доставки хлеба в него. Противоборство длилось около двух лет, конечно же, с демонстрацией силы, но без применения её, и закончилось миром: новгородцы обязались выплачивать дань. В феврале 1335 года Калита приехал в Новгород и привёл под свою руку город.

Но насладиться вволю результатами своих трудов он не мог. Александр Михайлович Тверской сумел вернуть расположение Узбека, и тот возвратил ему отцовский удел осенью 1337 года. А через некоторое время неугомонный князь решил поспорить с Калитой о великом княжении Владимирском. Этого не мог допустить Иван Данилович: столько лет он выстраивал политику усиления Московского княжества, объединения под эгидой Православия всех исторических русских земель, и вдруг всё это может рухнуть в одночасье... Уже недовольные действиями Калиты потянулись в сторону Твери, уже верные люди доносили из вражьего стана о сборе войска против Москвы, уже собственный зять Василий Давыдович Ярославский перешёл на сторону соперника...

И тогда Калита собирает все мыслимые и немыслимые жалобы на Александра Михайловича, вместе с сыновьями прибывает в ставку хана, убеждает Узбека в ненависти тверского князя к Орде и обвиняет в порочащих тогда связях с Литвой. Хан, поверив этим доказательствам, отпускает Калиту домой и вызывает на суд в Орду тверского князя. Спустя некоторое время Александру Михайловичу зачитывают смертный приговор и вместе с сыном убивают. Сыновей же Калиты, которые приехали также на суд, Узбек с почестями отпускает домой. В знак своей победы московский князь приказывает снять с соборной колокольни Твери большой колокол и отвезти его в Москву.

Так явно не по-рыцарски был побеждён соперник, тоже не рыцарь, в жестокой борьбе за право возглавить будущее знаменитое государство, империю, которой дадут имя Третьего Рима. И это не случайно, ибо после разгрома Второго Рима именно Москва перехватит из неверных уже рук знамя Православия – истинной веры. Калита поработал немало для укрепления её в русских землях, построив только в Москве множество храмов. Известный книжник, человек глубоко верующий, он понимал, что без значимых соборов Москва не сможет стать столицей Северо-Восточной Руси. Но сколько их было построено в его княжение? Привожу свидетельство историка В. В. Назаревского “Из истории Москвы. 1147–1913” (книга вышла ровно 100 лет назад. – А. П.): “Через три года после смерти Калиты, под 1343 годом, летописец отмечает: “мая 31 погоре город Москва, церковей изгорело 28; в пятнадцать лет (1328–1333), се на Москве уже четвертый пожар бысть великой. В 1337 году быть пожар на Москве (Москва вся погоре), сгоре церковей 18”.

Значит, только в течение шести лет, с 1337-го по 1343 год было выстроено множество церковей. Не только эти 18 сгоревших храмов были выстроены вновь или только восстановлены, но было построено ещё уже новых 10, кои в числе 28 сгорели в 1343 году”. И далее объективный историк сетует на то, что его коллеги мало обращают внимания на храмоздательство Ивана Даниловича и на его усердие к Церкви и её владыкам, “хотя эта черта его характера и деятельности не менее важна, чем, например, накопление им богатства и даже собирание земель”.

Судьба сделала его, четвёртого сына Даниила Московского, великим князем, основателем знаменитой державы. Но она же в двенадцатилетнем воз-

расте (в 1300 году) промыслительно сделала его крёстным отцом сына московского боярина Фёдора Бяконта, который, повзрослев, примет постриг в Богоявленском монастыре Москвы. В год смерти Калиты он станет митрополитом, а через четырнадцать лет – митрополитом Алексием. Именно он будет духовником внука Ивана I Дмитрия Донского. Именно он подвигнет молодого полководца на борьбу за независимость Руси. А благословит его на это святое дело Сергей Радонежский, сподвижник Алексия и второй великий вдохновитель русского государства.

## УТВЕРЖДЕНИЕ ДОМА КАЛИТЫ

### 1. “Все князья руськие под руце его даны”

Всего за три четверти века, то есть за жизнь современного человека, незранный городок Москва – одно из самых незаметных удельных владений при начале правления Даниила Александровича (1276) – превратился при начале правления его внука Симеона Гордого (1340–1353) в наиболее сильное русское княжество, а владетель его, не имевший никаких шансов получить по наследству великокняжеский стол, становится великим князем владимирским, умом своим и увесистым кошельком побеждая в ставке хана Золотой орды дядей своих Константина Михайловича Тверского и Константина Васильевича Суздальского.

Василий Осипович Ключевский, известный русский историк, сообщает об имени Ивана Калиты: “В первой духовной этого князя, написанной в 1327 году, перечислены все его вотчинные владения. Они состояли из пяти или семи городов с уездами. То были: Москва, Коломна, Можайск, Звенигород, Серпухов, Руза и Радонеж, если только эти две последние волости были тогда городами (Переяславль не упомянут в грамоте). В этих уездах находились 51 сельская волость и до 40 дворцовых сел. Вот весь удел Калиты, когда он стал великим князем” (В. О. Ключевский. Сочинения в восьми томах. М., ГИПЛ, 1957. Т. 2. С. 16).

Но спустя всего лишь тринадцать лет, уже после смерти Ивана Даниловича – об этом можно судить по двум дошедшим до нас духовным грамотам – трём его сыновьям и жене достаются значительные владения. Мы приводим выписку из трудов Сергея Михайловича Соловьёва, ещё одного замечательного русского историка. Он пишет: “. . . старшему, Семену, отдано 26 городов и селений, в числе которых примысли Юрия Даниловича – Можайск и Коломна; второму сыну, Ивану, 23 города и селения, из них главные Звенигород и Руза; третьему, Андрею, 21 город и селение, из них известнее Серпухов; княгине с меньшими детьми – опять 26. Таким образом, величина уделов следует по старшинству: самый старший и материально сильнее, притом города его значительнее, например, Можайск был особым княжеством; старшему же должно было получить и великокняжескую область Владимирскую с Переяславлем” (С. М. Соловьёв. История России с древнейших времен. М., “Мысль”, 1988. Том 3. С. 234–235).

Симеон Иванович получил от отца в наследство не только наиболее весомую часть Московского княжества, но и славу рачительного хозяина, твёрдую руку управителя, умных бояр, воспитанных Иваном Калитой, уважение духовной власти и благодарность за десятилетия тишины от жителей. По примеру своего отца он знал, какими золотыми ключами открываются сердца хана Узбека и его приближённых. В 1340 году Симеон, сумев завоевать доверие повелителя Золотой Орды, вступил на престол в соборном храме Владимира, именуясь уже великим князем всея Руси. “Все князья руськие под руце его даны”, – записал летописец.

Братья Симеона Иван и Андрей поклялись у гроба Калиты чтить великого князя за отца, любить общих друзей и союзников, а против врагов восставать заодно. С. М. Соловьёв приводит красноречивый договор между братьями: “Я, князь великий Симеон Иоаннович, всея Руси с своими братьями меньшими, с князем Иваном и князем Андреем, целовали между собою крест у отцовского гроба. Быть нам заодно до смерти, брата старшего иметь и чтить в отцово место; а тебе, господин князь великий, без нас не доканчивать ни с кем” (указ. соч. Т. 3, книга II. С. 250). И клятву свою братнюю сдержали.

Важно отметить и то, что дом Калиты никогда не уничтожал своих близких, как это происходило в Золотой Орде, где с приходом нового хана вырезались братья (так было с сыном Узбека Джанибеком, который убил двух братьев, а родной сын его Бердибек убил Джанибека и двенадцать своих братьев; в свою очередь, он был убит своим сыном Кулпою...), или в Литовском княжестве, где Гедимин отсёк боковые ветви своего дома, Ольгерд устранил братьев и племянников, Ягайло поступил так же. Даже в самые худшие времена, которые наступят при правнуках Ивана Красного Василии Тёмном и Дмитрие Шемяке, не было убийств, но только “око за око”: Василий II ослепил родного брата Дмитрия Шемяки Василия, прозванного затем Косым, а Шемяка через десять лет отомстил слепотой уже самому Василию II, которого с той поры стали звать Тёмным. И не более того.

“Вражда была сильная между князьями, чуть-чуть не дошло до кровопролития”, — замечает летописец о столкновении в 1347 году князя Кашинского Василия Михайловича со своим племянником Всеволодом Александровичем. “Однако любопытно, — удивляется историк С. М. Соловьёв этому факту, — что кровопролития не было: не любили его северные князья, старались кончить дело какими-нибудь другими средствами”.

Таковы были тогдашние нравы на Руси, драчливые, но менее жестокие всё-таки, нежели в Европе и на ордынском Востоке.

Наши историки не очень-то любили потомков Ивана Калиты, выделяя из них (и то не все) только Ивана III, наделяя их чертами лиц заурядных... Особенно жёсткую характеристику им дал В. О. Ключевский: “Прежде всего, московские Даниловичи отличаются замечательно устойчивой посредственностью — не выше и не ниже среднего уровня. Племя Всеволода Большого Гнезда вообще не блесло избытком выдающихся талантов, за исключением разве одного Александра Невского. Московские Даниловичи даже среди этого племени не шли в передовом ряду по личным качествам. Это князья без всякого блеска, без признаков как героического, так и нравственного величия”. С этим утверждением знаменитого историка можно и нужно поспорить.

При княжении Симеона Русь не испытала никаких потрясений: ни татарских нашествий, ни внутренней смуты. Он обладал весомым авторитетом не только в Северо-Восточной, но и в Юго-Западной Руси. Есть свидетельства того, что даже литовские князья просили у него разрешения жениться на родовитых русских красавицах из других княжеств. Что там соседи-литовцы — сам византийский император Иоанн Кантакузин, как написано ранее, называл его в послании “благороднейшим великим князем всея Руси, любезным сродником” своего “царского величества, киром Симеоном”.

Вот какую характеристику дал выдающийся историк и государственный деятель Василий Татищев в защиту нравственных и государственных качеств старшего Даниловича: “Великий князь Симеон был прозван Гордым, потому что не любил неправды и крамолы и всех виновных сам наказывал, пил мед и вино, но не напивался допьяна и терпеть не мог пьяных, не любил войны, но войско держал наготове”. И то правда!

Интересен и такой случай, говорящий о твёрдости характера великого владимирского и московского князя в самом начале его правления. Понятно, что после основательных трат в Золотой Орде Симеону Ивановичу необходимо было получить серебро для дальнейших выплат, а взять его можно было, в первую очередь, с Новгорода, который богател от торговли с немецкими городами. Его наместники приехали для сбора чёрной дани в богатый город Торжок. Великий Новгород почёл себя обиженным, когда узнал от бояр Торжка о том, что к ним приехали сборщики дани. Недовольное таким своевольным действием великого князя владимирского новгородское войско пришло в Торжок и заковало в цепи московских сборщиков дани с их жёнами и детьми. А князю передали, что он — князь только московский, что Новгород — город вольный.

Симеон не стал спорить, но спокойно собрал войско, в котором были полки московские, суздальские, ярославские... и подошёл к Торжку. Двор великого князя составляли все удельные князья, бояре и даже митрополит Феогност. Новгород испугался такой силы и прислал своего архиепископа просить мира, заплатил Симеону необходимую дань со всей волости, 1000 рублей с Торжка и был счастлив, что тот не нанёс никаких ущемлений древним уставам.



Симеон был не только властный, но и умный вождь, умело исполнявший отцовские заветы и в политике. Его решительный и хитрый соперник — великий литовский князь Ольгерд, сын Гедимина — решил натравить хана Золотой Орды на владимирского и московского правителя, для чего послал своего брата Кориада в 1349 году с предложением помочь ему в нападении на Симеона. Узнав об этом, великий владимирский князь немедленно отправил посланца к Джанибеку: “Ольгерд опустошил твои улусы (юго-западные русские волости) и вывел их в плен; теперь то же хочет сделать и с нами, твоим верным улусом, после чего, разбогатевши, вооружится на тебя самого”. Джанибек, вняв словам Симеона, выдал ему Кориада. Пришлось Ольгерду посылать в Москву дары с просьбой освободить брата, что и было сделано.

Самое время напомнить уважаемым читателям о том, что литовское государство, созданное в начале XIV века и достигшее к середине столетия пика славы своей в Восточной Европе, по этническому составу было более чем на три четверти русским, ибо населяли его жители, которых по наименованию страны называли “литвинами”, как сейчас французами, итальянцами, испанцами, румынами называют жителей Франции, Италии, Испании, Румынии. Они были в основном православными людьми. И государственным языком великого княжества Литовского, а по сути — Литовско-Русского, вплоть до середины XVI века был русский язык. Современный историк справедливо заметил в своей книге: “После Батыевой рати Литва не подчинилась Орде и, сохранив независимость, стал ядром обширного Литовско-Русского государства. Литовские князья придерживались язычества” (Скрынников Р. Г. Святители и власти. Л., Лениздат, 1990. С. 7).

Но несмотря на языческие пристрастия литовских князей, русские люди, жители Литвы, относились к ним с уважением, видя в них защитников христианства, ибо они были ещё со времён Миндовга в сродстве с потомками Владимира Крестителя, именуемого в русских былинах “славным Владимиром стольне-киевским”. Да и сам Ольгерд был женат на Ульяне, дочери тверского князя Александра Михайловича, а сестра его Айгуста-Анастасия была замужем за Симеоном Ивановичем (умерла в 1345 году). Неслучайно дети Ольгерда стали исповедовать православную веру, даже Ягайло, который позже, и только по политическим соображениям, принял католичество.

Так что особых противоречий не было. Были столкновения властных амбиций, как между тверскими и московскими князьями за великий стол владимирский, как ссора в единой семье между родными и двоюродными братьями. Шло жестокое соперничество между Восточной Русью и Литвою за объединение всех русских земель в единое целое. Такая же борьба шла и внутри епархии Киевской и всея Руси за право окормлять паству, находившуюся на территориях двух русских государств. Особенно она обострилась, когда константинопольский Патриарх в 1355 году разрешил — по настойчивому ходатайству Ольгерда — на православных русских землях, входивших в состав Литвы, создать особую митрополию.

Но это будет только через два года после смерти Симеона Ивановича. А пока великий литовский князь, несмотря на то, что был грозой для своих соседей: ордена меченосцев, польского короля, монгольских войск — всё же осторожничал в своих отношениях с великим владимирским князем, хотя, естественно, не мог стать его союзником, ибо тот был данником Золотой Орды. И тем не менее, когда в 1351 году сын Ивана Калиты поссорился со смоленским князем и пошёл походом на Смоленск, то его встретило на реке Протве литовское посольство и заключило мир — по инициативе Ольгерда — между великими княжествами. А уже на реке Угре москвичей встретило посольство смолян, которое также предложило заключить мир. Возможно, это был дальний политический ход Ольгерда. Но это же говорит и о том, что великий князь литовский вынужден был считаться со своим бывшим шурином.

Симеон Иванович, как и положено православному князю, был богобоязнен и, как отец его, строил много храмов. В 1343 году в результате пожара на Москве сгорело 28 церквей. На следующий год Симеон заложил две церкви: Успения Богородицы и архангела Михаила. В 1345 году — Спаса на Бору. Для этой церкви впервые в Московском княжестве были отлиты три больших и два малых колокола.

Любопытное свидетельство оставил в рукописной статье “Новгород Великий”, написанной в 2000 году незадолго до своей трагической гибели, исто-

вый подвижник русской культуры Дмитрий Михайлович Балашов. Рассказывая об истории древнего города, он говорит о Городце, “где остались развалины большого храма, строенного в XIV столетии на старом основании ещё Симеоном Гордым, и где стоит знаменитая Нерединская церковь с дивными росписями, увы, почти без остатка погибшими во время последней войны, когда храм был обрушен артиллерийским огнём”.

В марте 1353 года умер от чумы митрополит Феогност, который был похоронен в Успенском соборе рядом с его предшественником митрополитом Петром, первым “московским и всея Руси чудотворцем”. Это Пётр настойчиво советовал Ивану Даниловичу Калите: “Аще мене, сыну, послушаеши и храм Пресвятой Богородицы воздвижеша в своем граде... и сам прославиши паче иных князей, и сынове, и внуки твои в роды и роды; и град прославен будет во всех градах русских; и святители поживут в нем. И възыдут “руки его на плеча враг его”, и прославится Бог с нем; аще же и мои кости в нем положены будут”. И когда тот замешкался, сам, предчувствуя скорый уход свой, 4 августа 1326 года заложил новый собор на месте пришедшей в негодность церкви Св. Дмитрия Солунского. В декабре первый московский митрополит отдал Богу свою душу, а через год белокаменный собор был построен. Помня, что грядущее Москвы, предсказанное главой Русской Православной Церкви, должно будет исполниться, митрополита Петра похоронили у северного предела Поклонения веригам Св. Апостола Петра, а в южном пределе был захоронен первый московский великий князь Юрий Данилович, брат Ивана Калиты. Москва обрела своих первых небесных защитников.

Через сорок дней после смерти митрополита Феогноста умирает великий князь Симеон. Но он успевае отослать в Константинополь владимирского епископа Алексия, который на время отъезда святителя по церковным делам был его наместником, с просьбой к Вселенскому Патриарху утвердить его митрополитом Киевским и Владимирским. Для Москвы это было очень важно – иметь своего, не присланного из близкой Подолии или далёкой Греции главу Православной Церкви.

В завещании Симеона любопытно для нашего времени следующее наставление братьям, из которого показывается явление старых отцовских бояр, хранителей правительственных преданий, добрых советников, которых мы так мало видели прежде: “По отце нашего благословенью, что приказал нам жить заодин, также и я вам приказываю, своей братье, жить заодин; лихих людей не слушайте, которые станут вас ссорить; слушайте отца нашего, владыки Алексея, да старых бояр, которые отцу нашему и нам добра хотели. Пишу вам это слово для того, чтоб не перестала память родителей наших и наша, чтоб свеча не угасла”.

Симеон умер молодым. Ему было только 36 лет.

## **2. “Христолюбивый, тихий и милостивый”**

Так уважительно писал о великом князе Московском Иване Ивановиче Красном (1353–1359), родившемся 30 марта 1326 года, летописец. Великое княжение ему досталось после его брата – великого князя Симеона Гордого, который скончался вместе с двумя своими сыновьями (четверо других детей умерли ещё совсем юными) от чёрной смерти (моровой язвы – чумы).

Я вынужден сделать небольшое отступление, которое вроде бы уводит в сторону от судьбы Ивана Ивановича Красного (он родился в церковный праздник – на Красную горку. – А. П.), а на самом деле многое объясняет в истории становления Московского государства.

Думая о зыбкости человеческого существования и промыслительности обстоятельств жизни конкретных людей и целых стран, начинаешь понимать, что книга наших судеб листается на небесах, и действительно ни один волосок не падает с головы человека без попущения Божьего, а пути Господни и впрямь неисповедимы, то есть мы не можем предвидеть, предведать, познать их. Невозможно было и предположить, зная о вражде Твери с Москвой, что деятельный, но всё же бездетный Симеон, осчастливленный потомством только в третьем браке (не одобряемом Церковью), именно с Марией, дочерью Александра Михайловича Тверского, казнённого в Орде, несчастного соперника его отца, Ивана Калиты, будет иметь дочь (вышедшую замуж за

младшего брата Александра за Василия Михайловича) и шесть сыновей. И все шестеро умрут во младенчестве. Сам же великий князь, борясь со смертельной болезнью, будет диктовать братьям свою последнюю волю, с которой читатель уже познакомился выше.

Не случайно писал об этом Симеон Иванович. Он видел, как наследники его уходили один за другим. И прямая линия его пресеклась. Возможно, он понимал, что и брат его Иван недолговечен, как братья: Даниил, умерший юным, и Андрей, сгоревший, как свеча, от чумы в том же 1353 году. А свеча их рода зависела теперь только от детей Ивана: Дмитрия и Ивана. А если что случится с ними, то погибнет и великая идея отца их – идея о Москве, собирательнице земель русских в единое целое.

Заглядывая вперед, скажем, что как из пятерых (возможно, семерых. – **А. П.**) сыновей Даниила Московского плодоносным было только древо Ивана Даниловича, так от Калиты (а это четверо сыновей и шестеро дочерей) по мужской линии продолжателями его рода были только сын Ивана II Дмитрий да Владимир, сын Алексея, которые стали героями Куликовской битвы, и народом наречены были за храбрость и мужество Донскими.

И уж совсем невероятным, даже фантастическим показалось бы предположение о том, что кровь двоюродных братьев, русских витязей, когда-либо соединится в одно целое и явит миру правнука их – одного из выдающихся русских государственных деятелей, равного умом и доблестью своему предку – Св. Александру Невскому, – осуществившему мечту его о полной независимости Руси и заслуженно названного не только Иваном Великим, но Иваном Правосудом.

Тоненькая ниточка, на которой висело таинственное предопределение русской нации, могла оборваться в связи со смертью Ивана Красного, во время младенчества его девятилетнего сына Дмитрия. А этого, видно, не могли допустить ни Богородица, покровительница Руси, ни Св. Александр Невский, тогда ещё не причисленный Церковью к лику святых, но уже своими небесными трудами защищавший и русскую землю, и своих потомков. И был, был их вестник среди русских людей, осуществлявший их предназначения на земле.

Вне сомнения, умён был Симеон Иванович и догадывался о многом, ибо недаром же в завещании вспоминает он владыку Алексея, называя его “отцом нашим”. В год смерти Ивана Даниловича сорокадвухлетний епископ Владимирский Алексей стал митрополитским наместником. О будущем Руси можно было не волноваться – великий ум начал свою плодотворную работу по созданию Российского государства. Симеон Иванович во всех своих начинаниях всегда чувствовал поддержку владыки Алексея, советовался с ним, получая заряд мощной энергии. Престарелый митрополит Феогност и не мечтал о лучшем преемнике для Русской Православной Церкви.

В 1354 году в чине митрополита Киевского и всея Руси Алексей вернулся из Константинополя в Москву, и началось его двадцатипятилетнее служение Богу и России.

Иван Иванович в марте того же года стал великим князем владимирским и московским. В споре с князем суздальским Константином Васильевичем хан Джанибек держал сторону московского князя. Ему нравились, как и отцу его Узбеку, уравновешенные, богатые московские князья, которые умели постоять за себя, но в драку зряшную не ввязывались.

Не обладая сильным характером Симеона, великий князь умел терпением и незлобностью своей свести противоборство к мирному разрешению. Так, полтора года длился новгородский конфликт, но перемирие было заключено взаимоуважительное. Сумел он в итоге замириться и со своим соперником за великокняжеский титул – суздальским князем Константином Васильевичем.

Известен и такой факт: когда Иван Иванович был ещё в Орде, на Лопасню (ею владел Владимир, малолетний сын только что умершего Андрея Ивановича) напал молодой рязанский князь Олег и овладел городом, захватив в плен московского наместника. Но и тогда Иван Красный не довёл дело до объявления войны и решил всё миром.

Впрочем, великий князь мог проявить и характер. Так, когда после убийства хана Джанибека, который был добр к христианам, в Орде воцарился его сын Бердибек, пожелавший разграничить земли между рязанским и московским княжествами, и прислал в 1358 году для этого сына своего царевича Мамат-Ходжу с войском, то Иван II не пустил ордынский отряд на свою террито-

рию. Такое открытое неповиновение было первым в истории взаимоотношений Орды и московских князей. И что удивительно: никакого наказания не последовало. Возможно, потому, что в Орде началась великая междоусобица, борьба за ханскую власть.

Воинственный Ольгерд часто тревожил московские, смоленские и брянские границы. В 1356 году он захватил Ржев (Ржева). Иван Красный в 1358 году, вскоре после возвращения из Орды, где получил великокняжеский ярлык от Бердибека, снарядил войско Можайское и тверское для возврата города. Этот поход был удачным, и Ржев был возвращён.

Таковой дерзости не простил, судя по всему, великий князь литовский. И когда прибыл в том же году в Киев митрополит Киевский и всея Руси Алексий для исполнения своих владыческих обязанностей перед православными, Ольгерд велел схватить его и бросить в тюрьму, “полонил его спутников, может быть, и убил был его тайно...”.

Мы уже писали выше о том, что великий литовский князь, владевший Киевом и чувствовавший себя наследником киевского престола, добился от Константинопольского Патриарха отдельной митрополии для православных верующих. Но этого ему показалось мало, и он потребовал для митрополита Романа ещё и титула митрополита Киевского. Москве, естественно, не захотелось прерывать вековые традиции и разделять единое духовное пространство. И всё-таки Константинопольский Патриарх оставил Алексия (в 1356 году) митрополитом Киевским и всея Руси, а литовского иерарха велел именовать митрополитом Малой Руси без Киева. Вот почему два года спустя последовало такое жестокое обращение с духовным наставником православных. К счастью, Алексею, не без помощи доброхотов, удалось тайно уйти из заключения.

Вернулся в Москву митрополит Алексий уже в 1360 году, когда началась *ордынская замятня* — чехарда со сменой ханов. В этом же году Ольгерд, который был самолюбив и не привык отдавать завоеванные города, захватил снова Ржев, но это было уже после смерти великого князя.

Скончался Иван Красный 13 ноября 1359 года и оставил сиротами двух малолетних сыновей Дмитрия и Ивана и дочь Анну. И оставил сиротливым Московское княжество.

Но к счастью, как пишет историк Николай Устрялов, “ещё не совсем погибли плоды Иоанна Даниловича: умные бояре, воспитанные в его школе, руководили сыном, следуя указанию великого и мудрого святителя, митрополита Алексия, который духовною властью смирял крамольников тем успешнее, что сам он пользовался особенной милостью хана. (Он вылечил молитвой и лампадным маслом от болезни глаз ханшу Тайдулу, а в благодарность за это получил место для постройки монастыря в Кремле на Ордынском подворье. монастырь этот называли Чудовым. — А. П.)

В это тяжёлое для Москвы время, когда великокняжеский ярлык получил суздальский князь Дмитрий Константинович, когда удельные князья стали чувствовать себя снова государями и разводиться “которы” (раздоры, ссоры, нестроения. — А. П.), митрополит Алексий стал править на Москве твёрдой рукой.

С помощью верных бояр в 1362 году Дмитрию удалось, благодаря раздвоению власти в Орде, получить ханский ярлык на великое княжение во Владимире. А затем, собрав войско и посадив юного князя на коня, бояре двинули на Дмитрия Константиновича. Тот, увидев московские полки, вздрогнул, охнул и... смирился, признав старшинство Дмитрия Ивановича над собою. А спустя три года выдал свою дочь Евдокию, не без помощи митрополита, за пятнадцатилетнего великого князя. Так были замирены соперники.

Свою роль в скором завершении конфликта сыграла и вошедшая уже глубоко в сознание людей мысль о первенстве дома Ивана Калиты перед другими ветвями Рюриковичей. А ещё через четырнадцать лет своё и Москвы право на лидерство Дмитрий оправдал на Куликовом поле.

Не дано было угаснуть свече.

(Продолжение следует)

ЮРИЙ ПАХОМОВ

## МОЧЁНЫЕ ЯБЛОКИ

*Из воспоминаний писателя и врача*

### 1. Вольные ветра Балтики

Летом 1989 года, когда всё уже было шатко, площади гудели от митингов и явственно слышался треск осыпающейся огромной страны, Юрию Александровичу Виноградову удалось организовать поход писательской бригады на сторожевом корабле “Бдительный” из Кронштадта в Балтийск с заходом в Таллин и Ригу.

Виноградов – фигура в московском писательском мире своеобразная. В прошлом – главный редактор журнала “Советский воин”, в восьмидесятые годы он занимал должность председателя военной комиссии при Союзе писателей СССР. Юрий Александрович обладал несомненным организационным даром, неукротимой энергией и пробивной силой. За хитроватые глаза, розовые щёчки и торопливый бабий говорок ему кто-то прилепил прозвище Баба Маня, и это стало как бы его прижизненной отметиной.

Виноградов многим делал добро, но его почему-то недолюбливали.

Бригада, состоявшая из московских и ленинградских писателей и писателей прибалтийских республик, собралась на борту крейсера “Аврора”. Было нас человек двенадцать – народ в основном пожилой, пишущий на военные темы. День выдался солнечный, голубая Нева, золотой шпиль Петропавловской крепости, особняки и дворцы вдоль набережных, ещё подёрнутые сизой утренней дымкой. После завтрака в старинной кают-компани и посещения Военно-морского музея мы на автобусе отправились в Кронштадт. Пригороды Ленинграда дышали зноем, среди зелени – деревянные дачи, звонкие берёзовые рощи со сквозными просеками, сосны и снова дачи. Колёса автобуса отстучали по плотине, соединяющей Кронштадт с материком. О плотине несколько лет велись ожесточенные споры – экологи, биологи, архитекторы! – их перекрыл погребальный скрип перестройки.

На сторожевом корабле “Бдительный” нас разместили в двухместных каютах. Я оказался вместе с известным писателем-маринистом Александром Николаевичем Плотниковым. Знали мы друг друга давно, частенько перезванивались. Крепко скороенный сероглазый кержак из далёкой сибирской деревни, как большинство сильных людей, был добродушен, обладал спокойным и ровным характером – лучшего соседа по каюте не придумаешь.

Плотников – капитан первого ранга, бывший командир подводной лодки и настоящий, в отличие от меня, маринист, по праву занял нижнюю койку, мне досталась верхняя. Я был счастлив. Окажись Саша надо мной, моей жизни угрожала бы серьёзная опасность: Плотников весил более центнера, и кобельная койка могла не выдержать...

Мы взяли с собой по три бутылки водки, выпивали по сто граммов перед обедом и ещё вечером, если позволяла обстановка. И тут расскажу об одном удивительном феномене: стоило мне (я был назначен старшим по каюте ви-ночерпием) открыть бутылку, как дверь в каюту распахивалась, и входил поэт Марк Кабаков со своим стаканом, я, естественно, наливал и ему.

Плотников, щурясь, глядел на Кабакова и спрашивал:

— Марк, у тебя, что ли, прибор какой есть? Как ты узнаешь, что мы собираемся выпить?

— Во-первых — дедукция, а уж во-вторых — прибор.

— И что за прибор?

— Акустический... Электронная схема, то-сё... Очень чувствительный.

— Тогда гони рупь.

Кабаков долго рылся в кармане, доставал рубль и укладывал его на стол.

Я как-то возмутился:

— Саша, что ты у него рубли дёргаешь? Он же гость.

— Э-э, ты Марка не знаешь. А я служил с ним в Феодосии, он на полигоне, я на лодке. Вместе начинали в литературном объединении. Когда поэты собирались в чепке, устраивая складчину, у Марка всегда оказывался только рубль. Один рубль — и всё. Это стало вроде анекдота.

Не меньше удивлял меня и писатель Вячеслав Марченко. Вечерами он заходил в нашу каюту и спрашивал:

— Ребята, почему бы вам не выпить?

— Тебе-то от этого какой прок? — всякий раз поражался Плотников. — Ты же не пьёшь.

Марченко и в самом деле лет двадцать назад “завязал”: не курил, не пил.

— Понимаешь, Саня, я хоть и не пью, но очень люблю посидеть в компании. И сам вроде хмелею, — как-то пояснил Марченко.

— Не понимаю, — Плотников развел руками. — Доктор, как это называется? — обратился он ко мне.

— Нечто вроде рукоблудия. Для жизни не опасно. В определённом смысле веселит душу.

— Ладно, коли так.

Таллин встретил нас враждебно. И это была уже не скрытая неприязнь, холодная вежливость в магазинах и брошенное в спину колкое слово “курат”, знакомое мне ещё со времен первой морской практики на учебном корабле “Комсомолец”. Сейчас в глазах эстонцев, особенно молодых, стояла откровенная ненависть к “оккупантам”, которую подогревали местные, националистически настроенные политики при молчаливом потворстве центральной власти.

В Таллине мы выступили перед моряками соединения надводных кораблей, затем группой бродили по вечерним улицам старого города. Бывая в командировках в столице республики, я обычно останавливался в гостинице “Выру” с великолепным рестораном, баром. Со мной здоровался портье и как-то даже предложил даму на вечер.

Посидеть в ресторане гостиницы “Выру” писателям на этот раз не удалось. И портье, и метрдотель, знавшие меня, встретили отчужденными улыбками: “Оч-чэнь сожалеем, мест-т нет-т. Много иностранцев”, — холодно доложил метрдотель.

Таковыми же словами встретили нас в двух или трёх кафе, писатели стали накаляться. И тут бывший фронтвик из Вильнюса вспомнил: “Друзья, а ведь сегодня день рождения Юхана Смуула. Я много занимался его творчеством. А ну, за мной!”

У кафе “Европа”, где обычно по вечерам собирались эстонские националисты, клубилась толпа. Маринисты и баталисты клином врезались в неё, и седовласый литературовед из Вильнюса сказал застывшему у входа в кафе мордовороту: “Молодой человек, знаете ли вы, что сегодня юбилей известного эстонского писателя Юхана Смуула? — Тот густо покраснел и промычал что-то невразумительное, видимо, в первый раз услышав это имя. — Так вот, мы, писатели, хотели бы отметить в вашем кафе это важное событие. Надеюсь, вы уважаете эстонских писателей?”

Нам тотчас отвели уютный столик, быстро его накрыли. Когда водка была разлита по рюмкам, фронтвик встал и сказал: “Господа, прошу стоя выпить за замечательного писателя Юхана Смуула, светлую память о нём!”

И весь зал встал и молча выпил.

Рига запомнилась проливным дождём, толкотней туристов на улицах и в магазинах. И ещё – запахом речной воды, замешанном на густом смоге. Город уже тогда выглядел чужим, настороженно притихшим. Внешне – фальшивые вежливые улыбки, фальшивые вежливые, обкатанные, словно прибрежная галька, слова. “Взять бы сейчас и долбануть по ним ракетой, – хмуро сказал вахтенный офицер, разглядывая в бинокль тающий в сумерках город. – Мы для них – оккупанты. Ничего хорошего не помнят. Сколько наших солдат и матросов здесь полегло в войну, сколько денег в эти занюханые республики вбухали! И всё им плохо... А моей деревни под Вологодой нет, пустые избы стоят”.

И вот Балтийск... Туман над тёмной водой, грациозные лебеди, возникающие из тумана, военные корабли на рейде и у стенки, на берегу – знаменитый ресторан “Золотой якорь”, кирпичные дома бывшей немецкой военно-морской базы Пилау, точно прибором захлестнутые пышной зеленью. И в Балтийске, и в Калининграде я бывал много раз.

Нас принял командующий Балтийским флотом адмирал Егоров (будущий губернатор области) – улыбчивый, спокойный человек. Вячеслав Марченко дружил с командующим, да и мне приходилось с ним встречаться. Оглядев писателей, сидящих за столом, командующий спросил:

– Братцы, а может, вам рыбалку организовать? И не простую, а на угря. Здесь островок неподалёку есть. Я вам катер свой дам, инструктора, снасти. Помощник материальное обеспечение организует. Как?..

Писателям идея понравилась.

Вышли рано утром. День обещал быть жарким. Белый катер вспарывал голубую волну – такого цвета Балтийское море бывает нечасто. “Материальное обеспечение” приятно булькало в коробках, а снастей для ловли угря было столько, что вполне можно было бы обеспечить областную писательскую организацию где-нибудь на севере России.

Через полчаса зелёный островок букетом вынырнул из морских глубин. Инструктор, плотный смуглолицый капитан второго ранга, нервно потирал руки. В его глазах стоял блеск, который встречается только у одержимых рыбаков. Это от них пошло: “Если служба мешает рыбалке, бросай службу”.

Катер мягко подошёл к причалу, рыкнул дизелем и осел. Матросы выгружали банки (табуреты), коробки, ящики, кисы – морские брезентовые чемоданы с хлебом и консервами. Инструктор налаживал удочки на угря, подвешивал к заброшенным донкам колокольчики. Из одной коробки так зазывно пахло копчёным угрём, что у меня сразу отпала охота ловить это скользкое змееподобное чудовище. Да и зачем? Вот он, уже готовый, копчённый на ароматном дымке. Я попросил у инструктора обычную удочку с поплавком, банку с червями, уселся на краю причала и стал с удовольствием дергать небольших плотвичек, которых сразу, осторожно сняв с крючка, отпускал в родную стихию. Стало припекать солнце. Бурные водоросли мотались между камней у причала, раскачиваемые лёгким накатом. Я пригляделся и обмер: в небольшой лагуне среди крошева плавника на дне лежал гигантский угорь. Видно, его повредило винтом катера, и он только что уснул. Я огляделся: писатели с мрачным видом сидели на банках рядом с удочками. Колокольчик так ни разу и не зазвенел. Я решил пошутить. Стараясь не привлекать внимания, спустился с причала, подцепил уснувшего угря на крючок своей удочки, отвёл рыбищу на приглубое место и как ни в чем не бывало уселся на нагретом солнцем причале. Выждав паузу, дёрнул удочку и заполюшно заорал:

– Мужики, у меня что-то зацепило, не могу вытащить! На помощь! – Удилище согнулось в дугу. Я бестолково прыгал на причале, изображая борьбу с могучей рыбой.

– Хватай за леску, твою мать! – закричал инструктор – Не дай ему сорваться!

Писатели слетели с банок и крупной рысью кинулись ко мне. Впереди всех бежал Саша Плотников в бейсболке с надписью “Босс” и в трусах в горошек. Поскользнувшись, он плашмя рухнул на гальку. Его обошёл инструктор, он двигался короткими скачками, как молодой кенгуру. К этому времени я уже выволок угря на причал и для убедительности помахивал его хвостом. Но разве обманешь настоящего рыбака? Инструктор горестно посмотрел на меня и сказал:

– Эх ты, чудака на букву “м”. Разве так шутят? У меня даже сердце прихватило.

К причалу с трёх сторон надвигались писатели. Выражения их лиц ничего хорошего мне не сулило. Марченко поднял руку:

– Стоп! Только не самосуд. Давайте создадим тройку из самых авторитетных писателей, и пусть они решат, что делать с Пахомовым.

– Выпороть его надо, – предложил Плотников, потирая ссадину на колене, – я весь ливер себе отшиб.

– Телесные наказания отменили в России ещё при Александре Освободителе, – заметил писатель-историк. – И потом, это было бы слишком просто. Нужно учесть опыт средневековой инквизиции.

– Испанские сапоги? – брови у Марка Кабакова встали почти вертикально.

– Нет, ещё тоньше и изощренней. Пахомов рыбалку сорвал, да и ни хрена не клюёт. Стол накрыт, всё готово. Мы садимся за стол, начинаем выпивать и, естественно, закусывать, а Пахомова посадим рядом на камень, пусть лицезреет нашу трапезу, а заодно и прочувствует всю глубину вины перед товарищами. Пытка трезвостью! Что может быть страшнее для пишущего человека?

– Гениально! – подытожил Слава Марченко.

Плотников засомневался:

– Слишком уж жестоко. Лучше выпороть. Да ладно, ежели общество решило... Супротив общества не попрёшь.

Сорок минут я просидел на плоском камне, вдыхая ароматный запах шашлыка, с горечью наблюдая, как быстро убывают напитки. Наконец, меня простили и допустили к опустошённому столу. Братья-писатели изрядно захмелели. Самым пьяным был Слава Марченко, хотя не выпил ни рюмки спиртного. Светило солнце, в кустах трещали птицы, а с запада напознала сизая, с отвисшим брюхом туча. Саша Плотников ммуро глянул на тучу и сказал:

– И здесь нас перестройка достала...

## 2. История с гинекологией

Анатомию я преодолел без труда – меня не смутили ни оглушающий запах препараторской, ни вид расчленённых трупов. По-видимому, я с детства предчувствовал, что выберу себе специальность, далёкую от разведения орхидей и роз. Со вторым страшным для медиков предметом – фармакологией – тоже обошлось всё благополучно. Пригодились отличная зрительная память и умение писать шпаргалки. Сбой произошёл с гинекологией. Уже с первых занятий я понял, что у меня что-то обрушилось внутри, сместилось представление о самом прекрасном создании на земле – женщине. Кафедра акушерства и гинекологии словно специально старалась лишить нас юношеского романтизма. Наглядные пособия, муляжи, в различных проекциях изображавшие детородные органы, говорили только об одном предназначении женщины – воспроизводстве рода человеческого. Всякое упоминание о любви (если речь не шла о любви к детям!) считалось чем-то непристойным. А на фоне невероятного количества женских болезней, описанных в учебнике величиной со средних размеров надгробную плиту, мгновенно истаял, исчез в зыбком петербургском воздухе образ блоковской Прекрасной Незнакомки. Хорошо ещё, что в те незапамятные времена по телевизору не рекламировали различные прокладки и тампоны, позволяющие очаровательным созданиям танцевать круглые сутки, в том числе и в критические дни.

Пока осваивали теорию, с этим ещё можно было как-то мириться, но когда пошли практические занятия в поликлинике, меня настиг новый удар. Ко всему прочему выяснилось, что юные и не очень юные представительницы лучшей половины человечества лишены чувства стыдливости.

Нашу группу вёл доцент, подполковник медслужбы, назовём его условно Вениамин Аристархович. Почему Аристархович, да ещё Вениамин? Было в нём нечто аристократическое, старопетербургское, оттуда, из ушедшего Серебряного века, когда доктора в обязательном порядке носили пенсне со шнурком, стоячие накрахмаленные воротнички и пёстренькие либеральные жилеты, перекрещенные цепочкой карманных часов. Понятное дело, Вениамин Аристархович выглядел несколько иначе, но очки без оправы, барственные манеры, крупные, удивительной красоты ухоженные руки и безукоризненно белые рубашки сближали его с нашими блестящими предками. К тому же говорил он, слегка картавя, и от него всегда исходил аромат хорошего



одеколона и табака “Золотое руно”. Как я позже выяснил, именно этот запах вызывает у женщин смутное томление и ожидание чего-то несбыточного. Стоит ли говорить, что у кабинета, где вёл приём Вениамин Аристархович, постоянно копилась очередь. Причём женщин ничуть не смущало обстоятельство, что на приёме будет присутствовать полувзвод молодых парней, рассаженных полукругом у сверкающего никелем гинекологического кресла.

Взгромоздившись на это орудие пыток, почтенного вида матроны отвечали на вопросы Вениамина Аристарховича столь охотно и с такими интимными подробностями, что мне порой хотелось провалиться сквозь землю. Кончилось тем, что когда наша группа после перерыва удалялась в кабинет, я прятался за здоровенный фикус, стоявший в деревянной кадке в холле поликлиники. Когда же слушатели вываливались в холл перекурить, я, словно тать в ночи, выскальзывал из укрытия и присоединялся к коллегам.

Вениамин Аристархович обожал остроумные анекдоты и наиболее удачные заносил в изящную записную книжечку. Я в те далёкие времена знал столько анекдотов, что их невозможно было бы разместить на дискете емкостью в 1,44 мегабайта. Я запоминал их сериями, блоками, тематически. Этому, по-видимому, способствовала пустота, царившая в моей юной голове.

“Английская серия”, рассказанная мной в перерыве, настолько потрясла Вениамина Аристарховича, что едва не сорвался очередной приём больных. Он предложил мне задержаться после занятий, и его смех в холле ещё долго смущал персонал поликлиники.

Такой односторонний обмен знаниями продолжался неделю. Как-то Вениамин Аристархович удивлённо спросил, почему не видит меня на занятиях. Мне ничего не оставалось делать, как чистосердечно рассказать о своих душевных терзаниях и клятвенно заверить, что никогда не стану гинекологом. Вениамин Аристархович, поразмыслив, сказал: “Ладно, зачёт я тебе поставлю, но при одном условии: если примешь хотя бы одни роды. Флотскому врачу это может понадобиться”.

Через месяц я держал в руках толстощёкого мальчугана, который о своём появлении заявил таким воплем, что спугнул ворон с соседней крыши. Случилось это, помнится, в родильном доме неподалёку от Невской лавры. Этому пацану сейчас уже пятьдесят с лишком. Солидный мужик.

Но история с гинекологией этим не закончилась.

Во время зимней экзаменационной сессии слушателям старших курсов академии продавали дешёвые путёвки в пустующие дома отдыха. Очень удобно: живёшь в Зеленогорске или под Выборгом, тишина, белки по деревьям скачут, тебя кормят, создают все условия для занятий, а сдавать экзамены едешь на электричке. В такой дом отдыха я и отправился. От того времени в памяти остались деревянные коттеджи, по самые окна засыпанные снегом, синие сумерки, скрип финских саней, захватывающее дух скольжение с горы, сухое тепло печки, которую по утрам растапливала старуха-санитарка. Сквозь дрёму я слышал, как смерзшиеся поленья со звоном ложатся в печь, и вот уже тянет ароматным берёзовым дымком.

Моим соседом по комнате оказался Юра Сенкевич. Он тогда ещё не был великим путешественником, ни ведущим популярной телевизионной программы, ни телеакадемиком, а, как и я, был лишь слушателем Военно-медицинской академии, только не морского, а сухопутного факультета.

Сенкевич сдавал экзамены на день раньше, чем я.

Тем замечательным вечером он приехал из Ленинграда довольный – сдал гинекологию на “отлично”. Поставив на стол бутылку водки, Юра с улыбкой соблазнительно заметил: “Я понимаю, тебе нельзя, а я уж расслаблюсь. Хотя, должен тебе сказать, алкоголь в определённых концентрациях стимулирует умственную деятельность”. Передо мной угрюмым кирпичом лежал недочитанный учебник по гинекологии, в саду орали, устраиваясь на ночлег, вороны. В голове зависла плотная полоса тумана. В его белесой мути увязли, потеряв смысл, все эти жуткие гинекологические термины, а в глянцевиной черни оконного стекла отражалось такое, что впору было перекреститься.

“А может, водка и правда стимулирует”, – с надеждой подумал я. После первого стопаря я убедился, что коллега, безусловно, прав. Когда мы допили бутылку, в голове настолько прояснилось, что я готов был сдавать экзамен хоть сейчас, причём по любому предмету.

Ухала, остывая, печка, где-то в отдалении лаяли собаки – ни обычной музыки, ни смеха за окном.

– Почему так тихо? – спросил я.

– После ужина ребята пошли на танцы в соседний дом отдыха. Там сегодня оркестр играет, – пояснил Сенкевич. – Слушай, а может, и мы махнём? Мне эта мысль понравилась.

В Сенкевиче уже тогда присутствовала некоторая доля авантюризма – кому же ещё, скажите, придёт в голову идея отправиться через океан на сплётённом из мочалок плоту? – потому он предложил:

– Давай переоденемся? Мне надоели солдатские шмотки.

Я представил, какой радостный переполох вызовет наше появление на танцах в столь необычном виде, и согласился. Юра не без труда натянул мою морскую форму – он крупнее и чуть выше ростом, – я облачился в просторный армейский мундир, сунул ноги в кирзовые сапоги и тотчас стал похож на дезертира, бежавшего с гарнизонной гауптвахты. До дома отдыха, где устраивали танцы, нужно было идти километра два, сначала просекой, затем – по тропинке вдоль железнодорожного полотна. Ах, какая это была сказочная ночь! Две, а то и три луны раскачивались среди звёзд, молодые берёзки стайкой девочек-шестиклассниц выбегали навстречу нам, в глубине леса весело щёлкал клюкой леший, хохотал филин, а мы в две молодые глотки распевали курсантскую песню, слова которой я не рискну здесь привести. В клуб ввалились, запылённые снегом, и сразу же налетели на патруль. Положение осложнилось тем, что старший патруля, капитан, слушатель нашей академии, знал меня и Юру в лицо.

– Хороши, – хмуро сказал он, оглядывая нас. – То, что вы пьяные, ладно, бывает, а вот трюк с переодеванием может вам дорого обойтись, друзья. Это уже ЧП! Короче, если вы тотчас же исчезнете из клуба, я вас не сдам. Вопросы?

Какие уж тут вопросы? Мы повернулись и уныло поплелись назад. Дорога на этот раз показалась вдвое длиннее. Началась сильная метель. Луна исчезла. Тропинку стало замечать. До своего коттеджа мы добрались часа через два, от холода не попадая зуб на зуб. Хорошо ещё, что у Юры была припрятана “маленькая”. В результате я не только не дочитал учебник, но и поехал сдавать экзамен с тяжелой от похмелья головой. Расчёт был сомнительный: явиться последним, когда экзаменаторы выдохнутся и станут милосерднее.

Кафедра гинекологии размещалась тогда на пятом этаже в новом корпусе на территории академического городка у Витебского вокзала. Внизу, в гардеробе, я встретил Вениамина Аристарховича, он меня узнал, стал спрашивать о моих делах. Пришлось ему сознаться, что иду сдавать экзамен и “не в зуб ногой”, что делать – не знаю, сплошной завал. “Да брось ты, не преувеличивай. Главное – не дрейф! – отмахнулся жизнерадостный доцент. – Расскажи лучше новый анекдот”.

Лифт не работал, и мы потащились вверх по узкой неудобной лестнице. Я уже не помню, какой анекдот я рассказал, но Вениамин Аристархович прямо-таки зашёлся от смеха. Снизу послышался сердитый голос гардеробщицы: “Эй, вы, малохольные, чего галошами кидаетесь!” Выяснилось, что доцент во время смеха дрыгнул ногой, галоша сорвалась и упала в лестничный пролёт. Пришлось вернуться. У входа на кафедру Вениамин Аристархович глянул на часы и, подмигнув мне, сказал, чтобы я заходил в кабинет, где принимают экзамены, через пять минут, но только в том случае, если дверь будет приоткрыта. Я выждал время и поступил так, как он мне посоветовал. То, что я увидел, напоминало чудо: доцент сидел за столом экзаменаторов один, больше в кабинете никого не было. Он царственным жестом указал на приставной столик, на котором лежали экзаменационные билеты, и сказал: “Выбирай! Только скорее, сейчас профессор придёт”. Я успел просмотреть несколько билетов, когда скрипнула дверь, и вошёл знаменитый гинеколог – профессор Бутомо. “А этот что так припозднился?” – спросил он, сумрачно глянув на меня. “За городом живёт, – пояснил Вениамин Аристархович. – Электрички плохо ходят”. “А-а, знакомое дело. Давай, дорогулечка, побыстрее, а то обедать пора. Да отложи ты билет, что в нём проку. Так поговорим”.

Дальнейшее напоминало страшный сон, который чаще всего случается, если переешь за ужином. Гинекология мстила за нелюбовь к ней, как может мстить только брошенная женщина. От страха я вспомнил то, что в принципе знать не мог, даже лекции слушал невнимательно, по-видимому, что-то там откладывалось в черепушке на подсознательном уровне. Если я сбивался, не знал ответа, Вениамин Аристархович писал красным карандашом ответ на бу-

маге и показывал мне его из-за профессорской головы. Я плохо разбирал почерк и вынужден был всякий раз приближаться к столу. Бутомо удивлённо трогал свой редкий ежик, недоумевая, что я там, на его голове, мог разглядеть, кроме просвечивающей младенчески-розовой лысины.

Наконец порка закончилась.

– Что же ему поставить? – задумчиво спросил профессор.

– Пять, – уверенно сказал Вениамин Аристархович и добавил: – За выносливость. Ведь вы его по всему курсу прогнали.

– На пятерку, Веня, и мы с тобой гинекологию не знаем. – Бутомо вздохнул, глянул на меня и спросил: – Гинекологом собираешься стать?

– Нет! – ответил я с таким жаром, что профессор удивлённо приподнял брови... Подумал и поставил “четыре”.

### 3. Мочёные яблоки

Ах, какое славное было утро, когда мы с курским писателем Владимиром Павловичем Детковым шли на рынок за цветами. Синь небесная прорезана была серебристым свечением редких облаков, и свет этот затекал в переулочки, где не слышно было шума машин, и жёлтые листья, сорвавшись с ветвей, долго кружили в воздухе, тихо оседая на землю.

На рынке пахло свежей рыбой, зеленью, осенними яблоками, и продавали хризантемы дивной, неземной красоты. Потом на автобусе мы покатали на кладбище, где упокоился выдающийся писатель земли русской Евгений Иванович Носов. Там-то, на кладбище, испытал я ощущение сопричастности к некому чуду и с этим ощущением прожил долгий и светлый день.

Вслед за Детковым шёл я по чисто выметенной дорожке, слева – вызолоченные солнцем надгробья, кресты, цветники, клумбы, а между деревьев висели столбы дымного света – видно, где-то жгли опавшие листья, и вдруг взгляд мой споткнулся о надпись на плите: “Константин Дмитриевич Воробьёв”. Я остановился в недоумении. Неужто он? Даты рождения и смерти совпали. Но ведь автор повести “Убиты под Москвой” похоронен в чужой неприветливой прибалтийской земле. Помнится, я ещё горевал, что судьба даже после смерти не снизошла к замечательному писателю. Владимир Павлович, уловив моё смятение, пояснил: “Константин Дмитриевич наш, курский. Вот его и перезахоронили при содействии губернатора. Рядом они теперь лежат, два воина-шлемоносца: Воробьёв и Носов”. И верно, могилы были по соседству. С миром приняла их курская земля, во все времена рождавшая замечательных художников, писателей, воинов и хлебопашцев. И всех их отмечала необыкновенная стойкость и крепость духа.

За минувшие двадцать окаянных лет немало именитых сочинителей сверзилось с пьедесталов, одни зачахли от скудности жизни, другие ушли в отказ, третьи дрогнули, приняв за сомнительные блага враждебную сторону. Даже такой, казалось бы, крепкий писатель-солдат, как Виктор Петрович Астафьев, и тот сорвал голос, дал, как говорят музыканты, киксу. Воины – победители в великой войне сплошь у него оказались “проклятыми и убитыми”. Вроде и не было ни битвы под Москвой и Курском, ни чадной Прохоровки, и не известно, кто взял Берлин. Разве что проклятые? Или убитые?.. Подвели писателя нравственные ориентиры, возобладали гордыня, а тут ещё недруги посулили нобелевские лавры. Как тут устоишь? А вот Евгений Иванович Носов устоял, ни разу не сбился с пути. Устоял и Константин Дмитриевич Воробьёв, о горькой судьбе которого в своём “Зрячем посохе” с такой пронзительной грустью писал тот, прежний, всеми любимый Астафьев.

Отправляясь в Курск на открытие памятника Носову, я вечером перечитал журнал “Толока”, посвящённый восьмидесятилетию со дня рождения писателя. Там в своей статье известный критик Владимир Бондаренко приводит слова Евгения Ивановича, обращённые к близкому своему другу Астафьеву: “Вот Виктор Астафьев, он же в своем последнем романе “Прокляты и убиты” немножко обидел оставшихся в живых участников Великой Отечественной войны. Эти люди ведь сейчас живут из последних сил. Фронтовики наши, чуть живые, носят все свои медали, потому что горды своим участием в Победе. Потому ведь в их жизни ничего стоящего не было. Он вернулся с фронта, опять опустился до уровня пастуха ли, трудяги простого, сторожа магазинно-

го. Он вернулся в деревню Ванькой и этим Ванькой остаётся всю жизнь. В деревне некуда двигаться... Не потому, что страна виновата в забитости деревенской. Стране негде было тогда взять, чтобы накормить и одеть всех фронтовиков... Тяжёлая была жизнь. И вот этих людей Виктор Астафьев своим романом ещё раз обездолил – война единственное, что поднимало их до какой-то высоты...

Не довелось мне быть близко знакомым с Евгением Ивановичем Носовым. Встречались как-то на съезде писателей, постояли, поговорили. Меня всё подмывало расспросить его о родословной. Ведь и мои, носовские корни, возможно, тянутся с Курщины. Прапрадед мой в начале девятнадцатого столетия переехал в поволжский Юрьевец из одной южной губернии. Какой – неведомо. Не из одного ли мы российского рода на свет объявились? Не решил спросить, постеснялся. Выходило, будто напрашиваюсь в родственники к известному писателю. А зря. Евгений Иванович был человеком чутким, не осудил бы меня за докучливость. И всё же сходство фамилий (я ведь Носов, Пахомов – мой псевдоним) давало порой о себе знать. Давно, ещё в советские времена, как-то позвонили мне из конторы, ведающей заграничными публикациями, и предложили получить гонорар в немецких марках. “Белый гусь” – ваш рассказ?” – спросила литературная дама. “Нет, отродясь не писал о гусях”. “Ах, оставьте, – возмущилась дама, – все писатели обязательно пишут о собаках и гусях!” Потребовались немалые усилия, чтобы убедить её, что рассказ принадлежит перу Евгения Ивановича Носова.

Положили мы с Детковым цветы к подножью надгробий двух русских писателей, постояли, склонив голову. А небо, будто скорбя вместе с нами, потемнело, но ненадолго, словно тень скользнула, но вот уже упругий солнечный свет пробил сумерки, высветив аллею с могилами воинов, павших в Афгане и Чечне, а чуть дальше устремился ввысь мемориал морякам-курянам, погибшим на подводной лодке “Курск”.

Вспомнил я, как на похоронах Юрия Павловича Казакова, когда опускали в могилу гроб, сорвался вдруг откуда-то вихрь, взметнувший вверх, к серому ноябрьскому небу, опавшую листву. И там, в вышине, будто кто-то приоткрыл заслонку, вспыхнул и погас солнечный луч. Удивительно ли это? Нет! Ведь мы и природа – единое целое.

Памятник Мастеру русского слова мне понравился. Изваян он был любящими руками и потому был тёпел и тоже, как осеннее небо, светился. Евгений Иванович сидел, погружённый в думы: грубый свитер, штормовка, на ногах – кеды, будто собрался он на рыбалку. И поставлен памятник хорошо: рядом с домом писателя, в небольшом сквере, где некогда стояла скамейка, на которой любил сживать Евгений Иванович во время прогулки. Этот момент и запечатлел скульптор Владимир Иванович Бартедьев. Так и казалось: отдохнёт писатель и отправится по дороге вниз, к родной деревне Толмачёво, посидеть среди ракатника с удочкой на берегу речки Свяж.

Открывали памятник не казенно, с душой. И губернатор, и мэр в своих речах нашли живые, неизбитые слова. Да слова и не нужно было искать – сами они складывались из осеннего воздуха, и любая фальшь сразу бы обнаружилась, проступила, словно пятно на подмокнувшей скатерти во время хмельного застолья. Артисты читали отрывки из рассказов Носова, капелла под руководством Евгения Легостаева (её и в Европе слушали!) исполняла любимые произведения писателя, а вокруг, занимая проём улицы, отхватив и проезжую часть, стояли люди. И много было молодых, отмеченных мыслью лиц. Событие собрало жителей Курска – Евгений Иванович Носов был их земляк, родной, понятный, а значит – истинно народный писатель. Редко кто удостоивается такой чести. А я глядел на бронзовую птаху, присевшую на бронзовый куст рядом с Мастером, и вспомнил о просьбе Евгения Ивановича, выбитой на его надгробье: “Покормите птиц”.

Так просто и так значимо: люди, покормите птиц и вы станете добрее друг к другу, сохраните хоть частицу любви, что год от года тает в России, как рыхлый снежный ком на мартовском солнце.

Стоял я и думал с горечью: кому только не ставят сейчас в Москве памятников, а для того, чтобы пробить установку скромной доски на фасаде арбатского дома, где жил другой выдающийся русский писатель Юрий Павлович Казаков, потребовалось десять лет. Да что говорить, Венечке Ерофееву, прокатившемуся разок пьяненьким из “Москвы в Петушки”, уже не то два, не то три памятника от-

грохали. А Чехову хоть и поставили в Камергерском переулке памятник, да как раз там, где помещался общественный сортир – прибежище пьяниц и извращенцев. Случайность?.. А свистопляска вокруг увековечивания памяти Булгакова и вовсе напоминает шабаш, в котором участвуют персонажи, рождённые фантазией автора “Мастера и Маргариты”. Пустое всё это, порождение миазмов, витающих в отравленном ложью и пустословием воздухе столицы. В Курске воздух иной. Степные ветры сдувают прочь гнильцу, запах тлена и разложения, что вместе с дымом горящих лесов стелется каждое лето над Россией.

Вечером, по приглашению вдовы писателя, собрались мы за столом в доме Евгения Ивановича. Уже легли сумерки, оконные стёкла обрели аспидный цвет, а потом и вовсе померкли, но в гостиной было уютно и светло, свет дробился на стекле рюмок, а в центре стола среди закусок стояло блюдо с мочёными яблоками. Давно я не ел мочёных яблок, а уж таких и подавно не пробовал! Золотисто-янтарные, с заманчивым сладковато-бражным запахом, они как бы вобрали в себя цвета ранней осени и теперь сами излучали свет. Всё соединилось в одной точке: сегодняшнее утро, кладбище, клейкие серебристые паутинки среди прореженной листвы, слитые воедино мужские и женские голоса капеллы и скромный кабинет Евгения Ивановича, где со дня кончины писателя ничто не тронуту – всё стоит на своих местах. Казалось, что вот-вот войдёт хозяин и торопливо направится к рабочему столу, боясь упустить только что возникшую мысль.

Я сидел рядом с сыном писателя Евгением Евгеньевичем, инженером-ракетчиком, человеком тихим, застенчивым. Во главе стола – вдова писателя, доброжелательно-светлая хранительница семейного очага. Глядел я на неё и думал: дай ей Бог долгих лет жизни, и пусть обойдёт лихо стороной эту русскую семью. В таких семьях и хранятся ростки будущего возрождения России.

Тем же вечером уезжал я в Москву. Соседками по купе оказались две студентки, по виду – сестрички, улыбочивые девушки с острыми беличьими глазками. Я устал, перегружен был впечатлениями, соседки деликатно вышли в коридор, дав мне возможность устроиться и прилечь. Уже засыпая, я услышал, как одна из студенток тихо спросила: “Чем это так удивительно пахнет?” И я вспомнил, что в моей сумке среди курских даров поместился и пакет с мочёными яблоками. Они-то и издавали запах...

#### 4. Поэтом можешь ты не быть...

В юности многие пишут стихи. Я не писал. Моё появление в литературе, как я полагаю, случайность или вмешательство неких сил. Когда в 1982 году в издательстве “Молодая гвардия” готовилась к печати моя новая книга, заведующая отделом Зоя Николаевна Яхонтова потребовала, чтобы я обнародовал своё писательское кредо. Я и сейчас с трудом представляю, что такое “писательское кредо”. Какое, например, кредо у Антона Павловича Чехова? Но в те времена, как говорили ехидные редактора, нашу литературу так “засерили”, что не продохнуть. Меня угораздило попасть в серию, где непременно требовалось кредо. Хоть тресни!

Зоя Николаевна, пожалев меня, посоветовала: “Да напишите просто, как вы, человек вполне приличный, докатились до такой жизни”. Промучившись неделю, я договорился до того, что стал утверждать, что в самой природе сочинительства впору заподозрить таинственный вирус, циркулирующий среди молодежи. Что-то вроде вируса болезни куру, поражающей в основном аборигенов из племени форы на Новой Гвинее. Но форы – каннибалы, а каннибализм среди писательской братии, насколько я знаю, распространён не очень. Дальше – в том же роде. Книга вышла, коллеги стали на меня поглядывать с подозрением, но стихов я не писал.

И всё же в редакции ленинградского журнала “Звезда” два месяца меня числили поэтом. Эта забавная история разрешилась 8 марта 1979 года.

... День стоял чудный, отовсюду капало, тенькали синицы, в лужах отражались белые кудрявые облака, похожие на новорожденных ягнят. В баре гостиницы “Советская” (я там остановился) раздобыл две бутылки шампанского и с трудом закинул их в кейс. Доехал на троллейбусе до Владимирской площади и там, на рынке, купил ветку мимозы, точнее, маленькое деревце. Такси добыть не удалось – праздник, сесть в троллейбус с деревцем в одной ру-

ке и разбухшим кейсом в другой – глупость. Вот и пришлось тащиться через весь Литейный проспект до Моховой. Зрелище, надо думать, было забавное: встречные прохожие, особенно женщины, улыбались. И в самом деле: солидный полковник в каракулевой шапке с лакированным козырьком (“шапке с ручкой”) прёт на себе унизанное золотыми шариками соцветий дерево, а на приветствие младших по званию в связи с занятостью рук отвечает кивком головы.

О традиции “звездинцев” отмечать день 8 марта в редакции я знал, знал и как сдвинуть старинный кованый засов, которым запиралась входная дверь, когда завершался приём посетителей. С задачей взломщика я справился легко, осторожно разделся в гардеробе и, неслышно ступая, подошёл к двери, ведущей в “Зелёную гостиную”, где обычно заседало литературное объединение молодых писателей и где однажды я выставил на обозрение свои графические работы, выполненные под влиянием Фрейда и Чюрлёниса. Александр Семёнович Смолян, обзорев сии творения, глухо, в бороду, посоветовал: “Юра, ограничьте выставку нашей гостиной, а то вами заинтересуются коллеги-психиатры”.

Гул голосов временами перекрывал странный звук – казалось, что кто-то играет на арфе. При моём появлении возникла секундная тишина. Взору моему предстала довольно необычная картина: во главе праздничного стола, рядом с главным редактором журнала Георгием Константиновичем Холоповым важно восседал домбрист – седой, вислоусый, в украинской расшитой рубахе. По обе стороны от них расположились Жур, Смолян, дальше редактора, члены литературного объединения – Корнелия Матвеевко, Михаил Панин, Алла Драбкина, Вячеслав Усов, Вячеслав Кузнецов, кто-то ещё. Паузу нарушил Холопов:

– Пахомов явился. К тому же с деревом. Где ты его вывернул?

– В Летнем саду, естественно. Едва скрылся от погони.

– Садись, уголовник.

С деревом вышло замешательство. Никто не знал, куда его поставить. Наконец, уборщица, чертыхаясь, принесла ведро для мойки полов. Заведующий отделом поэзии Вячеслав Кузнецов, для друзей – Вячик, подхватил меня под руку и усадил рядом с собой. Корнелия достала из буфета стакан, тарелку и вилку.

– Давай, дёрнем водочки, Юра. Тебе нас догонять нужно. – Кузнецов как-то странно улыбнулся.

– Я бы шампанского... У меня в кейсе две бутылки.

– Оставь шампанское женщинам. – Слава налил мне полный стакан. – Поехали, предстоит деликатный разговор.

В гостинице я выпил только чашку кофе, и водка подействовала на меня, как ударный наркоз-рауш. Я даже слегка поплыл. Корнелия положила мне в тарелку салат и сердито покосилась на Кузнецова:

– Что ты пристал к человеку, дай ему закусить.

– погоди. Нея. Пахомова нужно брать тёпленьким. – И вкрадчиво сказал: – Юра, ты наш постоянный автор, хороший прозаик. Скажи, на кой черт тебя понесло в поэзию? И к тому же сразу громыхнул поэмой о танкистах. Ты же моряк. Зачем отбивать хлеб у фронтовика Сергея Орлова?

У меня на затылке зашевелились волосы. Розыгрыш, мистификация?

– Какой поэмой? – с трудом спросил я. – Что за вздор? Я в жизни не писал стихов.

– Перестань! Уж Холопов-то тебя знает. Так и сказал – Пахомов. С прозаиками и не такое случается. Я ничего плохого о поэме сказать не могу, вполне профессиональная работа. Мы собираемся дать её ко дню Победы, нужно только снять кое-какие вопросы.

– Послушай, если это розыгрыш, то неудачный. Повторяю: я никогда не писал стихов.

– Ну-ну! И фамилия твоя, точнее – псевдоним, и адрес московский совпадает. Давай на минуту поднимемся в мой кабинет, я тебе покажу рукопись.

Мы вскарабкались по лестнице, Слава извлёк из ящика письменного стола папку, развязал тесёмки, достал рукопись и бросил её на стол, подняв облачко пыли.

– Гляди, Пахомов Юрий Николаевич, Москва, проспект Вернадского...

– Стоп! Я действительно живу рядом с проспектом Вернадского, но на улице Новаторов. А о танках я знаю только присказку: “Главное в танке – не бздеть!” Ты удовлетворён?

Наступила пора удивляться Кузнецову.

– В самом деле? Как ты меня обрадовал. Поэмка, честно говоря, так себе, вторичная. Хотя дать можно.

– Ты злодей и провокатор “невиннейших девушек, чистых, как мак”. Кажется, так звучит у Саши Чёрного?

Мы скатились вниз, Слава ворвался в “Зелёную гостиную” и публично возвестил:

– Это не он! Полная и прижизненная реабилитация!

Холопов строго посмотрел на меня:

– Правда?

– Правда.

– Я бы предложил тост за тебя, но ты, к счастью, не женщина. Друзья, наполним бокалы!

В зеленоватом воздухе над столом ещё кружились обломки моей поэтической славы. Смолян разгладил патриаршую бороду и глухо, как в бочку, пророкотал:

– Юра, как сказал классик: “Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан”. Причём сознательным. В твоём кейсе, по данным разведки, припрятаны две бутылки шампанского. Нечего таить его от коллег, а то женщины устроят тебе “тёмную”.

... Вячеслав Кузнецов умер в сентябре 2004 года. Провожали его в просторном зале крематория на Пискаревском кладбище. Бабье лето было в разгаре, серебристые паутинки летали в воздухе, и всё говорило о жизни. На Пискаревское я поехал с другом – поэтом Игорем Кравченко. Кроме Игоря, поэта Бориса Орлова и руководителя писательской организации Ивана Сабило, я не встретил ни одного знакомого. Произошла стремительная смена писательских поколений. Мне стало грустно, и я вспомнил тот далёкий мартовский день, капель, деревце мимозы и знакомые лица за столом в “Зелёной гостиной”. Многих из них уже нет. А стихи я так и не стал писать.

## **5. Русское небо над кладбищем Сен-Женевьев-де-Буа**

Для Парижа и его предместий наиболее характерный цвет – серебристый. В воздухе даже в дождь висит серебристая дымка, такое же ощущение рождают дома, сложенные из местного известняка: иногда серебро с оловянным отливом, нередко – с чернью. Чернь – от кованных перил узеньких балкончиков с горшками красной бельгийской герани, придающих Парижу и близлежащим городкам особое очарование.

Но сейчас над кладбищем в Сен-Женевьев-де-Буа зависло ярко-синее небо, где-то возлились, потрескивая, птицы, над голубым куполом кладбищенской церкви Успения Богородицы лежало белое непорочное облачко. Я стоял у могилы Ивана Алексеевича Бунина и вспоминал такой же осенний день...

В больничном парке листья уже облетели, и лишь на голых ветвях боярышника рдели ягоды. Тянуло дымком – жгли листья. Из вивария доносился приглушённый лай собак. По Загородному проспекту катили автомобили, звенели трамваи. Вторая рота курсантов Военно-морской медицинской академии направлялась на лекцию в шестую аудиторию, размещённую под куполом бывшей Обуховской больницы. Грохоча яловыми ботинками, мы поднялись по знаменитой лестнице, в пролёт которой много лет назад бросился безумный и гениальный Всеволод Гаршин; в сумеречном полусвете в нишах проступали лики великих ученых. Лекция предстояла скучнейшая – по политэкономии, и поэтому я запасся книгой – сборником рассказов Бунина.

После привычных команд “Встать!”, “Сесть!” я достал из чемоданчика томик и, прикрывшись от острого старшинского глаза локтем, заглянул в оглавление. Первым мне попался на глаза рассказ “Антоновские яблоки”. Я стал читать и сразу замер, споткнувшись о строки: “Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах мёда и осенней свежести...”. Дальше читать не смог – строчки расплылись от слёз. Был я в ту пору первокурсником, трудно привыкал к военной службе и скучал по дому. А тут в сумрачном полусвете аудитории вдруг возник осенний сад на окраине Краснодара, уже пустой и прозрачный, с клейкой серебристой паутиной на малинике, я даже ощутил запах осенних яблок – не антоновки, скорее, симиренки, – ароматный, рождающий в душе смутную надежду.

Сколько ни перечитывал я рассказы Ивана Алексеевича, всякий раз поражался его способности, удивительному чародейству оживлять ушедшее так, что возвращаются не только люди, детали быта, особенности русской речи, но и краски, запахи.

На днях я снова вернулся к “Антоновским яблокам”, и опять поплыло перед глазами, как тогда, в юности. Сквозь туман проступили строки великого мастера: “Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу – верный признак богатой деревни, – и были все высокие, большие и белые как лунь...”. А по телевизору только что показывали обезлюдевшую деревню в Тверской области с одичавшими от палёной водки мужиками, которым вряд ли суждено дожить до сорока. Россия, двадцать первый век... Как тут не опечалиться?

На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа захоронено более десяти тысяч русских. Тут и военные, и государственные мужи, и деятели культуры, выброшенные во Францию волнами эмиграции. В разных местах кладбища упокоились писатели Иван Бунин, Борис Зайцев, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Гайто Газданов, Алексей Ремезов, Иван Шмелев, Тэффи, философ Николай Бердяев, балерина Матильда Кшесинская, экономист Пётр Струве, князь Феликс Юсупов и многие другие. Есть и более поздние захоронения: писатели Виктор Некрасов, Владимир Максимов, кинорежиссёр Андрей Тарковский, танцовщик Рудольф Нуреев.

Памятник на могиле писателя Бориса Константиновича Зайцева скромненький, ничем не выделяется среди других православных крестов. Знать и видеть Бориса Константиновича я, понятно, не мог, а вот голос его, записанный Юрием Павловичем Казаковым на магнитофонную пленку в Париже в шестидесятые годы, слышал.

На даче Казакова в Абрамцево было одно место, разительно не похожее на все остальные, – кабинет. Юрий Павлович приглашал туда редко, и меня всякий раз поражало: такой порядок, такая чистота царили в нём, что на ум приходило сравнение с девичьей спальней, хотя никогда я эту спальню не видел. Кабинет был просторный, светлый. У окна стоял массивный письменный стол, две стены в застеклённых, фабричной работы полках с книгами, третья же, у входной двери, свободна. На ней висели посмертная гипсовая маска Пушкина и небольшая картина, по манере напоминающая Сезанна. Солидный кабинет солидного писателя. Но как-то уж очень холодно, рационально и совсем не в натуре Казакова. И я ничуть не удивился, узнав, что Казаков работает вовсе не здесь, а в крохотной, как чулан, боковой комнатке, в которой царил невообразимый ералаш. Книжки лежали на полу, на продавленном диване, подоконнике, стены увешаны ружьями, патронташами и прочей охотничьей справой. И пахло здесь остро: ружейным маслом, едким табачным дымом, зверем.

Работал Казаков за обычным канцелярским одностумбовым столом и все свои музыкальные, наполненные запахами и шорохами рассказы отстукивал на старенькой, купленной ещё в студенческие годы пишущей машинке “Москва”. Как-то признался: “Я в этой светелке наверху намерзнуть, надумаюсь – и сюда, в “берлогу”. Замысел у меня обычно там рождается. Поверишь, пока бегу вниз, боюсь всё из головы вытрясти”.

Там-то, в этой светёлке, я и услышал исторический разговор Бориса Константиновича Зайцева с Казаковым. Старенький магнитофон шипел, шелестел, пока, наконец, издали послышался усталый, старческий голос: “Тогда-то я и познакомился с Ванечкой Буниным”... Возникла пауза. Юрий Павлович выключил магнитофон и взволнованно, чуть заикаясь, спросил у меня:

– Слышал?

Я кивнул.

– Заметил, после фразы что-то булькнуло? Это я, с-старичок, пил виски и подавился кусочком льда, когда Зайцев сказал: “В-ванечка Бунин”. Только вдумайся.

Один из наиболее ярких и оригинальных памятников на кладбище – надгробие всемирно известному танцовщику Рудольфу Нурееву: гроб, покрытый персидским ковром, искусно выполненным из мрамора и мозаики, где преобладают красный и золотой цвета. И опять прихотливая память сместила меня на пятьдесят с лишним лет назад...

В пятьдесят восьмом году Олег Виноградов пригласил меня на выпускной концерт хореографического училища: “Приходи, будет много интересного. Увидишь Нуреева. Это восходящая звезда. Я танцую в “Щелкунчике”, поболеешь”.



Выпускные концерты хореографического училища всегда вызывали повышенный интерес, и попасть на них было непросто. После окончания концерта я ждал Олега, как мы и договорились, у служебного входа. Виноградов вышел с темноглазым худощавым пареньком. Я с трудом узнал Рудольфа Нуреева. Каких-нибудь сорок минут назад Рудольф — он, помнится, танцевал сценку из балета “Спартак”, — превосходно сложенный молодой бог в коротком плаще, летал по сцене — одухотворённый сгусток энергии, немыслимое совершенство. Восторженные аплодисменты свидетельствовали, что это увидел не только я, неофит. В поношенном студенческом пиджаке, узковатых брюках Нуриев заметно проигрывал.

Мог ли я тогда предположить, что Виноградов станет балетмейстером с мировым именем, а о Нурееве столько написано, что мне не хотелось бы повторяться в своих скромных записках.

Могилу Рудольфа Нуреева наиболее посещаемая. К Бунину ходят реже. И в этом есть печальная закономерность. На Ваганьковском туристы водят к могиле актера Андрея Миронова, и мало кто знает, что неподалеку похоронен известный русский писатель Юрий Павлович Казаков. Памятник Миронову — довольно странное, языческое сооружение из гранита, напоминающее речной створный знак. Если встать к нему лицом, то в глубине створа можно увидеть деревянный православный крест на могиле Казакова. У меня это всегда вызывает грустные ассоциации.

На кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа упокоился и мятежный писатель Владимир Максимов, уже при жизни густо обросший легендами, слухами и домыслами недоброжелателей. А недоброжелателей у него было предостаточно. Тут и сплетни о его запоях, и вынужденная эмиграция, и ссора с писателем Георгием Владимовым, и прочее.

Давно уже, году в шестьдесят седьмом — шестьдесят восьмом прошлого, естественно, века, краснодарский писатель Юрий Абдашев рассказал мне, как в кубанскую писательскую организацию пришло письмо от Максимова, которое начиналось с бранных слов в адрес коллег-литераторов, бросивших его в беде. Писал якобы Владимир Емельянович из сумасшедшего дома, куда его уперли за то, что он съездил по физиономии хозяину Кубани — первому секретарю крайкома.

В своём автобиографическом романе “Прощание из ниоткуда” Максимов, насколько я помню, этот случай опустил, зато подобных эпизодов в романе предостаточно.

С Владимиром Максимовым я знаком не был, видел только раз в редакции журнала “Октябрь”, куда в самом начале семидесятых годов меня привёл писатель Валентин Петрович Ерашов, чтобы познакомить с заведующим отделом прозы. В редакционном предбаннике на стуле сидел человек с всклокоченными волосами, его глаза остро скользнули по нам и потухли. Был он какой-то мятый, несвежий, но в его позе, манере сидеть чувствовалась подчёркнутая независимость.

“Кто это?” — шёпотом спросил я у Ерашова. Валентин Петрович тоже шёпотом ответил: “Максимов”. Имя Владимира Емельяновича было тогда среди литераторов на слуху. Его рассказы “Стань за черту”, “Баллада о Савве” меня потрясли. Он был не похож ни на кого из современных писателей. Поговаривали о каком-то большом романе Максимова, который был запрещён цензурой и, по сути, явился поводом для изгнания. Роман “Семь дней творения” я прочитал лет через двадцать, и он поразил меня глубиной и толстовской мощью. . .

Я люблю Париж, люблю его рассветы, когда над набережными Сены курится туман, мне нравится улица Пигаль со знаменитым кабаре “Мулен Руж”, где, так и кажется, увидишь за соседним столиком Тулуз-Лотрека или Мопасана; меня волнуют огни Елисейских полей, мрачноватый, наполненный призраками Лувр. Люблю я и городок художников Барбизон, где некогда трудился и страдал Ван-Гог, люблю за память о великих — ныне художников там нет. Теперь это респектабельный и скучный посёлок с дорогими виллами. И всё же ближе всего моей душе небольшой городок Сен-Женевьев-де-Буа и русское кладбище на его окраине. От кладбища исходит такая духовная мощь, что исчезает серебристый, свойственный Парижу и его предместьям цвет, его заменяет сиреневое сияние сумерек Подмосковья. Поток энергии разгоняет облака, обнажая густо-синее русское небо, какое случается на Орловщине либо над матушкой Тверью в затянувшееся бабье лето.

КОНСТАНТИН ШУЛЬГИН

## ЖРЕЦЫ В ТУМАНЕ

С огромным интересом и некоторым опасением взял в руки книгу Станислава Куняева “Жрецы и жертвы холокоста”<sup>1</sup>. С интересом — потому что тема эта в России фактически под запретом, материалов по ней и прежде было мало, а если и были, то это сплошь писания самих “жрецов”. Хорошо, что им ещё не удалось ввести прямого запрета на обсуждение этой темы, как на Западе. А с опасением потому, что тема эта горячая, обжигающая и буквально взрывоопасная для любого “непосвящённого”, к ней прикасающегося.

Текст затягивает, читается легко, но вот построение книги и приведённые факты вызвали у меня вопросы. Из тех новелл, которые составляют книгу, я не увидел логической последовательности в разоблачении жрецов холокоста, хотя разрозненных фактов приведено немало. Конечно, лжецам, фальсификаторам и провокаторам всегда следует давать отпор. Но когда события не рассматриваются в хронологической последовательности, то за деяниями отдельных махинаторов не просматривается общая цепь событий. Из повествования выпали узловые события и ключевые фигуры. Правда, писательское чутьё и здесь не изменяет автору, и он честно пишет, что “в полной мере своего собственного взгляда на предмет исследований мне выработать так и не удалось, и книга... получилась весьма компилятивной”. Это и не мудрено: лучшие умы Сиона заматали следы, профессиональные фальсификаторы высшей квалификации много лет напускали туман, извращая информацию, тенденциозно освещая факты, нагромождая беспардонную ложь, искажая реальные факты и замалчивая другие, так что и профессионально занимающимся этой темой бывает трудно распутать клубки лжи и фальсификаций. Не говоря уже о прямых репрессиях против исследователей, как, например, с законами о холокосте в Европе, о постоянном давлении идеологического прессы.

Рассматривая историю сионизма, автор совершенно обоснованно начал с Теодора Герцля. Но почему-то не дал в перечне литературы его “Еврейского государства”<sup>2</sup>. Жаль, ведь книга вполне доступна в Москве, да и в интернете встречается, за исключением главы о чернорабочих, где этот “романтик” рассуждает об отношении к гоям и их эксплуатации в будущем государстве евреев. Это наивное чувство превосходства, где-то пересекающиеся с мыслями Розенберга о “недочеловеках”, звучит сегодня двусмысленно, поэтому во всех послевоенных изданиях на русском, немецком и английском языках эта глава просто исключается, а печатается только для своих — на иврите. “Романтиком” назвать Герцля можно только в его венский период. Он родился и вырос в интеллигентной и преуспевающей еврейской семье тогда, когда в Австро-Венгрии завершилась эмансипация евреев, и они обрели не просто все гражданские права, но даже многие стали возводиться в дворянское достоинство. Евреям открылись двери всех учебных заведений, клубов, в об-

щем, все круги общения. У молодого Герцля, который с головой окунулся в прекрасную и весёлую венскую жизнь, вызывало некоторое раздражение “торможение”, которое оказывали ему и другим молодым евреям раввины и руководители еврейской общины в их светской жизни. Это “торможение” и породило мысли о том, что евреям пора полностью слиться с окружающими народами в местах их проживания и не “заморачиваться” по поводу своего еврейства. Но парижский период круто изменил его взгляды.

Он попал на работу в Париж аккурат во время процесса по делу Дрейфуса, когда во Франции вовсю бушевала антисемитская истерия, когда вновь начались преследования по национальному признаку, и было непонятно, откуда этот антисемитизм взялся – после стольких лет эмансипации, и как долго это будет продолжаться и во что может вылиться. К тому же, на это событие наложились вести из Румынии и Молдавии, где тогда прокатились кровавые еврейские погромы. У потрясённого Герцля мнение изменилось на прямо противоположное; теперь он решил, что как ни пытаются евреи быть своими среди других народов, в конце концов, их везде отвергают, а при возможности и преследуют, и кончится это рано или поздно катастрофой для еврейского народа. Он писал: *“В Париже я понял всю бесплодность и обречённость попыток... “бороться” с антисемитизмом. <...> Нам могут сказать, что лучше сгладить или, вернее, стереть с лица земли границы, отделяющие нас от остальных людей, чем заботиться о том, чтобы создать ещё более резкие отличия, но я думаю, что так могут говорить только милые мечтатели, память о которых давно исчезнет с лица земли, когда идея об отечестве будет ещё в полном расцвете. Всеобщее братство есть только приятная мечта, а вражда необходима, хотя бы для высших эгоистических целей”*.

Так что, как видите, он был романтиком только до парижского периода. Вся остальную жизнь он был расчётливым и цепким политиком<sup>3</sup>. Ещё до Герцля подобные мысли в своей книге “Автоэмансипация” развил военврач, защитник Севастополя, награждённый российскими боевыми орденами, Лев Пинскер<sup>2</sup>, прилагавший немалые усилия к реализации своих идей, но он не был услышан. Как и у Герцля, идея автоэмансипации возникла у него под влиянием увиденных им погромов начала восьмидесятих годов XIX столетия в Одессе, где он в это время жил. Вообще, идея сионизма витала в воздухе с первых десятилетий XIX века, сначала в Северо-Американских Соединённых Штатах (САСШ) (Мордехай Ноах), а затем и в Европе (Кремье, Моше Гесс, Рав Калишер, Моисей Монефиоре). Было создано общество “Хибат Цион” – “Любовь к Израилу”.

Автор справедливо заметил, что сионизм возник по причине замены иудаизма на еврейский рациональный национализм. Действительно, именно тогда повсеместно на Западе прекратилась политика сегрегации, совершилась эмансипация евреев и одновременно широко распространились идеи научного атеизма. Это привело к ослаблению прессы, державшего евреев в рамках гетто, ослабла власть и влияние раввинов на еврейские массы. Встал вопрос о формах и методах дальнейшего удержания еврейских масс в подчинении и обеспечения целей еврейской верхушки. Сам Герцль заявлял о себе как о нерелигиозном человеке. “Я не следую религиозным импульсам”, – писал он. Он даже не чтит субботу, чем вызвал гнев ортодоксов, когда посетил Иерусалим и провёл в субботу собрание своих сторонников. Но именно Герцль сумел заинтересовать своими мыслями самые широкие круги еврейских верхов, включая очень осторожных, осмотрительных и недоверчивых еврейских толстосумов. В отличие от своих предшественников – просветителей и общественных деятелей, – Герцль был первым еврейским национально мыслящим профессиональным политиком. Он создал чёткие идеологические основы и реализовывал их политическими методами.

Его яростный противник – Ахад Хаам<sup>4</sup>, напротив, во главу угла деятельности сионистов ставил не политические методы, а теорию заговоров, подкупов и террора, густо сдобренную левацкой фразеологией. Он предлагал не гнущаться никакими провокациями для достижения своих целей. Задолго до появления нацизма Хаама называли “национал-коммунистом”. Причём сначала Хаам атаковал с таких же позиций и Пинскера. Тактика, применявшаяся Пинскером, представлялась ему недостаточно решительной и действенной. И Пинскер, и Герцль выступали, несомненно, с позиций просвещённого гуманизма, предлагали действовать исключительно политическими методами.

“Раб нетерпимости”, как называл его Герцль, Хаам внушал своим сторонникам чувство бунтарства, страстную враждебность к “гоям”. Нынешние лидеры сионистов, как и их предшественники, создавшие Израиль, на каждом шагу клянутся в верности идеям Герцля, его портреты неизменно украшают стены их кабинетов и конференц-залов. А вот облик человека в пенсне, с бородкой клинышком, чем-то напоминающего Троцкого, но с большими залысинами, далеко не все израильтяне узнают, хотя и живут, фактически, по его законам. От Герцля же на практике осталась одна оболочка, а всё содержание – от Хаама, который в спорах с Пинскером и Герцлем утверждал, что политическими методами никогда не удастся добиться создания собственного государства и надо действовать агрессивно, не стесняя себя никакими этическими нормами. Он придавал большое значение и религиозному фактору в сионистском движении, возможно, потому, что происходил из семьи хасидов. Пинскер, а затем и Герцль ожесточённо спорили с ним. Пинскер вообще изгнал его из своей организации. До внезапной и загадочной смерти сорокачетырёхлетнего Герцля в 1904 году все идеи Хаама в сионизме напрочь отвергались. Но очередной сионистский конгресс 1911 года стал триумфальным для него, и с тех пор фактически всё движение сионизма существует под знамёнами и по идеям Ахад Хаама.

Но именно Герцль раскочерил еврейское обывательское болото, сумел убедить и зажечь своим энтузиазмом широкие еврейские массы, внедрив в них свои идеи сионизма. Ему удалось созвать первый сионистский конгресс в Базеле, преодолев при этом громадное сопротивление не только внешних недоброжелателей, но и еврейской общественности. И дальше он развил бурную деятельность, прямо дойдя до германского кайзера Вильгельма II, а потом и до турецкого султана Мурада V. Добрался Герцль и до России. Через польских националистов он вышел на всесильного в те годы министра внутренних дел Плеве. Между Герцлем и Плеве была достигнута договорённость, согласно которой Российская империя будет максимально содействовать выезду евреев в Палестину, а сионистские организации в России в ответ будут всячески препятствовать участию евреев в революционном движении. Вскоре после этого из России хлынул поток еврейской эмиграции. Ну, а с турками в прежние времена у евреев отношения складывались весьма удачно, и если не так блестяще, как в странах арабского Средневековья, то всё же намного лучше, чем во многих европейских странах. В первые века существования Высокой Порты евреев специально приглашали в города стран, завоеванных османами, взамен вырезанных местных обывателей. Так, греческие Салоники несколько веков оставались преимущественно еврейскими. Многие городки на территориях современных Румынии и Болгарии завоеватели сплошь заселили евреями. Уже в своём “Государстве...” Герцль отдавал предпочтение Палестине, входившей тогда в состав Османской империи, повторяя, что это для евреев Эрец-Исраэль. Сначала турки на активность сионистов смотрели снисходительно, так как те обещали развитие одной из самых отсталых территорий Порты и сулили серьёзные инвестиции. Но когда дело дошло до принципиального разговора между Т. Герцлем и султаном Мурадом V, и Теодор предложил монарху выкупить весь, по тогдашним меркам, огромный долг Османской империи взамен на передачу евреям Палестины для создания еврейского государства, образно предложив “вытащить колючку из лапы льва”, старый правитель ответил, что пока жив он и пока стоит Османская империя, он не позволит отрывать от живой страны куски. Заметьте, уже на первом этапе существования сионизма Т. Герцль, этот “романтик-теоретик”, распорядился средствами в объёме государственного долга одной из крупнейших на тот момент стран мира! Какие дальше в этом проекте были задействованы ресурсы, судите сами. После того разговора отношение в Турции к евреям изменилось к худшему, так как турки поняли истинные намерения переселенцев. После прихода к власти младотурок переселение евреев в Палестину вообще запретили.

После отказа Турции новые дискуссии о выборе места под еврейское государство завершилось выводом Жаботинского, что хоть в Африке, хоть в Латинской Америке сопротивление поселенцам раньше или позже будет везде одинаковым, поэтому надо искать и дальше пути овладения именно Палестиной.

В поисках нового союзника взоры сионистов обратились к Великобритании. После ввода в эксплуатацию Суэцкого канала Англия заняла командную

позицию в регионе, как тогда говорили, “к востоку от Суэца”. Османский Ближний Восток был клином между Суэцем и Британской Индией, к тому же в районе нынешнего Ирака нашли огромные залежи нефти, так нужные индустриальной Англии. Для проникновения в нефтеносный район англичане захватили древнюю “крепостицу”, по-арабски “Кувейт”, посадили там королём вождя кочевавшего поблизости племени и сами признали его суверенитет. Но этого им было мало. Когда стало понятно, что войны Англии с Турцией не избегать, сионисты немедленно всеми силами стали поддерживать Англию. Передавали агентурные сведения от проживавших в Порте евреев, проводили антитурецкую агитацию среди народов Османской империи, совершали акты гражданского неповиновения турецким властям и, в конце концов, создали отдельные еврейские подразделения в английской армии (“ослиный батальон” у Жаботинского)<sup>5</sup>. А вскоре начали и подпольное сопротивление.

Сионисты приговорили Османскую империю к смерти и расчленению и делали всё, чтобы страны Антанты начали войну против Турции. В ответ турки стали серьёзно преследовать евреев. Так закончился “турецкий”, самый спокойный и наименее кровавый период сионистской драмы и завершилась многовековая дружба евреев с турками.

В это же время в сионистском движении произошла смена поколений. В Турции уже активно действовали основные лица будущей еврейской драмы, тогда совсем молодые Давид Грин (будущий “Молодой лев”, на иврите – Бен-Гурион), Владимир (Зеев) Жаботинский, Хаим Вейцман, Виталий (Хаим) Арлозоров, Лев (Лэви) Школьник и их горячие сторонники. Тогда ещё они были все вместе и заодно, дружно поддерживали англичан в их борьбе против турок. При этом сионисты в ответ на поддержку добивались от англичан конкретных обязательств по созданию еврейского государства на территории Палестины, обещая взамен обеспечение всех начинаний Англии в регионе, суля инвестиции или просто подкупая. В общем, были применены все средства, чтобы добиться расположения Великобритании. И цель была достигнута: 2 ноября 1917 года министр иностранных дел лорд Бальфур направил председателю Сионистской федерации Великобритании лорду Ротшильду письмо, известное в истории как Декларация Бальфура, в которой он именем короля поддержал идею создания национального очага евреев в Палестине и дал соответствующие обязательства по реализации этого проекта.

Вскоре закончилась Первая мировая война, в которой Антанта разгромила “Тройственный союз” (Германия, Австро-Венгрия и Османская империя), и победители приступили к разделу добычи – перекройке карты мира. Среди прочего Англии усилиями сионистов всех стран достался мандат на Палестину. Важным для сионистов был тот факт, что лидер арабского мира, прямой потомок Пророка, принц Фейсал на Парижской конференции 1919 года подписал с Вейцманом соглашение о взаимном признании права евреев на национальный очаг в Палестине в полном соответствии с Декларацией Бальфура<sup>6</sup>. Дело в том, что арабские территории Передней Азии, входившие в состав Османской империи, после Первой мировой войны не имели собственной государственности. Арабы и евреи на равных боролись против османов, евреи даже создали национальные воинские подразделения в составе английских войск, поэтому обе стороны имели равные права претендовать на кусок пирога победителей. При этом арабов, которых представлял принц Фейсал, интересовали, в первую очередь, права на Сирию, Левант, Аравию (тогда ещё не Саудовскую), Месопотамию (Ирак) и Трансиорданию. Палестину же арабы считали бесплодной, малонаселённой и бесполезной пустыней на Богом забытой окраине арабского мира, в которой к тому же все командные и хозяйственные высоты занимали христиане, они же были и основными землевладельцами. А интересы христиан арабы не спешили отстаивать. Но за это соглашение арабы выторговывали себе выгодные договорённости с Антантой. Как бы там ни было, но документ был подписан сторонами и оформлен должным образом как международное соглашение. Как и в Декларации Бальфура, сионисты заручились письменным обязательством арабов. Никто этот документ с тех пор не денонсировал и не оспаривал, следовательно, он имеет неоспоримую международно-правовую силу. Получая права на Сирию, Аравию, Месопотамию и Трансиорданию, арабы с лёгкостью признали права евреев на Палестину. И только обретя свою государственность, стали отказываться от принятых обязательств по Декларации Бальфура. Поэтому постановка вопроса о непра-

вомочности существования Израиля влечёт за собой вопрос о незаконности существования Сирии, Иордании, Ирака и Саудовской Аравии, так как эти страны создавались в одной связке.

Как было обещано Бальфуrom, первым главой британской администрации в Палестине был назначен ярый сионист сэр Герберт Сэмюэль. В те дни Ллойд Джордж, обращаясь к Хаиму Вейцману, произнёс следующее: “Вам нельзя терять времени. Сегодня весь мир, как Балтийское море накануне замерзания. Пока ещё оно в движении, но как только замерзнет, вам придётся биться головой об лёд в ожидании второй оттепели”<sup>7</sup>. По прибытии в Иерусалим Сэмюэль, не заезжая в свою резиденцию, проследовал в главную синагогу, где объявил, что прибыл “упорядочить иммиграцию евреев” и строить еврейское государство.

\* \* \*

Все двери в Палестину для еврейских переселенцев были открыты. Для поддержания алии банкирами был создан фонд “Керен а-йесод”, аккумулировавший громадные средства, была приобретена земля для расселения репатриантов, закуплено оборудование, выдавались переселенцам серьёзные подьёмные. Но здесь сионистов ждало жестокое разочарование: евреи не желали ехать в пустынную прародину, бросать свои дела, насиженные места, просто привычный образ жизни. Идея “возврата на прародину” потерпела полный крах. Остаточный антисемитизм был не так страшен, как переселение в пустыню, в полную неизвестность. Неимоверные усилия сионистов по привлечению евреев в “третью алию” привели к тому, что из многих живших тогда миллионов евреев в Палестину переехало, по разным сведениям, от 60 (по некоторым данным – от 40) до 90 тысяч человек, при этом часть из них вскоре вернулась в старые места проживания. И это было всё – никакими коврижками, предупреждениями о “погромах”, угрозами, угрозами, увещеваниями и обещаниями заманить туда больше людей не удалось. При таком мизерном притоке репатриантов говорить всерьёз о создании нового государства не приходилось. Широковещательно разрекламированная *третья алия* с треском провалилась. Решительный отказ миллионных еврейских масс, несмотря на увещевания сионистских зазывал, следовать в пустыню Неgev на вечное поселение поставил идею создания государства Израиль на грань провала. Стало понятно, что смысла в дальнейшем существовании сионизма как общественного и политического движения нет.

Пришлось им энергично искать другие варианты создания Эрец-Исраэль... Тогда и прозвучал призыв Бен-Гуриона создавать отряды из молодых людей, внешне не похожих на евреев, которые будут терроризировать еврейское население и тем самым побуждать его уезжать в Палестину. А Вейцман произнёс зловещие слова, ставшие в дальнейшем приговором шести миллионам его соплеменникам, о том, что для того, чтобы обеспечить переселение двух миллионов евреев в Палестину, надо уничтожить шесть миллионов нежелающих – “увядших ветвей Сиона”<sup>8</sup>. То есть уже тогда во имя своих бредовых политических целей сионисты были готовы к насилию над еврейским народом. Но это были только рассуждения и слова, а нужно было найти способ их реализации. И тут появилась кучка германских нацистов, оравших о своей ненависти к евреям и высказывавших потоки угроз и оскорблений в их адрес. Это было то, что надо, и не пришлось создавать отряды молодых сионистов, чтобы терроризировать своих соплеменников. Тупые киллеры, как всегда, нашлись. Еврейские банкиры начали прямое финансирование гитлеровцев, и из крохотной секты националистов стал стремительно вырастать монстр фашизма. Так, бывший канцлер Германии Брюнинг утверждал, что из “анонимных источников” в Чехии, Швеции и Швейцарии финансирование Гитлера велось уже с 1923 года. Биограф Гитлера Фест пишет, что с 1923 года Гитлер “привозил деньги чемоданами”<sup>9</sup>. Его первыми спонсорами были сионистские банкиры Фриц Мандель и Рейнгольд Геснер. А вскоре к ним присоединился и Макс Варбург. Ну, а дальнейший список спонсоров состоит, как сейчас бы сказали, из “богатейших еврейских фамилий из списка Форбса”.

Одновременно стремительно ухудшались отношения сионистов с английскими властями Палестины. Переселенцы начали серьёзно ущемлять права и

интересы местного арабского населения, хотя до обретения евреями гражданских прав и назначения губернатором Палестины еврея их отношения были прекрасными, палестинцы, чем могли, помогали переселенцам, о чём пишет в своих мемуарах Жаботинский и на что указывают арабские источники. В первый период мандата даже был заключён “династический брак” между детьми еврейского губернатора и старейшины арабов Иерусалима. Но очень быстро палестинцы почувствовали тяжёлую руку сионизма и возмутились: начались арабо-еврейские столкновения и, наконец, полномасштабные арабские восстания, которые фактически были направлены против британского мандата. Англичан такой поворот событий никак не устраивал; подавив арабские мятежи, они обратили удар на их первопричину: нарушения законов еврейской администрацией и переселенцами-евреями. Сионисты начали сопротивляться колониальной администрации, дошло до столкновений, многие сионистские активисты были судимы и получили тюремные сроки. Губернатора-еврея поменяли на англосакса лорда Плумера, административные должности тоже стали занимать исключительно англичане. Администрация стала строго следить за исполнением переселенцами законов и предписаний, а новые переселения теперь уже англичанами были запрещены (“Белые книги” 1922, 1930 и 1939 годов последовательно урезали права переселенцев). К середине тридцатых годов прошлого века отношения сионистов и англичан из скверных превратились во враждебные. Тогда и был создан Моссад — первоначально для организации незаконного проникновения евреев в Палестину. Так сионисты, используя британский мандат, обретая первые опорные пункты в Палестине, “отблагодарили” своих благодетелей.

\* \* \*

Зато отношения с Германией, где к власти пришли национал-социалисты, обрели особый партнёрский характер. И, освещая этот период, начать следует с человека, который сыграл ключевую роль в проекте “Холокост”. Это Виталий Векор (Хаим Арлозоров<sup>10</sup>, выходец из России. В сегодняшнем Израиле его именем назван город, во всех поселениях есть или улица его имени, или площадь, или школа, или культурный центр. Кто он такой и чем заслужил такую память? Доктор экономических наук, писатель, политик, глава Политического управления Всемирного Еврейского агентства, близкий друг и соратник Вейцмана, второй человек в мировом сионизме. Его ещё называли министром иностранных дел несуществующего еврейского государства. Достоинств немало, но не этим прославился Арлозоров, а тем, что подготовил договор с гитлеровцами о тесном сотрудничестве в “окончательном решении еврейского вопроса”, говоря прямо, договор о реализации плана “Холокост”. Арлозоров был заказчиком холокоста, а нацисты — исполнителями. Договор письменный, известный как “соглашение Гаавара”: *Haavarah-Abkommen* — от ивритского слова *haavarah* — “перенос” — или “Соглашение о трансфере”. Он был подписан в Берлине в августе 1933 года, уже после убийства в Тель-Авиве в июне 1933 года самого Арлозорова. (В трактовке Академической вики-энциклопедии по еврейским и израильским темам “соглашение Гаавара” было соглашением с гитлеровским режимом о возможности продажи имущества уезжавших из Германии в Палестину евреев с тем, чтобы на эти средства приобретались в Германии товары для нужд еврейской общины в Палестине. Соглашение активно способствовало выезду евреев из Германии в Палестину. — Прим. ред.).

Этот акт предательства интересов еврейского населения Германии и Европы был с возмущением воспринят противниками сотрудничества сионистов с немецкими нацистами. Разумеется, первейшими критиками “соглашения Гаавара” были “ревизионисты”<sup>11</sup>. Это течение в сионизме возникло к середине двадцатых годов прошлого века, когда потерпел крах план Герцля по созданию еврейского государства. Тогда Жаботинский высказал неожиданную для соратников мысль, что раз прежний план провалился, то нужно серьёзно пересмотреть — “ревизовать” — всю политическую программу сионизма и перейти от экстремистских методов по рецептам Ахад Хаама к открытой политике диалога с ведущими державами мира, а главное — с арабскими соседями. Он настаивал: “Если президентом еврейского государства будет еврей, пре-

мьером должен стать араб, и – наоборот: при президенте-арабе премьер-министром должен быть еврей”. Далее он предложил не принуждать евреев депортироваться в Палестину, а разработать долгосрочную программу работы с еврейским населением, широкой агитации, изучения их реальных интересов в местах проживания и замещения аналогичными интересами в Палестине. В общем, он предлагал длительный и сложный план *новой алии*. Тогда, в двадцатых, подавляющее большинство сионистов с негодованием отвергло это предложение, а самого Жаботинского с его немногочисленными сторонниками изгнали из всех руководящих органов международного сионизма. С тех пор противники стали называть Жаботинского и его сторонников “ревизионистами”. Но не таков был опытный боец, чтобы сдаваться без боя. Он развернул отчаянную борьбу против Вейцмана, Арлозорова и Бен-Гуриона, разоблачая их двурушничество, и начал уверенно набирать популярность и сторонников. К середине тридцатых годов количество сторонников Вейцмана и Жаботинского почти сравнялось. Борьба обострялась, а тут ещё готовящееся открытое подписание “Гаавары”... В день возвращения в Тель-Авив Арлозоров сидел в ресторане, а потом решил немного прогуляться с женой по набережной. В этот уже поздний час к ним подбежали двое неизвестных и выстрелом в упор убили Арлозорова. Среди подозреваемых, которых на опознание представили жене Арлозорова, она без колебаний опознала двоих убийц. Ими оказались сторонники Жаботинского. Борьба приняла форму открытой войны. Жаботинский со свойственным ему сарказмом и злостью разоблачал сотрудничество левых сионистов с Гитлером, говорил об оси “Гитлер–Сталин–Бен-Гурион”. Вейцман, в свою очередь, называл его “Владимир Гитлер”. Дела в Германии подходили к самой кровавой стадии реализации плана “Холокост”, и было ясно, что Жаботинский не позволит Вейцману, Бен-Гуриону, Эшколю и компании безнаказанно уничтожать евреев; убийство Арлозорова воочию показывало, какая судьба их ждёт. Но в 1940 году Жаботинский сам внезапно скончался. После его кончины “ревизионистское” движение как-то быстро и тихо сошло на нет. После создания государства Израиль прах Жаботинского был торжественно перевезён и захоронен там. Издаются и его сочинения, кроме работ периода “ревизионизма”.

\* \* \*

В 1933 году начался самый гнусный период деятельности мирового сионизма – реализация плана “Холокост”. Свидетельств сотрудничества сионистов с гитлеровцами на всех уровнях множество, но они подаются только как мерзость отдельных отморожков, при этом и мысли не допускается о едином скоординированном и последовательном плане. Немало примеров тому привёл автор в своей книге. Совокупность фактов и свидетельств и сохранившиеся документы неопровержимо доказывают, что верхушка левых сионистов разработала и осуществила план “Гаавар-Холокост”. Сионисты гнали своих соплеменников – “сухие ветви Сиона” – руками гитлеровцев на смерть. План “Гаавар-Холокост” продолжал безукоризненно работать даже тогда, когда доживавшим последние дни гитлеровцам было не до евреев. В своём последнем интервью в апреле 1945 года Гитлер сказал: “В этот трагический для Германии час я не могу думать о евреях”.

В 30-е годы на исторической сцене появился ещё один персонаж. Это – Лев Школьник, который после Арлозорова весь период до 1945 года провёл в Берлине, периодически выезжая на консультации и координацию действий с Вейцманом и Бен-Гурионом. Имя это мало что говорит нашим современникам. Но после создания государства Израиль он, естественно, оказался там и принял израильское имя Леви Эшколь<sup>12</sup>. Это он после ухода из большой политики создателя Израйля Бен-Гуриона занял его место премьер-министра. В годы гитлеровского правления именно Эшколь, сидя в гитлеровском Берлине, организовал “вертикаль власти” сионистов в фашистской Германии, руководя “Палестинским офисом” Всемирной сионистской организации (Сохнут), созданным во исполнение “соглашения Гаавар”, давал указания Кетлеру и подобным “земельным гауляйтерам” на сионистский лад, кого отправлять в Освенцим и Трелинку, а кого по фальшивым паспортам Красного Креста – шутцпассам – переправлять за границу, сколько платить за ту или иную услугу



гитлеровцам, разъезжал по стране и создавал на территории фашистской Германии лагеря подготовки сионистских боевиков, формировал команды, отправлявшиеся в Палестину для борьбы с англичанами. Более того, поставки газового оборудования и удушливых газов в Освенцим и другие лагеря смерти осуществлял владелец *I. G. Farbenindustrie* сионист Макс Варбург. Об этом говорилось даже на Нюрнбергском процессе, но тогда этот вопрос почему-то не получил своего естественного продолжения.

\* \* \*

А теперь об одном из самых сокровенных секретов сионистов: о механизме финансирования и снабжения гитлеровского режима. Обозначив одну из своих глав “От Розенберга до Валленберга”, Станислав Куняев как бы авансировал освещение роли в холокосте Рауля Валленберга, но ограничился лишь замечанием, что эта фигура ему непонятна. Давайте осветим её. Но начнём не с 1945 года, а со времени, когда Раулю было всего пять лет, и на планете бушевала другая – Первая мировая война. После провального для русской армии летнего наступления 1917 года отважный офицер, но плохой стратег, генерал Лавр Корнилов обвинил в провале этой операции казнокрадов и коррупционеров из Временного правительства и повернул дивизию на Петроград, чтобы смести их. Перепугавшийся Керенский и компания наделали много ошибок, но были среди них поистине исторические глупости. Одна из этих глупостей – финансовая. “Временные” испугались, что, захватив Питер, Корнилов овладеет золотовалютным запасом (ЗВЗ) России, и решили его спрятать. А казна у Российской империи была отменная; под неё, не задумываясь, давали огромные займы царю и Франция, и Англия, и САСШ, золотой рубль котировался выше доллара. В советские и постсоветские времена множество историков и писателей, как выразился автор, с “древнерусскими фамилиями” посвятили поискам этого самого золотого запаса множество исследований, художественных книг и кинофильмов. Куда только его не забрасывали: и к Колчаку в Сибирь, где якобы казну утопили в каком-то озере (драйверы “протралили” десятки озёр), и в Китай, и даже в Японию. А ещё был фильм, как матросы-анархисты отбили вагоны с золотом у белочехов и, голодные, доставили его в Москву. И ещё много фильмов. Всё это преувеличения. Действительно, некоторые запасы находились в резерве в Москве, крохи – в Нижнем Новгороде и в Казани, их и искали, за этой мелочью и гонялись реальные, а по большей части вымышленные герои. Действительно, 180 тонн золота похитил лидер белочехов Массарик. Но основная казна хранилась в питерском казначействе. Вот её-то и надумал “спасать” Керенский с коллегами. Но направлять золотой запас вглубь бурлящей России было безумием. И “временные” поступили так же, как нынешние олигархи: переправили ЗВЗ Российской империи на Запад, в страну нейтральную, к надёжным – своим! – людям. Так ЗВЗ оказался в валленберговском “Энскильден-банкен” в Стокгольме<sup>13</sup>.

Вокруг фамилии Валленбергов издавна ходило много всяких слухов и тёмных историй, но не будем углубляться в прежние дела. В начале XX века они активно поддерживали революционеров и аферистов всех мастей, в том числе снабжали их разными запрещёнными предметами, тайно хранили деньги революционеров, переводили их в нужные страны, не забывая получать свои проценты. Знакомы они были и с большинством российских революционеров, и, разумеется, с лидерами сионистов. Таким образом, в конце лета 1917 года огромные золотовалютные запасы России оказались в подвалах валленберговских банков. Правительство большевиков прекрасно знало, куда исчезли русские сокровища, но заполучить их не могло: Валленберги, не отрицая, что ЗВЗ России хранится у них, выдвигали всякие вздорные условия возвращения их законному владельцу. Наконец, с помощью доброй знакомой Валленбергов – Александры Коллонтай – была достигнута нелепая договорённость, что Советская Россия закажет у Швеции сначала тысячу, а в конце переговоров – уже лишь сто паровозов, а оплатят их Валленберги из части ЗВЗ России по совершенно неадекватной цене. Следует заметить, что прежде Швеция практически паровозов не производила и просто развила на русские деньги свою промышленность. А справедливость этого “обмена” не

больше, чем обмен советского богатства на ваучеры Чубайса. Но отношения Валленберги – Москва были установлены и имели многолетнее продолжение. Во главе банкирского дома в те годы стоял Маркус Валленберг, приятель Коллонтай. Его называли “некоронованным королём Швеции”, “хозяйном страны” и прочими подобострастными эпитетами, в которых была немалая доля правды. С приходом Гитлера к власти и подписанием “соглашения Гаавар” потребовался посредник, который мог бы принимать конфискуемые у евреев материальные ценности и реализовывать их на мировых рынках. Этим посредником стали Валленберги<sup>14</sup>. Так как уже в те годы началась блокада немецких товаров (под влиянием “ревизионистов” была проведена антигитлеровская Конференция в Эвиане), то их нелегальную реализацию также принял на себя дом Валленбергов. Для действенного контакта с гитлеровским руководством, практически на постоянной основе, в Берлине резидентом вплоть до 1945 года был брат Маркуса и дядя Рауля – Яков (Якуб) Валленберг<sup>15</sup>. Вероятно, он был знаком с Гитлером ещё с 1923 года, когда тот “из анонимных источников в Швеции” получал свои первые транши, так как ни один серьёзный “серый” платёж в стране не проходил мимо банков Валленбергов. Недаром Гитлер наградил Якова орденом Орла “за особые заслуги”! Особенно усилилась роль Валленбергов с началом войны и плотной экономической блокады Германии. Через Швецию широким потоком шли все необходимые немцам товары в обмен на “спасаемых” евреев. Все расчёты велись через Валленбергов. Их банковским контрагентом был кёльнский банкир и близкий родственник Валленбергов – Вальдемар фон Оппенгеймер. Несмотря на еврейские корни, он ещё до прихода Гитлера к власти вступил в НСДФБ – нацистскую партийную организацию германских финансистов<sup>16</sup>. Через Валленбергов Оппенгеймер реализовывал ценные бумаги, изъятые у евреев, на сотни миллионов рейхсмарок, провёл немало сделок по поставке фашистам различного оборудования. Заметной их совместной операцией была поставка гитлеровцам 45 “рыболовных траулеров”, которые по прибытии в Германию оказались новейшими торпедными катерами, предназначавшимися для охоты на морские конвои и резко увеличившие ударную мощь фашистских пиратов, топивших суда союзников. Немало американских и английских кораблей и морских конвоев было потоплено этими “траулерами”. Использовал Оппенгеймер и швейцарское направление, куда тоже сбывал изъятые у евреев активы и драгоценности, в том числе пресловутые серьги, колые и слитки золота, перелитые из зубных коронок жертв холокоста. После войны сионисты предъявили претензии швейцарским банкам за их сотрудничество с нацистами и получили изрядные “добровольные” контрибуции из Швейцарии. Операций “человеческие головы в обмен на товары” было проделано огромное количество. Но некоторые из них были особенно выдающимися. Например, производство тяжёлой воды для фашистской атомной бомбы. Вода производилась в Швеции, а затем её пытались отправить в большом количестве в Германию. Танкер с ней, шедший из Норвегии, был целенаправленно потоплен английскими диверсантами по наводке английской разведки. После уничтожения союзной авиацией немецких лабораторий и заводов по производству ракет были отмечены их испытания и доводка на территории Швеции. В последний год своего существования гитлеровский режим, обложенный со всех сторон союзниками, словно зверь в логове, мог продолжать сопротивляться во многом лишь благодаря поставкам Валленбергов<sup>17</sup>.

Справедливости ради надо заметить, что и Советскому Союзу перепало кое-что в эти годы от Валленбергов. Так, когда в стране наметился дефицит спецсплавов для авиации и танкостроения и “летающие танки” ИЛ-2 стали выпускать без брони, Валленберги быстренько наладили соответствующие поставки<sup>18</sup>. Ведущую, если не решающую роль сыграла пара Маркус-Коллонтай в выведении в 1944 году Финляндии из гитлеровской коалиции и создании на многие десятилетия “линии Паасикиви-Кекконен”, обеспечившей нейтрально-дружественное сосуществование с СССР. Эта же пара активно готовила мирный договор с Финляндией 1940 года. А ещё они сделали первые шаги по сближению Германии с СССР в 1939 году, приведшие к подписанию “пакта Молотов-Риббентроп”. Но одновременно с поставками спецсплавов в СССР Валленберги поставляли Гитлеру шарикоподшипники (немецкие заводы разбомбили союзники), без которых гитлеровская военная машина остановилась бы уже через несколько месяцев. Громадными партиями из Швеции в Германию поставлялась и металлическая руда<sup>19</sup>.

В этой семейной схеме молодому Раулю Валленбергу отводилась серьёзная роль оформителя документов и отправителя за границу оплаченных сионистами голов нужных евреев, а также отслеживание платежей, производимых за них в Венгрии (эту же работу в Германии и Австрии выполнял его дядя Яков, который депортировал не тысячи, как, утверждают, отправлял Рауль, а сотни тысяч евреев<sup>20</sup>). “Гуманист” Рауль Валленберг был банальным торговцем “еврейскими головами” — он “спасал” только тех, за кого заплатили, а миллионы жертв холокоста его совершенно не интересовали<sup>21</sup>. Как не интересовала Валленбергов и судьба датских евреев, которых с риском для жизни переправляли в Швецию датские антифашисты, а погранслужба при поимке выдавала их обратно гестаповцам. Рауль, живший в те годы в Стокгольме, и пальцем не шевельнул для их спасения. А в Венгрии его гешефту весьмагодились знания банковского дела, полученные во время обучения в Хайфе. Так как в обмен на евреев он поставлял гитлеровской Германии средства и материалы для ведения войны, то, несомненно, подлежал суду как военный преступник.

Дипломатом он не был никогда и не имел никакого дипломатического статуса: до осени 1944 года действовал под прикрытием Красного Креста Швеции, а в середине 1944 года в связи с приближением линии фронта просто купил, как и дядя Яков, дипломатический паспорт для подстраховки — на случай прихода союзников. При этом, естественно, никакой дипломатической работой он не занимался, а продолжал творить свои дела, снабжая гитлеровцев, чем нарушал свой дипломатический статус и действовал как враг в отношении союзников. Одна из его поставок наделала много шума, вошла в историю и повлияла на многие послевоенные события. Станислав Куняев упомянул о “какой-то колонне грузовиков, поставленной сионистами”. Право, интересно узнать, откуда автор услышал отголосок этой самой громкой и скандальной поставки Второй мировой войны? Дело в том, что после убийства братьев Кеннеди само словосочетание “автобусное дело” попало под запрет ещё больший, чем счёт убитых при холокосте евреев. А вот в послевоенные лет десять в Англии и США эта тема была горячей.

Но сделаем ещё одно небольшое историческое отступление. Первая мировая война, вошедшая в историю как позиционно-“окопная”, на первом этапе была очень манёвренной. Осенью 1914-го пехотные дивизии Мольтке-младшего, прорвав французскую оборону, ускоренным маршем двинулись на беззащитный Париж. Руководство Франции и генералитет были в панике и опасались повторения 1870 года, когда Мольтке-старший окружил и взял в плен Наполеона III со всей его армией. Считая, что судьба Парижа предрешена, руководство Третьей республики позорно бежало, а военным губернатором столицы назначили престарелого отставного (!) генерала Галлиени, которому приказали стоять в Париже насмерть, но из него “не высываться”. Старый вояка нарушил трусливый приказ и своим волевым решением мобилизовал все имевшиеся в Париже такси, грузовики (автобусов тогда ещё не было) и прочий частный автотранспорт, собрал на них рассыпанных жидкой цепочкой защитников фронта и перебросил во фланг наступающим немцам (транспорта было недостаточно, солдаты гроздьями висели на машинах, но перевезли всех). Неожиданный удар во фланг опрокинул не ожидавших такого немцев, и они откатились от Парижа. Это событие назвали “чудом на Марне”, благодарные соотечественники присвоили Галлиени посмертно (?!) звание маршала Франции. Битва на Марне вошла в учебники стратегии как образец мобильного манёвра. А генштабы всех стран стали учиться транспортные средства для создания “мобильного ресурса” (со времён СССР при регистрации, независимо от ведомственной принадлежности, все такси, автобусы и грузовики любых предприятий ставили на военный учёт в местах приписки). В военный лексикон вошли шахматные термины “выиграть темп”, “потерять темп”. Делом чести любой разведки стало досконально точно выяснить наличие мобильного ресурса вероятного противника. Естественно, все стороны внимательно следили за мобильными ресурсами друг друга и всячески истребляли их.

После открытия Второго фронта англо-американские войска неспешно разворачивались в направлении Германии, в результате чего образовался так называемый Арденнский выступ. Гитлер же объявил тотальную мобилизацию, призывая шестнадцатилетних и шестидесятилетних, а также нестроевых, сокращая штабных, в общем, надёргал более двухсот тысяч штыков, но для его

переброски требовался ещё и мобильный ресурс. В Арденнах у Гитлера он был провальным. После того как Румыния предала его и перебежала к союзникам, немцы лишились единственных доступных нефтяных полей и добывали синтетическую нефть из бурых углей, которых едва хватало для Восточного фронта. Но и это не всё: у немцев не было свободного подвижного состава, не на чем было перевозить войска, собранные в различных частях Германии. Танки тоже стояли без топлива. Мобильный ресурс отсутствовал напрочь. Это состояние твёрдо фиксировала разведка союзников, и поэтому они не опасались внезапного наступления немцев. И вдруг в декабре 1944 года на американский фланг фронта обрушились танковые дивизии, ведомые танковой дивизией СС “Мёртвая голова”, за ними в прорыв пошла невесть откуда взявшаяся пехота. У обескровленной Германии появились мобильные ресурсы! Положение Западного фронта мгновенно стало катастрофичным для союзников. Черчилль слал Сталину одну за другой панические телеграммы, умоляя начать наступление на Восточном фронте. Положение действительно было ужасным, так как если бы немцы прорвались к Амстердаму, то мог повториться Дюнкерк 1940 года, когда подобным прорывом Гитлер опрокинул англичан в море, захватив всё их вооружение и тыловое имущество, а французы капитулировали. Американские войска, на которые теперь было направлено наступление, несли тяжёлые потери, особенно учитывая то обстоятельство, что под удар попали только что прибывшие и совершенно не обстрелянные части. Генерал Эйзенхауэр огромным усилием выровнял фронт, развернув части на 90 градусов, а некоторые и на сто восемьдесят. Проявив волю и решительность, он удержал немцев. Вскоре началось очередное советское наступление, а с прибытием фельдмаршала Монтгомери зашевелились и англичане. Немцы были отброшены на исходные рубежи.

За эту операцию совершенно заслуженно Сталин наградил Эйзенхауэра высшим полководческим бриллиантовым орденом “Победы”. Но какой ценой далась эта победа американцам! Во всех прежних сражениях, в которых участвовали американцы, они не несли таких потерь: убитыми – свыше семидесяти семи тысяч и сотни тысяч раненых и выбывших из строя. Даже в катастрофичном Пёрл-Харборе американцы потеряли сорок тысяч погибшими! Начались поиски причин неудачи. Надо заметить, что в те годы у американцев практически не было внешней разведки. Бюро Даллеса в Швейцарии, которое некоторые называют предшественником ЦРУ, не обладало ни опытом, ни агентурной сетью, ни методиками ведения военной разведки. В те годы американцы, как неопытные щенки, только наблюдали, как боевые псы разведки англичан и русских сцепились с фашистским зверем в смертельной схватке. Источником сведений для американцев преимущественно были англичане с их пятивековым опытом ведения разведки. И только после войны за очень большие деньги американцы создали то, что сегодня называют ЦРУ.

У англичан все источники подтверждали, что немцы в Арденнах не имели мобильного ресурса. Об этом говорили агентурные данные МИ-6 и военной разведки, показания пленных, авиаразведка. Но вскоре после Арденн англичане установили, что колонны заправленных топливом автобусов, а также грузовики с бочками горюче-смазочных материалов были поставлены из Швеции Валленбергами<sup>22</sup>. Участвовала в этой поставке и шпионская сеть МАКС, созданная абвером под личным контролем Канариса исключительно из еврейских кадров с сионистскими убеждениями. МАКС раскинул свои щупальца по всему миру, проникнув в святая святых союзников, в том числе в английский Форин оффис и окружение Черчилля, на Капитолийский холм в США и в администрацию президента. Вред, который причинил МАКС делу антигитлеровской коалиции, превышает, пожалуй, даже деяния клана Валленбергов. После ареста Канариса вся структура МАКСа вместе с создателем и руководителем организации Ричардом Каудером перешла под крыло Бен-Гуриона и причинила много вреда нашей стране уже в послевоенный период<sup>23</sup>.

А для американцев потеря любого солдата – трагедия, требующая найти и наказать виновных, а тут самые большие в истории потери! А виновниками вроде бы являются сионисты. Сведения об этом просочились в прессу, так и возникло в общественном сознании “автобусное дело”, которое более десяти лет будоражило всю Америку, было предметом обсуждений и горячих споров. Но Америка – страна закона и юристов: там никто, кроме суда, не может признать чью-то вину, обвинение – ещё не доказательство. Кто только не брался

за распутывание этого дела: разведка, военные прокуроры и следователи, сенатские комиссии... Искали виновных ветеранские организации, велись журналистские расследования. Но все усилия заканчивались ничем, причём, чаще всего — плохо для бравшихся за это дело. Люди попадали в авто- и авиакатастрофы, тонули, кончали жизнь самоубийством, бесследно исчезали. На других находился убийственный компромат, и они выбывали из борьбы. При этом как только возникало очередное расследование, поднимался иступлённый вой в СМИ об антисемитизме.

Много говорил о “сионистском следе” в “автобусном деле” и бывший посол США в Великобритании Джозеф Кеннеди. Более того, молва упорно утверждала, что именно он, используя свои старые связи с Госдепартаментом и посольством США в Лондоне, допустил эту утечку. Послом он пробыл недолго: с 1938-го по 1940 год. А начинал свою карьеру потомок бедных ирландцев с нелегальной торговли алкоголем, затем были удачные, но подозрительные спекуляции недвижимостью. Создав первоначальный капитал, Джозеф стал спекулировать на биржах, где прославился опять-таки нечистоплотными махинациями. Но он всегда выходил сухим из воды и “заработал” своими несправедливыми трудами капитал в размере 500 миллионов долларов, что по сегодняшнему курсу составило бы немало миллиардов. Затем удачное продюсирование в Голливуде. После таких “успехов” президент Рузвельт назначил его Председателем комиссии по ценным бумагам и биржам, то есть главным смотрителем за законностью проведения операций на валютных и товарных биржах. Возмущению общественности не было предела: назначили главного махинатора на должность контролёра за махинациями! Этот “кривоногий пройдоха-ирландец”, как отзывались о нём люто ненавидевшие его сионистские банкиры, и раньше действовал на финансовых рынках на равных, входя в тройку богатейших людей США, а теперь присматривал за ними. Но президент, с которым Кеннеди дружил ещё в бытность Рузвельта помощником военно-морского министра, отвечал им: кого же ещё назначить на этот пост, как не человека, изнутри знающего все махинации... И оказался прав: Кеннеди навёл на биржах образцовый порядок. Правда, нажил при этом недругов в банкирских домах Ротшильдов, Варбургов, Морганов, Шиффа и многих других. Затем так же чётко он сработал во главе Комиссии по делам торгового флота, этой коммерческой пуповины Америки. Его карьера успешно развивалась: он стал одним из лидеров Демократической партии. И вот назначение на ответственный пост посла США в Великобритании, после чего он открыто заговорил о своих президентских амбициях. Но через два года после назначения послом он был с треском выгнан с дипломатической службы, на чём его государственная карьера и закончилась.

А сломался он на “еврейском вопросе”. Находясь в Англии, где в этот период борьба против сионистов в Палестине переросла в горячую стадию и многие открыто ругали евреев, он высказал несколько раз мнение, по сути, совпадавшее с высказываниями Жаботинского, что в плачевном положении евреев в Германии виноваты сами евреи, заключившие соглашение с нацистами. Настырный ирландец переходил всякие границы допустимой критики сионистов. И в других вопросах он активно поддерживал политику Чемберлена. Но то, что вполне было допустимо в воюющей с левыми сионистами Великобритании, оказалось совершенно неприемлемым для США. Его публично обвинили в антисемитизме и изгнали со службы. Он продолжал обвинять сионистов в пособничестве гитлеровцам, пока в 1944 году при загадочных обстоятельствах не погиб его старший сын Джозеф. Тот служил военным лётчиком в Англии и при выполнении очередного задания, едва взлетев на своём бомбардировщике с восемью тоннами бомб на борту, взорвался в воздухе. А в декабре сорок четвёртого случилось “автобусное дело”, и Кеннеди снова заговорил о “врагах Америки”. В его адрес посыпались угрозы. В 1948 году его любимая дочь Кэтрин погибла в странной авиакатастрофе. После этого Джозеф ушёл в тень и посвятил себя подготовке трёх оставшихся сыновей к политической карьере. В 1960 году неожиданно для всех его сын Джон, малоизвестный сенатор от штата Массачусетс, обошёл в президентской гонке таких тяжёловесов, как вице-президент Ричард Никсон и губернатор штата Нью-Йорк Дэвид Рокфеллер. Выборы 1960 года Джон Кеннеди выиграл за счёт своего умения нравиться людям, помогать бедным, широкообещательных обещаний социальных реформ. Но в период президентства у него было не-

сколько неудач в военной сфере, в том числе провальная агрессия против Кубы и отступление в Индокитае. Из-за этого в начавшейся предвыборной гонке на второй срок Джон Кеннеди был вынужден значительно больше уделять внимания своим военным заслугам, наградам и ранениям, больше встречаясь с ветеранами, которых тогда, спустя 18 лет после войны, было ещё много.

И тут оказалось, что ветеранов всё ещё волнует “автобусное дело”! На этих встречах и возникли вопросы о расследовании этой истории. И Кеннеди пообещал, в случае своей победы, провести новое расследование. Учитывая традиции и сплочённость клана Кеннеди, это были не пустые обещания. Однако президент Кеннеди был застрелен в 1963 году в Далласе. Расследовавшая убийство президента комиссия Эрги Уоррена признала единственным убийцей некоего Ли Харви Освальда, человека, некоторое время жившего в СССР. Он был арестован, но его почти сразу после гибели президента застрелил Джек Руби, загадочно проникший с оружием в тщательно охраняемое полицейское управление. Объяснение Руби, что он застрелил Освальда из жалости к страданиям вдовы Кеннеди Жаклин, затем изменённые на утверждение, что сделал это, защищая честь города Далласа, комиссия Уоррена приняла без возражений. Выводам Уоррена об одиночках Освальде и Руби никто в Америке не поверил, но этот вердикт был тогда признан законным. И лишь в 1979 году, когда уже не было в живых ни Освальда, ни его убийцы, когда умерли или странно погибли все 62 свидетеля этого дела, комиссия Конгресса США признала, что выводы Уоррена ошибочны и что был какой-то заговор, который, однако, не раскрыт. Но дальше этой декларации комиссия Конгресса тоже не пошла.

Объективности ради следует признать, что в связи с бушующим ныне мировым финансово-экономическим кризисом всё большее число сторонников приобретает версия о том, что убийство президента Кеннеди связано с “Исполнительным приказом № 11110”<sup>24</sup>. Форма “президентского приказа” позволяла миновать Конгресс, где подобная инициатива не имела ни малейшего шанса на успех. Суть приказа, именуемого в кругах исследователей “Указом одиннадцать одиннадцать ноль”, состояла в том, что президент Кеннеди данной ему Конституцией властью, опираясь на закон 88, постановил передать право печатания государственных платёжных средств номиналом в два и пять долларов Министерству финансов правительства Соединённых Штатов под обеспечение серебряного запаса США. Мало кто задумывается, что эмиссией денег в США занимается частная организация – Федеральная Резервная Система (ФРС), учреждённая клубом еврейских банкиров во главе с Ротшильдами, Барухом и Варенбургам. Эта кучка дельцов давно добилась разрешения печатать доллары без золотого, серебряного или иного материального обеспечения (Адам Смит, Давид Риккардо и Карл Маркс в грубу переворнулись бы от такого финансового решения!). При этом за все годы своей деятельности ФРС ни разу не опубликовала свои финансовые отчёты. А по подсчётам финансовых аналитиков, ежегодный доход этих воротил составляет свыше ста пятидесяти миллиардов долларов! Фактически клуб банкиров обложил весь мир, включая даже страны, активно противодействующие США (например, Иран или Венесуэла), колониальным оброком, который каждый год увеличивается. Когда в России победили “демократы” и двери страны широко открылись для иностранного проникновения, то из США к нам непрерывным потоком летели тяжело гружённые зелёной резаной бумагой транспортные самолёты, насыщая страну ничем не обеспеченными долларами США, на которые скупались несметные богатства России. Это то самое право грабить весь мир и отобрал у ФРС президент Кеннеди своим Приказом № 11110. Подписан был Указ 24 июня 1963 года, а в ноябре Кеннеди убили (такое же решение в 1934 году предлагал и Джозеф Кеннеди, но президент Рузвельт тогда решительно отверг совет своего финансового гуру). Руководители ФРС, отвергая обвинения в убийстве, указывают на то, что Указ отбирал у ФРС печатание только 2- и 5-долларовых купюр, а производство купюр достоинством в 1, 10, 50 и 100 долларов сохранялось за ФРС. Но понятно, что Кеннеди как ответственное должностное лицо не мог одновременно прекратить бесконтрольное печатание всех купюр. Так или иначе – это было его первым шагом в борьбе с ФРС. После вступления в должность президента Линдона Джонсона, первым (!) его Указом в новой должности стала отмена Указа № 11110. Се-

годня ФРС вросла в тело Америки, как глубоко впившийся клещ, отравляющий жизнь США, и удалить его безболезненно вряд ли удастся.

\* \* \*

Единственным человеком, сразу не признавшим вердикт комиссии Уоррена, был генеральный прокурор и министр юстиции Роберт Кеннеди. Он постоянно и во всеуслышание заявлял, что разыщет заказчиков убийства брата и предаст их суду. Джонсон вскоре отправил Роберта в отставку. Но тот был избран в Сенат и начал борьбу за выдвижение на пост президента США. После оглушительной победы на праймериз в крупнейшем штате Калифорния, когда всем стало ясно, что Роберта Кеннеди неизбежно изберут президентом, его застрелили в отеле “Амбассадор”. Обвинение в его убийстве предъявили палестинцу Сирхан Сирхану. Как пояснил Сирхан на допросе, он стрелял в Кеннеди из-за его заявления о поддержке Израиля. Следствие безоговорочно приняло эту версию. Так бы всё это и забылось, если бы Сирхан в 2008 году, по отбытии сорока лет заключения, не подал прошение о помиловании. Его могли бы и помиловать, но Сирхан написал особенное заявление: он попросил его освободить и отпустить в Иорданию, где он, как глубоко раскаявшийся христианин, расскажет о заговоре убийц Роберта Кеннеди. И судебный вердикт был категоричен: “Сирхан не стал на путь исправления, он опасен для общества, так как не признаёт своей вины и хочет переложить её на невинных людей”.

После убийства братьев Кеннеди уже никто в Америке не дерзал вспоминать об “автобусном деле” и “Указе № 11110”, эти темы напрочь исчезли из лексикона. Впрочем, в 2013 году закончился 99-летний срок действия другого Указа – президента Вудро Вильсона о передаче печатного станка ФРС. В последней предвыборной президентской гонке это был главнейший из подковёрных вопросов. Ещё К. Маркс открыл закон, согласно которому политическая система – это надстройка над финансово-экономической системой. И пока финансовые рычаги в руках ФРС, всё будет оставаться так, как есть. Согласитесь, что одновременно организовать высокопрофессиональные покушения, блокировать работу полиции, следственных органов, сенатских комиссий и Верховного суда, заткнуть рот прессе, уничтожить последовательно и максимально цинично множество важнейших свидетелей и при этом нигде не засветиться... Это под силу только какой-то особой, всепроникающей структуре<sup>25</sup>.

\* \* \*

“Дипломатическая” деятельность дома Валленбергов не закончилась в середине сороковых. Свидетельство тому – карьера Кофи Аннана. Этот чернокожий сын африканского князька, женившись на племяннице Рауля Валленберга – Нане, сделал головокружительную карьеру, достигнув поста генсека ООН. Ещё будучи ответственным сотрудником ООН, в 1991 году он провернул отмену резолюции ООН о сионизме как форме расизма, заявив, что “сегодня сионизм рассматривать как расизм уже не актуально”. А будучи уже генсеком ООН, в 1998 году он заявил, что “резолюция ООН № 3379 о признании сионизма формой расизма была низшей точкой в отношениях Израиля и Объединённых Наций”, добавив, что “её отрицательные последствия трудно переоценить”. Вновь понадобились “таланты” этого дипломата, когда громыхнула “арабская весна”, что очень озаботило Израиль. События в Египте их не очень насторожили, так как там к власти пришёл Мохаммед Мурси, вернувшийся из США и внедрённый американцами в движение “братьев мусульман”, а затем вернулись верные американцам военные. А вот другой сосед – Сирия – очень обеспокоил Израиль, потому что ситуация там была непонятная: что такое повстанцы, кто стоит за ними, какую политику в отношении Израиля они намерены проводить?.. Тогда был вновь призван проверенный кадр из клана Валленбергов, и Аннан, получив мандат спецпредставителя ООН, отправился в воюющую страну. Там он самым тщательным образом исследовал все группировки оппозиционных сил, провёл всесторонний анализ их возможностей,

после чего под благовидным предлогом сдал ставший ненужным мандат. Сегодня он занимается африканскими офшорами. Оказалось, что “неизвестные” западные банкиры, когда весь мир ополчился на “старые” офшоры, уже перегнали через “незаметные” офшоры в самых отсталых странах Африки многие миллиарды долларов. Разумеется, в этой афере может разобраться только представитель дома Валленбергов, чем он в настоящее время и занят.

Но вернёмся к событиям начала 1945 года. Англичанам всё более становится ясна роль семейства Валленбергов в поддержке гитлеровского режима, и Черчилль приступает к тотальной борьбе с этим скрытым врагом. Но чтобы доказать источник финансирования гитлеровцев, надо было добраться до кого-то из Валленбергов. Устанавливаются члены семейства – активные участники поставок, их дислокация, распределение ролей, пути движения товаров и финансовых потоков и всё, что происходит на этом невидимом фронте. Впрочем, Черчилль жаждал серьёзно наказать всю Швецию за нарушение нейтрального статуса, но, как обычно, хитрец хотел это сделать чужими руками. Ну, а Сталину, ведущему в это время стратегические бои в Центральной Европе против многомиллионной армии фашистов, ни к чему было открывать на своём фланге новый фронт против Швеции. Особых успехов в поимке кого-либо из Валленбергов, несмотря на все усилия, англичане тоже не добились. А вот советское руководство, имея сведения от англичан, оперативно внедрило в ближайшее окружение Рауля выдающегося советского разведчика, резидента в Центральной Европе Голенищева-Кутузова, который и сообщил о профашистской деятельности Рауля Валленберга<sup>26</sup>. По поводу количества депортированных с помощью Р. Валленберга венгерских евреев есть множество противоречивых сведений. Разумеется, о каких-то фантастических ста тысячах евреев, о которых твердят его восторженные адепты, речь не идёт, нереальны и другие цифры – в семьдесят и даже в двадцать тысяч. Наиболее достоверными могут быть сведения о количестве пересекших швейцарскую и шведскую границы граждан с паспортами, изготовленными в Швеции: их не более двух тысяч. При этом надо помнить, что такие же документы выдавал и граф Бернадотт, а также представители Красного Креста и сотрудники испанского посольства<sup>27</sup>. Все они, в отличие от Валленберга, выдавали документы бесплатно и тем действительно спасли от рук нацистов большое количество венгерских евреев, которым грозила депортация в лагеря смерти после прихода к власти в Венгрии прогитлеровского режима Салаши, когда прежний правитель Венгрии, адмирал Хорти, намеревавшийся заключить перемирие с СССР, был похищен диверсионной немецкой группой.

О задержании Рауля Валленберга сионисты и их приспешники напели массу небывлиц, среди которых то утверждалось, что его захватили в Карпатах неграмотные партизаны и как шпиона передали СМЕРШу<sup>28</sup>, то рассказывалась жалостливая история, что несчастного гуманитария, не подозревая, что это за светлая личность, захватили в собственной квартире “кровожадные энкавэдэшники” и умучили его “в подвалах Лубянки”. На самом же деле Рауль Валленберг был целенаправленно задержан по оперативной ориентировке Голенищева-Кутузова<sup>29</sup>, причём его захват был одной из самых блестящих операций спецназа СМЕРШ. Разумеется, никакой партизанщины на таком уровне быть не могло. Захват Валленберга произошёл в Будапеште, где к этому времени гитлеровцы и салашисты собрали 200-тысячную группировку и где вместе с немцами сражались отъявленные венгерские фашисты.

Но этого ужасного кровопролития можно было бы избежать. Правитель Венгрии Хорти, поняв бессмысленность сопротивления союзникам, решил, подобно финскому и румынскому правительству, выйти из войны и сдать Будапешт советским войскам. Рауль Валленберг, узнав о планах Хорти, сообщил о них бригаденфюреру СС Эдмунду Веезенмаеру. Взбешённый Гитлер приказал Отто Скорцени захватить регента Хорти и его сына, а власть в Будапеште передать отъявленному фашисту и головорезу Салаши<sup>30</sup>. Эта подлость Валленберга стоила сотен тысяч жизней советским солдатам, освобождавшим Венгрию, и высылки в концлагеря до двухсот тысяч венгерских евреев. Вот в этих-то условиях смершевцы и получили распоряжение захватить Рауля Валленберга. Было известно, что он скрывается в одном из зданий шведской дипломатической миссии. Имелся его описательный портрет. 13 января 1945 года, за неделю до взятия советскими войсками Пешта (восточной части Будапешта. – **Прим. ред.**), впереди частей действующей армии на территорию,



контролируемую салашистами, проник спецназ СМЕРШа и с боем прорвался к этому зданию. Но Рауль Валленберг под прикрытием немецких танков и бронетранспортёров на личном автомобиле с шофёром уже спешно покинул его. Смершевцы настигли беглеца, в коротком боестолкновении захватили Валленберга и его шофёра и столь же стремительно и дерзко вернулись к своим. Израильские источники утверждают, что СМЕРШ проник на территорию, контролируемую салашистами, по городским канализационным коллекторам<sup>31</sup>. Совсем нелепо при этом выглядят утверждения, что смершевцы “случайно” столкнулись на дороге с Раулем и из хулиганских побуждений схватили его<sup>32</sup>. Вскоре после задержания его переправили в Москву по личному приказу начальника СМЕРШа В. С. Абакумова и во исполнение распоряжения заместителя Сталина в Ставке Н. А. Булганина, которое было направлено также командующим фронтами маршалам Р. Я. Малиновскому и Ф. И. Толбухину, что уже само по себе свидетельствует о масштабе операции.

\* \* \*

Итак, через несколько дней после захвата и препровождения Валленберга в Москву в аэропорту Стокгольма приземлился советский военно-транспортный самолёт с отрядом спецназовцев на борту. Виртуозная операция, как и с захватом Рауля в Будапеште, была прекрасно спланирована и блестяще осуществлена, но без единого выстрела. Стремительно выдвинувшись к советскому посольству, спецназовцы захватили Чрезвычайного и полномочного посла СССР в Швеции А. Коллонтай и столь же стремительно вернулись в аэропорт, где другие участники операции всё это время практически блокировали территорию, и вылетели на Родину<sup>33</sup>. Никаких вопросов и возражений по поводу этого неслыханного дипломатического скандала шведская сторона тогда не задавала. Маркус Валленберг, на даче которого неделями проживала Коллонтай, в те дни пропал, Яков отсиживался в Берлине, в МИДе и спецслужбах “ничего не знали”. Что думали и делали в это время в Стокгольме, можно только гадать. Ещё большей загадкой стала дальнейшая судьба Коллонтай. Что происходило с ней в несколько последующих дней, о чём с ней договаривались, какое участие в этих переговорах принимал Сталин, как поладили эти два величайших конспиратора XX века, видимо, навсегда останется загадкой истории<sup>34</sup>. Удивление современников и историков вызывает тот факт, что Коллонтай, которая ещё с ленинских времён участвовала во всех мыслимых и немыслимых оппозициях, пошла по традиционному пути других оппозиционеров и в двадцатые годы была отправлена послом за границу. В дальнейшем большинство оппозиционеров-послов были последовательно репрессированы, но Коллонтай избежала такой участи и много лет была доверенным представителем Сталина за границей, выполнявшим его деликатнейшие поручения, в том числе по связям с высшим германским руководством в годы войны<sup>35</sup>. Изредка она приезжала в Москву и неизменно встречалась со Сталиным. Из наиболее известных дел Коллонтай были переговоры о высылке наших дипломатов из Берлина после начала боевых действий, письмо Якова Джугашвили из плена, требование Гитлера прекратить применение в “катюшах” напалмовых зарядов с угрозой применить в ответ химическое оружие, предложение обмена Якова Джугашвили на фельдмаршала Паулюса и прочие прямые сообщения между Берлином и Москвой. Но Сталина так страшно возмутило или насторожило что-то в показаниях Рауля Валленберга, что обладавший уже большим дипломатическим опытом и осторожный Сталин пошёл на такой беспрецедентный шаг. Какие аргументы выдвинула Коллонтай — неизвестно, но через несколько дней она спокойно поселилась, как ни в чём не бывало, в престижном доме на Большой Калужской в Москве.

При этом она вовсе не пряталась, не вела жизнь затворницы, а занялась активной публичной общественной деятельностью: писала мемуары, участвовала в работе обществ старых большевиков. И совершила, пожалуй, одно из самых своих ярких деяний: создала первый в мире уникальный институт международных отношений для подготовки молодых дипломатов. А для этого у неё были все задатки. Выросшая и воспитанная при императорском дворе, она с молоком матери впитала аристократические манеры и нормы придворного этикета, познала тайны придворной жизни. В молодости блистала при

дворе, сводила с ума придворных кавалеров. Из-за неё дрались на дуэлях лейб-гвардейцы, от несчастной любви к ней застрелился флигель-адъютант императора Александра III. Затем – неожиданный уход в революцию этого, как говорили при дворе, “дьявола с личиком ангела”. Но и в те годы она сохраняла безупречный вкус и манеры. Так, Луначарский писал в частном письме с одного из конгрессов II Интернационала: “Явилась Коллонтай, блистая манерами и нарядами”. Ну, а в годы дипломатической работы все, кто попадал к ней в посольство, говорили, что работа с ней была высшей школой обучения практической дипломатии и этикету. Её манера держаться, одеваться, писать дипломатические документы, вести переговоры восхищала окружающих. Недюжинные способности проявила она и при отстаивании экономических интересов страны, особенно в бытность свою послом в Норвегии. Ну, а её многолетний опыт подпольщицы пригодился для специфических условий работы дипломата. Ни один спецсотрудник посольства ни в одной стране, где она пребывала, так и не смог уличить Коллонтай ни в каких противоправных действиях<sup>36</sup>. Ещё работая в Швеции, она начала составлять свой знаменитый среди дипломатов трактат “Чего не надо делать на приёмах”. Всё свои знания она прекрасно реализовала в учебном процессе своего дипломатического вуза. Только вот со Сталиным теперь у неё не было никаких контактов. Она передавала ему “на рецензию” свои воспоминания, просила о встрече, пыталась обсуждать теоретические вопросы, обращалась через соратников – Сталин не реагировал ни на какие её призывы.

\* \* \*

Сталин в то время завершал величайшую битву в истории человечества – Великую Отечественную войну – и без всякой передышки втягивался в новые сражения за создание справедливого мироустройства, где достойное и безопасное место займёт выпестованный им Советский Союз, решая двудеиную задачу: образование союзнического лагеря стран народной демократии и создание надёжных рубежей и форпостов защиты СССР от нападений вчерашних союзников. Новые сражения были ещё более изнурительны и опасны, чем открытые бои Второй мировой. К этому времени Сталин серьёзно пересмотрел свои взгляды на возможные схемы мироустройства. Так, если в первые годы Советской власти преимущество отдавалось созданию во всех странах коммунистических партий большевистского типа и внедрению системы советов как универсальной власти трудящихся всех стран, то теперь он отошёл от такой практики. Падение советской власти в Венгрии, неудачные попытки установить советскую власть в Голландии и Баварии, поражение советских районов в Китае и совсем уж неудачные попытки в других странах доказали Сталину, что советы – специфическая форма правления, которая нигде, кроме России, не приживётся. После войны был сделан упор на создание системы “стран народной демократии” с явными элементами “классической”, то есть буржуазной демократии, и создание для реализации такого пути “народных фронтов”, в которые, помимо коммунистов, входили социалисты, социал-демократы и даже мелкобуржуазные партии.

Разработчиком теории и практики “народной демократии” явился давний соратник Сталина Максим Максимович Литвинов (Меер-Генох Моисеевич Валлах)<sup>37</sup>. Этому человеку, прошедшему почти невидимкой в истории создания Израиля, уделим особое внимание. Фигура его состояла из невероятных противоречий. К социал-демократам Литвинов примкнул в конце XIX века, когда служил вольноопределяющимся в армии. Едва ли не первым выдающимся действием Литвинова был легендарный побег с группой товарищей из неприступной Лукьяновской тюрьмы в Киеве. После раскола в 1902 году он твёрдо стал на сторону большевиков, при этом безоговорочно порвав с лидерами меньшевиков Юлием Мартовым (Цедербаумом) и Львом Троцким (Бронштейном), с которыми до этого был очень дружен. Ленин поручил Литвинову архиважную работу: нелегальную доставку газеты “Искра” в Россию, и тот с ней блестяще справился. В годы первой революции Литвинов с группой товарищей занялся отчаяннейшей деятельностью: вооружением революционеров. Для этого требовались серьёзные деньги, и он участвовал в самых невероятных “эксах” на Кавказе, совершая налёты на банки и почтовые ин-

кассаторские кареты. Затем были нелегальные поставки больших партий оружия морем, вооружённые стычки с пограничной стражей и контрабандистами. Жандармы преследовали Литвинова по пятам, но ему неизменно удавалось выскальзывать из очередной западни. Закончилась эта бурная деятельность арестом во Франции, когда он пытался расплатиться крупными российскими купюрами за очередную партию оружия. Французская полиция была оповещена о номерах похищенных купюр, по ним и вычислили подпольщиков. В России по совокупности преступлений Литвинова и его товарищей ждала виселица, но удалось добиться его экстрадиции в Англию, где и в то время можно было получить политическое убежище противникам российских властей. Там и прожил Литвинов более 10 лет до революции 1917 года, став лидером английской парторганизации большевиков. Сразу после революции Троцкий назначил его послом в Великобритании. Хотя англичане и не признали тогда Советы, тем не менее, установили с Литвиновым негласные контакты, и именно он организовал поездку полномочного представителя Англии Локкарда в Россию. После раскрытия “заговора послов” и ареста Локкарда симметрично арестовали в Англии и Литвинова, а затем обменяли на Локкарда и выслали в РСФСР. Прибывшего из Англии Литвинова Ленин практически сразу направил в Швецию, где он, используя свои старые связи, установил контакты с представителями стран Антанты и начал активно бороться за разрушение единого фронта 14 держав против Советской России. Первыми обеспокоились белые, направив в Стокгольм боевую группу полковника Хаджи-Лаше с целью уничтожения миссии Литвинова. Но что мог сделать хоть и отважный, но обычный строевой полковник против опытейшего подпольного бойца? Деятельность белых потерпела крах. Тогда, обескураженные дипломатическими успехами большевиков, в дело вмешались крупные силы врагов Советской власти в странах Антанты во главе с Черчиллем, которые добились высылки миссии Литвинова из Швеции. Но к этому времени Литвинов успел установить надёжные и серьёзные связи в странах Антанты с противниками интервенции и продолжил свои контакты с ними из соседней Дании. Вскоре и оттуда его изгнали. Тогда он перебрался в Эстонию, ставшую к этому времени независимой, и продолжил там свою работу по срыву агрессии против Страны Советов, в чём достиг несомненного успеха: одна за другой страны Антанты сворачивали свои военные экспедиции в России. Новый нарком иностранных дел Чичерин оценил деятельность Литвинова и добился от Ленина назначения его своим первым заместителем. Вдвоём они блестяще вывели РСФСР из международной изоляции на Генуэзской и Лозаннской конференциях. Но вскоре их отношения разладились: Литвинов крайне отрицательно относился к нетрадиционной сексуальной ориентации Чичерина, в глаза обзывал его *педерастом*, а тот жаловался на его невообразимое хамство в ЦК и говорил, что такой грубиян не может быть дипломатом. В конце концов, Чичерина отправили лечиться за границу, исполняющим наркоминдел назначили Литвинова, а затем утвердили его в должности наркома. За несколько лет Литвинов достиг впечатляющих успехов в восстановлении СССР как равноправного партнёра в международных отношениях. Одна за другой мировые державы устанавливали торговые, а затем и дипломатические отношения на самых благоприятных для Советского Союза условиях.

Эти достижения наблюдатели называли “чудом Литвинова”. Деятели, настроенные решительно против СССР, после переговоров с наркомом принимали все его условия. Когда он добился в США от Рузвельта дипломатического признания СССР без каких-либо экономических претензий, которые имелись у Америки к нашей стране, даже супруга президента, не стесняясь присутствия Литвинова, назвала Рузвельта предателем. Но Рузвельт, несмотря на жёсткую критику своего окружения, навсегда сохранил дружественное отношение к Литвинову. Вершиной достижений этого периода стало принятие СССР в Лигу Наций. Но вместе с тем отношения с прямым начальником Литвинова — председателем Совнаркома Молотовым — ухудшались из года в год. К этому времени Советский Союз стал проводить линию на сближение с гитлеровской Германией, чему активно сопротивлялся Литвинов. В результате Максим Максимович был отправлен в отставку, а наркомом иностранных дел стал Молотов. Но отставкой противника Молотов не ограничился; дело Литвинова, по его настоянию, решено было заслушать на XVIII партконференции ВКП(б) в феврале 1941 года, когда Литвинов уже третий год был на пенсии. Молотов

выступил первым и обрушился с сокрушительной критикой на бывшего наркома, заявив, что тот не обеспечил проведение партийной линии во внешней политике, что в НКВДе у него было много антипартийно настроенных элементов и что всё поведение Литвинова было политическим головоутием.

Тот февральский день 41-го года мог кончиться для него весьма трагично, как раньше для многих старых большевиков. Зал ревел от возмущения, многие требовали слова, горели желанием высказаться. Но Литвинов, в отличие от других критикуемых руководителей, не стал ни спорить с залом, ни оправдываться. Он встал и громко спросил: “Товарищ Сталин, Вы считаете меня врагом народа?” – и в зале мгновенно наступила гробовая тишина. Сталин, когда началось шельмование Литвинова, встал, закурил трубку и прохаживался по сцене за спинами президиума, поглядывая на выступавших. После этого вопроса он остановился, подошёл к краю сцены, внимательно посмотрел на Литвинова, потом повернулся вполборота к президиуму и, глядя в упор на Молотова, произнёс: “Папаша честный революционер!” – и сел на своё место. “Папаша” – подпольный псевдоним Литвинова во время работы на Кавказе, где они вместе со Сталиным совершали дерзкие “эксы” и где оба рисковали оказаться на виселице. После сталинских слов желающих выступить по этому вопросу не нашлось. Пенсионера Литвинова не ввели в новый состав ЦК, но никаких оргвыводов и репрессий не последовало, и он спокойно уехал к себе на дачу.

Через несколько месяцев, в начале войны Сталин вызвал Литвинова в Кремль и попросил быть переводчиком в его беседах со спецпредставителем президента Рузвельта Гопкинсоном, а вскоре назначил его послом в США в звании замнаркома<sup>38</sup>. На собеседовании присутствовал Молотов, который сидел в стороне и не обменялся ни словом со своим новым-старым замом. Литвинов немедленно отправился в Америку через Гавайи, с которых улетел за считанные минуты до начала японского налёта на Пёрл-Харбор. Рузвельт был рад приезду Литвинова в качестве посла. Как всегда, Максим Максимович справился с работой блестяще: добился поставок по лендлизу, да ещё в режиме наибольшего благоприятствования. А следует заметить, что многие тогда в США считали, что это пустая трата денег, и Россия скоро всё равно рухнет под ударами вермахта. Договорился он и о крупнейшем кредите, который покрывал все необходимые СССР поставки сверх лендлиза. Литвинов создал мобильные агитационные группы, которые разъезжали по разным штатам и вели большую и весьма успешную пропагандистскую работу по созданию, как сейчас говорят, положительного имиджа Советского Союза. Формально с той же целью Литвинов организовал поездку в США делегации Михоэлса и Фафера. Не вызывает сомнения, что связи с сионистами, которые установила эта делегация, и план дальнейших действий не мог быть разработан и осуществлён без участия советского посла: Михоэлс просто не смог бы сориентироваться в незнакомой обстановке. Михоэлс не играл самостоятельной роли. И в Америке это прекрасно понимали; он был проводником воли и позиции Литвинова. Но никакого участия посла в контактах делегации Михоэлса с сионистами зафиксировано не было. Был в период полпредства Литвинова и официальный визит Молотова в США с неслыханным нарушением дипломатического этикета, когда нарком при действующем после, да ещё в ранге замнаркома, демонстративно не приглашал того на переговоры ни с госсекретарём, ни с самим президентом.

Но наряду со всеми этими дипломатическими достижениями и проблемами Литвинова не следует забывать, что именно он организовал в эти годы надёжные контакты лидеров сионистов с советским руководством, что позволило в дальнейшем создать государство Израиль. В 1943 году Сталин отозвал Литвинова из США. Многие считают, что это была новая опала. Но дело обстояло совсем не так. Маршал Василевский в своих мемуарах писал, что Сталин стал выдающимся военным стратегом потому, что был великим политическим стратегом, и ему не составило труда освоить “смежную” специализацию. Но Сталин и из военной стратегии вынес понимание того, что никакая борьба невозможна без штабных разработок и чёткого плана действий. Он знал, что без штаба, без проработки вариантов нельзя не то что выиграть сражение, но даже вступить в схватку. По существу, он организовал оперативное планирование политических действий на послевоенный период по военному образцу. В сентябре 1943 года при НКВДе были созданы три параллельных “Комиссии

по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства мира». Одну из комиссий возглавил замнаркома Литвинов. Началась напряжённая работа, которую лично контролировал Сталин. Вскоре две комиссии были ликвидированы, продолжала работать только комиссия под руководством Литвинова. Она и определила послевоенную внешнеполитическую линию Советского Союза.

Несомненно, Литвинов учитывал в своих разработках и палестинскую карту. Роль Литвинова в подключении СССР к ближневосточному переделу была главной. Был ли Литвинов тайным сионистом? Нет, но, видимо, счёл идею создания государства трудовых евреев полезной и перспективной. Он всю жизнь симпатизировал евреям и был небезучастен к их судьбе, окружал себя евреями, заботился об их благополучии. Но объективности ради надо сказать, что любой еврей, как и человек иной национальности, который был открытым противником Советской власти, становился для него нетерпимым врагом. В 1946 году, после перенесённого инсульта, он снова вышел на пенсию, но продолжал не только внимательно следить, но и фактически руководить действиями по созданию Израиля. Через Михоэlsa, постоянно приезжавшего в Барвиху для принятия процедур в ЦКовском санатории, Литвинов давал указания, подолгу инструктировал его. Михоэлс и Литвинов были не просто близкими друзьями, они были единомышленниками.

После гибели Михоэlsa органы госбезопасности зафиксировали многочисленные приезды к Литвинову зарубежных политических деятелей еврейской национальности из США, Англии и других стран. Об этих контактах и их содержании докладывали Сталину, но внешне никаких последствий эти действия для «Папаш» не имели. Правда, переводчик Сталина и Хрущёва Бережной, ссылаясь на рассказ Микояна, утверждал, что Сталин готовил покушение на Литвинова. Но известно, что в угоду Хрущёву Микоян много чего наговорил на Сталина, разных небылиц и гадостей. Представляется маловероятным, чтобы Сталин обсуждал с министром торговли вопросы уничтожения человека, который никак не соприкасался с Микояном. Умер Литвинов в последний день 1951 года. В письме 1950 года к Коллонтай, с которой — одной из немногих — он поддерживал в последний период связь, он писал: «Америкой и Израилем теперь почти не занимаюсь...» Но теперь этими вопросами вплотную занимался Сталин.

Первые попытки подобраться к Сталину сионисты предприняли ещё до начала войны, когда им стало ясно, что дальнейшее сотрудничество с англичанами невозможно и надо искать новый локомотив, который будет вытягивать идею создания государства Израиль. В 1940 году в Лондоне к советскому послу Майскому явился Вейцман и без всяких предисловий предложил поставлять в СССР цитрусовые из Палестины, выращенные еврейскими поселенцами, взамен на политическую поддержку. Предложение было нелепым, ибо цитрусовые в достаточном количестве произрастали в Союзе: в Закавказье и в Средней Азии.

Намного серьёзней подошли к контактам с советскими представителями сионисты в США. Предшественник Литвинова на посту посла — Уманский — в своих дипломатических депешах в Москву сообщал, что на него выходили американские «раввины» (так в донесениях) с рядом вопросов о возможности установить связи с польскими евреями, оказавшимися в СССР. И здесь появляется ещё одна фигура — Полины Жемчужины. Перл Семёновна («перл» на идиш «жемчужина» — это стало её фамилией) не менее активно продвигала идею создания государства Израиль и практически сделала очень много для его возникновения. Все в семействе Жемчужины были идейными, рьяными и активными сионистами. Родной брат Полины — Соломон Карп (в США он так сократил семейную фамилию Карповский) в молодости вместе с другой сестрой Жемчужины, Ревеккой, переехал в Палестину «строить Эрец-Исраэль». А оттуда вскоре перебрался за океан, где стал богатым бизнесменом, торговцем судами, но свои сионистские связи не прекратил, а был одним из активистов партии МАПАЙ. В 1936 году Жемчужина совершила полулегальную поездку к брату в Америку. В годы, когда Жемчужина была наркомом рыбной промышленности СССР, Карп продавал Советскому Союзу суда.

Во время командировки в США Михоэлс встречался с этим братом Жемчужины. Сестра Полины осталась в Палестине, активно переписывалась с Жемчужиной до самого начала Второй мировой войны. Очевидно, что и Полина была убеждённой сионисткой и способствовала этой деятельности, используя своё служебное и семейное положение. Но преувеличивать влияние

Жемчужины на решения Сталина в этом вопросе нельзя, так как Сталин относился к ней с большим предубеждением, особенно после самоубийства Надежды Аллилуевой, в котором он косвенно винил Полину. Утверждения сионистов, что Сталин посадил Жемчужину за одну фразу, сказанную Голде Меир: “Я дочь еврейского народа и рада, что у евреев есть теперь своя родина”, – очередная чушь. Ещё до войны её антипартийное, как тогда говорили, буржуазно-националистическое поведение дважды обсуждалось на Политбюро. После войны она демонстративно посещала синагогу, за что в те годы безоговорочно исключали из партии любого, так же как и за посещение церкви.

Арестовали её лишь после того, как израильтянам стали известны решения, о которых знали только Сталин и Молотов. Да и то за преступление, которое тогда стоило бы жизни очень высокопоставленным лицам, она получила всего-навсего ссылку в Казахстан. Хотя, несомненно, на решение Сталина создать Израиль через Молотова и она повлияла. Как бы ни складывались отношения Литвинова с Жемчужиной, но они совместно сформировали позицию Сталина по вопросу создания государства Израиль. И очевидным связующим звеном здесь был Михоэлс, который был дружен и с Литвиновым, и с Жемчужиной. Вместе с Литвиновым в США прибыл новый вице-консул, а фактически резидент советской разведки Василий Зарубин с женой Елизаветой Горской (Розенцвейг). Перед поездкой Зарубина принял и лично проинструментировал Сталин. Об этой знаменитой паре советских разведчиков, особенно о Горской, написаны десятки книг, сотни статей, им посвящены научные исследования. Но преимущественно рассматривается их деятельность по добыче атомных секретов. Между тем, Горская вышла на контакты с ведущими учёными-евреями Манхэттенского проекта через сионистов. На основании этого факта некоторые историки считают, что “платой” за обладание атомными секретами стало согласие Сталина поддержать идею создания Израиля.

Действительно важным для сионистов оказалось прибытие в 1943 году в США делегации Антифашистского еврейского комитета во главе с Михоэлсом. Вообще вокруг этой поездки и её влияния на последующую политику СССР в вопросе создания Израиля накручено много фактов, персон и событий. Поехала делегация Антифашистского комитета вроде бы выпрашивать у еврейских банкиров выгодные для СССР кредиты. С кредитами особых успехов не наблюдалось, а вот многочисленные контакты с сионистами делегация установила. Были встречи с Вейцманом и с руководителями Всемирного еврейского конгресса Гольдманом и Вайсом. Как сказано выше, подготовил и организовал эту поездку тогдашний посол СССР в США М. М. Литвинов. Посылать ему в помощь Михоэлса выбивать в Америке кредиты – всё равно, что первокласснику помогать профессору математики решать сложное уравнение: к этому времени Литвинов добился от Рузвельта равного с англичанами наибольшего благоприятствования на лендлиз, а от толстосумов Уоллстрит получил кредит в миллиард долларов, что было пределом возможного. На встречах с заокеанскими партнёрами Михоэлс мог, в отличие от занимавшего официальный пост Литвинова, сообщить, что нужно Сталину и как подойти к нему с интересными предложениями. После поездки делегации Михоэлса в США установились постоянные контакты левых сионистов с советским руководством. В Москву зачастили представители Всемирного еврейского конгресса. Но не в качестве сионистов, а как члены Рабочей партии Израиля (МАПАЙ), социалистической по программным документам и лево-сионистской по практической деятельности. Они развивали перед Сталиным картину борьбы МАПАЙ, совместно с Коммунистической партией Палестины и профсоюзами, за независимость и права трудящихся Ближнего Востока, против английских колонизаторов. В случае поддержки они обещали следовать во внутренней и внешней политике будущего государства курсом Советского Союза. Подчёркивали, что рабоче-крестьянское государство евреев и арабов в капиталистическом и колониальном Ближнем Востоке будет авангардом борьбы за права угнетённых народов региона и против колонизаторской политики Англии и Франции. Это было то, что требовалось Сталину. Как сказали бы сейчас, они попали в *мейнстрим* политики Сталина и, вполне естественно, получили его полную поддержку. Действительно, Сталину было крайне выгодно нанести мощный удар в “солнечное сплетение” Англии и закрепить на Ближнем Востоке, откуда уже более двух веков Англия угрожала российским, а затем и советским интересам, и заполучить там надёжного союзника.

В годы войны события на Ближнем Востоке и вокруг него начинают раскручиваться с нарастающей силой. Самодеятельные отряды сионистских боевиков проходят профессиональную подготовку в спецлагерях на территории фашистской Европы, получают в неограниченных количествах первоклассное оружие и великолепную экипировку, да и в деньгах у них давно уже нет никакой нужды. Действуют сионисты крайне жестокими террористическими методами. В 1944 году лидер ЛЕХИ Штерн и будущий премьер Израиля Шамир совершают ряд громких терактов: ими был убит британский министр по делам Ближнего Востока лорд Мойн, совершено покушение на Верховного комиссара Британского мандата в Палестине Гарольда Мак-Михаэля, позже они же убили представителя ООН на Ближнем Востоке графа Бернадотта и совершили ряд других громких покушений. После окончания войны в Европе сионисты резко усиливают диверсионно-террористическую деятельность против контингента английских войск в Палестине: совершают диверсии на железных дорогах, нападают на блокпосты, устраивают подрывы на дорогах, топят английские суда береговой охраны, обстреливают английских военнослужащих и, наконец, совершают публичные казни захваченных английских солдат.

Наибольший резонанс вызвал взрыв в Иерусалиме в 1946 году отеля “Царь Давид”, где располагалась штаб-квартира командования англичан в Палестине и их гражданская администрация, с обрушением здания и многочисленными жертвами. Организовал этот теракт другой будущий премьер — Менахем Бегин, руководивший боевиками “Иргуна”. Но эти акты вандализма были практически бессмысленны: мандат Великобритании заканчивался в 1947 году, и на ход событий влияли уже совсем другие силы, а не подпольный террор воспитанников Ахад Хаама. Болезненные, но бесполезные уловки не меняли ситуацию: жалкие и кровавые потуги террористов не привели к созданию Израиля. А методы террора, заложенные правыми сионистами в сороковые, бьют сегодня рикошетом и по израильтянам, и по евреям всего мира. Только после активного включения СССР в процесс создания Израиля дело сдвинулось с мёртвой точки<sup>39</sup>. То, чего не могли сделать несколько поколений сионистов — этого уродливого политического образования, — Сталин проделал за три года, создав условия для реального появления государства Израиль. Проявив несокрушимую волю, он обеспечил оба фактора победы: дипломатический и военный. Мощное советское дипломатическое наступление вкупе с материальной и военной помощью принесло успех и позволило создать Израиль. Советский Союз, выступив в поддержку создания независимого еврейского государства, обвинил Англию в пренебрежении страданиями еврейских мучеников и в препятствовании обретения ими национального очага. Англичане в ответ на обвинения твердили о “коммунистическом проникновении” на Ближний Восток. Одновременно и сионисты развернули международную агитацию, обвиняя англичан в варварстве из-за отказа принимать “жертв нацизма” (тогда ещё они не вытаскивали на свет Божий слово “холокост”). Англичане же смотрели на происходящее как на коммунистические происки. Однако под международным давлением и в связи с истечением срока мандата на Палестину правившие в Англии лейбористы сдают его в ООН. И там принимается решение образовать на её территории два государства: арабское и еврейское.

Как только было принято это решение, арабы предприняли военный поход с целью “сбросить евреев в море”. И здесь вновь Советский Союз оказался на стороне сионистов. Сталин видел этот конфликт как борьбу феодальных арабских режимов против прогрессивной “народной демократии”, что, в общем-то, соответствовало действительности. И тогда арабские эмиры столкнулись со всей мощью советской военной машины. Не вступая прямо в войну против арабских режимов, Советский Союз действовал через своего сателлита — Чехословакию, где обрёл самого горячего и деятельного союзника в лице генерального секретаря компартии Чехословакии Рудольфа Сланского (Зальцмана). В этот период Чехословакия стала всем для нарождённого Израиля: в стране было собрано несметное количество вооружений и боеприпасов, оставшихся после гитлеровской Германии во всех странах, которые оккупировали немцы. Здесь оно приводилось в идеальный порядок и переправлялось в Израиль. На территории Чехословакии формировались и экипи-

ровались боевые подразделения фронтовиков еврейской национальности из Советского Союза и Войска Польского. Работу по подготовке личного состава вели опытейшие военные инструкторы из СССР. В воинских частях Красной Армии отбирались бойцы и командиры с боевым опытом, имевшие еврейскую кровь; они-то и составили костяк Армии Обороны Израиля. Военно-транспортные самолёты отправлялись из Праги на Ближний Восток круглосуточно. Экипажи самолётов состояли из опытных пилотов-фронтовиков из СССР и США. Через порты Болгарии и Югославии под флагом Чехословакии выходили морские суда с тяжёлым вооружением.

В то время директор ФБР Эдгар Гувер пугал президента Трумэна такими спецсообщениями: *“Источник, известный своей достоверной информацией, сообщил нам, что русские готовят примерно двести тысяч коммунистически настроенных евреев для отправки в Израиль”*. В США противником создания в Палестине еврейского государства был не только Гувер, но и многие крупные деятели администрации президента Трумэна. Ярким врагом сионистов был министр обороны Форрестол. Когда стало ясно, что США будут содействовать созданию и становлению Израиля, он предпринял силами военной разведки расследование “автобусного дела”. Сразу после этих действий его объявили помешанным, фактически арестовали, а вскоре он погиб при загадочных обстоятельствах, выпав из окна. Отчаянно противился созданию Израиля и знаменитый госсекретарь Маршалл. Он считал, что евреи и так изрядно влияют на внешнюю политику США, а создание еврейского государства и вовсе сделает Америку заложником такого субъекта, и все внешнеполитические шаги Штатам придётся выверять по позиции “младшего партнёра”. Несомненно, смущала его и социалистическая направленность политики руководителей будущего государства. Дело дошло до прямого противостояния с президентом Трумэном, когда в комиссиях ООН представители Госдепа выступили против создания еврейского государства. Разъярённый Трумэн заявил, что Госдеп поднял против него “мятеж”! Ничего подобного ни до, ни после в истории Америки не было. Маршалл умолял Трумэна хотя бы воздержаться при голосовании. Но президент был непреклонен и потребовал от Маршалла принудить всех латиноамериканских сателлитов совместно с США голосовать в ООН за создание Израиля. Скрепя сердце, Маршалл выполнил приказ начальника<sup>40</sup>.

Соотношение сил личного состава армий Израиля и арабской Коалиции определялось как 1 к 40. Арабы были уверены в быстрой победе, считали, что “скинут евреев в море” и разделят кусок суши под названием Палестина между прилегающими странами. При этом шейхи исключали создание арабского государства “Палестина”. Но они не представляли, с кем имели дело, и не могли адекватно оценить своего положения. Армии арабов были действительно феодальными образованиями, где офицеры солдат за людей не считали, обучали кое-как зуботычинами и гнали в атаку пинками. Сами командиры – из местной аристократии – считали своё офицерство природным даром и на всё смотрели свысока, не представляя современного военного дела и совсем не утруждая себя серьёзной подготовкой. К этому можно добавить, что вооружено арабское воинство было кривыми саблями, неавтоматическими ружьями и устаревшими пулемётами. Передвигались они по пустыне преимущественно на верблюдах. Им же противостояли не партизаны-диверсанты, а закалённые в боях, не боящиеся идти под огонь противника, великолепно вооружённые батальоны и полки регулярной армии при поддержке артиллерии, танков и авиации. К выучке надо добавить необыкновенно высокий моральный и боевой настрой, готовность жертвовать жизнью для защиты обрётённого Отечества.

Первые еврейские воины принесли с собой воинский дух победителей в Великой Отечественной войне. Сталин посылал в Израиль и политработников из лиц еврейской национальности обкомовского (в том числе, секретарей обкомов) и райкомовского уровней. Допускалась возможность при необходимости направить на Ближний Восток и дважды Героя Советского Союза, генерала Давида Драгунского, одного из лучших специалистов Второй мировой по танковым прорывам и окружениям. Куда бы дошли ударные бронетанковые бригады под командованием Драгунского, остаётся только фантазировать. Но хватило и руководителей уровня командиров полков и батальонов Красной Армии. Никаких шансов у арабов противостоять этой военной машине не было. Утомившись убегать по пустыням от новоявленных израильтян, они подписа-



ли в 1949 году перемирие. Создание Израиля стало свершившимся фактом. Место под солнцем было завоёвано террором и силой.

\* \* \*

Однако сионисты не остановились на победе над внешним врагом, а продолжили свои террористические атаки, только теперь не против англичан, а против “врага внутреннего”, то есть на арабов, проживавших на территориях, отошедших к Израилю. При этом острие атак было направлено на христиан — наиболее зажиточную и активную часть населения страны. Эта страна душевно близка нам. Арабы появились в Палестине в XI–XII веках нашей эры, евреи нового времени стали селиться там в основном в XVIII–XIX веках. Однако не забывайте, что все века нашей эры Палестина была страной христианской, преимущественно православной. Во времена террористических атак сионистов больше всего страдали именно христиане. Веками они составляли большинство жителей Палестины, обустроивая эти неласковые земли, создавая цветущие оазисы. Для подсобных работ они привлекали арабов-мусульман, ну, как сейчас Россия привлекает таджиков и узбеков.

Со временем мусульманское население всё росло, и к началу XX века процент христиан сократился до 20. При этом среди мусульман быстрее росла численность шиитов — наиболее обездоленной части населения. Но христиане по-прежнему занимали командные позиции в экономике, владели наиболее плодородными землями, водными ресурсами, развивали ремёсла и промышленность. Поэтому и самые свирепые атаки сионистских террористов были направлены против христиан — фактически, самой миролюбивой и сговорчивой части населения Палестины. В Газе в четвёртом веке нашей эры возник первый из известных христианских монастырей — святая обитель, созданная св. Иларионом, учеником Антония Великого. Монастырь просуществовал почти до конца XX века, но был уничтожен исламскими экстремистами. Так угас древнейший светоч Православия на Святой Земле. В Газе много веков стоит епископская кафедра, причём первым епископом был Апостол Филимон. Газа всегда считалась христианской православной территорией. До начала палестинского конфликта в секторе (он всегда назывался **христианский** сектор Газа) жило до 250 тысяч человек, большая часть которых была христианами. Это был один из самых мирных, цветущих и благоустроенных оазисов Палестины. После создания Израиля в сектор стали прибывать переселенцы-мусульмане. Христиане милосердно принимали первых беженцев, сочувствуя им и считая своими братьями. Освоившись на новом месте, мусульмане начали грабить, насиловать, изгонять из домов, в которых приютили их сердобольные христиане, многих убивали — такова жестокая реальность.

Есть в этом вопросе и вина Израиля, который изначально направил острие своего удара против христиан, а теперь не понимает, что именно они могут стать мостиком мира. После создания государства Израиль на международной арене сложилась принципиально новая ситуация и расклад сил. Запас прочности у израильтян в противостоянии арабам был изрядный.

Есть мнение, что Сталин препятствовал выезду евреев из СССР в создаваемый Израиль. Сионисты разглагольствуют о том, как жестокий Сталин не пускал несчастных евреев в Израиль. Это не более чем очередной ушат грязи, бесстыжая клевета на него и полное несоответствие действительному положению вещей. Отправка людей в Израиль из Советского Союза велась по той же схеме, что и “добровольцев” в Испанию периода тамошней гражданской войны. То есть набиралось необходимое расчётное количество командиров, танкистов, лётчиков, врачей, инженеров, политработников и так далее. Разумеется, таких специалистов, как физики-атомщики академики Иоффе и Харитон, авиаконструкторы Лавочкин и Гуревич, и других евреев подобного уровня туда не направляли, а вот прочим не только не возбранялось, но и практически в приказном порядке “предлагалось” выехать в Израиль. Лично я знаю несколько случаев таких “предложений”, когда люди уклонялись от вербовки. Одному инженеру-электрику с производственным стажем предложили переехать в Палестину, сулили хорошие условия. Но он достал кучу справок, что климат ему не подходит, что в пустыне у него не выдержит сердце, что у него старая больная теща и другие семейные обстоятельства, в об-

шем, не поехал. Надо заметить, что он вовсе не чужд был еврейского национализма, и когда его подросток сын женился на нееврейке, то он выгнал его из дома и не признал внуков от этого брака, хоть и состоял в партии. Другой мой знакомый, врач, лишь получив намёк, что ему следовало бы перебраться в Палестину, сразу уехал работать в затерянный в глуши санаторий и пережидал там несколько лет, пока не отпала необходимость ехать на “историческую родину”. И ещё я знал учительницу английского языка, которой предложили ехать туда же в качестве переводчика, так как было много контактов с американскими и английскими евреями, а наши в большинстве своём не владели английским. Как она говорила, что ей “удалось отвертеться”. Кстати, она уже в весьма престарелом возрасте перебралась с дочерью в Германию по какой-то программе “искупления вины за холокост”.

Ехали военные и политработники, потому что был чёткий приказ, и им предстояло заниматься гарантированно знакомым ремеслом. Большинство наших евреев вовсе не горели желанием “ехать на войну”, мчаться в пустыню Неgev и горбатиться в колхозах-кибуцах за трудодни. Поведение советских евреев в то время аналогично поведению европейских евреев после Первой мировой войны. В СССР были энтузиасты-сионисты, которые рвались строить Эрец-Исраэл, но их набралось, вероятно, всего лишь несколько тысяч из многомиллионной еврейской диаспоры Советского Союза. И им никто реально в первый период никаких препятствий не чинил, и их переезд носил добровольный характер. Нынешние горе-критики беспардонно передёргивают факты, лгут и подменяют временные периоды и понятия разных эпох, когда после многолетнего промывания мозгов “Нативом” и создания вполне приемлемых условий жизни в самом Израиле советские евреи стали рваться из СССР. И всё же подавляющее большинство, получив израильский вызов, ехали на ПМЖ вовсе не на “историческую родину”, а из австрийского перевалочного лагеря напрямик в сытую Америку. А собственно патриотов Израиля было меньшинство (до 10%).

По логике критиков Сталина, его можно обвинить и в том, что после декларации Бальфура европейские евреи наотрез отказывались ехать в Палестину, и сионистам пришлось устроить им кровавую баню холокоста, чтобы загнать остатки еврейского населения на “историческую родину”. Кстати, не очень стремились в Палестину после войны и польские евреи. Они уклонялись, пытались принять советское гражданство, прятались. Только после усвоенной неизвестно кем жуткой резни в Кельце и прокатившейся по стране серии кровавых погромов, а также отказа в советском гражданстве они вынуждены были от безысходности бежать на Ближний Восток (ещё до войны и немецкой оккупации еврейские погромы в Польше и в буржуазной Прибалтике “выпихнули” оттуда до 200 тысяч евреев!). Но в целом именно Советский Союз обеспечил достаточное количество специалистов и населения для “раскрутки” государства Израиль и решения его текущих задач, и нечего наводить тень на плетень. Препятствовать выезду евреев из СССР советские власти стали лишь после испортившихся отношений между нашими странами.

\* \* \*

Началась жизнь нового государства, но сионисты не спешили выполнять свои обязательства перед СССР. Ведь Израиль создавался ими для потребительских нужд толстосумов США и их союзников, а отнюдь не для защиты интересов простых евреев, как рассчитывал Сталин. На обустройство прибывающих еврейских масс требовались серьёзные финансовые и материальные ресурсы, которые теперь невозможно было получить от Советского Союза, да и изнурённый войной СССР столько предоставить не мог. Нужно было искать другие источники поддержки государства Израиль, и таким спонсором могли стать только Соединённые Штаты. Но к этому времени разгорелась *холодная война*, и из союзников СССР и США превратились в главных противников. Нужно было сделать выбор между ними. И Израиль выбрал США. Теперь Израиль всецело опирался на финансовую, политическую и военную помощь Соединённых Штатов и их союзников. Ортодоксальные иудеи считают, что всех евреев в землю обетованную вернут последовательно два мессии: мессия Иосиф – создаст “очаг” для возвращения, и мессия Давид – приведёт всех из-

раильтян на вновь обретённую родину. Чтобы примирить Завет с действительностью, часть ортодоксов заявила, что “коллективным мессией” стали сионисты. Но ведь создал им “очаг” реальный Иосиф Сталин, но опять иудеи не признали своего спасителя и предали его. Только и только благодаря Сталину возник современный Израиль. Сталин не предавал ни Израиль, ни, тем более, евреев — это сионисты предали его. Современный Израиль создавался его реальным создателем не под идеи сионистов, а под идеи сталинского народного интернационального государства. Сталин не создавал государство Израиль для противостояния арабам. Он боролся за создание дружественных демократических государств евреев и арабов и против реакционных тиранических средневековых монархий Ближнего Востока, поддерживаемых англичанами и американцами. Сионисты украли государство и у создавшего его вождя, и у самого еврейского народа.

\* \* \*

Когда Сталин понял, как его крупно провели сионисты, и не думавшие идти в фарватере советской политики, они сделались его злейшими врагами. Надо отметить, что в Советском Союзе с самого начала сближения с сионистами были очень серьёзные противники такой политики. Особенно активно возражали второй человек в партии А. Жданов и “железный нарком” Л. Каганович. Жданов был вообще на удивление прозорливым политиком: он почти буквально предсказал поведение Гитлера, предостерегая Сталина. Такую же непримиримую позицию занял он и по отношению к *сионистским сиренам*. К сожалению, в самый решающий период борьбы за создание Израйля, в 1948 году, он был убит, как сообщалось тогда, “убийцами в белых халатах”. И поныне фигура Жданова — одна из самых поносимых сторонниками сионистов.

Каганович, опиравшийся на собственный опыт, был принципиальнейшим противником любых контактов, тем более поддержки сионистов. В период подпольной работы его партийным заданием была революционная агитация среди рабочих-евреев, так как он в совершенстве владел идиш и ивритом и был отличным полемистом. Кагановичу нужно было вербовать кадры для революции, а сионисты призывали не тратить силы на улучшение жизни в “этой стране”, а думать только о Сионе и приближать день возвращения. Споры на еврейских собраниях были острейшие, доходило до потасовок и угроз расправы. С тех пор Каганович, в совершенстве познавший психологию и тактику сионистов, их истинное лицо, сущность и методы работы, стал их злейшим врагом. Надо заметить, что не только большевики были противниками сионистов. В начале и в первой половине XX века многие лица еврейской национальности, состоявшие в социалистических и либеральных партиях и движениях, не питали иллюзий, рассматривали сионистов как ярых буржуазных националистов и боролись с их взглядами. Даже такие националистически настроенные деятели, как члены Бунда — еврейской рабочей партии, — резко выступали против сионистов. Против сионистов боролись, и весьма решительно, ортодоксальные иудеи, считавшие, что возвращение в Сион — дело Божье, и евреи не могут по собственной воле, без Божьего повеления, без Мессии вернуться в землю обетованную.

\* \* \*

К моменту создания государства Израиль в Советском Союзе среди лиц еврейской национальности было немало тех, кто симпатизировал идеям сионистов, не очень вдаваясь в методы их деятельности. Сталин не препятствовал распространению подобных взглядов, так как считал сионистов союзниками. В СССР длительное время свободно действовал “Американский еврейский объединённый распределительный комитет” — пресловутый “Джойнт”. Эта сионистская организация под видом гуманитарной и продовольственной помощи распространяла идеи сионизма, вербовала сторонников, фактически вела подрывную работу против Советской власти. Практическая работа Антифашистского еврейского комитета была направлена на формирование националистического сионистского мировоззрения среди советских евреев. Эту дея-

тельность и настроение многих лидеров Антифашистского еврейского комитета отслеживали советские органы госбезопасности. Но до прямого предательства лидеров Израиля никаких решительных действий они не предпринимали. Когда же произошёл разрыв между СССР и Израилем, все эти материалы, в придачу с данными внешней разведки, оказались на столе у Сталина. Не уделявший ранее серьёзного внимания этой теме, он был поражён беспринципностью, подлостью и теми приёмами и методами, которыми пользовались сионисты для достижения своих целей.

Сталин ближе всего подошёл к пониманию преступной сущности сионизма и нашёл неопровержимое средство его разоблачения, за что заслужил их лютую и непреходящую бешеную ненависть. О политических действиях, шагах и приёмах сионистов было достаточно доступных материалов. А вот об участии в этих преступлениях крупнейших еврейских банкиров материалы имелись лишь в показании Рауля Валленберга. Их значение заключалось в том, что там были приведены точные имена участвовавших в финансировании Гитлера банкиров, номера банковских счетов, с которых шло финансирование, перечень реальных поставок фашистам оборудования, материалов и вооружений, имена действовавших на территории Германии в годы войны вождей сионизма и их связи с лидерами III рейха. Эти показания срывали с сионистов маску еврейских доброхотов и спасителей нации, являя всему миру истинное лицо сионизма и разоблачая их спонсоров и покровителей из числа крупнейших финансовых магнатов мира. Направление удара Сталин рассчитал безупречно. Доказательство того, что поставку автобусов и горюче-смазочных материалов гитлеровским войскам оплатили сионисты, что повлекло за собой гибель семидесяти семи тысяч американцев, означало, что евреи были врагами Америки, убившими её сыновей, а такое там не прощают. Это вело к прекращению поддержки государства Израиль со стороны США, что предвещало его скорую кончину. Московский процесс должен был сорвать маску “спасителей еврейства” с заправил сионизма. Коснулся бы процесс и закулисных организаторов и выгодополучателей (бенефициантов) с финансового олимпа – ФРС США, к которым в этом случае мог быть применён жесточайший американский закон “О помощи врагу”.

Увидев решительность Сталина, сионисты стали действовать давно испытанными методами, прописанными Ахад Хаамом, то есть угрозами, шантажом и террором. От угроз перешли к действиям: сначала подложили мину под машину посольства СССР в Израиле, а затем взорвали и само здание посольства в Тель-Авиве. При этом, как водится, подняли на весь мир крик об антисемитизме в СССР. Но Сталин твёрдо продолжал осуществлять свой план. Более того, он начал поддерживать палестинское сопротивление. Своими взрывами израильтяне достигли прямо противоположного результата. Воистину, нет у евреев худшего врага, чем сами евреи! Подготовка же процесса шла своим чередом. Основным был вопрос о качестве показаний. Главными, разумеется, были бы личные показания Рауля Валленберга. Однако он неожиданно скончался в 1947 году и не мог свидетельствовать на антисионистском процессе.

Наверно, именно результаты допросов Валленберга имел в виду Сталин, когда сказал Абакумову о Валленберге: “Ждите. Держите его наготове. Может быть, он и пригодится”. Но Валленберг благодаря “лечению” Мойрановского и Капелянского в 1947 году умер<sup>41</sup>. Информация, полученная от него, смогла пригодиться Сталину через несколько лет – после того как холодная война достигла своего апогея, когда сионистская верхушка Израиля, которой Сталин помог создать государство, предала его и переметнулась под покровительство Америки, когда еврейское лобби в советском истеблишменте сделало попытку создать в Крыму автономию и получила в ответ “разгон” Антифашистского комитета с репрессиями и жертвами. А после взрыва советского посольства в Тель-Авиве Сталин, видимо, замыслил не идеологический процесс над советскими евреями с их “поголовной высылкой” в места не столь отдалённые, о чём до сих пор талдычит наша либеральная интеллигенция, а хорошо продуманную пропагандистскую кампанию с разоблачением англо-американских связей с гитлеровской Германией и связей гитлеровской элиты с вождями сионизма. И, видимо, для этого Сталиным были затребованы показания Валленберга. Не случайно эти материалы хранились в личном сейфе Сталина.

Возникает вопрос: почему Сталин сначала позволил сионистам избавиться от Рауля Валленберга, а затем решил использовать материалы его допро-

сов в суде? В 1947 году Сталин не препятствовал сионистам в уничтожении опасного свидетеля, который, попади он в руки англичан или международного трибунала, помешал бы созданию Израйля, к чему стремился советский вождь, ведь в момент создания еврейского государства Советский Союз и сионисты были союзниками. Показания Валленберга могли отрицательно повлиять на голосование в ООН. Кроме того, Сталин убедился, что Рауль Валленберг занимался поставками стратегических материалов Гитлеру, сотрудничал с нацистами, что привело к гибели множества союзников, следовательно, был военным преступником, достойным самого сурового наказания. И позже, рассорившись с сионистами, Сталин понял, какими бесценными могут быть на суде показания Валленберга.

С той же целью была этапирована из ссылки в Москву Полина Жемчужина, которая должна была дать показания о деятельности сионистов в СССР. А вот главный и важнейший свидетель был уже уничтожен. Но вдруг по Москве поползли слухи, что Валленберг жив и что он будет на процессе. Это страшно взволновало воротил Сиона; ведь тогда перед простыми жителями Израйля, бежавшими от холокоста, и евреями всех стран откроются злодеяния сионистов во времена Гитлера, будут обнажены их замыслы и указаны исполнители из числа лидеров сионизма. Стала бы известна роль сионистов в приходе Гитлера к власти и их участие в злодеяниях фашизма. После этого рассчитывать на то, что государство Израиль будет существовать, не приходилось. Да и их покровители из ФРС США представляли, какая судьба ждёт их после разоблачения в финансировании фашизма. Ведь даже одно «автобусное дело» много лет будоражило всю Америку, а ожидался целый каскад разоблачений. Так что же случилось с Валленбергом? Возможно, к процессу готовили двойника, который должен был сыграть его роль на суде. Все показания Рауля сохранились и могли быть виртуозно использованы в ходе слушания дела. Подлинность самого Валленберга никто удостоверить не мог, а важны были только реальные показания, которые можно было проверить в США, Швеции, Англии и других странах. Слухи о том, что Рауль Валленберг спасся, так будоражили и пугали сионистов, что они и много лет спустя неоднократно пытались найти его самого и протоколы его допросов. Очень важные показания на процессе должна была дать Александра Коллонтай, которая могла рассказать о многообразной деятельности дома Валленбергов. Она тоже знала немало секретов. Но буквально накануне начала процесса Коллонтай внезапно скончалась. Однако сам процесс уже ничто не могло остановить. Ни взрывы, после которых Сталин просто разорвал дипломатические отношения с Израилем, ни внезапные смерти важных свидетелей, ни истерика о борьбе с несчастными «безродными космополитами» не меняли развитие ситуации. Остановить процесс могла только смерть Сталина...

5 марта 1953 года его не стало. Все мероприятия по подготовке суда были немедленно свёрнуты. Личный сейф Сталина, в котором, по рассказам бывшего секретаря ЦК КПСС Ильичёва Л. Ф., на видном месте хранились копии протоколов допросов Валленберга, а также план политического реформирования СССР и мероприятия по экономическим преобразованиям страны, был вскрыт ещё до похорон Сталина, а все документы из него исчезли<sup>42</sup>. Активисты сионистского движения в СССР во главе с Полиной Жемчужиной были немедленно выпущены из тюрем без объяснения причин. Процесс над сионистами в СССР был сорван, подготовленные к суду материалы уничтожены. С тех пор максимальное и непрерывное очернение Сталина должно было сделать невозможным объективный возврат к рассмотрению дела «космополитов».

\* \* \*

Вернёмся к политическим действиям сионистов. После смерти Сталина они начали создавать глубоко эшелонированную «историческую» защиту деяний сионизма и обстоятельств создания государства Израиль, чтобы предотвратить в дальнейшем любые возможности разоблачений. Им надо было скрыть свою поддержку Гитлера, участие в подготовке войны, поставки нацистам товаров стратегического назначения и уйти от ответственности за многомиллионные жертвы воевавших народов. Важным этапом на этом пути стал процесс над Адольфом Эйхманом. Автор книги «Жрецы и жертвы холокоста»

очень тонко подметил: из холокоста создаётся новая религия. Каждому вероучению, кроме светлого божества, нужны чёрные силы, сгусток отрицательной энергии, объект ненависти и отторжения, изобретатель и исполнитель идеи истребления, свой чёрт и злой гений. Таковым исчадием ада для холокоста избрали Эйхмана — этого, как заявляли в Израиле, “главного военного преступника”, “организатора убийства шести миллионов евреев”, “кровавого фашистского палача”. Кем же был этот человек, изображённый олицетворением тёмных сил, воплощённым дьяволом, создателем, организатором и непосредственным исполнителем холокоста одновременно<sup>43</sup>? Это был дослужившийся до подполковника СС мелкий штабной клерк, пределом мечтаний которого было состоять в личной охране Гиммлера. Он всю войну занимался канцелярской работой, передавая на места приказы начальства, сопровождая шефов в Палестину и в оккупированные Гитлером государства, где составлял протоколы, вёл учёт поступавших в Берлин сведений об “окончательном решении еврейского вопроса” в соответствии с “соглашением Гаавар” между сионистами и фашистами. Никаких личных инициатив, никаких разработок по реализации холокоста, никаких преступных действий Эйхман не совершал и приказов не отдавал. Безусловно, он был убеждённым фашистом и пособником в исполнении “соглашений Гаавар”, участвовал в обеспечении ужаснейших преступлений. Но возлагать на эту штабную крысу ответственность за действия организаторов и исполнителей убийств евреев — значит, сознательно искажать истину, это верх цинизма и лицемерия. Но у Эйхмана была другая страшная вина, которая и погубила его: он **всё знал** о жутких преступлениях сионистов против еврейского народа в гитлеровской Германии, как шифровальщик при генштабе в звании лейтенанта знает секретов больше, чем каждый маршал или генерал по отдельности, поскольку все документы со всех сторон идут через его руки. Шифровальщик — это механизм передачи приказов и отчётов, сам он их не издаёт и не выполняет, его роль — чисто техническая. Но знает такой сотрудник обо всех и всё, это главное<sup>44</sup>. В записной книжке Рауля Валленберга, изъятой при аресте, телефон Эйхмана и главарей III рейха соседствовал с телефонами Леви Эшколя, Кетлера, Лёвенгерца и других активистов Сиона на территории Германии, уничтожавших евреев. В этом отношении Эйхман действительно был крайне опасен сионистам, хотя практически не скрывался.

Сначала он фантастически легко сбежал из американского плена; разумеется, американским спонсорам сионистов было ни к чему держать у себя такую бомбу замедленного действия. О месте его проживания в Аргентине, что подтверждено рассекреченными данными, прекрасно были осведомлены и ЦРУ США, и БНД ФРГ, а следовательно, и Моссад Израиля, который всегда тесно сотрудничал и получал всю необходимую информацию от них. Как впоследствии объясняли сотрудники ЦРУ и БНД, они скрывали информацию о месте нахождения Эйхмана потому, что не хотели компрометировать нацистским прошлым немцев, занимавших видные посты в ФРГ. Но это детская отговорка: они не хотели компрометировать, прежде всего, тогдашнего министра финансов и будущего премьера Израиля Леви Эшколя и других многочисленных сионистских бонз, сотрудничавших с гитлеровцами. Не уничтожили Эйхмана по-тихому потому, что боялись “закладок” о преступлениях сионистов, которые могли сработать автоматически после покушения на него. Так бы Эйхман и дожил свою жизнь мелким служащим, которым он был тогда в Аргентине, если бы сам не спровоцировал развитие событий. Он решил писать мемуары, о чём упомянул в своём кругу и, главное, сделал запрос в германскую прокуратуру о некоторых деталях холокоста. Это стало для него пагубным шагом. Сведения о запросе немедленно поступили в Моссад, и было принято решение срочно действовать. Сионисты очень боялись разоблачений, и этот запрос их сильно насторожил. Израильтяне распространяли душеспасительную историю, будто бы Эйхмана выследил и поймал слепой еврей — сосед фашиста. Эта комедия с разоблачением и похищением во главе с самим директором Моссад, конечно, утка. Моссад плотно отслеживал эсэсовца, внедрив в окружение сына Эйхмана свою сотрудницу, следившую за ним с близкого расстояния. Само “похищение” Эйхмана выглядит более чем странно. Тогда в аэропортах не было видеонаблюдения, но все опрошенные аргентинцами служащие аэропорта и прочие свидетели утверждали, что Эйхман свободно

расхаживал по залу, ожидая рейса, и был совершенно спокоен. Никаких опасений эта поездка у него не вызывала: ведь он отправлялся к своему давнему соратнику Леви Эшколю, с которым много лет проработал бок о бок в Берлине. Да и не совершал он никаких кровавых преступлений, которые могли бы ему инкриминировать. Но последующие события были для него ошеломляюще ужасными: его обвинили в том, что он был главным и, по существу, единственным организатором и исполнителем геноцида евреев в ходе Второй мировой войны, что он несёт прямую ответственность за все преступления сионизма и нацизма против евреев. В лице Эйхмана сионисты убили двух зайцев: устранили важного свидетеля и создали образ злодея, виновного в холокосте, отведя будущих исследователей от сионистов. Процессом Эйхмана удалось обелить Льва Школьника и дом Валленбергов. Хотя Эйхман не тянул не только на создателя или организатора, но даже и на исполнителя холокоста. *Мелкую штабную моль* израильские пропагандисты превратили в глазах всего человечества в гиганта истребления безвинных людей, вселенского злодея. Как уж там сионисты договорились с Эйхманом, одному Богу известно, но на процессе он сказал всё, что нужно было им, и не назвал ни одного имени фактических организаторов и участников холокоста из числа сионистов и их пособников. В частности, ни разу не прозвучали имена его поделывиков Эшколя и Валленбергов. Ни слова о них — это было их историческое алиби. Началась полная перелицовка фактов. Списав все злодеяния на Эйхмана, сионисты начали выстраивать свою версию трагедии Второй мировой войны. Они с радостью смешали “жрецов” и их жертвы. То, что озвучил Эйхман, как раз и требовалось сионистам для создания легенды о “холокосте”. После этого процесса Эшколь и компания смогли вытащить на свет Божий жупел “холокоста” и шантажировать им направо и налево целые страны и народы. С наигранной невинностью излагают они теперь события на свой лад.

Правда, с термином вышла промашка; неосмотрительно истребление евреев назвали словом “холокост”, которое переводится как “жертвоприношение”, что может толковаться двойственно: и как жертва сионистами части своего народа для достижения своих целей, так как жертвовать можно только своим — чужое можно либо уничтожить, либо присвоить. Получилось по Фрейду: пытаюсь скрыть суть, невольно высказали её в термине. Позже, поняв свою оплошность, пытались его заменить, например на Шоа или ещё что-то, но термин уже вовсю шагал по планете. Ну, а уж как они обошлись с Эйхманом: действительно ли казнили или за услугу выпустили, сделав пластическую операцию, ведомо одним израильтянам. С тех пор и гуляет история про “холокост”, который устроили гитлеровцы во главе с Эйхманом, а тысячи активистов Сиона, все эти капо и оберкапо, которые орудовали в юденорднунгетто и в лагерях смерти в годы войны на территории Германии и оккупированных территориях, готовили под покровительством гитлеровцев отряды штурмовиков Сиона, просто исчезли из поля зрения служб, разыскивающих убийц миллионов мирных евреев. Ни один из сотрудников юденратов — этих фактических филиалов гестапо, — перебравшихся в Израиль, не был осуждён. До сих пор на земле Израйля спокойно доживают свой век некоторые из них. Пожалуй, один только изверг Кастнер поплатился жизнью за свои преступления, да вот только казнили его не по суду, а убили родственники тех, кого он отправлял в лагерь смерти. Охотившийся по всему миру за нацистами Визенталь в упор не видел у себя под носом палачей евреев, которые собственный народ во имя своих бредовых идей и преступных планов загоняли в газовые камеры. Так эти преступления перекрываются ложью, подменами, агрессивным национализмом.

Европу накрыло средневековое, казавшееся уже немыслимым в наше время, мракобесие уголовных преследований только за исследование фактов (!) холокоста. А Израиль в это время благополучно получает репарации с Германии. Да, план “Гаавар-холокост” стоил еврейскому народу крови шести миллионов соплеменников и принёс неисчислимые бедствия выжившим. Но возвращение сионистами для своих целей Гитлера привело к гибели десятков миллионов людей других национальностей, в том числе немцев. Сионизм несёт свою долю ответственности за миллионы погибших в ходе Второй мировой войны.

Ныне Святая Земля — это сплошной запутанный клубок противоречий в отношениях различных общин, который всё более затягивается и грозит вызвать тяжёлые последствия не только на Ближнем Востоке, но и во всём мире. Сегодня в Палестине перекликаются события, происходящие в разных частях света. Израиль — это новое еврейское гетто мирового масштаба, в котором его жители являются заложниками амбиций деятелей сионизма и корыстных расчётов воротил еврейского капитала. Израильтяне живут, как в осаждённом лагере, они оказались в кольце блокады и ненависти окружающих стран и народов, в состоянии постоянной предвоенной готовности. Состояние осаждённой крепости играет роль средневекового гетто, но дальше оставаться в Средневековье им не удастся. Главари сионистов и заправилы ФРС создали Израиль не как убежище для простых евреев, а в своих корыстных целях — как запасной аэродром и возможность без опаски нарушать законы других стран и укрываться от преследований. Но теперь в руках вновь возникшего народа есть возможность повернуть ситуацию на 180 градусов. Еврейская масса издавна делится на мизерное меньшинство, которое желает алии и активно понуждает ехать в Израиль, и подавляющее большинство евреев, которые если и сочувствовали сионистам, сами ехать в Израиль не желали и участия в преступлении сионистов не принимали. При этом страдали и другие народы, что совершенно не смущало и не останавливало сионистов в их преступных действиях. Единственным выходом из этого состояния может стать покаяние евреев за совершённые сионистами преступления, для чего им надо прямо взглянуть в глаза нелицеприятным фактам истории создания государства Израиль, найти пути решения отношений с соседями-арабами.

Сионисты, когда их кто-то критикует, обвиняют оппонентов в антисемитизме. Но именно сионисты — самые отчаянные антисемиты. Сионисты добиваются права говорить от имени всех евреев Земли. Льстя еврейским массам, сионисты постоянно разжигают чувство племенного превосходства, противопоставляя евреев остальному человечеству. Проведённые аналитические исследования показывают, что Израиль всё ещё нежизнеспособное государственное образование, которое не может существовать без основополагающей внешней поддержки и критически зависит от ряда международных обстоятельств, а это не свойственно устойчивым государствам. При внешней видимости относительного благополучия, он зиждется на лживой и преступной идеологии, поэтому приходится постоянно поддерживать чувство страха, чтобы удерживать евреев в нём. Израиль нежизнеспособен не только из-за арабского напора и других международных обстоятельств, но прежде всего — из-за внутренних противоречий, ложности основополагающих идей. Действия сионистов сегодня крайне опасны, они губительны и для евреев, и для окружающих стран и народов. Евреев пугают, что разоблачение сионизма станет для них новым холокостом. Любая критика сионизма автоматически и безапелляционно приравнивается к антисемитизму. Здесь, как и в играх с нацистами, на кон ставятся жизни и благополучие миллионов евреев.

Конечно, тяжело перевернуть сознание, тяжело осознать, что “защитники” и есть их самые страшные враги. Раньше или позже, еврейскому народу придётся прямо взглянуть в глаза правде о сионизме и холокосте и принять своё историческое решение. Израильтяне и евреи рассеяния должны найти внутри себя силы, мужество и здравый смысл и отказаться от мифа превосходства над другими народами, проявить деятельное раскаяние и стать равными между равными. Немцы смогли преодолеть нацизм, израильтянам и еврейской диаспоре предстоит преодолеть в себе сионизм, понять, что он их не защищает, а губит. Сохраниться Израиль может только в формате идей, проводимых Сталиным. Сегодняшний прогресс может превратить пустыню в цветущие сады, где евреям, арабам-христианам и мусульманам хватит места, если деньги, которые тратятся сегодня на борьбу друг с другом, пустить на освоение территории Палестины и Израиля. И никакие замалчивания, агрессии и истерики не повлияют на выбор верного решения. Хотя “взвинчивание отношений” зашло очень далеко, но всё ещё можно поправить. На это должны быть направлены усилия всех людей доброй воли.



## ИСТОЧНИКИ

1. Ст. Куняев. Жертвы и жрецы холокоста. М., “Алгоритм”, 2012.
2. Теодор Герцль. Еврейское государство. Лев Пинскер. Автоэмансипация. (сборник) М., “Текст”, 2008.
3. Теодор Герцль. Из Дневника. <http://www.litmir.net/br/?b=56330>
4. А. Бурьяк. Ахад Хаам как вычисленный премьер-министр всемирного правительства. [http://bouriac.narod.ru/Ahad\\_Haam.htm](http://bouriac.narod.ru/Ahad_Haam.htm)
5. Вл. (Зеев) Жаботинский. Слово о полку (Повесть моих дней). М., “Библиотека-Алия”, 1985.
6. Арабы однажды уже признали Израиль. Официально! Русскоязычный телеканал, № 9, ZMAN.com <http://9tv.co.il/news/2009/10/31/58962.html>
7. Мартиросян А. Б. На пути к мировой войне. <http://rudocs.exdat.com/docs/index-48479.html?page=8>
8. Вадим Кожинов. Победы и беды России. 2002. <http://batfx.com/index.php?showtopic=4584>
9. Как еврейские банкиры создавали Третий рейх. <http://www.dazzle.ru/antifascism/kebstr.shtml>
10. Виталий Виктор Хаим Арлозоров. ЕЖЕВИКА EJWiki.org (Академическая вики-энциклопедия, посвящённая еврейским и израильским темам).
11. Ревизионизм (сионизм). Википедия. <http://ru.wikipedia.org/wiki>
12. Еврейские пособники Третьего рейха (заключение). [http://holocaustrevisionism.blogspot.ru/2012/09/blog-post\\_6216.html](http://holocaustrevisionism.blogspot.ru/2012/09/blog-post_6216.html)
13. Аркадий Ваксберг. Валькирия революции. М., “Русич”, 1997. С. 424.
14. Мнимый нейтралитет Швеции. [http://scandinavija.blogspot.ru/2009/07/blog-post\\_3246.html](http://scandinavija.blogspot.ru/2009/07/blog-post_3246.html)
15. Журнал “Коммерсантъ Власть”: “На чем зарабатывали Валленберги”, 18.01.2000, № 1–2. С. 352–353.
16. Ладислас Фараго. Игра лисиц. Секретные операции абвера в США и Великобритании. М., “Центрополиграф”, 2004. Гл. 44. Барон следует на север.
17. Лев Безыменский. Будапештский мессия. М., “Совершенно секретно”, 2001. С. 26.
18. Аркадий Ваксберг. Указ. соч. С. 524.
19. Там же.
20. Сара Хелм. Список Адольфа Эйхмана. *The Sunday Times* 17.03. 2008. <http://yznaivse.ru/2009/11/19/spisok-adolfa-eyhmana>
21. Загадка дела Валленберга. [http://www.plam.ru/hist/smert\\_v\\_rassrochku/p21.php](http://www.plam.ru/hist/smert_v_rassrochku/p21.php)
22. Сотрудничество сионистов с гитлеровским фашизмом. <http://maxpark.com/community/129/content/780959>
23. Джон Лофтус, Марк Ааронс. Тайная война против евреев. Гл. 6: Хроники Иерусалима. <http://gazeta.rjews.net/Lib/secret/3.html>
24. За что убили Кеннеди? Вестник конспирологии. <http://allconspirology.org/300/Za-cto-ubili-Kennedi>
25. Дэвид Хогган. Миф о шести миллионах. Перевод с английского – © Питер Хедрук, 2005. [http://perfilovu.narod.ru/istor/holokost/holokost\\_hog-an.htm#08](http://perfilovu.narod.ru/istor/holokost/holokost_hog-an.htm#08)
26. П. Судоплатов. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 годы. М., “ОЛМА-ПРЕСС”. 1997. Гл. 9: Рауль Валленберг и тайная дипломатия Второй мировой войны.
27. Е. С. Зайдман. В тени Валленберга. Красный Крест. <http://miresperanto.com/eminentuloj/vallenberg.htm>
28. Долгая месть Рауля Валленберга. <http://berkovichzametki.com/Nomer22/Sokolovskaya1.htm>
29. Борис Соколов. Память о Рауле Валленберге. <http://www.eslovo.ru/577/k1.htm>
30. Будапештская операция. <http://www.oposuu.com/130212.htm>
31. *Luahshana*: Еврейский календарь. Рауль Валленберг. [www.luahshana.com](http://www.luahshana.com)
32. О Валленберге с новой строчки. <http://tertugga.blog.ru/147286131.html>
33. Была ли Александра Коллонтай шпионкой? <http://repin.info/neizvestnye-znamenitosti/byla-li-aleksandra-kollontay-shpionkoj>
34. Аркадий Ваксберг. Указ. соч. С. 532.
35. Там же. С. 520.

36. Там же. С. 517.
37. Шейнис З. С. “Максим Максимович Литвинов...” М., издательство “Политической литературы”, 1989.
38. Журнал “Дипломатический вестник”, июнь 2002.
39. Джон Лофтус, Марк Ааронс. Тайная война против евреев. Гл. 7: Хроники Иерусалима. <http://gazeta.rjews.net/Lib/secret/3.html>
40. Валерий Ерёмченко. Сталин и Палестина: Война за независимость Израиля, журнал “Национальная оборона”, № 12, декабрь 2010.
41. Аркадий Ваксберг. Указ. соч. С. 530.
42. Лев Безыменский. Указ. соч. С. 138.
43. Иван Галкин. Верёвка для благодетеля. Газета “Дуэль”, №№ 14–18, апрель 2002.
44. Бондаревский Г. Л. За что на самом деле был казнён Эйхман? Белая книга антисюнистского комитета советской общественности. М., “Юридическая литература”, 1985. С. 125.

ВЯЧЕСЛАВ ЕЛАТОВ

## РОДНЫЕ ФИЛОЛОГИ. ЛГУ, 1960-е

*Заметки на полях рецензии*

*Отечество нам — Царское Село...*

Пушкин

“Широка страна моя родная...” В легендарные времена Союза Советских Социалистических Республик эти слова из песни В. Лебедева-Кумача на музыку И. Дунаевского наполнялись для нас совершенно конкретным смыслом: самым обычным тогда делом было родиться где-нибудь в Петербурге, как Александр Волошин, или в деревне Чуркино Владимирской области, как Геннадий Молостнов, или в станице Отрадной, как Гарий Немченко, — чтобы обрести потом вторую родину на Земле Кузнецкой. И вполне привычным было в качестве промежуточного звена, непродолжительного, но насыщенного периода духовного взросления, иметь за спиной какое-нибудь техническое или гуманитарное (как у Немченко — факультет журналистики МГУ) образовательное учреждение, этакую *alma mater* на всю оставшуюся жизнь. Таким трамплином для меня, например, родившегося под благословенным небом солнечного Азербайджана, стал в своё время Ленинградский государственный университет, откуда я по распределению отправился в город шахтёрской славы Прокопьевск.

Нередко всё зависит от того, куда и как нас выведет кривая. Так навсегда остался на чужбине наш поэт Саша Чёрный, вдали от отеческих гробов завещал похоронить себя Иосиф Бродский. Из своего германского далека наблюдает за происходящим в России автор “почти повести” под названием “Одноклассники” Олег Юрьев (“Новый мир”, 2013, № 6). Так, преуспевая, мыкаются сегодня по свету тысячи наших предприимчивых соотечественников... Но мысли о Родине, родине большой и малой, — будь то Россия или *Russia*, как бы они её сегодня ни называли, — не отпускают, то тут, то там дают о себе знать то визитом в *родные пенаты*, то публикацией, которую пронизывает щемящее чувство ностальгии по тому, что некогда было и по сей день остаётся незаменимо дорогим и близким, несмотря ни на какие потуги “отстранённости”. Это чувствуется и в критическом отзыве Евгения Добренко “Родные космополиты” (“Новый мир”, 2013, № 4) — о двухтомнике П. А. Дружинина “Идеология и филология. Ленинград, 1940-е” (М., “Новое литературное обозрение”, 2012).

Работа Добренко — это, по сути, не столько рецензия, сколько публицистическая миниатюра. Тем не менее, заинтересованный читатель найдёт здесь, за вычетом ярко выраженной полемической составляющей, достаточ-

но информации, а ещё больше – имён ленинградских учёных, оставивших заметный след в отечественной филологии. К числу таких читателей относит себя и автор настоящих строк, выпускник отделения русского языка и литературы филологического факультета ЛГУ 1966 года.

Рецензенту, во-первых, удалось привлечь внимание к исследованию, чёткие пяты объёма которого составили архивные материалы. Во-вторых, он сумел предостеречь коллег от не критических ссылок на эту работу архивиста, в которой он обнаружил нестыковки, неточности и спорные стяжки. Дело в том, что Дружинин выступает не столько в качестве квалифицированного архивариуса, сколько в качестве общественного обвинителя. Полагаю, что Добренко не утрирует, когда относит этот труд к жанру журналистского расследования. Для вящей убедительности он сравнивает его с огромным и страшным пазлом. В этом случае исследование утрачивает свою ценность в обратной геометрической прогрессии: чем тенденциозней выбор картинки и чем тщательней подбор соответствующих документов для её воссоздания, тем больше вероятность нестыковок и тем худосочнее оказывается в результате её филологическое содержание. Не случайно наш проницательный коллега отмечает, что Дружинин исследует не столько науку о литературе, сколько номенклатурно-академический быт, адресуя, таким образом, свою монографию, прежде всего, историкам и краеведам. Не удивительно поэтому, что обильно цитируемый Фрейденберг, Гинзбург и Эткинду передоверена задача исторического осмысления предлагаемого нам “пазла”. Идеология, если вернуться к названию двухтомника, заметно потеснила филологию, а мемуаристы своими страстными проповедями заслонили литературоведов. Так и хочется в какой-то момент остановить – на манер фадеевского Левинсона – увлечшуюся своими историческими интерпретациями Фрейденберг: “Ольга... Ольга... Подвинься малость – коллег загораживаешь!”

Впрочем, Ольга Фрейденберг из ЛГУ 1940-х только исполняет ту роль, которую уготовил ей автор журналистского расследования. К тому же Пётр Дружинин не одинок, когда, оперируя документами, предлагает нам этакое “занимательное литературоведение”. Вот и Наталья Громова спешит в архив литературы и искусства для того, чтобы целенаправленно и сознательно отобрать там документы для своей “картинки” – архивного романа под названием “Ключ” (“Знамя”, 2012, № 11). Она так же, как и Дружинин, тщательно выбирает бумаги знакомых ей литераторов. Для тех, кто ознакомился с этим документально-художественным произведением, будет вполне уместным напомнить, что история русской литературы XX века – это не история борьбы писателей и поэтов против Советской власти. В этом я полностью согласен с Захаром Прилепиным (“День литературы”, 2010, № 9). Да и упомянутый выше Олег Юрьев проявляет в этом вопросе похвальную объективность, когда говорит о “картинках” в произведениях Солженицына и иже с ним. Пытаясь сказать свою “правду”, они, по мнению коллеги, осевшего на постоянное жительство в Германии, невольно творили другую “неправду”: “жизнь СССР состояла не исключительно из лагерей, волн террора, страха и убогости”. А у Евгения Добренко, похоже, уже готова своя “картинка”, когда он сам выступает в роли исследователя “формовки советского читателя”: “Это сейчас мы привыкли, что “Пушкин – наше всё”, а по тем временам (речь идёт о гимназическом учебнике 1883 года – будто и не было никакого Достоевского с его речью на открытии памятника поэту в Москве! – В. Е.) Пушкин был кем-то вроде Пелевина” (“Русский репортёр”, 2013, № 5)...

Таким образом, на наших глазах складывается этакое “пазлообразное” направление в работе с архивными материалами. Это напоминает то самое размывание филологического подхода, на которое обратил наше внимание профессор кафедры истории русской литературы МГУ Андрей Ранчин в связи с работами известного филолога из Российского государственного гуманитарного университета Ирины Сурат (“Новый мир”, 2012, № 10). Он же, кстати, предостерегает нас от безоглядных ссылок на свидетельства мемуаристов, в каком бы архивном облачении они ни предъявлялись: “Ирина Сурат не вполне свободна от мифа о Мандельштаме, созданного его вдовой в замечательно глубоких и умных, но крайне субъективных мемуарах”. Ссылка на московского доктора филологических наук позволяет говорить об упомянутом выше направлении как “мифологическом”. Так или иначе, но речь, по сути, идёт о той ограниченности, которую проявляют специалисты, когда выходят за пре-

дела своей профессии. Пётр Дружинин оказывает медвежьёю услугу ленинградским филологам, когда выставляет их в роли самодельных историков: “беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник!”

К сожалению, рецензент утрачивает способность к объективности, выстраивая свой отзыв на основе статьи Галина Тиханова “Почему современная литературная теория произошла из Центральной и Восточной Европы? (И почему она сейчас мертва?)” – “*Tihanov Galin. Why did Modern Literary Theory Originate in Central and Eastern Europe? (And Why Is It Now Dead?)* – “*Common Knowledge*”, Winter 2004, vol. 10, № 1. P. 62). Такое случается. Помнится, как подобным же образом обрёл себя на неблагодарную роль подголоска в рецензии на монографию Ирины Паперно “Семиотика поведения. Николай Чернышевский, человек эпохи реализма” известный наш современный критик Михаил Золотоносов (*Moscow News*, 1996, № 32). В своё время я откликнулся на неё статьёй “Нет, это не наука” (1996). В результате досадная нестыковка из тихановской программной статьи перекочевала в рецензию: недоумение вызывает тезис о мёртвой литературной теории.

В начале 1990-х общее внимание привлекла бурная деятельность “могильщиков”, инициированная статьёй Виктора Ерофеева “Поминки по советской литературе”. Тогда же под грохот погребальных барабанов закрывали кафедры советской литературы в университетах. В том же СПбГУ такой кафедры сегодня нет. С этим можно было соглашаться или нет, но тогда, по крайней мере, всё было понятно: кто кого и за что хоронит. Но на чьи похороны сзывают нас теперь? Тиханов реанимирует идею поминок а la Ерофеев, чтобы примерить её сегодня на советскую науку о литературе? Это было бы логично: разделались с советской литературой – добрались вслед за ней и до советской филологии. Ан не тут-то было: оплакивают почившую в Бозе науку, круто замешанную на “бродильном космополитическом компоненте”! Такой головоломный трюк заслуживает того, чтобы на нём остановиться особо.

Начнём с того, что Тиханов ассоциирует космополитизм в науке о литературе с филологией в целом: современное литературоведение – это побочный продукт космополитизма. Схема – проще некуда: была-де поначалу настоящая советская наука, то есть с известным бродильным компонентом. Были и настоящие советские филологи. Но благоденствию этому пришёл конец в послевоенные годы: советская наука о литературе исчезла в 1946–1953 годах. Не расходясь с Дружининым, Тихановым и Добренко в главном, Олег Юрьев эту катастрофу относит к 1930-м годам. И возникло, дескать, “патриотическое” литературоведение, царство которого продолжалось до конца 1980-х. В другом месте рецензии высказано сожаление о том, что классическая фундаментальная наука – а именно на неё навесили заковыченный ярлык “патриотической”! – пережила и хрущёвскую “оттепель”, и горбачёвскую “перестройку”, и ельцинские “реформы” и здравствует как ни в чём не бывало сегодня, в “нулевых” и уже в 10-х XXI века. Ну, попробуй-ка тут разберись, что к чему, когда так городят семь вёрст до небес, и всё лесом! Вот и Юрий Каграманов – какого эксперта в качестве примера нам ещё нужно! – и тот совершенно сбит с толку подобными пируэтами: “А вот академический мир проявляет в интересующем нас плане впечатляющую неразворотливость. <...> академическая наука, похоже, основательно запуталась и не способна толком что-то объяснить широкой публике...” (“Новый мир”, 2010, № 11. С. 137). И слава Богу, что неразворотлива! Это известная часть нашей литературной критики и публицистики, начиная с “оттепели” 1950-х, суетится и морочит голову широкой публике и не в меру впечатлительным писателям! Это они, “перестройщики” и “реформаторы”, рядятся сегодня под ту “академическую науку”, крёстным отцом которой был грибоедовский Репетилов. Какой с них может быть спрос! Нам просто не следует принимать всерьёз то, о чём они сегодня шумят, и не приписывать их откровения академической без кавычек науке.

Итак, фундаментальная наука оказалась живучей в силу своей неразворотливости. Тех, в ком не забродил пресловутый “компонент”, это обнадёживает. Понятна и та удручённость, какую вызывает этот факт у наших оппонентов. Но зачем же доводить дело до истерики? К чему эти погребальные – не по адресу! – фанфары? Думаю, что Тиханов и К\* лукавят. Сочиняя свою мессу по успешному космополитизму, они не могут не знать, что с помощью “бродильной” критики у нас была и “другая” литература, и “другая” наука о литературе, щеголявшие в нарядах то постмодернизма, то культурологии, то – в самое

последнее время – крутого, с вавилонской разноголосицей и пылью до небес, антропологического поворота. Прикидываться сегодня такими наивными простачками и тянуть зауспокойную молитву по живому – это тот самый режущий слух мотив, от которого (наши англоязычные коллеги знают это лучше других!) – *the tune the old cow died of*, как уверяют англичане, – сдохла, не выдержав, старая корова.

Да, наши коллеги лукавят. Погребальная “шова” (да простит мне шеффилдский коллега такое запанибратское обращение с английской лексикой: нам тут, в “Раше”, и не такое доводится слышать!) устраивается сегодня для того, чтобы увести вновь и вновь реанимируемый “компонент” от ответственности за нынешнее удручающее – и в этом наши с рецензентом мнения совпадают – состояние гуманитарной науки: это не он, мол, за всё это безобразие в ответе; он-то, болезный, ведь давно почил, какой с него может быть сегодня прес? Это всё она, треклятая “патриотическая” филология виноватая! Это всё “люди 1949-го”, их ученики и последователи виноватые! С них вот и спрашивайте... Что ж, спрашивают – надо отвечать, ибо, судя по всему, мы, выпускники ЛГУ 1960-х, в этих самых презренных наследниках традиционной филологии и числимся.

Начну с режущих глаз нестыковок в суждениях рецензента. В системном кризисе со второй половины 1940-х находилась якобы советская гуманитарная теория, но умирает не она, а непримиримая по отношению к ней “другая”. Не стыкуется и время кончины: у Дружинина это вторая половина 1940-х, у Юрьева – 1930-е, а Фрейденберг говорит, по сути, о 1917-м, когда и к власти, и в филологию пришла крепостная Россия, “с рабством в крови, тёмная. Забитая и жестокая, стала у всех рулей <...>”. Приведу и другую цитату из того же дневника самодетельного историка, в роли которого выступает на страницах двухтомника профессиональный филолог, а читатель пусть сам попробует состыковать её с первой цитатой: “Сталин призвал к власти этих управителей, помещичьих хозяйчиков, жандармерию, станowych, кулаков, кабатчиков. Сейчас они стали заведующими столовыми и магазинами, управляющими домами и начальниками учреждений <...>”. Фрейденберг не откажешь в наблюдательности. Она должна была видеть то, о чём с такой страстью, пусть непоследовательно и противоречиво, но с таким неподдельным отвращением писала в своём дневнике. Очевидно, есть правда в наблюдениях филолога из ЛГУ, она видела и хорошо знала тех людей, о которых так выразительно писала. Она в данном случае не лукавит.

Лукавят авторы пазла-страшилки и программной статьи об упокоении современной литературной теории. Дружинин, по меткому замечанию рецензента, выступает в роли манипулятора архивными материалами: “Собственно, выстраивание документов и исторический нарратив и составляет содержание 1300 страниц текста. Работа исследователя в этих условиях технически сводится к работе монтажёра, но содержательно – к работе обвинителя”. Слово сказано: мы имеем дело с искусным монтажом. В этом и проявляется лукавство: объективная картина подменяется произвольной и предельно тенденциозной “картинкой”. Такими вот цирковыми манипуляциями читателя подспудно подталкивают к заведомо ложному выводу: вот когда мы по-настоящему захороним патриотически ориентированное литературоведение, которое, дескать, до сих пор в плену советских национальных мифов, вот тогда-то и воскреснет та, настоящая наука – с бродильным, как сегодня, антропологическим, а завтра – с каким-либо ещё покруче поворотом. Свежо предание!

В центре рецензируемого двухтомника – ленинградская филология. Точнее – филфак ЛГУ 1940-х. Но Добренко не ограничился этим периодом (в противном случае у меня не было бы повода откликнуться на его статью) и вслед за Тихановым ведёт разговор в целом о советском периоде, захватывая и постсоветский. Отделяваясь общими советологического покроя стереотипами и штампами, он не называет тех, по его определению, невежд-всезнаек, тех проходимцев, которые преподавали и вели научную работу на филфаке после 1953-го. Может быть, потому, что филфака 1960-х он просто не знает: не знает ни Проппа, который в это время читал нам курс устного народного творчества, ни Ерёмина с Берковым, ни Макогоненко с Мануйловым, ни Деркача с Бялым, не говоря уже о кафедре русской советской литературы. Да и с автором тетралогии о Пряслиных, который заведовал этой ликвидированной кафедрой в 1950-х, наш коллега, судя по рецензии, не встречался. Остаются

70–80-е. Но ведь и там, по предлагаемой нам тихановской схеме, правила бал если не сами “люди 1949-го”, то их питомцы, то есть всё те же *околонаучные пройдохи*. Да, незавидной была школа у нашего рецензента, и вряд ли прорехи в его академическом образовании могла позже восполнить практическая работа советолога, специализирующегося на “Сталинской культуре”.

Пытаясь найти объяснение такой *остраненности* от добротного филологического образования, вспоминаю, что где-то я читал, с каким сожалением говорил о годах своего студенчества в МГУ один из известных его выпускников 1970-х Юрий Кублановский: не добрал-де, сетует он, из кладезя академической премудрости из-за легкомысленного сближения с декадентствовавшей богемой. Сегодня, кстати, поэт, полемически заостряя свои суждения о советском прошлом, говорит, что “прежняя образованщина ныне представляется достойным культурным слоем” (“Новый мир”, 2012, № 3. С. 141). Но разделяет ли подобное сожаление и прозрение Евгений Добренко? Вряд ли. А как иначе объяснить, что он с такой лёгкостью вставляет в обойму родных ему космополитов не только “преподавателя немецкого языка” Проппа (по студенческим лет привычке у своих родных филологов я опускаю инициалы), но и специалиста по истории отечественной литературы первой трети XIX века М. А. Гиллельсона, знатока творчества Белинского, Герцена и Гоголя Ю. Г. Оксмана, исследователя русского XVIII века И. З. Сермана? Не говоря уже о Г. А. Гуковском (называю тех, кто перечислен в альтернативной истории отечественной литературы по Эткинду), который сегодня – как кость в горле апологетов постмодернизма и последующих “поворотов”! Как, впрочем, и названные перед ним, если судить о них по научным трудам, а не документально-мемуарному монтажу. Какие же из них космополиты, когда всё их творчество – лишь те самые “советские национальные мифы”, в плену которых, по мнению Добренко, до сих пор находится наше по-русски провинциальное “патриотическое” литературоведение? Зачислять их в свою родню – значит, идти на поводу злостных клеветников и доносчиков.

Отсюда вывод: манипуляция двумя обоймами, произвольно заполненными именами ленинградских филологов, – это лишь составная часть монтажа, к науке о литературе не имеющего никакого отношения. Отсюда и заключение: даже о тех, кому Дружинин уготовил в своей “картинке” роль пропагандистов и агитаторов, нам следует говорить, прежде всего, как об учёных. Об О. М. Фрейденберг – как о специалисте в области античной литературы и организаторе кафедры классической филологии в ЛГУ. О Л. Я. Гинзбург – как об исследователе творчества Пушкина и Лермонтова, Белинского и Герцена. О направленности научных интересов ученика В. М. Жирмунского Ефима Эткинда мы тоже судим по его “альтернативной истории”, традиционной и без “бродильного компонента”. Таким способом мы можем разрядить эти противопоставленные одна другой обоймы, суть которых сводится к следующему: если, мол, славу советской литературной науки составили (обойма со знаком “плюс”) Эйхенбаум, Жирмунский, Гуковский, Азадовский, Оксман, Пропп, Томашевский, Фрейденберг, то сгубили (обойма со знаком “минус”) эту самую советскую филологию Бельчиков, Базанов, Сидельников, Благой, Храпченко, Самарин, Бушмин, Щербина, Бердников... Такие вот предлагаются нам номенклатурно-академические списки “чистых и нечистых”. С соответствующими характеристиками: о первых сказано, что они были европейски (будто Россия испокон веков была дремучей “Рашей”!) образованными людьми; о вторых – что это были невежды и проходимцы... Свежо предание! Ведь ещё Блок – задолго до О. М. Фрейденберг и Олега Юрьева! – говорил о вековой распре между “чёрной” и “белой” костью, между “образованными” и теми, кому к образованию путь был наглухо закрыт, между интеллигенцией и народом. Ведь это он тогда, сто лет назад, укорял русскую интеллигенцию, которой, по его словам, “точно медведь на ухо наступил”: не стыдно ли кичиться своей образованностью и издеваться над безграмотностью непросвещённого народа?!

После такого расклада читателю остаётся только решить, кому он наследует, какую родословную из двух предложенных он для себя выбирает. Неискушённый читатель, к сожалению, именно так и поступает. Он не замечает подмены, весь фокус которой заключается в том, что ему с ловкостью напёрсточников подсунули ложную дилемму: “чистые” или “нечистые”? Свидетельствую: в моей филологической родословной оказываются имена из обеих ис-

кусно смонтированных обойм. С помощью лично известных мне коллег, я буду говорить о ленинградских филологах, опираясь на их преподавательский опыт и научное наследие.

Родные филологи 1960-х! В числе первых, кто приветил нас, вчерашнюю абитуру, согласно учебному плану и расписанию занятий отделения русского языка и литературы были Ветвицкий и Мануйлов, Пропп и Рождественская. С первых же лекций и семинаров нам был задан тот академический тон общения, когда в порядке вещей считается, что студент может в чём-то и не согласиться с преподавателем. Пусть он на первых порах и заблуждается в силу своей неосведомлённости, но студент, как напомнил нам великое изречение древних ректор университета Александр Данилович Александров, – это не сосуд, который надо наполнить, а светильник, который надо зажечь... Сегодняшний ЕГЭ, по-моему, противостоит такой ориентации: безликие тесты заметно потеснили личный контакт экзаменуемого с экзаменатором. На моей памяти экзамен продолжал “образовывать” будущих специалистов, а не превращался в ритуальный досмотр “сосудов” – “чайников” и прочей кухонной утвари. Помнится, как настраивал нас на свой экзамен специалист по испанской литературе, читавший нам курс зарубежной литературы эпохи Возрождения: мне скучно будет выслушивать от вас то, о чём рассказывал я в своих лекциях; а вот если вы принесёте на экзамен что-нибудь, о чём я сам ещё не слышал, – это будет для меня настоящим праздником...

Рождественская в своих лекциях вводного курса современной русской советской литературы подзадоривала новоиспечённых первокурсников своим демонстративно критическим отношением к Евгению Евтушенко и показным скепсисом в оценке интимной линии сюжета романа Галины Николаевой “Битва в пути”. Не уступал ей в этом отношении и Мануйлов. Одну из своих очередных лекций по курсу “Введения в литературоведение” он устроил для нас в Эрмитаже. Развернув группу студентов со сноровкой знающего своё дело экскурсовода перед картиной художника-модерниста, он незаметно покинул преподавательское место и скромно встал в сторонке. На обращённые к нему наши вопросительные взгляды он лишь пожимал плечами и едва уловимым жестом отсылал к экспонату: думайте, мол, сами, решайте сами...

У Ветвицкого на семинарах по современному русскому языку была характерная манера: поднеся палец к уголку рта, он выдерживал паузу, будто и сам был озадачен возникшим вопросом. Вместе с ним на поиск устремлялись и мы... После Ветвицкого нас на той же кафедре обрабатывали, сменяя друг друга, Тарковский, Фёдорова, Соколова... Тарковский был не просто одним из родных филологов, он стал для меня и *крёстным отцом*. Когда на втором курсе я задумал было оставить филфак, чтоб вновь поступать на философский, Ростислав Беакаевич два часа не выпускал меня с кафедры, пока не убедил: окончи сначала филфак, получи добротную конкретную специальность – и лишь потом иди и занимайся своей философией, сколько твоей душе будет угодно!.. Впрочем, и на записанной в дипломе специальности филолога-литературоведа я остановился не сразу: лингвистика или литературоведение, фонетика или фольклор, древняя или современная советская литература?.. Остановившись на советской литературе, я до сих пор с благоговением отношусь к тем предметам, которым я, в конце концов, предпочёл современную литературу. Благословенная наша литература 1950–1980-х! Кто только из диссидентствующих не бросал в тебя камень презрения и безоговорочного осуждения! Теперь, правда, те же камни из тех же рук полетели в русскую досоветскую классику – такой вот “поворот”... Но вот три года назад выпускник МГУ Владимир Березин уже говорил о том, что претензии к советской литературе нужно выстраивать очень осторожно. А по поводу поминок он, с одной стороны, заметил, что слухи о смерти советской литературы были преувеличены, а с другой – прозорливо объяснил: то, о чём писал Ерофеев, было не концом советской литературы, а “началом конца литературы вообще” (“Соль”, 2010, 2 августа).

Помню, как Фёдорова преподавала нам урок академической благопристойности. По какому-то из обсуждаемых вопросов я позволил себе не согласиться с ней. Прямо с семинара она отправила меня за нужным текстом в факультетскую библиотеку, и когда оказалась, что у меня были основания для возражений, она, во-первых, похвалила меня за усердие, а во-вторых, объяснила причину своих сомнений: профессиональные лингвисты настоль-



ко погружены в историю языка, что порой перестают ощущать грань между его вчерашним и сегодняшним днём. Так нас тогда учили – совсем не в духе той непочтительности к своим учителям, о которой читаем в рецензии Добренко. А Соколова вспоминала о своём дореволюционном студенчестве: и тогда, как позже Кублановский, не все рвались, например, на лекции Шахматова. И тогда была разная мотивация: кто-то настраивал себя на занятия наукой, а кто-то метил на тёплое номенклатурное местечко... А сама Соколова уже тогда, в силу преклонного возраста, читала свои лекции по истории русского языка в аудитории первого этажа. Сидя рядом с кафедрой на стуле, она перебирала свои карточки, страницы будущей книги, и доверительно беседовала с нами о том, что ещё не попало в учебники: по учебникам, мол, вы и без меня подготовитесь к экзаменам... Как далеко это отстоит от сегодняшней практики натаскивания к ЕГЭ! Первокурсники, поступившие в МГУ в 2009 году, свидетельствуют: последние три года в школе они не читали книг и не писали сочинений, а лишь тренировались вставлять пропущенные буквы и ставить галочки (“Огни Кузбасса”, 2013, № 2. С. 152).

Перебирая в памяти известных мне ленинградских филологов 1960-х, вспоминаю случай, который свёл меня однажды с деканом филфака Борисом Александровичем Лариным, который ушёл из жизни, как и профессор Ерёмин, ещё в мою бытность студентом. Формально он занимал одно из тех престижных рабочих мест, из-за которых всегда и прежде всего ведёт свой торг околонучная тусовка. Но лингвист напрочь затмил в Ларине декана. И я это лишний раз почувствовал во время той памятной для меня мимолётной встречи. Со своей работой по составлению диалектологических карточек для словаря севернорусского говора я устроился в одной из свободных аудиторий. Открывается дверь, на пороге – Ларин, за ним – группа учёных. Декан никоим образом не дал мне почувствовать ту иерархическую пропасть, которая разделяла нас: поздоровавшись и вежливо справившись, не помешают ли они моим занятиям, он пригласил в аудиторию своих коллег. Я не мог не прислушиваться: обсуждалась работа Льва Успенского, который известен не только как писатель, но и в качестве серьёзного языковеда; он участвовал, например, в составлении словаря древнерусского языка.

Родные филологи 1960-х! Кроме русского и одного из западноевропейских языков, нам давали старославянский и один из современных славянских языков. Польскому языку в течение двух лет нас обучал доцент кафедры славянского отделения Оболевич. Ему же я обязан и стилем ведения школьных уроков, который нередко воспринимался проверяющими как замедленный. Он не спешил с порога обрушивать на нас свою учёность и всегда оставлял “воздух” для живого общения со студентами. Какие-то из его ненавязчивых наставлений помогают мне и сегодня. Он, например, говорил: работайте без оглядки на то, печатают вас или нет; если работа стоящая, придёт время и для её публикации. Именно так! Что-то из моей литературной публицистики печатали сразу, другое – года через три, третье отстаивалось в течение аж десяти лет...

После вводного курса Мануйлова нашим приобщением к литературоведческому ремеслу напрямую занимались Берков, Холшевников и Плоткин. Просеминар первого из них так и назывался: “Введение в технику литературоведческого исследования”. Помню себя на кафедре перед Берковым, перебирающим мои карточки с литературой по заданной теме. Я прислушиваюсь к его замечаниям. Добрая половина собранного мной материала осталась без комментариев: он просто откладывал такие “пустышки” в сторону... Теперь эту работу я проделываю самостоятельно: нагребая материал, потом – “сажусь перед Берковым” – безжалостно удаляю всю пробравшуюся в науку халтуру... Было у кого поучиться в 1960-х!

А Холшевников читал нам курс поэтики и стилистики. По его совету (что там, дескать, писать о стихах – это несложно; а вы попробуйте себя в работе над прозой!) для своей курсовой я выбрал тему “Поэтический синтаксис в рассказе А. Солженицына “Матрёнин двор”. К стихосложению по Холшевникову я вернулся позже, когда вёл в школе соответствующий факультатив. Кстати сказать, в связи с этим я вышел и на Мануйлова – теперь уже в качестве автора сонета, написанного им вскоре после окончания гражданской войны:

*Так жизнь летит конём неудержимым  
По целине моих весенних дней  
И с каждым днём становится родней,  
Пороховым овеянная дымом.*

*Мужали мы, когда в краю родимом  
Из года в год бывало голодной.  
Когда под грохот боевых огней  
Горели мы в костре неповторимом.*

*Вот отчего я солнце так люблю  
И знаю цену этой жизни милой,  
И мотыльку, и каждому стеблю.*

*Недаром сердце бьётся светлой силой  
И радостно стучит, к земле припав,  
И слушает шушанье мудрых трав.*

Заключительным аккордом в моём становлении в качестве филолога-литературоведа стала дипломная работа “Пейзаж как средство композиции в романе Леонида Леонова “Русский лес”, которая была написана под научным руководством Плоткина. Не стану обходить обозначившийся сегодня “острый угол”: в статье “Одноклассники” о последнем поколении русского литературного модернизма (“Новый мир”, 2013, № 6) Олег Юрьев выступил в качестве непримиримого оппонента советской литературы и советского литературоведения. Во-первых, достаточно сравнить его оценку творчества Веры Пановой с тем, что мы находим в монографии Плоткина “Творчество Веры Пановой” (1962). Её пример послужил Юрьеву отправной точкой для далеко идущего вывода, о котором он пишет в заключении: “Итак, общее правило: средняя модернистская проза первой трети XX века хуже средней реалистической прозы того же времени, но вершины её далеко, то есть высоко превосходят вершины реалистической литературы от Горького до Шолохова <...>”. Вот так, ни больше, ни меньше: от Горького до Шолохова! А в отправной точке он так же высоко вознёс над Верой Пановой Всеволода Петрова. Во-вторых, он столь же пренебрежительно отозвался о “Леонидах Леоновых и их с ними”, зацепив, таким образом, всю последующую советскую литературу, не исключая ни Гранина, ни Дудинцева, с почтением упоминаемых в рецензии Добренко, и где-то самым краешком – мою дипломную работу.

Категоричность, говорят, – признак ограниченности. Если Кублановский и не добрал чего-то как искусствовед в МГУ, то у Юрьева, выпускника Ленинградского финансово-экономического института, проблем с этим, очевидно, было не меньше... “Беда, коль пироги начнёт печи сапожник!” А за плечами у Плоткина – участие в работе Первого съезда советских писателей (членский билет, подписанный Горьким, он хранил всю жизнь), докторантура в Институте русской литературы Академии наук в том же Ленинграде, заведование после Фёдора Абрамова кафедрой советской литературы в ЛГУ, работы о Писареве, Герцене, Чернышевском и поэтах XIX века И. Никитине и А. Кольцове. Он был одним из авторов школьного учебника по советской литературе, который выдержал двадцать два издания. На наши вопросы относительно его переработки объяснял, что “Учпедгиз” не давал им на то своего согласия. Уже в Прокопьевске меня догнали его книги “Литература о войне” (1967) и “Даниил Гранин” (1975).

До моей дипломной работы у Плоткина у меня был ещё его же спецсеминар по современной русской советской прозе с курсовой работой о проблемах социалистического реализма. Как сейчас помню её обсуждение на одном из последних занятий. Во-первых, я высказал претензии к А. Солженицыну: он-де изображает жизнь статично. Плоткин тут же отреагировал, умерив мой школярский запал: а ты сам попробуй дать её в развитии, а потом требуя от Солженицына!.. Я до сих пор оглядываюсь на тот спецсеминар и прислушиваюсь к Плоткину, когда пишу о втором полупериоде русской советской литературы. Так было в 2000-м, когда я писал статью “Воскресение”. Так было и в 2006-м, когда в статье “Прощание с Матрёной” я вернулся к известному рассказу Со-

лженицына в связи с экранизацией его романа “В круге первом”: “Непроходимая, вездесущая дурёха – вот во что превратилась возвышенная мечта “шестидесятников” об идеалах глубинного народного самосознания. “Святая!” – ещё шепчет кто-то рядом. “Дура!” – гогочет в ответ прагматичная тусовка”.

Если на просеминаре у Беркова я получил первое представление о том, сколько “пустышек” оказалось в моей картотеке, то во время работы над проблемами соцреализма я был поражён масштабами этой кормушки для “пустышек”. А Плоткин только улыбался, наблюдая, как я учусь отличать полноценные зёрна литературоведения от пустопорожних “паровозных” плевел. Это было вторым (после суждения о художественном методе Солженицына как о реализме критическом) “научным” для меня открытием: я стал различать ничего не говорящие штампы, которые, как паровоз, должны были вытягивать за собой до наукообразного уровня весь следующий за ними состав псевдонаучной галиматии. Те уроки не прошли даром: я и сегодня узнаю их, паровозных дел мастеров, когда они под видом критики соцреализма в пух и прах разносят свои собственные вчерашние “паровозы” (да поймут меня правильно железнодорожники: речь идёт о “паровозах” филологического разлива). Потеха! Вчера они несли несусветную чушь об этом художественном методе, а сегодня они же с пеной у рта доказывают его несостоятельность. Имеющий очи да видит: наука всегда отличалась от наукообразных поделок, будь то суждения о соцреализме, личности великого русского поэта Пушкина или выдающегося нашего мыслителя Чернышевского... Чего бы ни касалась рука этих якобы учёных, этих современных мидасов (была такая прореха на человечестве в образе непомерно жадного до золота царя), всё обращается в гадость и мерзость, будь то филология или генетика, электроника или астрономия...

С фундаментальными курсами фольклора и истории письменной литературы нас знакомили, сменяя друг друга, Пропп и Ерёмин, Берков и Макогоненко, Деркач и Бялый, Наумов, Плоткин и Гладковская. Помню, как я сдавал экзамен по устному народному творчеству. Не дослушав моего ответа по вопросам билета, Пропп в режиме свободного собеседования поинтересовался, что я думаю о современном фольклоре. Выставляя в зачётку отличную оценку, он лаконично прокомментировал: “Вы думаете!” А потом усадил меня на своё место перед готовящимися отвечать студентами и – пошёл завтракать!.. Никакие, мол, шпаргалки и учебники – тогда ещё не было мобильных! – не помешают экзаменатору установить уровень подготовки студента во время их личной беседы. Так считал, к слову, и Бялый, когда, дождавшись, пока мы, первая четвёрка, возьмём билеты, поинтересовался, хватит ли нам сорока минут на подготовку, и ушёл по своим делам... А Пропп вернулся ко мне, когда много позже я обратился к литературной публицистике: как было, например, не сослаться на него, когда в 2006-м я писал о волшебниках в статье “Гарри Поттер и бывшие дети”.

При всём универсализме упомянутых Эткингом “Морфологии сказки” и “Исторических корней волшебной сказки”, никаким космополитом Пропп, конечно же, не был, если судить не по доносам, а по его собственным фундаментальным исследованиям и научным трудам названных в рецензии фольклористов: все они сплошь и рядом патриотичны. В 1955 году был опубликован “Русский героический эпос”, а спустя три года – “Былины”; в год, когда он читал нам свои лекции, вышли в свет “Народные лирические песни”, а спустя два года, в 1963-м, – “Русские аграрные праздники”. Не уступали ему и его коллеги из числа названных в рецензии Добренко. К “советским национальным мифам” могут быть отнесены опубликованные в 1958 году “История русской фольклористики” М. К. Азадовского и “Эпическое творчество славянских народов” В. М. Жирмунского. А как обойти вниманием материалы фольклорных экспедиций, которыми руководил В. М. Сидельников? Неужто только на основании того, что он попал в обойму “нечистых”, мы проигнорируем такие осуществлённые под его руководством издания, как “Волжский фольклор” (1937), “Красноармейский фольклор” (1938) и “Русская частушка” (1941)? Замечу, что даже по хронологии этих изданий мы не можем отнести Сидельникова к заклеянным “людям 1949-го”. А ведь у него были ещё и библиографический указатель “Русская народная песня” (1962), и такие обобщающие труды, как “Русское народное творчество и эстрада” (1950), “Поэтика русской народной лирики” (1959), “Былины Сибири” (1968), “Русское народнопоэтическое творчество советской эпохи” (1969)... Да, тысячу раз, повторяюсь,

прав Захар Прилепин: “История русской литературы XX века – это не история борьбы писателей и поэтов с советской властью”. То же самое я мог бы сказать и об отечественной филологии. Это не значит, что такой борьбы не было. Сошлюсь на признание Леонида Бородина в его последнем интервью, которое он дал молодому критику Веронике Васильевой, тем более что при этом писатель затронул и интересующий нас архивный вопрос: “<...> приход в литературу мой совершенно случайный. Я был в подпольной организации, мне дали задание вступить в Союз писателей”. И далее: “Периодически я удаляю все архивы, переписку со старыми жёнами – фиг кто докопается, что у меня было на самом деле”. Это признание стоит в одном ряду с манипуляциями архивными материалами, которые имеют место в работах Н. Громовой и П. Дружинина. Но это уже – “занимательное литературоведение”, вид развлечения и приятное времяпрепровождение на каком-нибудь почившем “Апокрифе” какого-нибудь Ерофеева.

Кроме Проппа, из филологов ЛГУ 1960-х никто больше в рецензии не назван, а ведь Добренко вывел читателя далеко за пределы 1940-х. История письменной литературы начиналась для нас с лекций Ерёмкина (древнерусская литература) и Беркова (XVIII век). С Игорем Петровичем Ерёмкиным филфак прощался в 1963-м. Его научное наследие и сегодня помогает нам противостоять напору космополитов – “евразийцев” и разного толка филологов от антропологии, – недооценивающих культуру средневековой, по Чивилихину, Киевской Руси. Нарушая предложенную нам сегодня схему, он в 1944-м публикует работу о “Слове о полку Игореве”, в 1946-м – монографию о проблемах историко-литературного изучения “Повести временных лет”, в 1948-м знакомит нас с поэтическим стилем Симеона Полоцкого, а в следующем – с “Киевской летописью”. Далее, опять-таки без оглядки на выстраиваемый сегодня частокол из 1946–1953-го годов, Ерёмкин исследует “Слово о полку Игореве” как памятник политического красноречия, в конце 1950-х он включается в дискуссию о реализме древнерусской литературы, а в 1961-м обращается к русской литературе XVII–XVIII веков... С такой погружённостью в науку о литературе у профессора, очевидно, не оставалось времени, чтобы отслеживать проблемы номенклатурно-академического быта. Вероятно, поэтому он и иже с ним и выпадают из поля зрения наших “расследователей”.

Ситуацию проясняет профессор из МГУ А. Ранчин. Он говорит о тех перекосах, которые совершенно исказили картину нашего прошлого, над созданием которой, добавлю от себя, трудились ленинградский филолог Ерёмкин и его коллеги. Постмодернистское сознание, продолжает А. Ранчин, объявило Прошлого производным от нашей системы понятий: “Кое-какие факты, конечно, когда-то имели место быть, но связь между ними, но наделение их смыслом всецело зависит от внешнего взгляда, от исследователя. Интерпретатор, будучи скорее не учёным, а художником, конструирует образ прошлого по духу своего времени и по собственному вкусу. <...> постмодернистский подход к прошлому – диагноз если не болезни, поразившей гуманитарное знание, то усталости и разочарования в возможности постижения истины, в правильном, адекватном истолковании текстов – источников других эпох” (“Новый мир”, 2011, № 9). Перефразируя Макогоненко (об этом родном филологе речь впереди), можно сказать, что в постижении истории нашего Средневековья нам следует устремляться – вперёд! – к Ерёмину...

Шаг за шагом, имя за именем, – где благодаря коллеге из Шеффилда, а где и вопреки его критическому запалу, – восстанавливаю свою филологическую родословную. Не задерживаясь на непреходящей ценности собственных трудов Беркова, смотрю, кто из предложенных читателю обойм входил в орбиту их притяжения. Тут и Б. М. Эйхенбаум с работами о Карамзине и поэтике Державина, и Г. А. Гуковский, возглавлявший группу по изучению русской литературы XVIII века при Пушкинском доме и посвятивший этому периоду такие исследования, как “Русская поэзия XVIII века”, “Очерки по истории русской литературы XVIII века”, а также учебник истории русской литературы того же периода...

Клеветникам-доносчикам, обвинившим его в космополитизме, не нравилось, вероятно, совсем другое, а именно патриотическая направленность его научной работы. На той же орбите, куда нас выводил в свих лекциях Берков, мы знакомимся с монографиями Макогоненко о Николае Новикове и русском просвещении XVIII века, с его же книгами о Фонвизине и Радищеве. Здесь же

мы находили работы И. З. Сермана о Ломоносове и Державине... В 2011-м я написал стихотворение “Серебряный век”:

*Ну, что там за мираж — “серебряный” ваш век?  
Стихи “другие” и совсем “иная” проза —  
И вот ещё вчера нормальный человек  
Стал обнаруживать все признаки психоза:  
То скачет, то лежит, не поднимая век,  
В душе наркотика губительная доза;  
То мутит дольника разболтанный калибр,  
То пытка — якобы стихами “под верлибр”.*

*Вот так и к нам словесность та пришла, “другая”:  
Не всё то яство, что нам дилер продаёт,  
Не всё то песня, что гремит, не умолкая,  
Не всё то серебро, что чернью отдаёт,  
Не всё уроки, что нам, вечер коротая,  
Владимир Познер до сих пор преподаёт...  
Другие овцы и другие пастухи,  
Под новой маской — те же старые грехи.*

*А век Серебряный сегодня мы забыли,  
Приняв за классику оптический обман;  
Век восемнадцатый — вот где слагались стили!  
Вот где классический рождался наш роман!  
Вот где поэзию у нас благословили!  
Вот где немеркнущая слава россиян!..  
Вот где явился нам один из тех пророков,  
Поэт Серебряного века Сумароков:*

*“Нельзя, чтоб тот себя письмом своим прославил.  
Кто грамматических не знает свойств, ни правил  
И, правильно письма не смысла сочинить,  
Захочет вдруг творцом и стихотворцем быть.  
Он только лишь слова на рифму прибирает,  
Но соплетённый вздор стихами называет.  
И что он соплетёт нескладно без труда,  
Передо всеми то читает без стыда”.*

С какими-то из монографий самого Беркова мы могли познакомиться ещё в студенческие годы: “Александр Петрович Сумароков” (1949), “Василий Васильевич Капнист” (1950), “Владимир Игнатьевич Лукин” (1950), “История русской журналистики XVIII века” (1952)... Но главным для нас “первоисточником” оставались его лекции. “Новиков, — слышу его голос из-под наслоений минувших десятилетий, — запомните, где стоит ударение: Новиков...”

Век девятнадцатый ассоциируется у студентов ЛГУ 1960-х с именами Макогоненко, Деркача и Бялого. Как увлекательны и познавательны и как при этом не похожи были их лекции! Макогоненко в то время активно участвовал в полемике, разгоревшейся вокруг пушкинского “Евгения Онегина”. Помню, как во время одной из своих очередных лекций он картинно вышел из-за кафедры и обратился к аудитории с вытянутой вперёд рукой: “Вперёд...” А потом, выдержав паузу, указал большим пальцем той же руки назад: “...к Белинскому!” Мы не раз плотным кольцом обступали его со своими вопросами и всколыхнувшись с его подачи суждениями после его лекций, сопровождая его из актов зала в холл и не отпуская до звонка на следующее по расписанию занятие... Академическим духом на филфаке дышали и смежная с холлом лестничная площадка, и его узкие коридоры, и даже свободные от занятий аудитории... На экзамене я отвечал Макогоненко без подготовки. Это мало походило на сегодняшней “мониторинг”: то был разговор заинтересованных собеседников. Суть призыва возвратиться — вперёд! — к Белинскому противостояла позиция Достоевского, озвученной им в речи на открытии памятника Пушкину: Онегину незачем было, по Белинскому, смиряться перед

Татьяной. Да, он не понял в своё время всей глубины её близкой к народной жизни натуры. Но ведь и она — Макогоненко обратил наше внимание на трагедию дважды разминувшихся родственных душ — не поняла, какая с Онегиным произошла перемена после его путешествия по России. Духовно взрослеет Татьяна, преображается и Евгений. Но теперь она оказывается в плену светских представлений о ценности человеческой личности: “Онегин, я тогда моложе, // Я лучше, кажется, была...” Татьяна не понимает, что вспыхнувшая любовь Онегина к ней — это результат его духовного преображения. Как в поэтической миниатюре Пушкина: “Душе настало пробужденье, // И вот опять явилась ты...”; сначала — возрождение, и лишь потом — “гений чистой красоты”. Её, увы, хватило только на то, чтобы — настал-таки её черёд! — отчитать своего бывшего кумира... Я вспомнил об этом в 1994-м в статье “Классика до востребования”.

Макогоненко читал нам историю русской литературы первой трети XIX века. На том же периоде отечественной литературы специализировался и Мануйлов... “Широка страна моя родная...” В том же 1939-м, когда я родился в столице Азербайджана — городе Баку, — Мануйлов окончил историко-филологический факультет Азербайджанского государственного университета. В 1961-м он был уже доцентом ЛГУ, а я — первокурсником. Он был лермонтоведом: в 1939-м опубликовал в Ленинграде книгу “Лермонтов. Жизнь и творчество”, в 1949-м в Пензе — “Лермонтов в Тарханах”, спустя два года в Ленинграде — “Лермонтов и наше время”. После этого и вплоть до того времени, когда я мог слушать и лицезреть его на филфаке, с 1961-го по 1966 год включительно, им изданы семинарий по Лермонтову (совместно с Вацуру и проходящим у Добренко по списку “чистых” Гиллельсоном) и комментарий к роману “Герой нашего времени”, “Летопись жизни и творчества Лермонтова”, “Лермонтов в Петербурге” и “Лермонтов в воспоминаниях современников” (совместно с Гиллельсоном). Не обошёл он в своих трудах вниманием и Пушкина и Гоголя. Кроме Мануйлова и его соавторов, указанный период исследовали Б. М. Эйхенбаум и Б. В. Томашевский, Д. Д. Благой, Ю. Г. Оксман и Г. А. Гуковский, Л. Я. Гинзбург, М. Б. Храпченко и В. Г. Базанов... Все они, так или иначе, попадали в поле нашего зрения либо в лекциях Макогоненко, либо на соответствующих спецкурсах и спецсеминарах.

Деркач знакомил нас с литературой середины XIX века. Помимо своего курса, он преподавал мне один из тех уроков, которые остаются с нами на всю оставшуюся жизнь. Я подошёл к нему, отдыхавшему после своей лекции на памятной лестничной площадке второго этажа, с каким-то вопросом, имеющим отношение к его лекции. Он внимательно выслушал меня, что-то разъяснил сам, а потом — это был урок! — назвал коллегу, узкого специалиста по интересовавшему меня вопросу. Это всегда удерживало меня в рамках своей компетентности потом: школьный учитель, конечно, должен знать всё о литературе, от самой древней до современной. Но выдавать себя за эдакого всезнайку — семи пядей во лбу — я, помня урок Деркача, воздерживался: делился своим мнением и отсылал любознательного ученика к источнику, где он мог получить исчерпывающую информацию. К кому из узких специалистов мог отослать меня тогда Деркач? Если речь шла о Козьме Пруткове, то это мог быть Берков. По Тургеневу я мог бы получить консультацию у Бялого. О Писареве и Никитине мне мог бы рассказать Плоткин. О литературной полемике 60-х годов XIX века мы могли пророчество у В. Г. Базанова, о Чернышевском и народничестве — у Н. Ф. Бельчикова, о сатире и сказках Салтыкова-Щедрина — у А. С. Бушмина...

Бялый на кафедре резко отличался от Макогоненко. Своим подчёркнуто разговорным стилем общения со слушателями он превращал свои лекции в непринуждённые беседы. На его спецкурс по Достоевскому, где нас, записавшихся студентов, было чуть больше десятка, валом шла ленинградская интеллигенция, благо никакой охраны в университете тогда не было. Желающих послушать было так много, что занятия были перенесены во вторую по величине после актового зала 38-ю аудиторию, где обычно проходили обязательные для всего курса лекции. В первых рядах устраивались мы, студенты, а за нами — школьные учителя, вузовские преподаватели и просто заинтересованные слушатели: говорили, что спецкурс по Достоевскому был у Бялого семь лет назад, так что нам, можно сказать, повезло. Так было...

Остановив свой выбор на кафедре русской советской литературы, в дополнение к обязательным курсам, которые читали нам Плоткин, Наумов и

Гладковская, я прослушал спецкурс по современной русской советской драматургии у Гладковской и углубил свои представления о современной русской советской прозе в спецсеминаре Плоткина. Дело, начатое Рождественской на 1-м курсе, практически не прерывалось в течение последующих пяти лет обучения. Не однажды за это время кафедра советской литературы проводила открытые обсуждения литературных новинок. Помню жаркие споры в актовом зале, которые вызвал роман Ю. Бондарева “Тишина”... Дискуссия продолжалась в нашем общежитии в Гавани, куда к нам заглянул ректор университета Александров. Помню не менее эмоциональное обсуждение книги И. Эренбурга “Люди. Годы. Жизнь” во Дворце труда на встрече с редакцией “Литературной газеты”, представители которой во главе с главным редактором Александром Чаковским тогда приехали в Ленинград, а встречу вел Даниил Гранин... Помню, как на кафедре мы общались – студенты на равных с преподавателями – с редколлегией журнала “Нева”, среди них был и с обожаемым в танке лицом поэт Сергей Орлов... Приходил к нам на филфак после своей поездки в США драматург Алексей Арбузов, рассказывал о своих впечатлениях от театральной жизни за океаном. Так было...

Моя специализация на кафедре русской советской литературы аукнулась в 1990-е, когда – в продолжение школьных уроков – я обратился к литературной публицистике. Не без уроков у Наумова мной была написана в 1993 году юбилейная статья о Маяковском. С его же, Наумова, подачи я откликнулся в 2005 году на многосерийный фильм о Есенине.

Филологическая наука не замерла ни в 1940-х, ни в 1960-х, ни – если не говорить об отдельных научно-образовательных учреждениях – даже в 1990-х. Своей способностью противостоять разного толка экстремалам она, разумеется, не может не огорчать прекраснодушных ревнителей литературоведческой экзотики. Но это уже проблемы, выходящие за рамки науки о литературе.

Отечественная наука о литературе не умерла. Но я не могу оставить без заметок на полях то место в рецензии Добренко, где он с болью говорит об уроке, который понесли от рук клеветников и доносчиков и советская литература, и советская филология. Непредвзятому читателю достаточно полистать страницы 8-томной Краткой литературной энциклопедии, издававшейся с 1962-го по 1975 годы, чтобы убедиться в том, что Гуковский был далеко не одинок. В обзоре журнальных публикаций 1962 года (“Новый мир”, 2012, № 11) Ел. Михайлик пишет о тех произведениях русской советской литературы, в которых одним из центральных положительных героев стал оклеветанный верный Советской власти человек. Она называет романы К. Симонова “Живые и мёртвые” (1959) и Б. Полевого “На диком берегу” (1962). Я бы в этой связи назвал и роман Г. Николаевой “Битва в пути”, который на два года опережал даже первую часть симоновской трилогии. В этот же ряд вписывается и заключительная часть трилогии Ю. Германа “Я отвечаю за всё”. Так об этом тогда писали...

Наука о литературе в целом не замерла. Но филологов из нынешнего СПбГУ я, например, уже не число по линии своей родословной. К такому выводу я прихожу, знакомясь с темами спецкурсов и спецсеминаров, которые предлагаются сегодня студентам на кафедре истории русской литературы, а также с трудами его сегодняшних сотрудников. С одним из них я не согласился в статье 2008 года о периодизации современной литературы (журнал “Огни Кузбасса”, 2010, № 5), с двумя другими разошёлся как раз по теме сегодняшнего отклика. В связи с тем местом, какое занимает имя Гуковского в рецензии Добренко, и тем фактом, что статья “Уроки, которые мы выбираем” (2011) пока не опубликована, предлагаю читателю довольно пространную выписку из неё: *“Разногласиям мировоззренческого характера мы обязаны сегодняшним обсуждением вопроса о том, реалист Пушкин или постмодернист. Под вторым, разумеется, следует понимать не обозначившееся в новейшие времена литературное течение “постмодернизм”, а всю разногласию мнений, подходов и ракурсов, противостоящих реализму.*

*В пушкинистике, информирует нас доктор филологических наук В. Маркович, уже в 60–70-х годах начинает исчезать понятие “реализм”. Объяснение этому профессор связывает с деидеологизацией литературоведения. (Я бы в этом случае говорил о перезагрузке идеологий, потому как свято место пусто не бывает. – В. Е.) Эта тенденция с годами усиливалась и была представлена работами таких учёных, как Гинзбург Л. Я., Виноградов И. А., Бахтин М. М., Лотман Ю. М., Бочаров С. Г. и других с не столь громкими именами. Все они, каж-*

дый по-своему, выступили против концепции реализма, озвученной Г. А. Гуковским в работах “Пушкин и русские романтики” и “Пушкин и проблемы реалистического стиля”. Что не устраивало их в концепции реализма?

Гуковский, объясняет Маркович, строил картину мира на идее социально-исторической детерминированности человека: личность человека и его судьба объяснялись как следствие жизненных обстоятельств и среды. Это и составляет мировоззренческую основу реализма. А что говорят оппоненты Гуковского?

Ю. Лотман, например, считает, что зависимость от среды — это лишь низший уровень человеческой личности. И. Беляк и М. Виролайнен (все ссылки на источники приводятся в кн.: Маркович В. М. Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы. Статьи разных лет. — СПб, Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1997. — В. Е.) в своей совместной работе утверждают, что “индивидуальный космос” личности противостоит всему остальному миру. У. Тодд объясняет характеры героев “Евгения Онегина” не сословной принадлежностью, а “очень широкой культурной парадигмой, обеспечивавшей синтез духовных ценностей России и Европы”. (Не знаю, как читатель, но для меня за этой мудреной фразой маячит этакая “парадигма” нашего современника Иосифа Бродского, оторванного от родных корней скитальца — перекасти-поле. Уж не им ли, непримиримым противником реализма, он был обрзан своей неприкаянностью? Литературная критика тех лет, случалось, пристраивала к себе в хвост в качестве ведомых наиболее впечатлительных писателей. — В. Е.) Ю. Чумаков предлагает перечитать заново пушкинский роман в стихах “под знаком вечности”, интерпретируя его героев в онтологическом смысле. Да и сам профессор Маркович усмотрел в сюжете “Евгения Онегина” проявление “мистериальных событий”, а в его героях — “субъектов извечного метафизического выбора”. Вот эту “многомерность и незамкнутость изучаемого художественного смысла” я и имею в виду, когда пишу о постмодернистской разногласии мнений, подходов и ракурсов, противостоящих реализму. Профессор в полной мере даёт нам ощутить воинствующий запал своих единомышленников, когда пишет о позиции Вольфа Шмида. Тот настаивает на ключевой роли в пушкинской прозе сверхъестественных мотивировок, без которых, по его мнению, любая интерпретация становится малобудительной и упрощающей сложный смысл этих повестей.

Маркович полагает, что после таких постмодернистских наскоков тезис о Пушкине как об “основоположнике русского реализма” словно растаял в сознании литературоведов. По-моему, профессор спешит выдать желаемое за действительное. Его статья была написана в первой половине 90-х годов. На той же кафедре истории русской литературы филологического факультета Санкт-Петербургского университета в 2001 году, на гребне поднявшейся волны антиреалистических тенденций, была издана работа О. В. Богдановой о пратексте русского постмодернизма, каковым, по её мнению, является повесть Венедикта Ерофеева о путешествии из Москвы в Петушки. (Богданова О. В. “Москва — Петушки” Венедикта Ерофеева как пратекст русского постмодернизма. Методическое пособие для студентов-филологов и слушателей подготовительного отделения. — СПб. Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2001)”.

Таким образом, нынешних петербургских филологов я воспринимаю как дальних-предальных родственников или даже однофамильцев: адрес по Университетской набережной — тот же, а впечатление такое, что они пребывают, на манер коллеги из Шеффилда, в каком-то чужеземном тридевятом царстве — тридесятном государстве. Иное — совсем другое дело! — Гуковский, по недоразумению причисленный к “родным космополитам”. Пространность посвящённой ему выписки, равно как и все предыдущие цитаты из моих статей, оправдана тем, что я привожу их — в духе рецензируемого Добренко двухтомника — в качестве документального свидетельства: вот как думал и писал в первое постсоветское двадцатилетие рядовой школьный учитель, выпускник Ленинградского государственного университета 1960-х годов.

Итак, сегодня расторопные литературные критики и обвинители продолжают топтаться у архивов, выдирают из них отдельные страницы, смакуя одни и игнорируя другие, создают на свой вкус “картинки из пазлов”. Вижу ли я какую-нибудь перспективу? Да, вижу. Когда дело перейдёт от авторов “журнальных расследований” к “неразворотливой” академической науке — вот тогда мы и разглядим тот лес, который, по присловью, пока что скрывается за деревьями.





## ВАЛЕРИЙ АУШЕВ

*писатель, историк, руководитель Литературно-творческого центра  
Всероссийского созидательного движения “Русский лад”*

## “ЛОМОНОСОВ XX ВЕКА”

*В. И. Вернадский — собиратель научного наследия великого помора*

*Ломоносов стоит впереди наших поэтов, как вступление впереди книги. Ни раньше, ни позже в нашей стране не было более своеобразной, более полной творческого ума и рабочей силы личности.*

В. И. Вернадский

Сегодня мало кому известно, что творчество гения русской науки М. В. Ломоносова в начале XX века тщательнейшим образом исследовал В. И. Вернадский, когда работал в Московском университете в течение более двадцати лет (с осени 1890 года до весны 1911-го), пройдя путь от приват-доцента до профессора и хранителя университетского Минералогического кабинета. В своём курсе лекций по минералогии, неоднократно переизданном за эти годы, он не раз возвращался к научным трудам Ломоносова. В январе 1900 года, когда проходили торжества по случаю 150-летия созданной Ломоносовым первой в России химической лаборатории, Владимир Иванович выступил на публичном заседании Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете с докладом, вышедшем в том же году отдельной брошюрой: “О значении трудов М. В. Ломоносова в минералогии и геологии”.

В. И. Вернадский на свои средства приобрёл и сохранил неизвестные до XX века рукописные материалы М. В. Ломоносова, которые передал Академии наук.

“Вернадский и Ломоносов. Эти два имени олицетворяют собой крупнейшие достижения отечественной и мировой науки. Их единит энциклопедическая образованность, пламенный патриотизм, культ служения Отечеству, устремлённость в будущее. Оба сумели подняться над повседневностью, выйти за рамки своей эпохи, определить новые научные направления и мировоззренческие ориентиры человечества. Оба осознали своё великое предназначение и подчинили ему свою жизнь, — отмечает канд. философских наук Л. А. Алексеева. — Ломоносов знал, что он избранник судьбы. Знал это и Вернадский. Оба несли своё избранничество с честью и достоинством” (1).

Известно, какая печальная участь ждала архив Ломоносова и его библиотеку: документально установлено, что на другой день после смерти Ломоносо-

ва (он умер 4 (15) апреля 1765 года) Григорий Орлов, фаворит Екатерины, печатал по её распоряжению все бумаги Ломоносова (2), а затем забрал их себе то ли насильственно, по приказу сверху, то ли по уговору с вдовой (3). Он продержал их у себя, по некоторым известиям, до самой своей смерти, то есть до 1783 года (4). После того ломоносовский архив расплылся: некоторая его часть досталась потомкам учёного и его сестры, другая – неизвестно кому (5).

В служебной записке профессоров Академии С. Котельникова, С. Румовского и секретаря М. Гурьева, посланных академической канцелярией “отобрать надлежащие до Академии книги, письма и инструменты, находящиеся у покойного статского советника Ломоносова”, сообщается: “Были в его доме 11 числа... Уведомились изустно от самой госпожи статской советницы Ломоносовой, что все письма с прочими вещами запечатаны печатью его сиятельства графа Григорья Григорьевича Орлова, по высочайшему соизволению Ея Императорского Величества Всемилостивейшей государыни...” (6).

В связи с этим странным кажется беспардонное поведение графа, наложившего арест на документы учёного, хранившиеся в его рабочем кабинете. То же самое произошло и с домашним архивом. Ещё тело великого учёного не успело остыть, как Григорий Григорьевич примчался на Мойку, вихрем ворвался в дом и даже не попросил – потребовал, чтобы безутешная вдова Елизавета Андреевна никого не допускала к бумагам Ломоносова. Сам же, перерошив кипы бумаг, многие изъясил и увёз с собой.

Казалось, что многое из ломоносовского научного наследия исчезло. Но это было не так, по иронии судьбы большая часть библиотечного собрания оказалась у графа Орлова. Он жил в Мраморном дворце в Петербурге, который ему подарила Екатерина. Когда Орлов умер, Екатерина выкупила право на дворец вместе со всем имуществом и подарила его в день бракосочетания в 1775 году своему внуку Константину Павловичу, брату Александра и Николая. Константин Павлович в России почти не жил, а находился в Польше. Библиотеку после своей смерти он завещал внебрачному сыну – флигель-адъютанту Павлу Константиновичу Александрову, а тот уже подарил её Александровскому Гессельдорфскому университету – тогдашнему Императорскому университету Российской империи в Хельсинки.

Выяснилось также, что часть библиотеки он не подарил, а оставил. Это стало известно следующим образом: в 1933 году на книжном рынке в Ленинграде женщина продавала сотни книг в потрепанных переплётах XVIII века. Среди них были и книги из библиотеки великого князя Константина Павловича, и фолианты из дворца графа Орлова, и ломоносовские книги.

Чего вдруг испугался Орлов, вихрем пронесшийся по коридорам Академии и комнатам ломоносовского дома? Почему архив Ломоносова вызвал такую обеспокоенность графа? Не был ли он опасен для царского двора, ибо мог хранить компрометирующие записи Михаила Васильевича о династических заговорах и преступлениях того времени, об истинных виновниках – заказчиков и исполнителей дворцовых переворотов?! Или речь шла о нежелательных сведениях в исследованиях Ломоносова по истории Российского государства?! Как бы там ни было, но правящие круги решили подстраховаться, “предварительно несколько ознакомившись с Ломоносовскими бумагами, в которых личное так сильно переплеталось с актуальными политическими вопросами живой современности и в которых было очень много такого, что в XVIII веке считалось государственною тайной и разглашение чего подводило под государственное преступление... И возможно, что под влиянием живого впечатления от непосредственного знакомства с бумагами Ломоносова окрепла, а может быть, и родилась мысль взять их все себе, целиком, не разрознивая...” (7)

На эти обстоятельства указывает замечание И.-И. Тауберта в письме Г.-Ф. Миллеру: “На другой день после его (Ломоносова) смерти граф Орлов велел приложить печати к его кабинету. Без сомнения, в нём должны находиться бумаги, которые не желают выпустить в чужие руки” (8).

Екатерина II, “услылав от придворных наушников о свободолюбивых проектах русского учёного, которому покровительствовала Елизавета, довольно косо посматривала на него. Он же ещё и столь дерзкую критику навёл на “Историю Петра I”, написанную по высочайшему заказу Вольтером.

И Екатерина решила с первых же дней своего царствования напомнить ему при случае, что времена Елизаветы Петровны прошли безвозвратно. Щедро награждала новая царица всех, кто содействовал её воцарению или сла-

ве государства Российского. Из окружающих её людей только один человек не был ничем награждён, и его заслуги не были признаны перед лицом страны. Этим человеком был Ломоносов” (9).

Итак, изъятие архивов учёного было продиктовано Екатериной II. Таким образом, прослеживается прямая причастность двора к этому деянию. “Последнее и было сделано, — пишет исследователь С. Чернов, — под личиной красивых поз и жестов гр. Орлова... Трудно догадаться, что руководило Орловым, когда он “выпрашивал” у вдовы бумаги М. В. Ломоносова, с которыми, видимо, та, — судя по слову “выпросил”, — не хотела расставаться и неохотно рассталась...; ...он взял себе как меценат (“выпросил”, конечно же, не бесплатно!) все Ломоносовские бумаги, купив их вместе с библиотекою Ломоносова,... и сделал недоступными в особом хранилище семейного характера...” — заключает Чернов (10).

Портреты Григория Орлова, долгое время считавшегося невенчанным мужем Екатерины, по мнению писательницы Ольги Чайковской, “полны энергии и веселья — и того и другого было в его характере сколько угодно, — но в том-то всё и дело, что природа, весьма щедро его одарив, наделила его также и безумием, именно в этом тяжком, унижительном безумии он и умер. Ни тени его не найдёте вы на портретах Орлова” (11).

Не явилось ли одной из причин безумия Орлова двуручническое отношение графа к гению Отечества и научному наследию Ломоносова?! Часть бумаг личного характера впоследствии вернули семье, но значительная доля осталась у Г. Г. Орлова и до сих пор не найдена... По причине сумасшествия Г. Орлова не раскрытой осталась, ушла в вечность и тайна архива М. В. Ломоносова, которую В. И. Вернадский пытался раскрыть спустя полтора года лет.

Кому в руки попали потом важные документы, проливающие свет на драматические события в жизни Ломоносова? Молчит История, молчит Время...

Академик М. И. Сухомлинов, работавший в конце XIX столетия над изданием сочинений М. В. Ломоносова, писал в предисловии к первому тому: “Собрание источников, рукописей и первых изданий сопряжено с чрезвычайными трудностями. Некоторые из них исчезли, по-видимому, навсегда, другие находятся в руках у любителей, живущих в различных краях России. Иногда то, чего долго и напрасно искали в богатых библиотеках, общественных и частных, Петербурга и Москвы, неожиданно открывали в Красноярске...” (12).

Так, к примеру, в библиотеке Г. В. Юдина была найдена “величайшая библиографическая редкость” — вышедшее в XVIII веке первое и единственное издание идиллии “Полидор”, которую Ломоносов посвятил графу К. Разумовскому.

На 2-м этаже библиотеки Академии наук в Петербурге, на Менделеевской линии находится отдел рукописной и редкой книги. За бронированными дверями хранятся рукописи и самые драгоценные издания.

Невелик Ломоносовский фонд академической библиотеки — всего одна книжная полка, 50 изданий. Не повезло огромной библиотеке Михаила Васильевича, как, впрочем, и его архиву, приборам и даже домам, в которых он жил — они практически не сохранились.

Немногие издания с пометками русского учёного-энциклопедиста были обнаружены в библиотеке Хельсинкского университета и переданы ею в дар библиотеке Академии наук. Какие только отрасли знаний здесь не представлены! Книги античных авторов, грамматики и словари, труды по химии, философии, медицине, математике, физике, географии, риторике, минералогии, производству стекла... И каждая хранит пометы владельца: именно по ним книги и опознаны. Здесь же хранится и “История насекомых” Реомюра с большим автографом русского учёного.

В архиве Московского университета, в фонде М. В. Ломоносова, рядом с такими ценнейшими документами, как родословная Михаила Васильевича, программы заседаний Советов вуза по случаю празднования юбилеев учёного, хранятся и списки чернового собственноручного отрывка из проекта устава для гимназии в Москве и других городах, составленного великим помором. Составляя эти документы, учёный был озабочен тем, что в России “нет природных россиян ни докторов, ни аптекарей, да и лекарей мало, также механиков, искусных горных людей, адвокатов, учёных”.

Как видно из хранящейся в архиве “родословной, нисходящей линии родства Михаила Васильевича Ломоносова, профессора С.-Петербургской ака-

демии наук”, учёный выступал горячим поборником доступности образования для всех слоёв населения.

“Ломоносов был плоть от плоти русского общества, его творческая мысль проникала — сознательно или бессознательно — бесчисленными путями в современную ему русскую жизнь... — утверждал В. И. Вернадский, выступая с речью “Общественное значение Ломоносовского дня” 8 ноября 1911 года, когда просвещённая Россия отмечала 200-летие со дня рождения своего гениального сына. — ... Великим счастьем русского народа было то, что в эпоху перестройки своей культуры на европейский лад он не только имел государственного человека типа Петра, но и научного гения в лице Ломоносова” (13).

Ещё в 1887 году по инициативе историка литературы, академика М. И. Сухомлинова (1828–1901) Отделение русского языка и словесности приступило к академическому изданию “Сочинений М. В. Ломоносова”. По существовавшему в те времена негласному правилу М. И. Сухомлинов единолично занимался собиранием научного наследия первого российского академика, желая обнародовать “все без изъятия” сочинения и письма Ломоносова, а кроме того, написать и его биографию. Ему потребовалось семнадцать лет неутомимого, напряжённого труда, чтобы пять томов сочинений Ломоносова увидели свет. После смерти М. И. Сухомлинова выпуск очередных томов сочинений Ломоносова приостановился... (14).

К 200-летию М. В. Ломоносова — “столь знаменательного для истории русской науки” — комиссией Академии наук, в состав которой вместе с другими видными российскими учёными вошёл и В. И. Вернадский, предполагалось “завершить к юбилею Сухомлиновское издание сочинений Ломоносова с перепиской”, а также для увековечения памяти первого российского академика “возбудить ходатайство о сооружении при Академии наук особого Ломоносовского института”.

Владимир Иванович непосредственно участвовал в подготовке к изданию двух завершающих томов собрания сочинений М. В. Ломоносова, редактировал научные статьи Ломоносова по минералогии, писал письма в различные архивы и частным лицам с просьбой предоставить имеющиеся материалы о деятельности М. В. Ломоносова.

“Благодаря В. И. Вернадскому Архив Академии наук пополнился подлинными рукописями Ломоносова, — вспоминал позже академик, директор академического архива Г. А. Князев. — Материалы эти были получены от праправнучки Ломоносова — Е. Орловой”.

Удивительна судьба этой уникальной женщины, последней владелицы “Портфелей Ломоносова”, внучки М. Ф. Орлова и праправнучки Ломоносова Елизаветы Николаевны Орловой, перенявшей, очевидно, от своего выдающегося предка лучшие черты: одержимость, стойкость, несломленность духа. Жизнь не баловала её. Родилась Елизавета Николаевна в 1861 году — в год отмены крепостного права, но отзвуки его она ещё долго ощущала на себе, хотя никто из этого славного рода не испытал крепостного ошейника. Это видно из её письма академику В. Л. Комарову от 14 декабря 1938 года:

*“Уважаемый Владимир Леонтьевич!*

*Я только что получила в первый раз определённую мне пенсию, и хотелось бы выразить Вам мою глубокую признательность за доброе участие, которое Вы приняли в этом деле. Оно тянулось так долго — почти три года — и так было запутано, что без Вашего письма, я уверена, что так ничем бы и не кончилось; а для меня эта помощь в настоящее время имеет жизненное значение.*

*Обращаюсь к Вам сегодня также по другому делу. Кроме переданного в Академию Наук диплома Ломоносова, в нашей семье (т. е. у меня и сестры моей, Екат. Ник. Котляревской с дочерью) хранятся ещё три документа, относящиеся к Ломоносову...” (15).*

Орлова Елизавета Николаевна (1861–1940) — художник, праправнучка М. В. Ломоносова. В молодости (1877–1885) работала сельской учительницей. С 1891 — член Московского комитета грамотности, член Училищной комиссии Московской городской думы.

В 1914–1916 годах — уполномоченный отдела по устройству беженцев.

В 1918–1922 годах — сотрудник отдела по делам музеев и охраны памятников старины (Главмузей) Наркомпроса РСФСР.

В 1924–1929 годах – заместитель заведующего студией Т. Л. Сухотиной-Толстой.

С 1929 года выполняла отдельные работы по заказу Московского городского отдела изобразительных искусств. Скончалась 28 августа 1940 года.

С 1914 года переписывалась с В. И. Вернадским, в 1936 году прислала ему свой “трудовой список”, из которого приведены эти послужные данные (16).

Выберем из этой переписки несколько важных обращений к Владимиру Ивановичу.

Из письма В. И. Вернадскому от 19 апреля 1927 года (Москва):

*“Многоуважаемый Владимир Иванович!*

*Точно из далёкого прошлого пришло ко мне ваше письмо, но прошлого незабытого, о котором я люблю вспоминать. Спасибо вам за хорошие слова о нём и обо мне; я тоже (что было легче!) всегда знала, в общих чертах, о жизни вашей и семьи вашей, и где вы находитесь.*

*На ваш вопрос я, к сожалению, должна ответить, что не знаю, ни где они, ни кто теперь жив, ни как это найти. Но у меня является сомнение, правда ли, что это от Орлова-Давыдова рукописи Ломоносова попали на выставку? Не может ли быть, что речь идёт о тех двух папках, озаглавленных “Портфель Ломоносова”, которые достались нам...” (17).*

В другом письме академику, упомянув о барском доме в Усть-Рудице и его библиотеке, Елизавета Николаевна подробно сообщает о хранившихся в нём бумагах: “Архива, собственно говоря, не было. Были связки семейных писем, главным образом, второй половины прошлого века... Что же касалось Ломоносова, было давным-давно уже разобрано Ек. Ник. Орловой, составившей из этих бумаг два больших переплетённых тома рукописей, озаглавленных “Портфель Ломоносова”, в тёмно-зелёной, почти чёрной коже; заглавие вытиснено золотыми буквами. Эти бумаги она давала рассматривать Буслаеву (кажется, я не ошибаюсь; во всяком случае, ответное письмо Буслаева (?) приложено было к переплетённому томам, но не приплетено). После смерти Ек. Ник. Орловой эти два тома поместились в нашей библиотеке. О них знал академик Сухомлинов, и в 1899 г<оду> он просил нас одолжить их в отделение русского языка и словесности в виду переиздания сочинений Ломоносова. Я ему их выслала и имею ответное письмо его от ноября 1899 г<ода> за № 185. В 1902 г<оду> я сделала запрос в Академию и получила ответ от Александра Ник. Веселовского от 22 марта 1902 г<ода> за № 278, в котором он просит ещё оставить эти два “Портфеля” в пользовании Отделения, что я, разумеется, и сделала. После смерти А.Н. Веселовского я справлялась через знакомых у академика Шахматова о судьбе этих бумаг и снова узнала, что они целы и нужны. О них я Вам и писала в прошлом году. Я рада, чтобы они составили собственность Академии Наук...”

*Ни о каких Ломоносовских бумагах, находящихся у Орловых-Давыдовых, я никогда не слыхала... Совершенно ничего не знаю о том, куда могли деваться бумаги Ломоносова, кроме указанных, и не знала раньше, что в архиве гр. Гр. Орлова могут быть следы их... у Г. Г. Орлова потомства, признанного законом, не было... Думаю, что это слишком слабая и поздняя связь с делами графа Григория Григорьевича, чтобы можно было ожидать найти в их (Орловых-Давыдовых. – Прим. В. А.) архивах следы взятых им, как Вы мне говорили, бумаг Ломоносова” (18).*

Сами по себе примечательны приключения путешествующего из рук в руки легендарного “Ломоносовского портфеля”, о которых поведал С. Чернов в своём обзоре “Литературное наследство М. В. Ломоносова” (разночтения наблюдаются разве что при определении количества “портфелей”, в одном случае – просто “Портфель Ломоносова”, “портфель служебных бумаг”, в другом – “две папки бумаг”, “два Портфеля служебной деятельности”. – Прим. В. А.).

Так, А. Вельтман в предисловии к напечатанным им бумагам М. В. Ломоносова сообщает, что Екатерина Николаевна Орлова “доверила ему “портфель служебных его бумаг, сохранившихся в семействе Раевских”, и делает следующее примечание: “Единственная дочь Михаила Васильевича Ломоносова была замужем за бывшим библиотекарем при императрице Екатерине,

статским советником Алексеем Алексеевичем Константиновым, который имел двух дочерей: Екатерину Алексеевну и Софью Алексеевну – ныне вдову покойного генерала от кавалерии Николая Николаевича Раевского. Таким образом, бумаги Михаила Васильевича составляли родовое наследие по женской линии” (19).

Запись в дневнике А. В. Никитенко от 29 декабря 1865 года подтверждает, что он был с визитом у А. М. Раевской и “до обеда разбирал с хозяйкой черновые бумаги Ломоносова, которые хранятся у одного из потомков его – Орлова” (20).

По-видимому, в то время, когда рукописи Ломоносова находились в распоряжении А. М. Раевской, из состава собрания было изъято ещё несколько автографов, даже из числа тех, которые видел и публиковал П. С. Билярский. Из состава “Портфелей” исчезло, по крайней мере, несколько автографов, опубликованных в “Очерках России” и в “Материалах” Билярского: черновики писем к президенту Академии наук К. Г. Разумовскому 1753 и 1763 годов, черновик записки 27 августа 1762 года, черновик памятной записки Ломоносова о разных делах и др.

Потеря нескольких автографов, а также прошедшее 100-летие со дня смерти повысили интерес к личности и творчеству Ломоносова не только у общества, но и у его потомков и побудили Е. Н. Орлову переплести Ломоносовские рукописи в роскошный переплёт.

В таком виде получил “Портфели” биограф Ломоносова П. П. Пекарский, подробно описавший содержащиеся в них рукописи, дав каждому из документов заголовок на вкладном листе. Материалы ему предоставил Я. К. Грот при посредстве А. М. Раевской (21).

С тех пор с “Портфелями” не происходит никаких изменений. В конце концов, из Петербурга они перемещаются и оказываются в имении Н. М. Орлова Макарово Саратовской губернии, затем попадают в руки академика М. И. Сухомлинова – составителя собраний сочинений Ломоносова. Несмотря на заверения академиков, “Портфели” больше уже не вернулись к своим прежним владельцам. Об этом мы узнаём из письменного обращения Е. Н. Орловой 2 марта 1902 года к Н. Ф. Дубровину с просьбой вернуть бумаги Ломоносова: *“До смерти Сухомлинова я ожидала, что бумаги будут мне возвращены, но в настоящее время начинаю волноваться за их судьбу и решила обратиться за Вашим содействием для получения обратно этих бумаг. Они находятся в двух папках или, скорее, переплётах зелёного цвета, очень толстых, с надписью на коже “Портфель Ломоносова” (22).*

Тем не менее, рукописи не были возвращены ни тогда, ни позже, в 1905 году. Лишь в 1926 году Елизавета Николаевна Орлова пожертвовала рукописи Академии наук, поскольку они были необходимы для издания собрания сочинений её гениального предка. Такова внешне незамысловатая история “Портфелей” служебной деятельности Ломоносова. Его рукописи были в руках многих его потомков, которые недостаточно бережно распорядились ими, пока Академия наук и В. И. Вернадский не занялись их судьбой.

Несмотря на универсальный круг интересов, всё же главным увлечением Ломоносова было естествознание. Не только природа русского Севера, утверждал В. И. Вернадский, оказывала влияние на формирование юного Ломоносова, его пристрастий, познаний, но и “вопросы северного сияния, холода и тепла, морских путешествий, морского льда, отражения морской жизни на суше – всё это далеко уходит вглубь, в первые впечатления молодого помора...” (23). В последующих трудах по естествознанию гений Ломоносова проявился “с ещё большей силой и блеском”. Со всей очевидностью это обнаружилось благодаря многочисленным детальным исследованиям и академическим изданиям работ российских учёных, куда вошли и исследования В. И. Вернадского (24).

Показательным примером фундаментальной многосторонности интересов М. В. Ломоносова служит запись выдающегося русского геолога и почвоведов В. В. Докучаева в своих лекциях, изданных в 1901 году: “На днях проф. Вернадский получил поручение от Московского университета разобрать сочинения Ломоносова, и я с удивлением узнал от проф. Вернадского, что Ломоносов давно уже изложил в своих сочинениях ту теорию, за защиту которой я получил докторскую степень, и изложил, надо признаться, шире и более обобщающим образом” (25).

Оценивая вклад Ломоносова в геологию и минералогию, академик Вернадский замечает: “Среди всех работ Ломоносова в этой области знаний резко выделяется его работа о слоях земных. Она является во всей литературе XVIII века – русской и иностранной – первым блестящим очерком геологической науки. Для нас интересна она не только потому, что связана с научной работой, самостоятельно шедшей во главе человеческой мысли, сделанной в нашей среде, но и потому, что она в значительной мере основана на изучении природы нашей страны...”

В 1911–1912 годах В. И. Вернадский подготовил несколько докладных записок в разные правительственные инстанции о необходимости создания при Академии наук специального Ломоносовского института для разработки научных проблем, поставленных нашим великим предшественником. Впоследствии его учеником академиком А. Е. Ферсманом был создан Ломоносовский институт геохимии и минералогии (ЛИГЕМ), вошедший в 1956 году в Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ РАН).

Президент Академии наук С. И. Вавилов в своём письме от 3 января 1938 года обращается к В. И. Вернадскому с интригующим предложением, от которого Владимиру Ивановичу было трудно отказаться: “Дело, одним из ранних пионеров которого Вы являетесь, а именно: “История Академии наук в связи с историей русской науки и культуры” – опять становится предметом специального изучения. По решению Президиума АН СССР в г. Ленинграде при Архиве Академии наук в настоящее время под моим председательством создана Комиссия по истории Академии наук...”

Владимир Иванович, Ваше участие в работах этой Комиссии крайне желательное и необходимо... Комиссия в 1939 г<оду> подготавливает сборники, посвящённые М. В. Ломоносову и П. Н. Лебедеву. Обращаюсь к Вам с просьбой и в этом большом деле принять участие. Для Ломоносовского сборника Вам виднее, о чём писать...” (26).

И через некоторое время, в 1940 году не без деятельного участия В. И. Вернадского Академия наук издаёт книгу “Ломоносов. Сборник статей и материалов”, куда вошли статьи, посвящённые корифею русской науки, публикации и описания его рукописей.

В своей другой работе – “Общественное значение Ломоносовского дня” – Владимир Иванович пытается сосредоточить внимание русского общества “на живом значении личности М. В. Ломоносова для нас...” (27).

“По обрывкам мыслей, незаконченным рукописям, записям наблюдений, наконец, ненапечатанным статьям или покрытым пылью забвения изданным сочинениям выковывается сейчас в сознании русского общества его облик, – писал Вернадский о Ломоносове, – облик не только великого русского учёного, но и одного из передовых творцов человеческой мысли”.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева Л. А., кандидат философских наук, зав. кафедрой философии Донецкого национального технического университета. Круглый стол “Ломоносов и российская наука. История и современность”. 22 октября 2011 года в Донецком техническом университете.
2. Ломоносов и Петербургская Академия наук. Материалы к столетней памяти его 1765–1865 года, апреля 4 дня. Сообщил В. И. Ламанский. М., 1865; Пекарский П. П. Дополнительные известия для биографии Ломоносова. СПб, 1865. С. 88–89.
3. Куник А.А. Сборник материалов для истории Академии наук. СПб. 1865. С. 404.
4. “Русская старина”, 1873, № 10. С. 598.
5. Модзалевский Л. Б. Рукописи Ломоносова. С. 9–10 и 13.
6. Билярский. Материалы для биографии Ломоносова. СПб, 1865. С. 747.
7. Чернов С. Литературное наследство М. В. Ломоносова. Журнал “Литературное наследство” №9–10 1934. С. 327–339.
8. Пекарский П. П. Дополнительные известия для биографии Ломоносова. СПб, 1865. С. 88.

9. Сизова М., Михайло Ломоносов. М., Издательство ЦК ВЛКСМ “Молодая гвардия”, 1954. С. 362.
10. Вестник Российской Академии наук. Т. 68. № 5, 1998. С. 446.
11. Чайковская О. Как любопытный скиф... Пути в неизвестное: Писатели рассказывают о науке. Сборник двадцатый. М., “Советский писатель”. 1986. С. 239–283.
12. Сухомлинов М. И. Сочинения М. В. Ломоносова с объяснительными примечаниями академика М. И. Сухомлинова. СПб, 1891. Т. 1.
13. Вернадский В. И. Из речи “Общественное значение Ломоносовского дня”, произнесённой 8 ноября 1911 года.
14. Кулябко Е. С. Ломоносовский юбилей 1911 года. М.-Л., 1962, С. 300–312.
15. Из письма Е. Н. Орловой В. Л. Макарову от 14 декабря 1938 года.
16. АРАК Ф. 518. Оп. 3. Д. 1213.
17. Из письма Е. Н. Орловой В.И. Вернадскому от 19 апреля 1927 года.
18. Архив АН СССР. Ф. 20, оп. 6, № 38. Письмо Елизаветы Николаевны Орловой к акад. В. И. Вернадскому от 14 июля 1929 года.
19. Очерки России, изд. В. Пассеком. Т. 2. М., 1840. С. 8.
20. Никитенко А. В. Записки и дневники. Т. II. СПб, 1905. С. 225 и 267–268; Архив Раевских. Т. V. С. 12–13.
21. ААН, ф. 9, оп. 1, № 608, л. 52–52 об.; л. 56.
22. ААН, ф. 137, оп. 3, № 791, л. 3–3 об.
23. В. И. Вернадский, “Ломоносовский сборник”. С. 144.
24. Вернадский В. И. Ломоносовский сборник. Материалы для истории развития химии в России. СПб. 1911; Вернадский В. И. Труды Ломоносова в области естественно-исторических наук. СПб, 1911.
25. Лекции профессоров В. В. Докучаева и А. Ф. Фортунатова. Экономическое бюро Полтавского губернского земства. 1901.
26. Архив АН СССР, ф. 518, оп. 4, д. 66, л. 2.
27. Основные работы В.И. Вернадского, посвящённые М. В. Ломоносову:  
Избр. соч. Т. 1. М., Изд-во АН СССР, 1954. Ломоносовский сборник. 1711–1911. СПб, 1911.  
О значении трудов М. В. Ломоносова в минералогии и геологии. М., Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии, 1900.  
Несколько слов о работах Ломоносова по минералогии и геологии. // В кн.: Труды Ломоносова в области естественно-исторических наук. – СПб, Издание Императорской АН, 1911.  
Памяти М. В. Ломоносова. //Запросы жизни, 1911, № 5.



## ФИАСКО “ЧЁРНОГО АНГЕЛА”

*(О новом романе Дмитрия Дивеевского “До второго потопа”)*

Новая книга профессионального разведчика в запасе Дмитрия Епишина, а теперь прозаика, члена Союза писателей, Дмитрия Дивеевского – пятая по счёту, но, возможно, первая по значимости для него самого.

Через частное к общему, через историю семьи – к попытке понять закономерности истории страны, – традиционный подход в русской литературе.

Прежде всего, это роман о войне, в которой столкнулись, по выражению автора, две духовные цивилизации – мировые силы Тьмы, породившие Гитлера, и мировые силы Света. Отсюда и проходящая смысловым контрапунктом через весь роман тема “Чёрного ангела”.

Имеет продолжение вселенское Зло, преемственно и Добро. И потому битва между силами Добра и Зла не завершилась с окончанием Второй мировой войны.

Автор не ставит перед собой задачу показать все этапы войны, осветить все формы и методы её фальсификации в наше время. Он умело пользуется методом обозначения темы, показывая основные события войны отражёнными в судьбах главных героев романа.

Его задача – “осмыслить главные моменты той духовной брани, которая по сей день идёт по Земле”, – так пишет Д. Дивеевский в предисловии к роману. Здесь же он предупреждает: роман построен на историческом материале. Мнения, высказывания, размышления таких “главных фигур этого периода”, как Сталин, Рузвельт, Черчилль, Гитлер, – это художественная обработка известной документальной информации. На этих монологах он строит отдельную линию, определяя свою позицию в искусственно поднятом споре об истоках Второй мировой войны, который со всей очевидностью является стратегически спланированной информационной операцией против России. Достоверность таких внутренних монологов обеспечить несложно. Источниковедческая база сложилась давно. Когда автор этих строк в начале 60-х годов начал заниматься историей Второй мировой войны, уже была опубликована переписка лидеров держав, мемуары о каждом из этих лидеров, были документально зафиксированы их высказывания, содержащие оценки событий и людей, в них участвовавших. Новые публикации стали откровеннее в формулировках, характеристиках, обнажающих политическое закулисье.

О “кукловодах”, стоявших за принятием важнейших политических, стратегических решений периода Второй мировой войны, знали и раньше.

Анализируя роль этих “кукловодов” на разных этапах истории, прежде всего – роль в восстановлении Германии после поражения в Первой и Второй мировых войнах, их ответственность перед миром за “взрачивание семян Зла”, автор уделяет особое внимание источникам по истории всемирного масонства... Он стремится проследить изменение тактики современных “кукловодов”, – от экономической экспансии начала XX века к “информационной агрессии” начала XXI века, от агентов разведок до “агентов влияния”. Однако этот сложный политический материал умело вплетён в захватывающую сюжетную канву романа и вызывает интерес даже у непосвящённого читателя.

И в то же время перед нами страницы истории, написанные человеком, родившимся после войны. Так возникает очень важный и привлекательный для читателей разных возрастов момент... В истории войн всегда есть эпизоды,

которые трудно, а то и невозможно воссоздать правдиво, если знаешь о них лишь понаслышке. Например, описание рукопашной. В русской литературе сцены кровавых столкновений удавались, как правило людям, “вышедшим из боя”... Насколько я знаю, при всей романтичности биографии автора книги, в рукопашную ему ходить не довелось. Тем ценней для читателя внешне достоверные, психологически убедительные, эмоционально держащие в напряжении эпизоды “батальной истории”. Так, безусловная удача Д. Дивеевского – описание боёв подо Ржевом, при том, что боям этим посвятили лучшие страницы своих книг многие выдающиеся российские писатели – участники событий.

Сложилась целая библиотека партизанской литературы. Однако в описание столкновения партизан и карателей Д. Дивеевский вносит свою лепту, приводя массу вызывающих доверие деталей, подробностей. При этом важно, что батальные сцены писатель окрашивает своими переживаниями, сочувствием.

Не знаю, довелось ли автору в годы учёбы в университете изучать на военной кафедре противотанковые пушки или 122-мм гаубицы, участвовать в военных сборах, но эпизоды, в которых герои романа сдерживают массированные атаки гитлеровских танков, – даны убедительно, достоверно, ярко и эмоционально...

И тогда характеристика битвы на Курской дуге с точки зрения историка, политолога, разведчика дополняется правдивым и профессионально точным описанием отдельных боевых столкновений.

Нужно и важно в любой книге, посвящённой истории Великой Отечественной и шире – Второй мировой войны, приводить красноречивую (историки знают, – и достаточно лукавую) статистику. Но ещё важнее – передать внутреннюю сущность двух воюющих сторон. Здесь автору удалось показать то, что так сложно даётся на дистанции в почти 70 лет: дать картину духовного состояния обеих схватившихся в смертельной схватке цивилизаций, не преуменьшая силу духа немецкой армии, которая, тем не менее, не могла идти в сравнение с той апостольской жертвенностью, до которой возвысился русский человек.

Поэтому роман Дмитрия Дивеевского – не столько о Великой Отечественной, сколько о Второй мировой. Или даже Третьей...

Это роман о противостоянии Добра и Зла. О победе Добра и о невероятно высокой цене этой победы. Ради неё в романе восходит на голгофу чекист, жертвующий своей жизнью. Его образ достоверен настолько, насколько исторически достоверен подвиг советского народа.

Война не только убивала, но и очищала людей. В роман вплетена лирическая линия, поданная светлой и верной любовью двух главных героев. Ведь Зло вторгается в душу человека не только через бесов насилия, но и через моральное падение, как это выведено в портрете Гитлера.

Продолжая сквозной сюжет противостояния Добра и Зла, – уже после войны, когда искомого результата противостоящие стороны достигают с помощью информационного оружия, Д. Дивеевский, через сюжетную линию, связанную с членом семьи Булаев, офицером СВР, обращается к анализу деятельности “кукловодов” в новейшей нашей истории, – временам правления Горбачёва, Ельцина, Гайдара...

Д. Дивеевский обращается к незаслуженно забытой роли православной веры в период войны.

“Господь устроил так, что Вселенскому Злу, надвинувшемуся на Россию, вставал навстречу не просто советский народ, вставало возрождающееся Православие, как единственная на свете сила, способная остановить обрушение человечества ко второму потоку”.

Роман заканчивается событиями сегодняшнего дня. Вглядываясь в день завтрашний, писатель сдержан и немногословен, далёк от иллюзий.

Но выход он видит в “непрерывном борении с Чёрным ангелом во имя Творца и его творения – человека”.

Эта работа является серьёзным вкладом в борьбу против фальсификации истории, разгорающуюся в преддверии 70-летия Победы.

**Георгий Миронов,  
доктор исторических наук,  
профессор, член СП России,  
первый вице-президент  
Академии изучения проблем  
национальной безопасности**

ВАЛЕРИЙ САМАРИН

## РУССКАЯ КНИГА

По приезде в Рязань замешкался на мгновенье. Времени до встречи в школе было с избытком, и я решил пройтись по зимнему городу, собраться с мыслями, зайти на квартиру, где проживали мои дети. Но сначала надо было взять газеты, которые я брал каждую неделю: “Литературную газету”, “Завтра”, “Крестьянскую Русь”, “ЗОЖ” или что-нибудь наподобие “ЗОЖа”. Последние в обязательном порядке просматривала моя жена.

Продавщицы в киоске не оказалось: или куда-то вышла, или ещё не пришла. Я непроизвольно заглянул за киоск и метрах в двадцати или чуть дальше увидел пасмурного человека, выкидывающего что-то из мусорного бака. Подойдя поближе, в числе прочего увидел какие-то журналы, две заплесневелые книжки, авторов которых различить было трудно. Сказал: “Ты что делаешь? Люди собирают, а ты выбрасываешь... Так никакого порядка не...”. Но когда я увидел его лицо или то, что было лицом, говорить расхотелось. Глаза, щеки, уши, нос, губы, осклизлые волосы, расплываясь, сообщали одну невесёлую мысль, что собрались они вовсе не для того, чтобы образовать лицо человеческого, а как бы лишь для того, чтобы признаться в том, что они тоже оттуда, из мусорного бака. Бомж глянул на меня так, как глянула бы лягушка, если бы ей сделали замечание: “Зачем ты квакаешь?” Вздохнув, я пошёл обратной дорогой. “От тюрьмы и от сумы не зарекайся”, – пронеслось в моей голове. И всё-таки здесь что-то было не так. Бомжи – это, пожалуй, особое сословие на низшей ступеньке жизни. Умирают тысячами, а меньше их не становится. Придёшь на иной вокзал и видишь, как к ночи выползают они, словно тараканы, из всех щелей. Но ведь у каждого своя невезуха: обманут, обворован, избит до срыва душевного, выброшен из квартиры родственниками или сам подписал важную бумагу по пьянке.

Ещё в автобусе думал я о городе, как о комбинате по сортировке людей. Одни – для банков, офисов, казино, депутатских кресел, другие – словно бы для того, чтобы влачить жалкое существование. И какой смысл говорить о труде как о созидающем начале, воспитывающем человека, если трудящиеся в своём большинстве стали жить плохо? А что в селе? Тоже не мёд. Как-то пришёл на поле, сплошь заросшее бурьяном, который на ветру звучал жёстко, будто вопрошал: “Что вы, люди, с землёй сделали?” И стоять стало неловко, словно груз вины именно на тебе, словно не поле перед тобой, а существо, которое ты невзначай обидел. Что делать? Молодых – кот наплакал, пожилых тоже мало. Многих, как саранча злаки, поедает вино. Беда! Не старухам же поднимать пашню... Не знаю, лицо ли бомжа отвлекло меня, которое – ни в сказке сказать, ни пером описать, – но про киоск и газеты я забыл начисто и теперь шёл по снежной улице, поглядывая на прохожих. Увидеть бы лицо, которое тебя успокоит или даже вдохновит, но где его взять?

Навстречу шли две девушки-хохотушки с бессмысленными взглядами. Может, говорят о подробностях секса? Вполне. Помои с сексуальной начинкой льются почти двадцать лет, почти отовсюду. Яды их сбили с толку, погрузили в грязь или в болезнь миллионы молодых людей. А очищаться надо, надо, как от дерьма, в которое нежданно-негаданно вляпался, когда шёл по земле. Сам ты не хотел, но кто-то для тебя постарался. Такое и со мной бывало, особенно в детстве: бежишь, бежишь и – бац! Боже! Чувство-то какое мерзкое! Кто же этот ...? А в телящике не то же ли самое? Перекалывают, как лопатой, чтобы поувесистей было... Кушайте, добрые люди... Кофе Маккона – очень вкусно! Взял новую газету, а в ней опять куча с сексом или секса куча... Тьфу! Больше брать не буду! От такого чтива не только олухом станешь, но и маньяком. Не зря они плодятся. Слово “секс” должно исчезнуть из языка... Размечтался!

За хохотушками шли два худосочных парня с курящей девицей посередине. Парни отхлебывали пиво из своих бутылок, а девица подносила ко рту сигарету. Двигались они замедленно, как-то искусственно, словно находились на какой-то съёмке. По лицам парней видно, что в армию их не возьмут, – больны. Серо-землистый цвет лица девчонки тоже наводил на грустные мысли. Книг они не читают и газет тоже. Вопросами смысла жизни не мучаются. Всё заменяют табак и алкоголь. Хорошо, что брюки девицы прикрыты курткой. А то многие, следуя дурацкой моде, штаны приспускают, показывая ложбинку, ведущую вглубь задницы, словно там очень интересно. Раньше открывали или пытались открыть душу, а сейчас...

По городу, как вездесущий прохожий, мелькал снег. То быстро шёл, словно торопясь куда-то, то совсем медленно, словно что-то припоминая. Мне он не мешал. Лица людей, обычно тусклые и озабоченные, молча говорили о современной жизни. “Если заплатить за квартиру в этом месяце, то жить будет почти не на что”, – жаловались чьи-то глаза. Я соглашался. Безденежье переносить трудно, а то и невыносимо, если за тобой семья, дети, ждущие мать или отца, которые должны что-нибудь принести.

Но встречались и лица другого рода: уверенные, спокойные, передающие железную мысль, что всё в этом мире идёт правильно, а эти, мол, которые придавлены жизнью, сами во всём виноваты: не могут жить, не умеют трудиться...

В какое-то мгновение густой, тяжёлый снег заслонил взгляды людей, словно захотел уберечь меня от тёмных мыслей. Однако они остались. Как получилось, думал я, что между людьми за короткий срок вырос снежок отчуждения, холодок вражды? Чуток побогаче – и уже хвост трубой, будто сундук с деньгами – это всё, ради чего ты жил... Читаю в памяти: “Как молодой повеса ждёт свиданья с какой-нибудь развратницей лукавой... так я весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный, к верным сундукам...” Строчки Пушкина из “Скупого рыцаря”. Сундук вместо сердца – вот и весь человек.

И всё-таки слишком самодовольных, самоуверенных лиц было мало. Чаще были другие – стёршиеся, как месяц на закате. Они вроде бы и не жаловались, не выказывали никаких чувств, но тень внутреннего переживания в них всё-таки просматривалась: “Смотрите, дали нам жизнь – и вот то, что с этой жизнью случилось”. А получилось из неё вот что: был лужок с прекрасными цветами, но приехал бульдозер и весь дёрн снес. Прежней картины нет. Злое время снесло. Хотя время злым не бывает. Время и время. Злым его делают конкретные люди...

И вдруг, как исключение из правил, явилась на белой дорожке девушка, напоминающая искрящуюся снегурочку, романтическую комсомолку, высланную из прошлых времён в наше время. Румянец, живые глаза, несущие, как на блюдечке, душу. Не о такой ли писал поэт Павел Васильев:

*...Так идёт, земли едва касаясь.  
И дают дорогу, расступаясь,  
Шлюхи из фокстротных табунов,  
У которых кудлы пахнут псиной,  
Ноги крыты кожей гусиной,  
На ногах мозоли от обнов...*

*Лето пьёт в глазах её из брашен...*

Но лето промелькнуло, солнце погасло, ушло. Больше мне ни на кого смотреть не хотелось. Живой пример, когда внутренняя красота усиливает, подчёркивает внешнюю. Иначе внешность, особенно женская, становится бездушной, манекенной, непривлекательной, лишённой тайны. Впрочем, многие из наших людей натрутся так, что забывают не только о тайнах, но и вообще о том, зачем на земле живут...

Приблизился ещё один человек, чем-то напоминающий увиденного мной бомжа. Я всмотрелся в лицо, словно снятое для меня с полотна неопытного художника, пытавшегося написать чей-то портрет. Но вышла мазня вместо портрета: всё вместе взятое не образует человеческого облика. Хотя этот человек ещё не бомж. Есть у него жильё – это видно по одежде, есть, может быть, и близкие.

Путь от обезьяны к человеку огромен, если он вообще был, этот путь. А дорога в обратную сторону ничтожна. Впрочем, зачем обижать животных? Спросите у них, каков человек? Нет, лучше не спрашивать...

Дальше я шёл почти машинально, переходя с улицы на улицу и ни на кого не глядя. Частенько люди встречались толпами. Где уж тут их рассматривать? Но в какое-то мгновение я почувствовал взгляд на себе, словно кто-то оценивал моё лицо, пытаясь его разгадать.

– Извините! – раздался неуверенный голос.

– Да, – как по телефону, ответил я, взглянув на высокого мужчину с желтоватым лицом и тёмными подглазьями.

– На маршрутку не хватает семи рублей, – твёрже сказал он.

– Может, опохмелиться не хватает? – более твёрдо спросил я.

– Да нет, вот три рубля есть, – раскрыл он свою ладонь, – а остальные...

В его лице говорила правда.

– Какие беды? – спросил я, протягивая деньги.

– А-а, – вяло пропел он, – разве сразу расскажешь? Вино, вино во всём виновато... От него все беды.

– Ну, может, не совсем так, – возразил я.

– Может, и не совсем... Но от него всё пошло кувырком. Спасибо!

В последнее слово он вложил много чувства. Вот тебе и слова. Одни и те же. Обидеть человека можно и хорошим словом, а успокоить и плохим. Важно, с каким чувством говорится слово. Но здесь и слово хорошее, и сказано от души. Мы расстались.

Дом, где располагалась моя квартира, был уже рядом. И, проходя к нему через обширный двор, усаженный деревьями, я всё ещё слышал голос прохожего: “На маршрутку не хватает...”. Мне тоже денег не хватает – на жизнь. Сколько из-за них возникало проблем, раздражения, даже семейных ссор, о которых я потом жалел. Держаться надо. Душа хрустит – человек ломается. А людям, по большому счёту, ясности не хватает, как жить на этой земле. Много тумана и впереди, и сзади. Денег нет – кажется, что дело только в них. Деньги есть – хомут различных вопросов всё равно давит шею. Вероятно, жизнь прозрачна только для дураков. И почти нет разницы, есть ли у них деньги или их нет. Может, богачам на Лазурном берегу кажется, что всё идёт прекрасно? О, как бы не так! Смерть с косой все равно у каждого за плечами. И не знаешь, когда она замахнётся на твою голову.

Посреди двора, вспомнив про газеты, я свернул вправо и стал петлять между деревьями – в конце двора, недалеко от дороги, располагался уютный газетный киоск. За одним деревом с удивлением остановился, увидев книжку без обложки, вокруг которой снежный ветер устроил своеобразный танец. Одна страничка пыталась открыться, словно дверь, за которой хозяин думает: впускать гостя или не впускать. Впустил – я взял книгу. Начиналась она с 319-й страницы. А где первая половина? В снегу зарыта или в мусорном баке? Я поднёс книжку ближе к глазам и сквозь снежные слёзы рассмотрел слова из письма Ленина, обращённые к некоему т. Курскому: “Расширить применение расстрела... Террор – это средство убеждения...” Я сразу понял, кто автор этой книги, и убедился в этом, пролистав несколько страниц. На одной из них, внизу, было ясно написано: “А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг, т. 1”. И теперь из-за тёмных строк, как из-за решётки, схваченной морозом, стало вырисовываться для меня бородатое лицо их автора, знакомое всем или многим. Недавно он почил в Бозе. Жаль. Всё-таки, если его спрашивали, говорил о несправедливости, о вымирании народа, о том, что у многих на уме,

но высказать то, что на уме, дано далеко не каждому. Я стоял в растерянности: выбросить книжку или взять? Решил взять, пролистать её и, может быть, что-то вспомнить. Читал когда-то “Архипелаг ГУЛаг” в журнальном варианте. Слишком много о нём говорили, но после прочтения восторга у меня не было. Тогда, в горбачёвскую эпоху, на подобные вещи охотились, слетались, как мотыльки на огонь. А теперь многие из тех, кто читал их, ушли “под вечны своды”. Ушли, хлебнув мутной жижи другого общественного устройства.

У киоскёрши я взял газеты, показал ей книгу, которую нашёл: вот, дескать, Солженицын.

— Э-э, кто сейчас такие книги читает? — глядя исподлобья на книгу, про бурчала она, — совесть потеряли, печатают вот что, — она провела пальцем по блестящей обложке какого-то тонкого журнала, где выпячивалась чья-то задница. — А вам что, Солженицын нравится? — неровным, но понятным мне голосом добавила она. Потеряли, дескать, Советский Союз, а что обрели? Вот эти задницы? Так они и раньше при нас были, никуда не девались. . .

— Понимаете, — ответил я, — не то чтобы нравится, но есть такая загвоздка: думаешь, что-то путное упустил — написал-то он много. . .

В это время подошёл покупатель, и я не стал договаривать свою мысль.

Дома, попив чаю, взял газету “Завтра”, прочитал передовицу А. Проханова, которая всегда печаталась на первой странице. “Вот человек, — думал я, — как не похож он на пушкинского *Скупого рыцаря*, радующегося сундуку с деньгами. Этот, пройдя огни и воды, мучительно переживает за родину. Армия, народ, экономика, деревня, нравственность, демография, искусство, разваленное ЖКХ — всё в центре его внимания. О кризисе предупреждали долго до его возникновения. Кто бы прислушался. . .”

В это время раздался телефонный звонок — звонили из школы, просили перенести встречу на следующий день. . . Где-то у них прорвалась труба, и директор весь в хлопотах, в заботах о том, как её починить. Это в Москве в школах есть должность хозяйственного директора, а здесь директор и швец, и жнец, и на дуде игрец.

Скоро очередные выборы глав муниципальных образований. Живой спектакль: опять маслице, мешочки с сахаром, водочка, конфеты, сторублёвки. . .

— А за кого голосовать-то? — спросит какая-нибудь наивная бабушка.

— Как за кого? — ответит определённый представитель определённого кандидата. — Сахарок-то вам прислал Иван Иванович. . . Он очень добрый и внимательный.

— А маслице намедни приносили. . . тоже хвалили. . . как его, забыла. . .

— Маслице-то? — не удивится представитель. — Маслице, бабусь, надо проверить. . . Кто знает, какого оно качества. Голосуй за нашего — он лучше, он дров вам привезёт, поможет. . .

Такие выборы. . . А при коммунистах попроще было: приходишь — перед тобой один кандидат. Как ни ходи, он не удвоится. Бросил бюллетень — выбрал. Одного из одного. И всё равно весело: пиво привозили, музыка играла. . . Кандидат, разумеется, человек глубоко проверенный: в тюрьме не сидел, не пьянствовал, с бабами не гулял или гулял, но скрытно, так, чтобы никто не видел, особенно жена. И на работе, конечно, зарекомендовал себя с лучшей стороны. Биография чёткая, как армейский устав. . . И всё-таки хороших руководителей было гораздо больше.

Я вяло пролистал книгу Солженицына, задерживаясь взглядом на некоторых страницах. Суд над каким-то Ольденбургом. Суд над эсерами. . . Они, оказывается, были зачинщиками гражданской войны. Ещё хотели взорвать железную дорогу, по которой, напоминает Солженицын, большевистское правительство вывозило немцам золото и продовольствие. Правда, об этом факте на суде умалчивают.

Везде автор, сравнивая две эпохи, дореволюционную и послереволюционную, возмущается резким контрастам. При царе осуждённым за политику чуть ли не рай был, чуть ли не ковровые дорожки расстилали, а то, не дай Бог, голодовку объявят. . . А при Советах объяви голодовку — ещё хуже будет, ещё больше грехов навесят. Уголовников запросто натравят. Впрочем, зачем натравлять? Они сами люди ушлые, понимают, что к чему. Грабят, вещички отбирают — попробуй, вякни. Вместе везут и тех, и других. При царе-то возили отдельно, чуть ли не с почётом. И земелькой сыльных, вроде Ленина, наделяли, и деньги платили. Когда-то меня это удивляло. Ещё бы: против ца-

ря орудуют, строй подрывают, а их земелькой наделяют, охотой радуют. Может, это касалось только дворян? Всё равно странно: при чём тут дворянин или купец?

При теперешней власти, сетует автор, порядки совсем другие. На общие работы попадешь — хана! Но ведь Варлам Шаламов, тоже писатель, пройдя все круги колымского ада, остался жив. И Олег Волков, и Николай Заболоцкий?

Эпоха, конечно, далеко не мёд. Чего стоит одно ожидание в камере смертников? Придут для того, чтобы тебя убить. За что? И всё-таки я, даже бегло читая книгу, богатую фактическим материалом, замечаю, что автор не тормозит меня своим критическим пафосом. Он как бы навязывает мне своё негодование, но душа его принимать не хочет или хочет, но не принимает. А читая, например, Шаламова или Волкова, сам невольноходишь в их душевную атмосферу, живёшь ею. Вполне прозрачно видишь Колыму, “где над моим бессмертным телом, что на руках несла зима, металась вьюга в платье белом, уже сошедшая с ума”. Так себя видел замороженный Шаламов в колымской зиме.

Впрочем, наследие у Солженицына огромное. Например, книга “Двести лет вместе” не видна на прилавках. Может быть, люди читают?

Я подошёл к окну, смотрящему как раз на те деревья, меж стволов которых я проходил. На том месте, где лежала книга, бегали, догоняя друг друга, мальчишки, кадились снежками.

Я вновь представил книжку, лежащую на снегу, и из книжки вырастающее, подобно дереву, бородатое лицо Солженицына. Бывает, борода у человека, как пятое колесо у телеги. Здесь не тот случай. Александра Исаевича борода красит, придаёт ему значительность. Она не вычёркивает его ум, а подчёркивает. Как — одному Богу известно. Но ответит ли Бог, почему обломок книги перерос в моей голове в обломок империи? Нет, не ответит — ответит только человек. Советский Союз развалился не без старания Солженицына. К нему прислушивались, считая его за оракула. Оракул ратовал за объединение трёх славянских республик, а все остальные как бы и не нужны. Даже Казахстан называл “подбрюшьем”. И не знаю, к месту или нет, но у меня возникли строки:

*Устроил неслучайно жёсткий снег  
У книжки этой погребальный танец...  
И если сам ты русский человек,  
То почему твой сын американец?*

В начале девяностых годов шло своеобразное брожение умов, особенно литературных, насчёт приезда или неприезда Солженицына. Журналы издавались миллионными тиражами. Народ кипятился страстями. Был и у меня лёгкий спор с одной женщиной:

— Зачем ему нищая Россия? — говорила она. — Что он тут потерял? У него там шикарный дом, земля, деньги. Что ещё надо?

— Ну, — возражал я, — он вернётся. Дело ведь не только в деньгах... Он воевал, сидел здесь, предки его... всё, чем он жил и живёт, — это Россия. Есть некое чувство, называемое ностальгией, понимаете?

Мадам понимать не хотела, даже не допускала мысль, что можно жить в нищете, но с патриотическими чувствами. Однако я ей напоследок сказал:

— Он и здесь, будьте уверены, бедным не будет.

Что ж! Скоро он приехал. Встречали его, как Мессию, но чуда не вышло. Исцеления России с его участием не произошло. Эйфория быстро прошла. Депутаты Госдумы, когда он выступал перед ними, усмехались. То, что он говорил, было вроде правильно, но не для них. В стране вершила танец бесовщина: растились убийцы, маньяки, проститутки, везде и всюду рушились традиционные устои... Во всём этом невольно принял участие и автор “Архипелага ГУЛаг”. Не зря говорят: посеешь ветер — пожнёшь бурю. А её укротить трудно.

Я отошёл от окна, по-прежнему держа книгу в руках и не зная, что с ней делать. Бросил её на стол и одновременно взглянул на полку с книгами, где в хорошей обложке красовался И. Ильин, русский философ, поразительно точно предсказавший возможный путь России после строительства коммунизма. Он предупреждал: не отпускайте вожжи, не вводите безоглядную демократию, не то будет то, что у нас сейчас есть.

Интересно, вспомнил я, улица Урицкого, на которой жил в своё время Солженицын, не переименована? Позвонил по телефону, узнал: нет, не переименована... А ведь в доме, где он жил, собирались открыть музей. Шума было много, но он пропал. Для меня примечательно другое: Урицкий – большевик, загубивший не одну российскую душу, и Солженицын, враг большевизма, хотя и символически, но сошлись вместе. Что ж! Может быть, так и надо...

Есть книги созидательные, объединяющие людей в трудное время. Например, "Тихий Дон" Михаила Шолохова. Читаешь – и душа крепнет, несмотря на то, что книга не из лёгких. Пытались не однажды затолкнуть его в тень, но он и в тени светил ярко.

День отпечатался в моей памяти обликом бомжа, тремя молодыми людьми, что вроде рыбаков на тающей льдине, безденежным прохожим, одинокой, но ясной девушкой – все они словно бы привели меня к этой книжке без обложки, без многих страниц...

Хорошо, что скоро весна откроет свою книгу, книгу земли, испачканную во многих местах, но живую. Читают эту книгу ещё многие, читают и радуются.

*Рязань*



## А СВИНЬИ — КТО?

*Пусти свинью за стол,  
так она и ноги — на стол.*

Из русского фольклора

Как явствует из статьи Ю. Нерсесова “Пешка в игре профессионалов”, опубликованной в газете **“СВОИМИ ИМЕНАМИ”** под № 48, некий замредактора “Московского комсомольца” Айдер Муждабаев сделал странное, далеко не рядовое признание-предложение: *“Не знаю — как, но Байкал у России надо отнять. И передать кому угодно — хоть Японии, хоть Монголии... Мы свиньи. Где жрём, там и гадим. От нас планету в целом, конечно, надо спасать”*. Чрезвычайно оригинально и смело! Однако этот мазохистский выпад-демарш требует самого серьёзного осмысления и ряда вполне определённых и категоричных уточнений.

Прежде всего, непонятно, от чьего имени делается такое заявление. Ну, то, что автор является составной частью, единицей некоего сообщества, объединяемого им в своей речёвке местоимением “мы”, понятно сразу. А вот какие ещё родственные ему экземпляры принадлежат к категории таинственного стада, кого он в целом столь убеждённо и безапелляционно называет свиньями? Если он имеет некий круг близко знакомых ему особей, объединённых антироссийскими интересами (например, страстью к предательству, политическим и идеологическим диверсиям, безудержному стяжательству и т. п. аморальным устремлениям), тогда всё становится на свои места... Всё, кроме одного: при чём тут Байкал, который в русском народе почитается священным — и это отражено даже в песнях?

Может быть, Айдер Муждабаев под местоимением “мы” подразумевает полный состав редакции “Московского комсомольца”? Оспаривать это предположение не решусь... Как-никак, господин А. Муждабаев занимает солидный пост в “МК”...

А может, замглавного редактора удостоверял лишь свою собственную свиную, хрюкающую природу. Ему, конечно, виднее: как и любому взрослому человеку, ему должно быть известно, кем он является по своему внутреннему содержанию, глубинной сущности. Ради краткости текста мы так и будем к нему обращаться, поскольку вопросов после вышеприведённого заявления возникает много. Кстати, свинья — всё-таки женского рода... но, пожалуй, не станем подозревать в этом половом несоответствии нетрадиционную ориентацию: в данном случае уместнее всё-таки величать его кабаном, хрюком или боровом (на секача он вряд ли тянет).

Но ведь очевидно же, что господин Боров рыл шире и глубже... хотя обязан был знать (в редакторском-то ранге!), как осваивали Сибирь и Дальний Восток самоотверженные русские смельчаки — первопроходцы-казаки и купцы, Аляску, Калифорнию, Алеутские острова — целеустремлённый мореход Г. Шелихов и сменивший его отважный предприниматель В. Баранов. Должен бы ведать он и то, что именами русских первооткрывателей названы мыс Деж-

нёва, города Хабаровск и Шелихов, станция Ерофей Павлович, остров Врангеля, море Лаптевых и другие топонимические объекты, свидетельствующие о бесчисленных подвигах именно русских людей в открытии новых земель и освоении ими новых территорий в тесном сотрудничестве с местными народами. Но своим *свинским* самооплёвывающим признанием Боров явно пытается мазнуть грязью русский народ, потрафляя возможным закордонным клеветникам – своим единомышленникам.

Мы ещё не забыли, что любимым обращением немецко-фашистских оккупантов к русским людям (даже в Белоруссии!) было “руссиш швайн”, эти же плевки обезьяннически переняли русоненавистники прибалтийских лимитрофов, а теперь ими наслаждаются европейские и некоторые ближневосточные русофобы, а им преданно и вдохновенно подпеваает обнаглевшая *пятая* колонна, в большинстве состоящая из “гостей”, ведущих себя на русской земле подобно оккупантам.

Однако все ли знают, что кичливые сверхкультурные европейцы (например, немцы и бельгийцы) моются в ванне всей семьёй, не меняя воду, и даже потом её не выливают, а сохраняют для мытья полов, и что, пользуясь индивидуальной посудой, не моют чашки-плошки по два-три дня? Возможно, кто-то из читателей мне не поверит, тогда пусть спросит у В. Познера: он выслушивал подобные откровения из первых уст. А ведь в одной несменяемой воде русская хозяйка даже свиной мыть не стала бы, а кошек, собак в городских квартирах – тем более (это вообще за пределами нашего русского понимания!).

Специально для господина Борова и его единомышленников напомним, как изумлённо отзывались о русских банных *праздниках* многие знаменитые европейские посетители – негодяи, путешественники, посольские в Средние века. Они приходили в ужас от зрелища разгорячённых, малиново распаренных тел, окунающихся в ледяную воду либо катающихся по снегу. А ведь это были прочно вошедшие в быт, за многие века, еженедельные – как правило, субботние – гигиенические и оздоровительные процедуры.

А в более поздние времена при дворе русского царя Алексея Тишайшего банный процесс был возведён почти на уровень священнодействия, чему всегда подражали подданные всех сословий. Крестьянский двор, хотя бы с трудом сводивший концы с концами, имел свою семейную баню (в крайнем случае – одну на несколько дворов). Но субботний банный ритуал оставался хотя и неписанным, но практически незыблемым законом. Более того, банный процесс имеет столько особых тонкостей и всякого рода оздоровительных приложений, что его без особой натяжки можно трактовать как научный.

Строительство бань самого разного назначения и объёма многовековым опытом было доведено до высших пределов совершенства, и внешняя сторона кажущейся простоты (вплоть до нарочитой грубоватости) лишь подчёркивает целительную природную основу всех составляющих компонентов – дерево стен, камни для нагрева, ласкающий тело полук, вода, добрая мочалка, венки – берёзовые, дубовые, пихтовые, даже крапивные, хлебный квас и иные ингаляционные составы в сочетании зимой – со снегом, летом – с водоёмом или бочкой, чаном – это уж по возможностям, какие у кого есть. Главное же то, что это – народный обычай, который не смогли искоренить никакие исторические вихри, социальные разрухи и военные катаклизмы, ибо он всегда был неустрашимым явлением и свойством русской национальной культуры.

А что же Европа? Ну как же – там в это самое время тоже развивали культуру. И весьма оригинально – не так, как русские “дикари”. Например, при строительстве Лувра и Версальского дворца – во времена *великолепных* Людовиков – никому и в голову не пришло предусмотреть туалетные комнаты (ретирадные места), и во время многочисленных балов великосветские дамы по надобности поднимались на второй этаж – в тёмные коридоры, мужчины же – на третий, а следы таких *ретирад* ликвидировали слуги (это не выдумка: свидетельствуют французские источники – вы не читали их, господин Боров?). Подобные *культурные* нравы царили и при королевском дворе Мадрида. Да и вся остальная жутко “просвещённая” Европа немногим отличалась от них в области личной гигиены.

Далее, герцог во время какой-нибудь мазурки или котильона мог учтиво стряхнуть с плеча графини либо баронессы пару-тройку вшей, причём экстра-

дама, чтобы перешибить аромат немытого тела, накануне бала обильно умащивала себя парфюмерией, которая изначально-то и обязана своим развитием именно такой необходимостью.

И куда уж тут русским-то “дикарям” с их перехватывающими дыхание огненными парилками, берёзовыми прутьями да ледяными купелями! Они даже вошебойную технику не освоили – не догадались, неспособные! И тут Европа опередила – измыслила и сконструировала безотказные убойные механизмы. Да ведь и интересное *противонасекомное* свойство натурального шёлка европейские спецы оценили куда быстрее, пока русские крестьяне пробавлялись после субботней баньки отбелёнными льняными простынями да белишком (ну, а в высшем свете, разумеется, более тонкими и изысканными тканями).

И вот, сравнивая эти на взлёт поднятые из памяти факты, спрашиваю вас, господин Боров: так кто же в данном сопоставлении *свиньи* (это ваша, ваша лексическая находка!): русские, у которых вы вознамерились отобрать Байкал, или их исторические соперники и недруги?

Но к господину Борову есть и другие – более серьёзные вопросы... Например, как он предлагает *спасать* (!) от своего “мы” планету? По его высококобой логике, вначале отобрать и кому-то передать озеро Байкал, потом – реки, потом всю Сибирь, дальше – Урал, европейскую часть – на всё это покупателем либо просто получателем найти нетрудно. А что же делать тогда с “недостойным” Байкала и многих своих земель русским народом? Никак, под нож его, любезнейший Боров? Или же более “гуманными” современными методами – уморить голодом, алкоголем, наркотиками? По вашей терминологии и по вашему утверждению, вы где *жрёте*, там и *гадите*. Не потому ли и *зажрались*, потеряв элементарные человеческие качества?! Ведь *жрёте* вы в Москве – и в ней же *гадите* принявшему вас русскому народу, причём *гадите* на русском языке! И уже загадили (надо полагать, со своими братьями) нашу былую *красавицу* до неузнаваемости – до того, что в неё стало противно *приезжать*! И, следовательно, прежде чем *спасать* от вас (от вашего – “мы”!) планету, надо вначале спасти от вас Москву...

Тогда, быть может, следует упростить многотрудный процесс спасения – собрать вам добровольно свои *лахи под лахи* и дунуть по холодку туда, где вам родители дали столь оригинальное имя, пока словесные вопросы, вызванные вашей гнусной антирусской и антигосударственной эскападой (которые возмутили наверняка не одного меня!) не материализовались в энергию действия? Пора и вам, и вашим псевдокомсомольским братьям понять, что толерантность, а точнее – долготерпение русского народа тоже не беспредельно, оно на исходе – клапаны едва-едва выдерживают...

... Вот такие дела, уважаемые читатели: безнаказанная наглость уже так распирает некоторых “гостей”, что они её выплёскивают нам в лицо, и – заметьте! – никто из “правоохранителей” этому субъекту не *шьёт* 282-ю статью, не приклеивает ярлыка *разжигателя* какой-нибудь *розни*, экстремиста, не задаёт ему вопросов *через стол*: как посмело сие *перекати-поле* вслух предлагать разрушение целостности нашей страны, нашей русской земли, потом и кровью освоенной нашими далёкими пращурами?! Если это не язык и не наглая спесь оккупанта – тогда что же?! Дайте название!

**Владислав КОВАЛЁВ**

## МОНТАЖ ВРАГА

Минула очередная годовщина трагических событий 13 января 1991 года в Вильнюсе. Тогда погибло 13 человек, которые упоминаются как жертвы этих событий в официальной справке тогдашнего руководителя республиканского Бюро судебно-медицинской экспертизы А. Гармуса (<http://www.news Balt.ru/detail/?ID=6958>). Накануне центральный канал литовского телевидения в популярной вечерней передаче “Специальное расследование” представил литовскому зрителю четырёх лиц, которые находились по разные стороны баррикад: воинственного литовского патриота, маму погибшего при неизвестных обстоятельствах семнадцатилетнего Дарюса Гербутавичюса, бывшую дикторшу советского телевидения и меня.

Даумонтас Буткус – молодой ведущий этой передачи встретился со всеми участниками “расследования” по отдельности и записал на видео интервью с нами по поводу того, что произошло. Естественно, перед показом весь собранный материал был соответственно смонтирован, и на него наложен небольшой комментарий самого ведущего. В результате оказалось, что в смерти юного сына госпожи Гербутавичене виновным оказался чуть ли не я: “Почему этот человек всё ещё живёт в Литве?” Те 10 литов, которые ей присудил литовский суд за “моральный ущерб”, ей вообще не нужны. Ведь он, В. Иванов, в своей книге “Литовская тюрьма” написал, что “советские солдаты никого не убили той ночью”...

Бесспорно, колоссальна боль этой женщины, да и других людей, лишившихся своих родных и близких той злой ночью. Вот почему, буквально физически ощущая в течение всех минувших лет трагизм происшедшего, всю драму сложившейся тогда политической, да и просто человеческой ситуации, заложниками которой стали все мы, тогдашние граждане Литовской ССР и СССР, не могу смириться с тем, что и сегодня кто-то старается развести вновь людей по разные стороны баррикад, отвлекая их сознание от понимания истинных причин теперешних бедствий.

За несколько дней до передачи, давая в своей квартире интервью Д. Буткусу и отвечая на его каверзные вопросы, я, прежде всего, выразил искренние соболезнования всем родственникам людей, погибших 13 января 1991 года в Вильнюсе. Более того, я сказал, что нет, наверное, сегодня в Литве другого человека, который так сильно желал бы найти настоящих убийц гражданских лиц и строго наказать их. В своей книге “Литовская тюрьма” я не называю тех, кто непосредственно был виновен в гибели людей. Я говорю, что “нет доказательств гибели людей от советских военнослужащих”, а это означает, что в случае появления таких доказательств моё утверждение изменится. Любой может убедиться в этом, прочитав книгу, опубликованную в интернете (<http://www.proza.ru/2010/01/06/1076>; замечу между прочим, что судом книга не запрещена к распространению). С другой стороны, и в книге, и на суде я привёл массу “нестыковок”, начиная с элементарных: нигде в расследованиях литовской прокуратуры не названа фамилия ни одного советского военного, от рук или действий которого погиб конкретный гражданский человек; нигде не назван номер советской боевой машины, которая нанесла какие-либо увечья кому-либо той трагической ночью; у убитого В. Мацюлявичюса из тела извлечена пуля от винтовки Мосина (о чём говорится в справке судебного эксперта), которыми советские солдаты не были во-

оружены той ночью, в отличие от боевиков Саюдиса; литовская прокуратура не провела ни одной трассологической экспертизы положения тела в момент поражения его пулями; литовское следствие вообще игнорировало имевшиеся в деле протоколы опроса свидетелей, которые указывали на стрельбу неизвестных лиц с крыш жилых домов, стоявших рядом с Вильнюсской телебашней, а также в другом месте – около Телерадиокомитета и т. д. Я сказал ведущему, что в своё время мне не раз пришлось беседовать с известным литовским писателем Витаутасом Петкявичюсом, в том числе и о “январских событиях”. Так вот, он, кроме прочего, бывший председатель комитета Сейма ЛР по обороне и безопасности, сказал: “С крыш стреляли привезённые из Лаздияй литовские пограничники, которые были переодеты в гражданское и которым под угрозой смерти запретили кому-либо говорить об этом”. Потом в его книге “Корабль дураков”, вышедшей в 2003 году, я прочёл об этом факте. Журналисту Д. Буткусу я задал риторический вопрос прямо в объектив камеры: “Почему до декабря 2007 года, пока был жив В. Петкявичюс, его не вызвали в прокуратуру ЛР для дачи показаний по столь важному свидетельству”? Он ведь очень много знал. Увы, телезрители ничего этого не увидели.

Не поняли телезрители, что за картинки я показывал ведущему на мониторе своего компьютера, что-то поясняя. А дело в том, что я продемонстрировал Д. Буткусу фотографию, на которой лежит убитый в Телерадиоцентре той трагической ночью советский лейтенант В. Шацких, а рядом с ним – бородатая фигура убитого выстрелами в упор около вильнюсской телебашни Титаса Масюлиса (<http://67.r.photoshare.ru/00670/00664b06157547134bd7954c3f70d04716f056ba.jpg>). Их трупы были вывезены на окраину Вильнюса и спрятаны в морге больницы Сантаришкяй, как сказал на суде один из врачей, “в политических целях”. Спрятаны, потому что посчитали, что труп бородатого мужчины принадлежит мне. Потом только я узнал, что была даже публикация в литовской газете “Республика” (<http://67.r.photoshare.ru/00670/00664b162cb876b0572a2dc993379ff470521c94.jpg>), что за мной той ночью велась охота. Бог оказался ко мне милостив, а тому парню не повезло: его приняли за меня. Признаюсь, бывая на могиле родителей в Каунасе на Петрашунском кладбище, я захожу на могилу Т. Масюлиса, что в метрах ста от неё, и кладу цветы. Мне искренне жаль родных этого парня, которым я здесь выражаю свои соболезнования. Что я могу поделать – всех нас в ту ночь вело Провидение, политическая воля властей предрешающих и собственное желание как-то гасить тот бушевавший в душах литовцев огонь национальной ненависти к русским, который усиленно раздували идеологи Саюдиса.

Теперь, обращаясь через СМИ к уважаемой маме Дарюса Гербутавичюса, хочу сказать ей: спросите генеральную прокуратуру Литвы, почему так немилосердно, со всех сторон, было расстреляно 5 выстрелами сверху вниз и снизу вверх тело вашего мальчика; кто и как мог это сделать? Официальная версия его гибели не отвечает ни на один вопрос, связанный с обстоятельствами его ранений (замечу, кстати, что смертельный выстрел в сердце он получил сверху, оттуда, где советских солдат не было. А кто там был – почитайте у В. Петкявичюса). Ценой суда над собой и заточения я получил доступ к материалам судебно-медицинских обследований тел погибших и теперь знаю, что и как случилось с несчастными.

Есть ещё один аспект замечаний госпожи Гербутавичене, который касается получения от меня через службу судебных приставов 10 лит в качестве компенсации упомянутого “материального ущерба”. Дело в том, что, возвратившись из тюрьмы, где из общего годового срока осуждения за книгу “Литовская тюрьма” полгода меня держали в узком (2 x 0,78 м), холодном, без дневного света, пыточном шкафу-карцере, я не нашёл денег на своём счету в банке, где лежали пенсионные “по утрате кормильца” (получаемые мною после смерти от рака в 1988 году мамы моего малолетнего сына). Их вместе с тремя сотнями долларов (больше у меня денег не было вообще) сняли без моего ведома приставы и должны были передать поровну всем семи заявителям в суд в возмещение “морального ущерба”. Думаю, эта сумма должна была составить более полутысячи литов на каждого истца. Поэтому претензии относительно полученной столь малой суммы компенсации – не ко мне.

Не услышал я в телевизионной передаче Д. Буткуса и очень важного, на мой взгляд, своего пояснения “об оккупации Литвы в 1940 году”. Я сказал, что понятие “оккупация” не является изобретением литовских политиков, но

имеет точную юридическую формулировку, закреплённую в международном праве ещё в октябре 1907 года на Гаагской международной конференции. Оно означает оккупированную территорию государства, захваченную во время войны войсками другого государства, с целью создания на этой территории оккупационного правового режима, обеспечивающего безопасность мирного гражданского населения до принятия затем иных, двусторонних или многосторонних политических решений, относительно мирного правового статуса данной территории. Добавил при этом, что истории не известно о том, что между Литовской Республикой, другими Прибалтийскими республиками и СССР летом 1940 года велись военные действия, в отличие от советско-финской войны ноября-марта 1939–1940 годов. Да, был ультиматум со стороны Москвы, поскольку возникла непосредственная угроза после захвата Франции гитлеровскими войсками и падения Парижа направления вермахта в сторону СССР и через Прибалтику – на территорию в непосредственной близости от Ленинграда. Все прибалтийские страны приняли советский ультиматум. Литва согласилась на ввод дополнительного контингента войск Красной Армии после принятия ею от СССР Виленского края и Вильнюса на основании обоюдного договора от 10 октября 1939 года. Замечу, что, вступив по решению Народного Сейма от 21 июля 1940 года в состав СССР на правах суверенной союзной республики, Литовская ССР получила дополнительную территорию ещё и за счёт Белоруссии в Вильнюсском районе (в том числе здравницу Друскенинкай), а затем, после победы над фашистской Германией, – Клайпедский край с портом Клайпеда (Мемель) и часть Сувалийского района, ранее принадлежавшего Восточной Пруссии. Вот так “советские оккупанты” нарастили приблизительно на одну треть территорию современной Литовской Республики, хотя нынешние литовские руководители, ненавидя И. Сталина (а он подписывал все политические решения СССР) и современную Россию, любят постоянно твердить всем и повсюду о военной угрозе со стороны Москвы.

Репортёр спросил меня, а не нападёт ли Россия на Литву? Я сказал ему в камеру, что это абсолютная чушь, ибо сегодня не территории являются средством развития экономики, а промышленное производство, конструктивные деловые отношения с другими странами и т. д. Вон Сингапур какой маленький – а как живут! Но и этот видеоряд остался невостребованным на монтажном столе автора программы. Осталось там ещё много минут нашего с ним, как мне казалось, весьма дружеского разговора на разные темы.

Остаётся только сожалеть, что и на этот раз я, человек, рождённый в Каунасе, получивший высшее образование в Варшаве и окончивший докторантуру в Институте истории литовской Академии наук, работавший при советской власти на благо республики в её МИДе и за рубежом, написавший книги и многочисленные статьи по философии, истории и культуре Литвы, был представлен зрителям *врагом номер один*, которого местные власти должны как можно быстрее депортировать с территории Литовской Республики. Как будто от этого в Литве сразу наступит благоденствие!

А может, в Литве благоденствие наступит, когда пройдёт суд над “военными преступниками”? Сегодня в Вильнюсе объявлено, что дело относительно советских партийных работников и военных, которые были связаны с событиями в Вильнюсе 13 января 1991 года, передаётся в суд, и в этом году должно начаться его рассмотрение. Напомню, что в сентябре 1991 года Москва передала материалы своего расследования “январских событий” Вильнюсу. Сейчас оформляются 79 международных “гончих листов” на каждого из них в Россию, Белоруссию и Украину, где эти граждане проживают сегодня. Причём, как стало известно, Россия запросила документы расследования, поскольку есть соответствующее соглашение от 26 сентября 1991 года между Вильнюсом и Москвой о юридической взаимопомощи по этому делу. Тогда Москва передала литовской прокуратуре 38 дел по расследованию “январских событий”. Теперь, однако, литовская сторона Москве не выдаёт эти документы и даже их копии. Странно, что все названные события происходили на территории, на которой действовала юрисдикция Литовской ССР и СССР, все участники “вильнюсских событий” были гражданами этих государств, а судить обо всём происходившем будет суд Литовской Республики на основании собственных законов, которые распространились на обрётённую ею территорию лишь после 9 сентября 1991 года. Тогда её независимость и суверенитет признал Президент СССР М. Горбачёв. Абсолютный юридический беспредел!

**Валерий ИВАНОВ**



## МОРЯК, ПОЭТ, ПРОЗАИК

### *Памяти писателя, контр-адмирала Анатолия Штырова*

Он однажды признался: «Сейчас, на склоне жизни, я могу с чистой совестью сказать: я был слабым человеком. Но судьба толкала меня на самое трудное. Но я могу заявить, что для своего Отечества я сделал всё, что мог. Притом – бескорыстно. А если кто считает, что он мог бы больше, так пусть сделает это...»

Насчёт своей слабости Анатолий Тихонович, похоже, преувеличивал. Разве решился бы слабый молодой человек двинуться в 1953 году с базы подводных лодок на Камчатке через всю Колыму и половину Якутии, на перекладных и попутках, по кишашей только что освобождёнными по амнистии уголовниками трассе к жене-геологу и недавно родившемуся сыну? Девять суток добирался моряк в лейтенантских погонах до посёлка Хандыга, а спустя годы написал об этом книгу «Путешествие в страну Колыма».

А разве не сильная воля и твёрдый характер командира подводной лодки Штырова спасли экипаж и субмарину, когда советский военный корабль с разведывательными целями оказался в районе маневров американского 7-го флота? Незамеченная американцами наша лодка успела произвести несколько «условных» торпедных атак, что в реальной боевой обстановке нанесло бы сокрушительный удар американскому флоту. Но, обнаружив советскую подлодку, «условный» противник начал безусловно её уничтожить глубинными бомбами. Увидев масляное пятно на поверхности, американцы решили, что лодка погибла. К такому же выводу пришло и советское командование, когда в назначенное время не было получено радиосигнала от субмарины, а разведка перехватила сообщение американцев.

Однако лодка под командованием Анатолия Штырова сумела вырваться из губельного окружения, о чём впоследствии моряк написал повесть «Приказано соблюдать радиомолчание».

Так что были бы все такими слабыми, может и осталась бы сильной страна...

Анатолий Тихонович Штыров родился 6 марта 1929 года в городе Петровске Саратовской области. Рано потянулся к книгам, уже в четвёртом классе стал сочинять стихи. Но тут – война, скитания, безотцовщина. Как беспризорника, его направили в Горьковское военно-морское подготовительное училище. Здесь он, помимо школьных и военных знаний, выучился французскому языку. Во время следующего этапа обучения – в Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени Макарова, в совершенстве освоил английский язык.

После учёбы служил на подводных лодках, в том числе 8 лет командиром. Природный ум, способность анализировать обстановку и принимать ответственные решения привели Штырова в морскую разведку Тихоокеанского флота. В 1983 году, за выполнение особо важных разведывательных заданий, по личному ходатайству начальника Генерального Штаба Советской Армии маршала С. Ф. Ахромеева ему было присвоено звание контр-адмирала.

Нелёгкие будни военной службы нашли потом отражение в книгах стихов и прозы Анатолия Штырова. Написанные сочным, народным языком, образным, а порой жёстким, они показали многочисленным читателям, что патриотизм – это не столько возвышенные речи политпропагандистов, сколько суровая работа настоящих мужчин в тяжёлом, боевом походе, взаимовыручка без громких слов и глубокая, скрытая до поры до времени, как субмарина от чужих глаз, любовь к Отечеству.

Этими мыслями и чувствами пронизаны все книги Анатолия Штырова: «Моряна», «Морские бывальщины», «Солёные ветры», «Жизнь в перископ», «Подводные трактористы» и другие. Ряд его произведений включен в много-томное издание «Российская маринистика».

Одним из первых «открыл» писателя Анатолия Штырова массовому читателю журнал «Наш современник».

Помимо многих боевых наград Анатолий Тихонович отмечен и литературными званиями. Он – лауреат международной премии Фонда имени Андрея Первозванного, литературной премии «Золотой кортик», обладатель Почётного знака севастопольского Морского собрания «Бизерский крест».

Умер Анатолий Тихонович Штыров 26 января 2014 года.

*Редакция и Общественный совет  
“Нашего современника”*